



НАРОДНАЯ ЭПОПЕЯ

СДЕЛАНО В СССР



Федор Абрамов

# БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Пути-перепутья • Дом



НАРОДНАЯ ЭПОПЕЯ

**СДЕЛАНО В СССР**



Федор Абрамов

# БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Пути-перепутья • Дом

## Annotation

В книге представлены романы "Пути-перепутья" и "Дом", которые по замыслу автора являются самостоятельными произведениями и в то же время - частями тетралогии "Братья и сестры". Действие первого романа разворачивается в начале 1950-х годов - это еще один эпизод из истории села Пекашино, раскрывающий негативные изменения в сознании русского крестьянина из-за недальновидной государственной политики, не позволяющей сельскому труженику воспользоваться результатами своего труда. Во втором романе, посвященном событиям в том же селе в 1970-х годах, показаны все стороны человеческого существования - личная жизнь семьи, социально-нравственные проблемы общества, попытки сохранить исконные национальные черты нашего народа.

Содержание:

Пути-перепутья

Дом

---

- [Федор Абрамов](#)
  - [Пути-перепутья](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
      - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
      - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
      - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
      - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
      - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
      - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
      - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
      - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
      - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
      - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
      - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)

- [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
- [Дом](#)
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
    - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
    - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
  - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)

- [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)

- [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
-

**Федор Абрамов**  
**Братья и сестры. Том 2**

# Пути-перепутья

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Все, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память...

Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге — Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он, вот он! — закричал Григорий. — Хватайте его!» И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазанный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин... А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа — слова выговорить не могла...

— Ну и приснится же такое, господи! — Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы, и он уже который день был в жару.

В мутном утреннем свете — в окна барабанил дождь — она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услышала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.

Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа.

Ивана вызвали в райком на совещание три дня назад, и вот — небывалое дело — не то что его самого, весточки никакой нет. Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с Подрезовым (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с первым секретарем райкома)... Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.

— О, господи, господи, — расплакалась вдруг Анфиса, — да кончится ли это когда-нибудь?



Шестой год она живет с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Минина и Родька Минин...

Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости, — где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставать на дыбы?

И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками.

Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.

## 2

Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса не помня себя выскочила на улицу — босиком, без платка, как молодка.

Мимо проходила старая Терентьевна — подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни обеими руками обняла, обвила мужа.

— С ума сошла! Грудницу схватить захотела? — заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, эта любовь, выраженная чисто по-мужицки, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.

Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.

— Родька, Родька! Папа приехал!

Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело — порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало — нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.

Иван вошел в избу в одних — шерстяных — носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло

холодом, и он, прежде чем подойти к кроватке сына, растер руки, размял плечи.

— Ну, как он без меня? Не получше?

— Получше, получше. Только вот заснул — все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул — я едва не взревела.

— Пстой-ко, у меня ведь что-то для него есть. Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком — маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.

— На, господи, — развела она руками, — люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? — И пошутила: — На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?

— Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины.

Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.

— Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? — начал рассказывать он, присаживаясь к столу. — Два с лишним дня на таком пайке.

Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходов мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга — и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.

— Нельзя, — неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая — заприходовать все частные сена.

— Колхозников? — выдохнула Анфиса.

Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей прожорливостью. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и вдвоем не съедают, опорожнил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало — кусок житника<sup>[1]</sup> отвернул.

— Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.

— Ну как он? Держится? — Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды

побывала в доме. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом — не прошло и полугода — отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.

— Держитесь. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.

— Это смерть Валина да Марьины у него на уши пала, — по-своему рассудила Анфиса. — Бабу бы ему какую надо. Где уж одному с ребятами маяться.

— Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться...

— Куда возвращаться? В колхоз?

— А что? В колхозе не люди живут? — Иван даже стеклянной банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?

Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кроватку:

— Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?

— Нет кабыть.

— Почему?

— Да все потому. Погодка-то сам видишь какая.

— Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? — Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор. — Чего молчишь? Я ехал по деревне — что-то не больно слышать ихние топоры.

Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.

— Пароходы вечер пришли...

— Ну и что? — опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.

А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае вот, мол, семейственность в колхозе развели.

И она, с трудом сдерживая себя, ответила:

— Ну и то. Грузы привезли.

— Так, сказал Иван, — все ясно. На выгрузку укатали.

Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаяя себя, и вдруг встал — решился. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело — сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?

И Анфиса, подавая мужу сухой ватник наконец-то на улице проглянуло ясное солнышко, сказала осторожно:

— Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.

— А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут... Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге — под каждым кустом стожки...

— Ну, смотри, Иван, — уже прямо сказала Анфиса, — дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?

Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.

От шума проснулся и заплакал в кроватке Родька.

Анфиса подхватила сына на руки и быстро подбежала к окну.

Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван — все еще не остыл — наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу остановился, успокоился.

Дальше все было знакомо. Старые, визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня — тут муж отпустит жеребца. Наматает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню.

И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то,

считай, на этом и кончится ихняя размолвка — сын примирит с матерью, а ежели повернет на дорогу...

Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву — до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И, в конце концов, даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору — к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.

Иван повернул на дорогу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепяному духу.

Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше — стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка — в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей — нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие, ведреные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает — золото день, а только за грабли взялся — и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.

Но, конечно, все эти помехи и задержки — и плахи, и гвозди, и нынешняя погода — все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.

Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине — который уж раз — до зернышка выгребли хлебные сусеки.

И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем.

Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.

Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам — ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть сельпо, а сельповская сеть, известно — всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жметя, щедро платит и натурой, и деньгами.

Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?

Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит.

Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают.

Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у

Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.

Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу — с меня-де взятки гладки.

На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит. Даже в лес им ходу нету — вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.

По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!

— Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?

Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый «тезка», от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:

— Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.

— Ну тогда пушай хоть Чугаретти, что ли, — предложил Аркадий Яковлев. — А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.

— А это можно, — милостиво разрешил Петр Житов.

Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрога, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.

В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.

— Я тебе что, что говорил? Калымить?

— Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин, — обиженно забухал Ефимко. — Что значит калымить? Должна же быть у советского

человека сознательность...

— Заткнись со своей сознательностью! Сознательность... Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?

Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом прописана.

Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза навывкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.

— Ладно, — буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти, заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.

Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой.

Веревочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:

— Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?

— Какие вредители?

— Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить...

— Язык? — страшно удивился Аркадий Яковлев. — Это как язык?

— Да, да, — живо подтвердил Игнатий Баев, — я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»...

— Ну вот, — вздохнул старый караульщик, — заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики... Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут...

— А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют?..



— Обруби концы! Кончай разговорчики! — вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.

— Ты чего? — Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер — каждого под себя подомнет. — Ты чего? — грозно спросил Петр Житов.

— А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику...

— Мишка, своди-ко его на водные процедуры. — Петр Житов вытянул руку в сторону реки.

— Можно, — ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.

Ефимко — недаром торгашом прозвали — не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько, с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.

После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.

Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:

— Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма...

— Ты разве не слыхал? — удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина.

— Я не слыхал! — воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все — и старый и малый — знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.

— Давай, давай! — по-жеребьячи загоготал Петр Житов. — Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..

Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину — дьявол бы их всех забрал! — пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.

— Значит, так, — заученно начал Чугаретти, на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы

близко от родных мест, но не так чтобы и далеко. На энском объекте в районе железной дороги Мурманск — Петрозаводск.

— В лагере? — уточнил Филя.

— Ну, — неохотно кивнул Чугаретти.

Все знали — опять же по рассказам самого Чугаретти, — за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке — не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.

— ...Ну, сидим, значит, у себя, загораем — только что Беломорканал отгрохали, имеем право? — Радуюсь, одним словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем... Ладно, сидим греемся на солнышке — выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так... Ну, нас, зэков, понятно, сразу по баракам — не портить картину. «Стой! — кричит Фролов. Это нашим-то фараонам. — Стой, так вашу мать! Я с ними говорить буду...»

— С характером дядя, — заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.

— Да-а, сказанул нам Фролов — вывернул и потроха, и мозги наизнанку. «Ребята, говорит, в доме у нас воры». Мы глаза на потолок — какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союза. «Чужие воры. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород...» Понятно... Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятки у нас быстренько шариками крутанули: «Чего дашь?»

— Торговаться, сволочи, да? — устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.

Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.

— «Да, чего дашь?» — спрашивают Фролова зэки. — Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с зэками. — «А перво-наперво, говорит Фролов, дам хлеба». И достает вот такой каравайце.

— Не худо, — хмыкнул Аркадий Яковлев.

— «А еще чего?» — еще больше возвысил свой голос Чугаретти. — «А еще, говорит, дам сала». И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают зэки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал-помолчал да и говорит: «А еще, говорит, дам вам, ребята, нож». И вот такую филижину достает из-за голенища.

Развеселившийся Филя-петух заметил:

— У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит.

— Ладно, — продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил. — Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем — вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают — мы от большевиков драпаем как пострадавши. Приняли. Жратвы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: «Гут, гут, рус». Хорошо, значит. А мы, что же, едим да пьем: у зэка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили — как баранов по всему полю. Ну так уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. «Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет...»

Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они, за исключением разве Михаила Пряслина, сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти — так это кончалось всегда — дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений, вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у зэков, что им и немецкий автомат нипочем?

Лукашин — он не забыл, зачем пришел, — одним дыхом выпалил:

— А у нас тоже воры завелись. — При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слог.

Петр Житов вопросительно поднял бровь:

— У нас воры? Где у нас воры?

— В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал — кто-то в колхозные сена к нам залез.

Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся — бей. И он закончил:

— Чуть ли не под каждой елью стожок!

Петр Житов — совсем не похоже на него — как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:

— Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена...

Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.

Он поднял высоко голову, сказал:

— Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию.

Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко — всегда одним у него кончается, — и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом, кажется, хороший день будет завтра, — прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то скорее всего жена одного из этих мужиков — шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется, — крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.

Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.

Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче? Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на больные мозоли людям...»

Но дома — пускай: жена. Да еще и жена неглупая — сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.

В прошлом году он застукал на молотилке двух баб — в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.

То же самое в этом году. Пустяк, конечно, — рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию — весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек — вой кругом поднялся. «Да пойми ты раз навсегда, — втолковывал он ей дома, — в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу — этого тебе надо?» — «Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу».

И вот пожалуйста — явилась. С приветливой улыбочкой — никаких свар там, где я, — а чтобы он не мог придрататься к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.

И именно эта-то неуклюжая хитрость — нитками же белыми шита! — больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался — в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход — праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:

— Анфиса, Анфиса Петровна!.. — Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.

Петр Житов — тот еще артист! — широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящики справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!

— Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение — полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю: мужик-то у меня где?

— Да, дело к вечеру, — игриво ухмыльнулся Петр Житов.

— Да не мели ты чего не надо, — в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. — Вы мне председателя-то испортите — все с вином да с вином...

— Ладно, иди куда пошла, — как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: — А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.

Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.

— Постой, сказал Петр Житов. — Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.

— Нет, нет, не буду. Какое мне питье — ребенка кормлю.

— Ясно. Пить с ворами не хочу...

— Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?

Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.

— В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал...

Лукашин не успел ответить Петру Житову — его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:

— Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ... В газетке вычитал... Председатель свой так сказал. — И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: — Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.

Петр Житов — камень человек! — не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:

— Хочу знать твое мнение на этот вопрос... Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..

Все примолкли — нешуточно спросил Петр Житов.

Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя — кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повернется! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.

Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:

— Какие вы воры... Воры чужое тащат, в чужой дом залезают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нижноконами.<sup>[2]</sup>

Петр Житов — он сидел, развалясь, в кабине — зарычал:  
— Мишка, ты куда от дома на ночь глядя?

Михаил даже не оглянулся — только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. А чего, в самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?

Было еще довольно светло, когда он вошел в ставровский заулочек, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе.

У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулочка, каждый раз вызывала ярость. В темное время тут не пройдешь — того и гляди лоб раскroiшь, а когда ветер на улице — опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уже свалил ее ко всем чертям. Но Лизка уперлась — ни в какую! «Егорша вернется из армии — разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин и уберет, коли надо».

Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон (пищали после войны кое у кого трофейные приемники), то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел.

Всю жизнь, четверть века, стоял ставровский дом под простым охлупнем<sup>[3]</sup> без конька и так мог бы стоять до скончания века: крыша хорошая, плотная, в позапрошлом году перебирали, охлупень тоже от гнили не крошится — чего надо по нынешним временам? — До конька ли сейчас? — А главное — ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами?

Не послушался. Весной, едва подсохло в заулочке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем — с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу — вытесал быстро, за одну неделю. И какой конь получился! С ушами, с гривой, грудь колесом — вся деревня

смотреть бегала. Ну а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся.

И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверно, а новой щепы вокруг бревна по-прежнему не видать. Только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня.

Степана Андреяновича он застал — небывалое дело! — на кровати. За лежкой.

— Чего лежишь? — по привычке пошутил Михаил. — А мне сказали, сват у тебя накопил силы, к сену[4] укатил.

— Нет, не укатил. — Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками. — Помирать скоро надо.

— Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось.

Старик многозначительно вздохнул.

— Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?

— Нет, Миша, не знаю, как где, а у нас моя порода не заживается. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер, Олексей Иванович, уж на что сила мужик был, двухпудовкой, помню, крестился, помер...

— Ерунда! — Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печи, напротив света. — Я недавно роман один читал — «Кавалер Золотой Звезды» называется. Ну так там старик не ты. По-боевому настроен. Сейчас, говорит, мне только и пожить. Правда, у них в колхозе — о-хо-хо-хо! — насчет жратвы там или в смысле обутки с одеждой, у них об этом и думушки нету. Скажи, как в раю живут...

С улицы в избу вползла вечерняя синь. От печного тепла, от однообразного постукивания ходиков Михаила стало клонить ко сну — две ночи не спали на выгрузке, да и выпивка сказывалась, — и он, широко зевая и потягиваясь, пересел на порог, приоткрыл немного двери, закурил.

Разговор, как и в прошлый и в позапрошлый раз, в конце концов перешел к сену — о чем же еще нынче говорят в деревне? Лето сырое, дождливое, сена в колхозе выставлены наполовину — достанется ли сколько на трудодень?

Тут, кстати, Михаил рассказал о недавней стычке мужиков с Лукашиным, о том, как председатель назвал их ворами и как грозился



забрать у них сено на Синельге.

— Так что дожили, — невесело заключил он. — Может, сей год и рогатку под нож. В войну я, парнишко, вдвоем с матерью Звездоню кормил, а теперь сам мужик, Лизка баба да вы с матерью как-никак граблями скребете — и все равно не можем вытянуть четыре копыта...

Старик все эти сетования принял на свой счет, что вот, дескать, он виноват, он в этом году ни разу на пожню не вышел, и Михаил не рад был, что и разговор завел. Поди докажи старому да больному человеку, что ты и в мыслях не имел его.

На его счастье, со скотного двора вернулась сестра.

Весть о своем возвращении Лиза подала еще с улицы — пальцами прошла по низу рамы. И что тут поднялось в избе!

Степан Андреевич, еще недавно собиравшийся умирать, живехонько соскочил с кровати, кинулся в задоски наставлять самовар. Загукал в чулане Вася — этот точно, как по команде, просыпается вечером, в ту минуту, когда забарабанит в окошко мать. Мурка прыгнула с печи — и она, тварь, обрадовалась приходу хозяйки.

Все это давно и хорошо было знакомо Михаилу, и если он кому и удивлялся сейчас, так это себе. Тоже вдруг встряхнулся. Во всяком случае, сонливости у него как не бывало, а руки, те просто сами зашарили по столу, разыскивая лампешку.

Спичка вспыхнула как раз в ту минуту, когда Лиза появилась на пороге. И неизвестно еще, от чего больше посветлело в избе — то ли от пятилинейки, то ли от ее сверкающих зеленых глаз.

— Ну-ну, кто у нас в гостях-то! Не зря я сегодня торопилась домой. Чуюло мое сердце.

За одну минуту все сделала: разулась, разделась, сполоснула руки под рукомойником, вынесла из чулана ребенка.

Вася к дяде не пошел, заплакал, закапризничал, и это немало огорчило Михаила, потому что, по правде говоря, он и сестру-то дожидался, чтобы племянника на руках подержать.

— Дядя, ты нас порато-то не ругай, — как бы извиняясь за сына, сказала Лиза. — Нам тоже нелегко. Мы ведь теперь материного молока не едим, да, Васенька?

Она походила-походила по избе, убаюкивая ребенка, и так как тот не успокаивался, села на переднюю лавку и дала ему грудь. На виду у брата и свекра. Чего стесняться — свои.

Степан Андреевич неодобрительно покачал головой: не дело, мол, это. С таким трудом отнимала ребенка от груди, а теперь сама приучаешь. Да разве против Лизки устоишь?

— Что ведь, сказала она на замечание деда, — пускай уж лучше матери худо, чем ребенку.

А матери было-таки и в самом деле худо. Она морщилась от боли, закусывала сухие, обветренные губы и под конец, когда явилась с вечерним молоком Татьяна, накинута на брата. Из-за коровника. Из-за того, что Петр Житов с Игнашкой Баевым, как сообщила Татьяна, распьянехонькие бродят по улице. А раз распьянехонькие — какая завтра работа?

И вот не успел он и рта раскрыть, как Лизка начала выдавать и строителям, а заодно с ними и ему:

— Пьяницы оканные! Сколько еще пить будете? Есть ли у вас совесть-та? Коровы опять зимой будут замерзать, а у вас только одно вино и на уме. С коровника на выгрузку удрали — где это слыхано?

Михаил сперва отшучивался, ему всегда забавно было, когда Лизка за колхозных коров заступалась, — просто на глазах сатанела, дуреха, — а потом, когда в разговор встрял старик, начал понемногу и сам заводиться.

Степан Андреевич, давно ли еще вместе с ним судачивший о сене, принял сторону невестки (что бы та ни сказала, всегда заодно с ней), и Михаил почувствовал, что должен, обязан разъяснить им что и как. Ведь легче всего попрекать мужиков стопкой. А разве за стопкой бегут на выгрузку? Вот за этой самой буханкой, которую они сейчас кромсают. Может, врет он, неправду говорит?

Конечно, он, Михаил, немного хватил через край — сестру и свата вроде как попрекнул: не забывайте, мол, чей хлеб едите, — а на самом деле у него этого и в мыслях не было. Просто допекли его, вот он и брякнул не подумавши.

Шумно, с излишним усердием пили чай и молчали. У Васи, все еще терзавшего грудь матери, один глаз уже закатился, а другой устало, с прижмуром, как у отца, смотрел на дядю.

Михаил кое-как допил стакан и опрокинул кверху дном: все, домой пора. Но разве Лизка отпустит брата вот так, со сдвинутыми бровями?

— Давай так, дядя, посиди с нами, — заговорила она нараспев от имени сына. — Успеешь домой. Покури. Нам, скажи, все равно надо привыкать к дыму. Скоро папа вернется — ведь уж не будет выходить из избы. Есть ли у нас, татя, сколько табаку-то? — обратилась Лиза к свекру. Она почитала старика за отца. Может, безо всего, с голыми руками приедет. Да и вина бы бутылки две не мешало раздобыть. Ведь уж нашего папу не переделаешь, да, Васенька? С мокрым рылом родился.

Сколько раз Михаил наблюдал за сестрой, когда та начинала говорить о Егорше, а все равно не мог привыкнуть! Лицо вмиг разгорится, разалеется, глаза заблестят, а про голос и говорить нечего — соловей запел в избе.

Он тысячу раз задавал себе вопрос: чем взял ее этот кобель? За что она его так любит? Неужели за то, что предал ее на другой же день после свадьбы?

Да, послушать Егоршу, так в армию его взяли потому, что у него-де льгота перестала действовать. Из-за женитьбы. Поскольку новый человек в семье появился. А при чем тут женитьба? Лизка была не в летах, не было ей еще восемнадцати, когда он ее захомотал, так что годик-то наверняка можно было покантоваться дома.

Михаил щадил сестру и никогда не говорил с ней об этом, но сам-то он знал, ради чего женился Егорша. Ради того, чтобы взвалить на нее, дуреху, старика. Чтобы самому быть вольным казаком...

У Васи уже закатился и второй глазок — запьянел, видно, с непривычки от материнного молока, а сама мать все еще мыслями со своим разлюбезным, и Михаил, еще минуту назад радовавшийся отходчивому сердцу сестры, вдруг ужасно разозлился на нее.

Он круто вскочил на ноги и, не сказав никому ни слова, выбежал из избы.

...Вот и первая звезда заблестела в луже — кончается лето. И под горой, у реки, не белеет больше рожь — августовская темень задавила хлебный свет в поле.

Осень, осень подходит к Пекашину. Самое распоганое время, ежели разобраться. Налоги всякие — раз, обутка да одежонка — два (то ли дело летом: ребята босиком и сам что ни надел — лишь бы ногу не кололо). Потом это сено распроклятое, корова... Эх, да мало ли еще каких забот разом обрушивается на тебя осенью!

А ведь была, была у него возможность на всем этом поставить крест. Давалась в руки и ему большая жизнь.

Главврач районной больницы как увидел его во всей живой натуре, без прикрытий, даже привстал. Мелкий, худосочный народишко собрался на призывном пункте — война пестовала. Ну и, конечно, не мудрено в таком лесу сойти за дерево. И уж он, главврач, повертел его! И так и эдак поставит, в грудь постукает, в рот заглянет, пробежку даст — ни одного изъяна. Даже скрип в коленях куда-то пропал.

— Редкий экземпляр! В любой род войск. Ну, говори, куда хочешь. Во флот? В авиацию?

— Льгота у него, сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила: «Ну, Пряслин, решайся!» (Два часа перед этим уламывал: не беспокойся, семья не пропадет.) И как же ему хотелось сказать: да!

Но глупая — пряслинская — шея сработала раньше, чем губы: нет...

Что ж, вот и ишачь себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит — не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью и беспощадностью Егоршу. Черт его знает, может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил? Чем вспомянет потом свою молодость? Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?

В школе у Якова Никифоровича был свет — единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда — похрустывал мокрый песок на тропинке, и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках.

Михаил, заинтересованный (кто с таким блеском ходит в Пекашине?), остановился.

Раечка Клевакина — у нее резиновые сапожки с радугой.

— Рай, здравствуй!

Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени.  
А чего таиться, когда от самой так и шибает духами?

— Здорово, говорю.

Раечка сделала шаг в сторону.

Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шуры-муры с учителем?

Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку.

Холодно, по-зимнему глядели на него большие серые глаза. Губы сжаты проходи!

Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоновича.

Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек (хорошая погода завтра будет), усмехнулся:

— Дак вы теперь на пару сырую картошку лопаете?

Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил — только хвойный настой.

Раечка вильнула в сторону, но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забилась у него в руках.

Нет, врешь, голубушка! С сорок третьего каждую молодягу, каждую кобылку и жеребца, в колхозе обламываю, так неужели с тобой не справиться? И он резко, с силой тряхнул Раечку, так что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот.

Выпуская из рук, сказал:

— Через два часа выйдешь на задворки против себя. К соломенным ометам...

— Зачем? Чего я там не видела?

— Затем, что я приду. Потолковать надо...

Хорошо тому живется,  
У кого одна нога:  
Сапогов-то мало надо  
И портяночка одна.

Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурачась, тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был и еще кое-кто.

Решили добавить, догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огорода с дороги. Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Олена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме, и вот придумали: с осени прошлого года обосновались в бане. Стены да крыша есть, коптилку соорудили, а больше что же надо?

Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех (карты, анекдоты, трепотня), сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. Сам же сказал Райке: выйди к ометам на задворках.

Он встряхнулся, пошагал домой. Однако пройдя дома три, он остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил, — по нему-то он и узнал в темноте ворота.

Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он был с Райкой — ух как лихорадило! А только отвернулся — и хоть бы и вовсе ее не было. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой.

Сколько пережито за все эти пять лет, что они в разлуке, сколько бабья всякого побывало у него в руках — сами лезом лезут, — а увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил, не стоял рядом, только увидел издали — и шабаш: никого не знал, никого не любил...

В клубе произносили речи — на совещание механизаторов приезжал, — потом было кино, потом выпивка была в чайной, а спроси его, кто выступал, какое было кино, с кем сидел за столом в чайной, — не сказать. Вот какая отравка эта Варвара...

На лугу, под горой, пофыркивали, хрустя свежей отавой, лошади, мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик, и там же бледными зарницами отливала река. А вот хлебного света, сколько он ни вглядывался туда, в подгорье, не увидел. Задавила темень.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню.

Проводы скота в поскотину Лиза любила превыше всего. Ну-ко, семьдесят коров забазанят в одну глотку — где еще услышишь такую музыку? А потом, чего скрывать, была и гордость: выделялись ее коровки. Чистенькие, ухоженные, бок лоснится да переливается — хоть заместо зеркала смотришь.

— Ну уж, ну уж, Лизка, — качали головой бабы, — не иначе как ты какой-то коровий секрет знаешь.

Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря, да первой прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтобы было чем и напоить скотинку и вымыть, да днем раза три съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойла, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с поскотины возвращались... Вот сколько у нее всяких секретов! Надо ли еще сказывать?

В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна.

— Иди скорейча... Михаил велел...

— Зачем? Очумели вы — такую рань! Я ведь не у Шаталова на бирже работаю...

— Иди, говорят. Те прибежали...

— Кто — те? Ребята?! — ахнула Лиза.

Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось запихать в ремесленное училище — Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам — семи месяцев не хватает до шестнадцати, а потом годы уладили (Лукашин без слова выписал новую справку) — в здоровье дело уперлось. Не подходят. Больно тощие. А с чего они будут не тощие-то...

И вот, рассказывал Михаил, пообивал он пороги. Туда, сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему — в городе, не у себя в районе: нет и нет. Рабочий класс... Надо, чтобы была сила...

Спас Пряслиных Подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел. Просто как с неба пал. «Пряслин, ты

чего здесь околачиваешься?»

И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал. Прямо в городе, среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда, при случае вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места.

Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза: не за тем, не слезы лить зовет ее брат.

Голос Михаила она услышала еще с крыльца. Шумно, на выкрике пушил двоинят. И еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он, бестолковый, на ребят навалился?

Лиза быстро поправила на голове платок, взялась за железное кольцо в воротах.

Так оно и есть: хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричать на ребят, и она на них лаять. А те, несчастные, ни живы ни мертвы. Сидят на прилавочке у печи, возле рукомойника, как будто они и не дома — глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняг, заступился! Матерь, правда, та не в счет — та век старшему сыну слова поперек не скажет. Да Татьяна-то что в рот воды набрала? Сидит, в окошечко поглядывает, будто так и надо. Да и Федька, на худой конец, мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить: немало его братья выручали.

Лиза сказала:

— Давай дак ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету...

— Счастья? — Михаил выпрямился — полатница над головой подскочила. — Какое им еще счастье-то надо? Худо им было на всем на готовеньком, да? Вишь, домой захотели... По дому соскучились...

— Да вы это сами? Вас не выгнали? — Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало. — Да вы что, еретики, с ума посходили?!

Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался.

— Возьмешь к себе. Чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.

— Может, хоть денек-то им можно пожить дома? — подала наконец свой голос мать. И то невпопад: разве об этом теперь надо



думать?

Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Те заплакали.

— Ну еще! — прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула. — Сами виноваты, да еще и плачете... Одевайтесь! Живо у меня.

Чтобы не мозолить людям глаза (никогда не лишняя осторожность), она повела братьев подгорьем.

— Ну вот, — заговорила, когда спустились босиком к озеру. — Смотрите, по дому соскучились! А чего скучать-то? Всё тут — и поля, и огороды, никуда не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели да обули. Пальта матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком... Да вы как буржуи. Кто у нас, в Пекашине, так ходит? И кормили, наверно, — не помирали с голоду?

— Нет.

— Грамм-то пятьсот всяко, думаю, давали.

— Восемьсот...

— Чего? — Лиза остановилась пораженная. — Восемьсот грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну вот Михаил-то и выходит из себя. Устраивал-устраивал вас, сколько время потратил, а вы на-ко что надумали — домой. Да где у вас голова-то? Ведь уж надо потерпеть — попервости завсегда человеку на новом месте муторно, а потом привыкают. Я бы еще не удивилась, кабы Федька деру дал, а то вы...

Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузику — тот с самого начала, едва они вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара, там так и перекатывался черно-белый клоч шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый, не будет из него дельной собаки. Потому что разве дело это — на своих лаять?

— Вон ведь вы что натворили! — принялась опять совестить братьев Лиза. Тузко и тот дивится...

— А он и вчерась на нас лаял... Мы это подходим вечер с задворья к дому, а он нас не пускает... — И Петька и Гришка вдруг горько разрыдались.

— На вот! Нашли из-за кого убиваться. Маленькие! Тузко их не пускает...

— А мы его еще не видели... Нам Таня написала — у нас собачка хорошенькая есть...

— Да вы, может, из-за этой собачки хорошенькой и домой-то прибежали?

Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уже не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети.

## 2

— Татя, смотри-ко, каких гостей веду. Узнаешь ли?

— О, о! — неподдельно удивился Степан Андреевич. — Петр да Григорий. Сватушки...

— Домой вот прибежали, — сказала Лиза, прикрывая дверь за братьями. — А знаешь, зачем прибежали? — Она рассмеялась. — Тузка смотреть. На-ко, из города, за четыреста верст Тузка смотреть. — Она опять рассмеялась. — А Тузко, глупый, и к дому их не подпустил, лай на весь заулочок поднял.

— Ничего, — сказал старик ребятам. — Не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина — Жулькой звали, — что хоть плачь...

— Неуж, татя? — страшно удивилась Лиза.

— Да, да, было такое дело.

— Ну, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел.

Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза все сделала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопала молодой розовой картошки, целый чугунок наварила — ешьте досыта! Почему вы такие-то худющие ведь когда война кончилась. Потом вымыла их в бане — что и за дом, когда в бане не побывал? Потом — не поленилась — сбегала к своим за Тузиком: Вася, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится.

Принесла в кузове за спиной, на пол вывалила — вот вам тот, по ком скучали!

В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком-то напозлались да наигрались сколько хотели.

Единственно с чем плохо в этот день было — с попутной машиной. Так этих попуток сколько хочешь ныне — леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо ставроского дома катят то в район, то из района. А сегодня Степан Андреевич часами дозорил возле дороги — и ни единого колеса.

В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади — благо ей за подкормкой ехать надо, — а там, может, попадетя какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами: недалеко — одиннадцать — двенадцать верст.

Степан Андреевич стал было уговаривать ее оставить ребят до утра ничего, мол, не случится, ежели и позже на день придут в свое училище, — но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу, как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? — Не посчиталась она со старшим братом только в одном — насчет денег. Дала по двадцатке каждому на дорогу, потому что на попутке проедут и бесплатно, а на пароходе как? Хватит, натерпелись они страху, когда вперед попадали с пятеркой в кармане на двоих.

Ехали неторопко. Мазурик был в оглоблях — самая распоследняя коняга в колхозе.

У болота, в сосняке, кричали и улюлюкали ребяташки — не иначе как за молодой белкой гонялись, а со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом, — похоже, Петр Житов шуганул бездельников. И, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам — затаились позади сестры на телеге и ни слова.

Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об ученье, об их будущей жизни — раньше двойнята любили такие разговоры.

— Смотрите-ко, ребята, как вам повезло, — говорила она. — Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет. Краса! Потом где захотел, там и живи — хоть в деревне-матушке, хоть на городах. Не зазнавайтесь только. Меня, может, потом и признавать не захочете, да?

Ребята не откликались.

Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвостью не отличался бывало, навоз возишь, не одну вицу обломаешь, а теперь, в старости, и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с

ним под вечер, да еще когда надо от дому ехать. И Лиза невольно подумала: вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана, а что же говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, а она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес, на Ручьи.

Наконец добрались до Синельги.

Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев — одного, другого, подтолкнула сзади:

— Чёсайте.

И не выдержала — расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками.

С запада надвигалась туча, темная, лохматая, откуда только и взялась — всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру, серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге... Да что же это такое? Кто же глядя на ночь отсылает ребят в дорогу?

— Стойте, окаянные! Куда это полетели?

Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре.

— Из училища-то не выгонят, ежели ночь переночуете у меня?

— Не...

— Не! Как — не? Кто вас, летунов, держать будет? Кому вы такие нужны?

— Не, мы ведь не сами... Нам на неделю разрешено...

— Вы опять за свое! — Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем: будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил. — Чего из вас выйдет-то — с таких годов врите? На вот — опять слезы... Плакать-то раньше надо было... Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да о реку, а не дорогой. И дома у меня, как мыши, замрите, чтобы никто не видел. А то Михаил узнает — голову с меня снимет...

Был поздней вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками, и темень

стояла кромешная, августовская — Лиза два раза натыкалась на изгородь.

И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай.

Да что же это такое? Мало она натерпелась страхов за сегодняшний вечер это ведь не шутка, ежели из-за тебя ребят выгонят из училища! — так еще свекор огонька подкидывает...

Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши пришло!

— Когда пришло? Не в сутеменках?

— В сутеменках, в сутеменках, — живо закивал Степан Андреянович. Тоже и он весь рад. — Я как раз с лучиной вышел овцам подать — Окся-почтальонша воротца открывает...

И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же быть замена! И такую замену она с радостью принимала: больше двух месяцев не было от Егорши письма.

К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками письма Егорши всегда зажигали у нее кровь, с сыном на руке — это уж обязательно.

«Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза. С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов...»

— А Васе опять привет написать забыл, — заметила, хмурясь, Лиза. — Не знаю, что за отец такой — про сына забывает. — Она перевернула листок, заглянула в конец письма. — Ну да, опять как нищему через заднее окошко: «Привет сыну Васе...»

«Во первых строках сообщаю, что наша... энская часть... — Лиза посмотрела на свекра, на ребят: это еще что? — ...наша энская часть была на боевых ученьях, те есть на маневрах, а поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка...»

Лиза покачала головой, усмехнулась:

— Вот как он у нас, татя, высказывается. Как с трибуны. В котором письме уж про эту международную обстановку... Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет... Ну, почитаем дальше.

«Боевые ученья прошли успешно, то есть на большой, дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь Советской Армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия...»

Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра и вдруг по-бабьи заголосила:

— Татя, да он ведь не приедет к нам... Там останется... В армии...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах... топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет.

Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и саму стройку.

Не ахти какое сооружение колхозный коровник, не из-за чего тут приходиться в телячий восторг, но ежели каждое дерево ты добывал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкроить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом — лесозаготовки же! — ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, а остальные так себе, для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, и на колхозный коровник станешь молиться.

Плотники, завидев, верно, председателя, поживее задвигали руками, и вот как он въелся в стройку — издали, на слух начал угадывать, кто как работает.

С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин — не щадит себя парень, не умеет работать вполсилы. Стараются сегодня Филя-петух. Трень-звень — как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Стук-стук — и встали. Инвалид — кто отрицает? — но ведь топор-то не в больной ноге держит, а ручищи у него — дай бог каждому.

Волнами накатывался смоляной настой. Свежая щепка, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце...

Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин, а вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь: жатва подошла, первую заповедь выполняй, а кроме того, снова берись за косу, раз ведро началось.

Плотники один за другим спустились с лесов, подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов — он сколачивал крестовину стропил на задах, и теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора.

— Ну дак что будем делать-то, мужики? — заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили. — Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?

— А энто уж дело хозяйское, — сказал Петр Житов.

— Хозяйское? А я думал, вы хозяева.

— Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да и остригли...

Так, поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать.

Лукашин подождал, пока не затих смехок, сказал:

— Ну, раз вы бараны, тогда верно — баранов не спрашивают. — И уже совсем голосом команды: — Яковлев Аркадий — на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь. Пряслин — на Копанец...

— А мне и здесь не худо, — огрызнулся Михаил и взгляд исподлобья, как будто он, Лукашин, его первый враг.

Пришлось поднять все ту же незримую председательскую палку — ничего другого не оставалось:

— К обеду чтобы был там. Понял?

— И не подумаю.

— Тогда за тебя подумают.

— Кто? Может, в дальние края, на высылку?

Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место.

У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более что в это время к коровнику подъехал на полторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль.

— Житов, Аркадий, — он с треском оторвал штаны, вставая (опять, черт подери, на смолистое бревно сел!), — вы остаетесь на новостройке. Вас не будем трогать. — И крикнул вылезавшему из кабины шоферу: — Заправься поскорей. В район поедем. Живо!

## 2

Подрезова в райкоме не было — с утра уехал в Саровский леспромхоз.

— Неважно у нас нынче с зеленым золотом, Иван Дмитриевич. Опять много недодали родине...

Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом — кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче?

— Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет?

Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома, тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и то полинялой, и невольно перевел взгляд налево, туда, где, затянутая в черный дерматин, пухлая, как стеганое одеяло, жарко сверкала медными шляпками дверь подрезовского кабинета. Но он все же решил зайти.

О Фокине, вернее о том, как тот стал секретарем райкома, ходили самые невероятные слухи — больно уж круто взмыл человек. Прямо из курсантов областной партшколы да в секретари!

Одни говорили, что Фокину просто повезло — на какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам хозяин области и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: «Нечего тут штаны протирать. В район».



По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области — всех покрыв, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился.

Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома.

По словам Митягина, все началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулез легких. В городе оставаться нельзя — врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг, на счастье Фокина, в область приезжает Подрезов. На какое-то совещание.

Фокин к нему в гостиницу: так и так, Евдоким Поликарпович, выручай крестника! А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил: одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве — по суткам мог вместе с мужиками не спать.

— Да, — говорит Подрезов, — крестника выручить надо. А какую бы ты работенку хотел? Ну-ко, дорогие товарищи, подскажите.

Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. А секретарям — что? Какое им дело до какого-то Фокина? Слава богу, своих забот хватает.

— Ну, а язык как у тебя? Подвострил тут в школе? — спрашивает Подрезов.

— Да вроде бы ничего, — отвечает Фокин. — Кроме пятерок, других оценок покамест не имею.

— А мне не оценки твои нужны, а то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает?

Фокин, понятно, сразу скис — невелика должность быть партийным вожаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился?

— Охота бы, — говорит, — Евдоким Поликарпович, поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна...

— Да уж куда ближе, — говорит Подрезов, — от райкома до районной больницы. Непонятно? Секретарем по пропаганде будешь.

Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили:

— Как, Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать как у себя в районе?

— А это уж моя забота, — отвечает Подрезов. — Неделю на сборы хватит? Это опять Фокину. — Ну а насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся. Я завтра же договорюсь с кем надо.

Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил: больно уж все это походило на Подрезова. Любил Подрезов показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь (прежнего забрали на повышение), и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем, с кем, а уж с ним-то, чуть ли не первым лесным тузом в области, наверху считались.

Лукашину за эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секретаре он сказать не мог. Речист. Людей не боится — сам прет на них. И ловок, конечно, — знает, где можно прижать человека, а где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокиным, пожалуй, и кончалось, ибо по всем сколько-нибудь серьезным делам председатели колхозов шли к Подрезову — он был всему голова в районе.

В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета, жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону.

На мгновенье вскинул черные прямые брови — не ожидал такого гостя! — но тут же заулыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку «Беломора»: кури. Это уже совсем по-подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчиненных табачком, особенно в командировках — специально возил с собой курево, хотя сам и не курил.

Разговор у Фокина был с областью — Лукашин сразу это понял по той особой, можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румянном лице и по тем особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством: «Так, так... вас понял... будет сделано... не подведем...» Зато уж когда повесил трубку, дал себе волю: наверно, с минуту прочищал легкие шумно, как конь после тяжелой пробежки.

— Первый мылил, — с улыбкой сообщил Фокин. — Насчет первой заповеди... А как у тебя? Начал жать?

— Начал.

— И сенокос не забываешь?

— Кое-кого отправил на Синельгу.

Фокин кивнул за окно на солнце.

— Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет это колесо выкатывать. А как коровник? Покрыл?

До сих пор Лукашин отвечал и слушал как бы по обязанности: секретарь. Положено интересоваться. А тут вскинул голову: откуда Фокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его, Лукашина, в прошлом году на бюро райкома песочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку?

— Ну-ну, по глазам вижу, — подмигнул Фокин своим черным хитроватым глазом. — Приехал насчет техники клянчить, так?

Лукашин только плечами пожал: Фокин ну просто читал его мысли! Именно за этим, насчет жатки, тащился он в район, ибо, раздобудь он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше — значит, можно не прерывать работы на коровнике...

— Смотри, смотри, товарищ Лукашин, — сказал Фокин и кивнул на дверь, в сторону кабинета Подрезова, — с огнем играешь. До самого дойдет, какие ты художества в период уборочной вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдоким Поликарпович отца родного не пощадит. — Это уже намек на его, Лукашина, близость с первым секретарем.

Солнце било Фокину в глаза, жарило черноволосую голову, синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавало, а он только зубы скалил от удовольствия — белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге не часто встретишь.

— Мне бы жатку, Милий Петрович, раздобыть, — вдруг заговорил напрямик Лукашин. — Вот бы что меня выручило.

Фокин ухмыльнулся:

— У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где же сейчас жатку возьмешь?

— Я думал, что, поскольку у меня строительство, райком пойдет навстречу...

— Ты думал!.. Сколько этой весной нам жаток завезли, знаешь? Пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему показательному.

— Вот показательному-то можно было не давать. И так все добро туда валят.

— Ну, это ты с Евдокимом Поликарповичем толкуй, ежели такой смелый... Опять намек на его близость с Подрезовым.

Фокин прошелся по кабинету, тяжело, по-подрезозски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку:

— Барышня, дай-ко мне «Красный партизан». Да побыстрее... Товарищ Худяков? Здравствуй. Вот не думал, что ты в правлении загораешь. — Фокин по-свойски подмигнул Лукашину. — Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать... Чего-чего? Все давно смахал? Верно, верно, я и забыл. Слушай-ко, Аверьян Павлович, пожурить тебя хочу... За что? — Фокин опять подмигнул Лукашину. — А за то, что ты соседа своего обижаешь... Какого? Соседа-то какого? А того, у которого великая стройка... Да, да, у болота, захохотал Фокин. — Ладно, ладно, не прибедняйся. Жатку ему надо. Да, да... Нету? Брось, брось — нету... Откуда? А оттуда, что у тебя все косилки на полях. Правильно? А у него сенокос, сенокос в разгаре... Понял? Понял, говорю?

Фокин еще несколько минут, то весело похохатывая, то наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал:

— Поезжай. У твоего соседушки всякой всячины толсто. Да присмотрись хорошенько. Худяков — замок с секретами...

Лукашин крепко, с чувством пожал протянутую короткопалую руку в черном волосе. Все-таки это была помощь.

— Да, — окликнул его Фокин, когда он был уже у дверей, — с осени тебе дадим комиссара...

— Парторга?

— Да. Негоже приход без попа. Есть решение райкома: у вас теперь будет освобожденный парторг.

— А кто он?

— Парторг-то? А вот это покамест секретец. — У Фокина во все полное румяное лицо просияли белые, молочные зубы. — А в общем, пройдишь по райкому он тутошний...

Чугаретти просто взвыл от радости, когда узнал, что они едут к Худякову:

— Вот это путёвочка!

Затем, когда сели в кабину, пояснил:

— У меня там шурыга проживает, значит. Давно в гости зовет. А второе, конечно, Худяков...

— Тоже родня? — спросил Лукашин.

— Почему родня? Никакая на родия. Разве что на одном солнышке портянки сушили. А поглядеть на Худякова кто же откажется? Ведь этого Худякова, я так понимаю, и человека на свете хитрее нету.

— А чем же он так хитер?

— Чем? — Чугаретти страшно удивился. Он даже на какое-то мгновенье баранку выпустил из рук, так что машина круто вильнула в сторону и впритык прошла рядом с жердяной изгородью на выезде из райцентра. — Ну, Иван Дмитриевич... Чем Худяков хитер? А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слышали? Ну, после войны дело было. Цыган, вишь, вздумал поживиться за счет «Красного партизана». «Давай, говорит, лошадьми меняться, хозяин». А Худяков — чего же? «Давай». Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал — подохла кобыла, а у Худякова коняга тот и сейчас жив. Во как! Да чего там, — Чугаретти коротко махнул рукой, — у него даже сусеки в амбарах не как у всех. С двойным дном.

— Какие, какие? — живо переспросил Лукашин.

— С двойным дном, говорю.

— Это зачем же?

— А уж не знаю зачем. Затем, наверно, чтобы на зуб себе завсегда было. Их доят, доят, а они все с хлебом...

Лукашин захохотал: нет, неисправим все-таки этот Чугаретти. Начнет вроде бы здраво, а кончит обязательно брехней и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему поговорить об Аверьяне Худякове. Сосед. Да и мужик больно занятный. По сводкам — сдача мяса, молока, хлеба — всегда впереди, а не любит языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне, только разве вытащат когда, пробубнит

несколько слов, а так все помалкивает и сидит не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади.

Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе. Да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Летом с ходу к нему не попадешь — за рекой живет, — а на председательских «собраниях», которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь: то ли потому, что расходов лишних избегает, то ли оттого, что не пьет.

— Так, говоришь, сусеки у Худякова с двойным дном? — развеселился вдруг Лукашин.

Чугаретти — коровьи глаза навывкате, ноздри в гривенник — яростно накручивал баранку.

Машина подпрыгивала как шальная, ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил — пускай порезвится, дурь свою повытрясет: они теперь лугом ехали.

Благоразумие к Чугаретти вернулось за мостом — с грохотом пролетели. Он задвигал дегтярной кожей на лбу, захлопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина.

— В следующий раз за такие фокусы выгоню, — предупредил Лукашин.

— А чего и не верите. — Чугаретти по-ребячьи, с обидой ширнул носом. — Я, что ли, выдумал про эти сусеки? Поди-ко послушай, что говорят про этого Худякова.

— Кто говорит?

— Народ. У них ведь, в «Красном партизане», что было до Худякова? А такой же бардак, как у всех протчих. А Худяков пришел — ша! Дисциплинка — раз и два — на лапу. «Я, говорит, научу вас землю рыть носом, но что полагается — дам, голодом у меня сидеть не будете...» Во как сказал Худяков на собранье, когда его в головки ставили.

— Ну и дал? — спросил Лукашин.

— А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили смолокурня у отца была: врите, поклонитесь еще Аверьяну Худякову! Ну и поклонились. На лесозаготовки загнали в Вырвей, в самую глухоту, а он и оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал — во как! Правда, — сказал Чугаретти, подумав, — народишко в Шайволе не как у всех протчих. Дружный. Горой друг за друга. И

вообще у Худякова такой порядочек: что народ решит, так тому и быть. Про Манечку-то небось слышали? Ну, как он с дочерью родной разговаривал... Нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси — знает!

Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему — рассказывать вполголоса. Он уж так: ежели возносить человека, то возносить до небес.

— Ну и ну! — воскликнул Чугаретти и помотал головой. — Да вы, я вижу, про Худякова ни бум-бум. Ну а насчет того, как в город веники возил продавать... Чтобы пятаками разжиться?

У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал:

— Ты давай сперва про эту самую... Манечку...

— А-а, это насчет дочери-то. Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь, к отцу: «Папа, дай справку. Я учиться поеду». — «А ты разве не знаешь, дочи, какой у нас порядок?» Это отец, Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой: никого из колхозу. До семилетки учишь, не препятствуем, а дальше — стоп. Работай. Вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну а девка у Худякова отличница круглая да и не робкого, видать, десятка — заявление. Прямо на общее собрание адресовалась: так и так, хочу учиться. Отпустите.

Тут Чугаретти сделал небольшую передышку — специально, конечно, для того, чтобы дать Лукашину все как следует прочувствовать.

— Ладно. Собралось в назначенный час собрание. Вопросы: итоги на посевной, а также прочее в разном. Ладно. Дал Худяков картину по первому вопросу, все как полагается. «А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Одним словом, семейный вопрос, передаю собранию своему заместителю». Ну, выслушали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решение вынесли единогласно: разрешить ученье Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу. Первое, конечно, то, что дочь председателя надо же уважить человека, раз столько для колхоза сделал, а второе — пятерки Манечкины. Кому охота талант живьем зарывать. Не звери же — люди сидят... И вот тут-то в это самое время поднимается Худяков. — Чугаретти аж всхлипнул — до того расчувствовался. — «Никакой учебы для Худяковой. Как отец — за, а как председатель —

нет». То есть вето. Как в Объединенной Нации. Одним словом, запрягайся, Манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы...

За открытым окном кабины косматился иссиня-зеленый рослый ельник, белые березки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц — двух беленьких девчушек с берестяными коробками — и сразу понял, что они подъезжают к Шайволе.

— Ну и чем кончилась эта история? — Так и не отпустил Худяков дочку?

Чугаретти удивленно вытаращил глаза: какое, мол, это имеет значение?

Лукашин не настаивал. Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорее похоже на легенду, чем на житейскую историю, а легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?

#### 4

Пинега под Шайволей не уже и не мельче, чем под Пекашином, но перевоза нет, и Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова.

— Вот так, сказал он многозначительно. — Мало того, что он рекой от начальства отгородился, дак еще и всю связь ликвидировал.

Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны, из-за острова, выскочила длинная узконосая осиночка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина.

— К правленью-то дорогу без меня найдете? — спросил парень, когда они переехали за реку. — А то бы мне за травой надо съездить.

— Мотай, сказал Чугаретти и вдруг страшно обиделся: — Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь? Чей будешь?

— Ивана Канашева.

— Чувак! А за дорогой от вас кто проживает? Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштанниках?

Парень захохотал:

— Олексея Туголукова.

— Олексея Туголукова... — передразнил Чугаретти. — Шуряга мой. Где он сейчас? На Богатке?



— Не, дома кабыть. Ногу порубал — к фершалице ходит.

Чугаретти пришел в восторг:

— Вот это да! Везуха! С моим шурыгой можно кашу сварить.

Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полуверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришлось сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями.

Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни.

— Нету. Всё тут. О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадило. А то у них за пятьдесят верст ехать надо, да и то какие это сена — кот заплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сено гужом добывали да зимой — чистый разор. Просто съедали лошади колхоз. А Худяков пришел: «Не будем возить сено к скоту. Скот погоним к сену». Мой-от шурыга круглый год живет на Богатке, телят кормит. Там у них дело поставлено...

За лугом, при выходе с поля, Чугаретти свернул налево — шурин его жил в нижнем конце деревни, — и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти — не соскучишься, но сколько же можно — Худяков, Худяков...

День был теплый, безветренный, душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через которую шла дорога.

Рожь была неплохая, но и не лучше, чем у них в Пекашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина — кочаны как кочаны, — а вот деревня его поразила.

Ни одного заколоченного дома (по крайней мере в середке, которой он проходил), а главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекашине какие дома уделаны? Те, где живет мужик. А на вдовьи хоромы, а их большинство, и смотреть страшно: как Мамай проехал.

Тут же вдовья нищета и обездоленность не бросались в глаза, и Лукашин, хоть и не без некоторой ревнивости, должен был признать, что это дело рук председателя. Его, Худякова, заслуга.

Присмотрелся Лукашин и к конюшне, которая встретила на пути. Сперва показалось диким — грязь и базар посреди деревни, чуть ли не под самыми окнами правленья (спокон веку хозяйственные

постройки в колхозах на задворках), а потом подумал и решил: здорово!

Лошадь зимой, когда все тягло на лесозаготовки забирают, на части рвут, нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне. А тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле — поопасется самоуправничать. Худяков встретил его у колхозной конторы.

— Долгонько, долгонько, товарищ Лукашин, попадаешь, я уж, грешным делом, едва не маханул в поле. — Худяков указал рукой куда-то на задворки, очевидно, там были тоже поля. — Как насчет чаишка? Не возражаешь? Солнце-то, вишь, где на обед сворачивает.

Лукашин не стал возражать — он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай, — и Худяков повел его домой.

Ничего особенного Лукашин как раньше не находил в Худякове, так не нашел и сейчас. Мужик как мужик.

Правда, сколочен крепко и надолго. Ему уж было за пятьдесят, а в чем возраст? В глазах? В походке? Ногу в кирзовом сапоге ставит неторопко, твердо — хозяин идет. Да и вообще по всему чувствовалось — корневой человек. Вагами выворачивать — не вывернуть... Глубоко, как сосна, в земле сидит.

Лукашин все время думал, кого же напоминает ему Худяков, и, только когда тот стал расспрашивать его о райкоме, решил — Подрезова. Вот у кого еще самочувствие и хватка хозяина.

Раскаленный самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу.

Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Тот отвел глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребенок, а не дочери или сына, который был в армии.

М-да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина, у него везде жизнь на полном ходу...

Закуска к водке (Худяков выставил непечатую бутылку) оказалась самой обычной, по сезону: молодые соленые грибы и лук — свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки, — зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный, был на славу.

Лукашин, с аппетитом уминая его за обе щеки, подмигнул:

— Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать.

— А это уж к хозяйке надо адресоваться. Она у меня мастерица.

— Да хозяйка и у меня не без рук, сказал Лукашин. — С хозяином загвоздка.

— У нас на Севере, товарищ Лукашин, всему голова — навоз. Наши пески да подзолы без навоза не родят... И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз...

— Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живем вприглядку. Хлеб видим, покуда он на корню...

— Везде порядки одинаковы, — уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стояке, за зыбкой, потом для полной ясности взглянул за окошко, в поле.

Лукашин нисколько не обиделся: к делу так к делу — он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой. И потому начал прямо, без всяких подходов: выручай, мол, Аверьян Павлович, соседа. У тебя сенокос закончен, вся техника брошена на поля — чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку?

Худяков махнул рукой:

— Ну, это пустое дело. Давай об чем-нибудь об другом.

— Да почему пустое? — загорячился Лукашин.

— А потому. Коня отдай соседу, а сам пешком — так, что ли? Да меня за такие дела колхозники со свету сживут. Скажут: из ума выжил старый дурак...

Лукашин попробовал припугнуть райкомом — разве не звонил ему только что Фокин? Получилось еще хуже: Худяков посмотрел на него с откровенной усмешкой: неужели, мол, ты это всерьез?

— Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Павлович, — заговорил другим голосом Лукашин. — Вон я недавно кино видел — «Кубанские казаки» называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей — не разлей водой.

Худяков рассмеялся:

— А председатели-то кто там — забыл? Мужик да баба...

Шутка, видно, размягчила немного прижимистого хозяина. Он стал заметно разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить, а после того как Лукашин сказал, что он не задаром просит жатку, заплатит что положено, Худяков и вовсе запоглядывал весело.

— Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а? — спросил он. — Я ведь такой купец: деньгами не беру.

— А чем же берешь? Натурой?

Худяков кивнул.

— Ну, насчет природы извини. Сами вприглядку живем.

— Есть у тебя натура, — сказал Худяков. — Та, которая на лугах да на пожнях растет.

— Сено? — удивился Лукашин. — Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь. У меня сенокос, знаешь, на сколько выполнен? На шестьдесят пять процентов.

— Знаю. Да я не сено у тебя прошу. Ты мне покосишко какой уступи. К примеру, озадки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут.

В общем-то, это верно — невпроворот у пекашинцев всяких сенокосов, в то время как Шайвола испокон веку обделена ими. Но легко сказать — уступи. А что скажет райком? Разбазаривание колхозных земель — так это называется?

— Ты бывал на войне? — спросил Худяков, глядя прямо в глаза. — Забыл, что там без риска не только дня, а и часу одного не проживешь?

— То на войне.

— Ну, как хочешь. — Худяков опять посмотрел на ходики. — А я тебе вот что скажу: чистеньким на нашем месте — не выйдет. А что касемо этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это...

В конце концов Лукашин принял условия Худякова — другого выхода у него не было.

— Жатка у меня на той стороне, на вашей, сказал Худяков, — хоть сегодня забирай. Только без шума. Не к чему на весь район звонить.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из поскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда — козами.

Лукашину с Чугаретти пришлось остановиться возле школы.

— У нас мужики тоже подумывают об этих бородатых коровках, — заговорил Чугаретти. — Петр Житов подсчитал это дело: кругом выгода. Корму в обрез раз, и два — никаких налогов...

Лукашин вылез из кабины.

— Жди меня у Ступиных.

Это дом, где он обычно останавливался.

Чугаретти закивал головой — даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного! Страда, председатели вкалывают на поле да позже за первого мужика, а тут на-ко, второй раз на дню в райком. Уборщица увидит, и та руками разведет.

Гулко запели деревянные мостки под ногами, потянулись знакомые дома, конторы, потом впереди на повороте замаячил райком — пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти, на тот случай, конечно, если нет в райкоме Подрезова.

Чугаретти — дьявол его задери! — довел Лукашина до белого каления. Ему было строго-настрого сказано: не напивайся у шурина, не забывай, что тебе за рулем сидеть, — а он явился к реке — еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода, пока зубами не застучал.

За реку ехали молча — Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. Но разве он может долго молчать?

Только сели в машину — заскулил, как малый ребенок:

— Вот и служи вам после этого. Я, понимаешь, все секреты про Худякова вызнал, а вы меня как последнюю падлу...

— Ладно, сказал Лукашин, можешь оставить свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял?

Чугаретти не унимался. Он опять стал пенять и выговаривать, а потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли: у Худякова на бывшем выселке по названию Богатка, где работает его шурин, не только телят откармливают, но и сеют тайные хлеба...

— Какие, какие хлеба? — переспросил Лукашин.

— Потайные. Которые налогом не облагают...

— Как не облагают?

— А как их обложишь? Какой уполномоченный пойдет на ту Богатку — за восемьдесят верст, к черту на рога? Нет, — сказал убежденно Чугаретти, — люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном...

Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез рассказы своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову.

«М-да, — думал он, — вот так Худяков!.. А я-то еще час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. А оказывается вон что — потайные хлеба...»

Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к шайвольской мызе, где по записке Худякова он должен был получить у бригадира жатку.

— Поворачивай обратно! — вдруг распорядился он. — В район поедем.

Чугаретти всполошился:

— Только, чур, Иван Дмитриевич, меня не выдавать. Хо-хо?

— Хо-хо, хо-хо, сказал Лукашин.

Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме.

Сперва, когда он услышал про тайные хлеба, он так вскипел, что на все махнул — и на жатку, и на коровник, и на дом (только бы на чистую воду вывести этого ловкача Худякова!), а сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала. И даже больше того: глядя на чистое, в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне.

Подрезов был у себя, к нему была очередь: зампредрика, редактор районной газеты, директор средней школы — все народ крупный, не обойдешь, и Лукашин, чтобы не терять понапрасну времени, побежал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы — гвозди, олифу, стекло, замазку — и, конечно же, курево.

С куревом с этим была беда, в сельпо не купишь — только на яйца да на шерсть, и вот приходится председателю добывать не только для

себя, но и для мужиков — иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пекашинцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать: кое-какой НЗ завести разве плохо?

В последнее время Лукашина частенько выручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло — все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель, были на уборочной в показательном колхозе.

Лукашин думал-думал, ломал-ломал голову и вдруг кинулся за дорогу, в орс леспромхоза. Не важно, что не Сотюжский леспромхоз система та же. И ему по всем статьям обязаны выплачивать калым. Во-первых, за землю — разве не на пекашинской земле стоит орсовский склад? А во-вторых, кто разгружает орсовские баржи?

И вот выгорело. Сорок пачек махры отвалил начальник орс да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек «Звездочки». Это уж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил, смеясь, начальник, не слишком притеснял Ефимко-торгаша.

В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к Ступиным, где его поджидал с машиной Чугаретти, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала еще накладная на десять килограммов гвоздей — тоже из начальника орс выбил.

Гвозди нужны были позарез — вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретти на базу к реке — авось еще застанет там кладовщика.

— Я, кажется, задержусь немного, сказал на прощанье Лукашин. — А ты на всех парах домой да по дороге, ежели не совсем темень будет, прихвати жатку. А то утром за ней скатайся, пока то да се...

Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее к Григорию. Рубить ихний узел.

Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается — хоть ты башку ему руби. Это милиционер-то, страж законности! Затем — сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме! Давитесь от тесени в одной избе.

Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы! Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут, а сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом, но если можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить.

В приемной Подрезова, куда впопыхах примчался Лукашин — он все боялся опоздать, — по-прежнему томились редактор районки и директор средней школы.

— Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь, — тихо и вежливо сказал помощник.

Лукашин поблагодарил и подсел к редактору — у того в руках был «Крокодил».

Редактор знал его — раза два был в Пекашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него, — но тут, в райкоме, на виду у портретов, которые взирали на них с двух стен, считал невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях.

Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор: политико-воспитательная работа поставлена во главу угла... политико-воспитательной работе уделяется большое внимание... политико-воспитательная работа — основа основ успеха, — а потом вдруг встал: вспомнил давешний разговор с Фокиным про парторга.

Интересно, интересно... Кого Фокин решил дать ему в комиссары?

Лукашин прямо прошел в инструкторскую — не пошлют же в колхоз кого-нибудь из завотделами!

Тут было людно, в инструкторской: целая бригада сидела молодых, здоровых мужиков, каких сейчас — по всей Пинеге проехать — ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково — полувоенный китель из чертовой кожи и такие же галифе. Крепкая материя. Один раз схлопотал — и лет десять никаких забот.

Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку «Звездочки» — мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих



пор ударяют по «стрелковой».

Лукашин курил, перекидывался шутками — тут никто из себя номенклатуру не корчил, — присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным: тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме.

— А где у вас Ганичев? — спросил Лукашин. — В командировке?

— Нет, собирается еще только.

Лукашин пошагал в парткабинет: где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?

Ганичев на этот счет придерживался железного правила: прежде чем заряжать других, зарядись сам.

«А как же иначе? — делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме. — Не подработаешь над собой — всю кампанию можно коту под хвост. Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие... А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно как следует, все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет».

Память у Ганичева была редкая. Он назубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у кого золотых медалей, и, само собой, чуть ли не наизусть выдавал «Краткий курс». С ним он не расставался, всегда носил в полувоенной кожемитовой сумке на боку, и, смотришь, чуть какая минутка выдалась — присел в сторонку и началась работа над собой.

Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром, а что делал, не надо спрашивать: штурмовал труды товарища Сталина по языку.

Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в «Правде» как раз в сенокос — Лукашин в то время был на Верхней Синельге. И вот вызвали на районное совещание.

Сорок семь верст он проехал верхом почти без передышки, сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены, — до того отхлопал зад.

Зал был забит до отказа, некуда сесть, И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад.

А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе:

— Товарищи! Труды товарища Сталина... мощным светом озаряют наш путь... идейно вооружают весь наш советский народ...

Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом — они потонули в шквале аплодисментов, — да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать.

Прочитал. Посмотрел в окно — там шел дождь, посмотрел на портрет Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе.

Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым.

Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну, а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь. К Фокину иди».

К Фокину, третьему секретарю райкома, Лукашин, однако, не пошел — страдал на дворе, да и самолюбие удерживало, — а вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить: Ганичев — свой человек.

— Ну что, Гаврило, грызем? — сказал он.

Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал натруженными голубенькими, как полинялый ситчик, глазами:

— Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я по-первости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне — уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя — лженаука, сплошное затемнение мозгов...

— А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?

— Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось, везде палки в колеса суют...

Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды.

— Слушай, Гаврило, а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство...

— А чего же больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался: чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли...

Тут зазвонил телефон — Лукашина вызывали к Подрезову, — и разговор у них оборвался.

Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало — он весь, как глухарь на току, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него.

Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как четыре и восемь лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки — все шестеро в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух! Какая упрямая пружина заведена в нем!

Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в пяти километрах от Пекашина, на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока, мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце и он снова прозрел глазами? Приказал скорей отвезти его в районную больницу? Нет, пошагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сенокосом.

Над Ганичевым смеялись и потешались кому не лень, и сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем.

Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы, — верный признак того, что не в духе. А почему не в духе — гадать не приходилось.

С заготовкой кормов в районе плохо, строительство скотных помещений сорвано, план летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв! А раз прорыв — значит, тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии!

Правда, в самом главном — в лесном деле — у Подрезова было оправдание: район переживал период реорганизации — от лошади переходили к трактору, от «лучка» к электрической пиле, словом, внедряли механизацию по всему фронту работ.

Но реорганизация реорганизацией — об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома, да и то когда он в хорошем настроении, — а срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? Два года подряд...

— Что скажешь?

То есть какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова.

— Насчет жатки хлопочу.

— А Худяков что? Не дал? — Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайволу.

— Худяков вроде дает, да только за калым.

— Ну насчет калыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар, — отрезал Подрезов. Это означало: договаривайтесь сами, а меня не вмешивать.

Ладно, подумал Лукашин, и на том спасибо.

— Сенокос гонишь? — Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету, красному от вечерней зари.

Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился. И на себя, и на Подрезова.

Его не первый раз вот так принимает Подрезов, и благо бы на народе — тогда чего обижаться. Секретарь. Надо вожжи в руках держать. А то ведь он и наедине удилами рот рвет.

И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь — Подрезов всегда стену ставит, — но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза, тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь: «Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли...»

Лукашин заглядывал, они целую ночь пропадали на рыбалке, ели из одного котелка — казалось бы, свои в доску.

Черта лысого!

Через неделю, через две, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание. Подрезов едва узнавал его, а уж колхоз пекашинский разделявал под орех...

Однажды после такого разделявания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет. И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним вплоть до того, что, завидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону.

Подрезов первый пошел на примирение. Да как!

Раз вышел из райкома со своей свитой — кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здороваются?

— Лукашин, ты?

— Я.

— А чего не подходишь?

— А чтобы не подумали, что подхалимничаю.

— Хорошо, сказал Подрезов. — Раз ты не подходишь, я подойду.

И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду у всей свиты — здороваться с председателем колхоза...

— Ну, как Худяков? Видел хозяйство? — спросил Подрезов.

Лукашин молчал, хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить — это попервости только ему хотелось как следует причесать своего соседа, — а разобраться прежде всего самому: как хозяйничает шайвольский председатель? Насколько верны эти рассказы насчет тайных полей?

В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова.

— Телеграмма, Евдоким Поликарпович. Приятная. Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами.

— М-да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед. — Он горделиво, по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину: — Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь?

Лукашин замотал головой: нет. Он по всем статьям должен ехать домой, да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего?

— Нет, нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так?

Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пекашино: передайте Миминой — муж задерживается на совещании...

#### 4

Подрезов жил недалеко от райкома в небольшом желтом домике с красным, пестро разрисованным мезонинчиком.

Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность — кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукоротил — он любил, чтобы жизнь била в его окна.

Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было, но сам Подрезов несколько не удивился этому.

По крутой лестнице высокого, на столбах, крыльца они поднялись вверх, вошли в сени.

Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначились зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком.

— Иди туда. Замок это так, вроде пугала. А я сейчас.

Лукашин по-ребячьи, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок.

Яркий свет ударил ему в глаза, когда он наконец открыл дверь. Подрезов с лампой в руке встречал гостя у порога.

— Устраивайся. А я буду хозяйничать. Женку не трогаю. Она у меня нездорова.

Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери. Подрезов раза три выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы, редька.

— Тебя упрекал как-то — без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо [5] больше нажимаю. А надо бы рыбки-то достать... Чего все глазами водишь? Непривычно?

Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота... Самая настоящая столярка! И у кого? У первого секретаря райкома.

— Не удивляйся, сказал Подрезов, — я ведь, брат, по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай в верховье района — там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне двенадцать, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать... И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю. Черта лысого! Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что в работе — елка там, сосна или береза... По звуку...

Подрезов налил гостю, себе, чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул:

— Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе автобиографии первого? Образование — начальное, семейное положение — женат. Старший сын — техник. Ребенком вот обзавелся. Дочь — учительница. Замужем. И тоже с приплодом. Так что я по всем статьям дед.

— А сколько же этому деду лет?

— Мне-то? А как ты думаешь?

— Ну, думаю, лет на пять, на шесть меня старше, не больше.

Подрезов довольно захохотал, слезы навернулись на его голубых, с бирюзовым отливом глазах.

— Ты с какого? С девятьсот шестого? Так? Так. Подрезова, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району, во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе звонишь. «Нету, нету лошадей, Евдоким Поликарпович!» Как так нету? А Туча где у тебя? А Партизан? А Гром? Миминой и крыть нечем.

— А все-таки сколько же тебе лет? — спросил Лукашин.

— Хм... Нет, я тебя маленько помоложе. По годам, — как бы мимоходом бросил Подрезов. — С девятьсот седьмого. Знаю, знаю — старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал — в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? Семнадцать. — Подрезов смущенно заулыбался. — А жене моей двадцать один, и я ее ученик...

Заметив недоверчивый взгляд Лукашина ухмыльнулся:

— Думаешь сказки рассказывает Подрезов? Нет, правды не пересказать. Выру, речку, знаешь? Приток Пинеги? Ну дак я белый свет, а вернее, ели да сосны на этой самой Выре впервой увидел. Там моя родина. Выселок. За девяносто верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было — двадцать домов население. И вся твоя академия Псалтырь да Библия, да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с восьми лет стал за верстак, а в десять-то я уже рамы колотил... И вот когда мне повернуло уж на семнадцать, приезжает к нам учительница. Первая. Культурную революцию делать. В одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году...

— Памятный год, сказал Лукашин.

— Слушай дальше! — нетерпеливо перебил Подрезов и так разошелся, что даже кулаком по столу стукнул. Как на заседании. — Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? — Подрезов налил в стакан водки, жадно выпил. — Да-а... А школы-то в Выре нету — где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул — с этого и началась моя общественная деятельность: построили к осени школу. И вот где пригодилось мое столярство! Старики на дыбы — не надо школы, под старину подкоп, зараза мирская: староверы все у нас были... Меня дома братья да отец дубасят — из синяков не вылезаю. Но и я упрямый. Даром что пенек лесной, а сообразил: нельзя без школы. В общем, построили школу — пятистенок на два класса да еще горенка для учительницы. Да-а... — Подрезов широко улыбнулся. Школу-то мы построили, а первое сентября подошло — ни одного ученика. Не пустили родители: «Мы без школы жили, и дети проживут». Ну, я опять пример подал: пришел, сел за парту — учи. В



общем, весной результаты такие: у меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо...

— Способный ученик!

— Ну, ты! — Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина. Знай, где губы распускать. Девка одна-одинешенька. Как среди волков... Матрена у нас была. Старуха. Ни разу в мир за свою жизнь не выезжала. Чтобы святость соблюсти, с никонианами не опоганиться. Дак эта Матрена, знаешь, что сделала? Ночью школу соломкой обложила да жаровню живых угольков притащила... Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я, уж если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил — никто лошади не дает. И помощнички у меня — соплей перешибешь. Я один среди них жернов. В дедка. Тот у нас в восемьдесят лет изгонял дьявола из плоти. Дак что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу, перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была! О-хо-хо!.. Все готово: пол набран, потолок набран, окна окосячены, рамы сделаны, одного не хватает — стекла. А стекло за девяносто верст, в деревне, и навигация на нашей Выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так порог на пороге — в лодке не проехать. И вот я ждал-ждал дождей да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло. Через сто десять порогов и отмелей протащил лодку. Вот какая у меня любовь была! Дак разве она могла устоять перед такой силой?

Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол.

Ничего-то мы друг про друга не знаем, подумал Лукашин и, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине (не Чугаретти ли опять загулял?), спросил:

— А Елена твоя... Что с ней?

— Нету. В тридцать первом отдала концы... — Подрезов помолчал, махнул рукой: — Ладно, кончили вечер воспоминаний...

Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, отчего умерла Елена.

— От хорошей жизни, — буркнул Подрезов. — Можно сказать, я сам ее зашиб. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной,

окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги — мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета — ну-ко, поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны... Потом дальше — больше. Первая пятилетка, коллективизация — вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе... По трем суткам мог не смыкать глаз. Лошади подо мной спотыкались да падали, а тут городская девчонка... Пушинка... Да чего там — дубы пополам ломались, а она уж что...

— Да, было времечко, — с раздумьем сказал Лукашин. — Ух, работали!

— Еще бы! — подхватил Подрезов. — Мир воздвигался новый. Социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники, тракторов, узкоколейку делаем... А ты знаешь, что в начале тридцатых годов мы лошадкой да дедовским топором миллион кубиков давали! Миллион! Одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в тридцатые годы был? Сто двадцать кубов в день при норме в три... Вася Дурынин с ним соревновался — на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. «Ну, говорит, черева из меня вон, а достану Худякова...»

— Кстати, насчет Худякова, сказал Лукашин. — Что это у него за тайные поля?

Подрезов рывком поднял свою гривастую голову, по-секретарски сдвинул брови:

— Это еще что такое?

— Говорят. На Богатке телят откармливает и хлеб сеет. А налоги с того хлеба не платит...

— Ерунда!

— Ничего не ерунда.

— А я говорю, ерунда! — рявкнул Подрезов.

Лукашина начала разбирать злость. Чего глотку показывать? Где они? На бюро райкома? Он вовсе не хотел бы наговаривать на Худякова (избави боже!), но раз Подрезов делает вид, что ему ничего не известно, — молчать?

— А откуда же у него, по-твоему, хлеб в колхозе, а?

— Откуда?

— Да, откуда?

— А оттуда, что он работать умеет. Хозяин!

— Ах, вот как! Хозяин. Работать умеет. А другие не работают, другие баклуши бьют. Так?

— Да! — рубанул Подрезов. — Ты который год свой коровник строишь?

Это был удар ниже пояса. Лукашин вскочил на ноги, выпалил:

— А ежели так будет дальше... ежели так выгребать будут... еще десять лет не построю!

— Ты думаешь, что говоришь? Кто это у тебя выгребает?

— А ты не знаешь кто? За границей живешь?

— Советую: не распускай сопли! — опять с угрозой в голосе сказал Подрезов. — А то смотри — схлопочешь...

— Когда печать колхозную сдавать? Сейчас? Или на бюро райкома сперва вызовешь?

Подрезов медленно отвел голову назад, наверняка для того, чтобы получше разглядеть своего гостя. Но разглядеть его он не успел — Лукашин уже громыхал половицами в коридоре.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Вышли из дому рано — ни одного дымка еще не вилось над крышами, серебряными от росы. И было прохладно, даже зябко. А когда добрались до болотницы да начали в тумане пересчитывать ногами старые мостовины, Лизе и вовсе стало не по себе.

Но Степан Андреевич был весь в испарине, как если бы они шли в знойный полдень, и шагал тяжело, шаркая ногами, с припадом.

И Лиза опять в который уже раз сегодня спрашивала себя: а правильно ли она делает, что больного старика одного отпускает на пожню?

Степан Андреевич первый заговорил с ней о дальнейшей жизни. Так и спросил вечер, когда она вернулась с коровника: как жить думаешь, Лизавета?

Она заплакала:

— Какая у меня теперь жизнь...

— А я твердо порешил: как ни вздумаешь жить, а передние избы твои. Я и бумагу велю составить...

Вот тут-то она и разглядела своего свекра, поняла, каково ему. Ведь не только ее переехал Егорша — переехал и деда своего. На-ко, ждал-ждал внука домой, думал хоть последние-то годы во счастье поживу, а тот взял да как обухом по старой голове: на сверхсрочной остаюсь...

— Татя, да ты с ума сошел! Какие мне передние избы? Ты что — порознь со мной хочешь?

— Да я-то что...

— Ну и я что... Вот чего выдумал: передние избы тебе... Да у нас Вася есть... Васю растить надо... Нет уж, как жили с тобой раньше, так и дальше жить будем...

Степан Андреевич слезами умывался от радости: нет, нет, не хочу заедать твою молодую жизнь. А сегодня встал как до болезни — о восходе солнца — и на Синельгу. На пожню. Нельзя, чтобы Вася без молока остался!

И Лиза сама помогала старику собираться, сама укладывала хлеба в котомку...

— Ты, татя, почаще отдыхай, — наставляла она сейчас шагающего сзади нее свекра. — Никуда твоя Синельга не убежит. Всяко, думаю, к полудню-то попадешь. Да сегодня не робь — передохни. Ведь не прежние годы...

Через некоторое время, когда стали подходить к Терехину полю — тут век прощаются, когда на Синельгу провожают, — она опять заговорила:

— Да Васе-то какой-никакой шаркунок сделай. А время будет, и коробку из береста загни. Побольше, чтобы солехи с бору носить. Нету у нас коробки-то та, старая, лопнула... А я все ладно, скоро проведу тебя. Да не убивайся, смотри у меня. Иной раз и днем полежи на пожне. Хорошо на вольном-то воздухе, полезно... А без коровы не жили — как-нибудь и вперед прокормим. Ведь уж Михаил не допустит, чтобы Вася без молока остался...

Она передала старику ушатик, котомку, бегло обняла его и не оглядываясь побежала домой: боялась, что расплачется...

От завор[6] Лиза пошла было болотницей, той самой дорогой, которой шла со свекром вперед, да вдруг увидела на новом коровнике плотников — как самовары по стенам наставлены — и круто повернула налево: сколько еще избегать людей? Ведь уж как ни таись, ни скрытничай, а рано или поздно придется выходить на народ.

И вот заставила себя пройти мимо всех бойких мест — мимо колодцев, мимо конюшни (тут даже с конюхом словцом перекинулась: когда, мол, лошадь дашь за дровами съездить?), а дальше и того больше — подошла к новому коровнику да начала на глазах у мужиков собирать свежую щепу.

Петр Жуков жеребцом заржал со стены:

— Лизка, мы с тебя за эту щепу натурой потребуем... И она еще игриво, совсем как прежде, спросила:

— Какой, какой натурой?

Все-таки щепу она не донесла до дому — рассыпала возле большой дороги у колхозного склада. Потому что как раз в ту минуту, когда она задворками вышла к складу, из-за угла выскочила легковушка с брезентовым верхом, точь-в-точь такая же, на какой, бывало, шоферил Егорша, и, не останавливаясь, шумно, с посвистами прокатила мимо, а она так и осталась стоять — возле дороги, накрытая вонючим облаком пыли и гари.

После этого Лиза уже не храбрилась. Шла от склада к дому и глаз не вытирала. Только когда вошла к себе в заулок да увидела Раечку Клевакину, начала торопливо заглывать слезы.

Не любила она при Раечке выказывать свою слабость. При ком угодно могла, только не при Раечке. И дело тут не в том, что та дочь Федора Капитоновича, которого Пряслины с войны терпеть не могут. Дело в самой Раечке, в ее изменчивом характере.

Сохла-сохла всю жизнь по Михаилу, вешалась-вешалась на шею, а тут подвернулся новый учитель — и про все забыла, за легкой жизнью погналась. Вот за это и невзлюбила Лиза Раечку. Невзлюбила круто, исступленно, потому что нравилась она ей, и уж если на то пошло, так лучшей жены для брата Лиза и не желала.

— Что, невеста? Скоро свадьба? — спросила Лиза, подходя к крыльцу, возле которого стояла Раечка. (Только о свадьбе ей и спрашивать теперь!)

Раечка полной босой ногой ковыряла песок под углом — для Васи насыпан. Большую ямку проковыряла. Да и вообще вид у Раечки был несвадебный. Хмуро, с затаенной тоской глянула ей в лицо.

— Зайдем в избу, — предложила Лиза. — Чего тут под углом стоять?

Зашли. А лучше бы не заходить, лучше бы оставаться на улице. Все разбросано, все расхристано — на столе, на полу (сразу двоих собирала — и старого, и малого), — неужели и у нее теперь такая же жизнь будет, как эта неприбранная изба?

— Райка, у тебя глаз острый. Посмотри-ко, нет ли у меня какой сорины в глазу? — схитрила Лиза.

Она потянула Раечку к окошку, к свету, а у той, оказывается, у самой на глазах пузыри.

— Вот тебе на! Да у тебя сорина-то, пожалуй, еще больше, чем у меня.

Раечка ткнулась мокрым лицом ей в грудь, глухо застонала:

— Меня тот до смерти замучил...

— Кто — тот? Учитель?

— Ми-и-и-шка-а-а...

— Михаил? — удивилась Лиза. — Наш Михаил?

— Да...

— Ври-ко давай...

— Он... Тут который раз встретил вечером... Выйди, говорит, к ометам соломы...

— Ну и что?

Раечка жгла ей своими слезами голую шею, грудь, но молчала. Котлом кипела, а молчала. Потому что дочь Федора Капитоновича. Гордость. И Лиза, уже сердясь, тряхнула ее за плечи:

— Ну и что? Чего у вас было-то?

— Он не пришел...

— Куда не пришел? К ометам, что ли?..

— Да...

— И только-то всего? Постой-постой! — вдруг вся оживилась Лиза. — А когда это было-то? Не в тот ли вечер, когда он с мужиками на выгрузке был? Вином-то от него пахло?

— Пахло...

Лиза с облегчением улыбнулась — наконец-то распутался узелок:

— Ну дак он не мог прийти в тот вечер. Никак ему нельзя было. Раечка недоверчиво подняла голову.

— Правда, правда! У нас в тот вечер ребята прикатали — Петька да Гришка... Подумай-ко, устраивал, устраивал их Михаил в училище, а они взяли да домой. По Тузку соскучились... Что ты, было у нас тогда делов. И теперь еще не знаем, что с ними. Как на раскаленных угольях живем...

У Раечки моментально высохли глаза, она стала еще красивее, а Лиза смотрела-смотрела на нее и вдруг ужасно рассердилась на себя: зачем, кого она утешает? Какое горе у этой раскормленной кобылы?

Она резко встала и сама удивилась жестокости своих слов:

— Худо тебя припекло, за жабры не взяло. Скажите на милость, как ее обидели! Час у омета вечером выстояла. Да когда любят по-настоящему-то, знаешь, что делают? Соломкой стелются, веником под ноги ложатся... А ты торгуешься, как на базаре, все у тебя расчеты... Насыто, насыто плачешь — вот что я тебе скажу... Михаила она испугалась! Да Михаил-то у нас копейку возьмет, а на рубль вернет... Слыхала это?

Раечка мигом просияла. На улицу выбежала — и горя, и слез как не бывало.

Лиза сняла со стены зеркало, присела к столу. Не красавица — это верно. Не Раечка Клевакина. И скулья выпирают, и глаза зеленые, как у кошки. Да разве только красивым жить на этом свете? А то, что она три года, три года, как собака верная, ждет его, служит ему, — это уж ничего, это не в счет? А в прошлом году приехал на побывку на два дня, потому что, видите ли, дружков-приятелей в городе и в районе встретил, сказала она ему хоть словечушко поперек? Наоборот, стала еще от деда и брата защищать: хватит, мол, вам человека мылить. Хоть и погуляет сколько — не беда, солдатскую службу ломает...

В избе она не стала прибираться — первый раз в жизни махнула на все рукой. Да, по правде сказать, и некогда было — на коровник пора бежать.

Никогда в жизни не ездила Лиза больше трех раз за травой на дню, а сегодня съездила четыре и поехала еще — пятый. Поехала для того, чтобы вырветься.

И она ревела.

По лугу ходил вечерний туман, яркая звезда смотрела на нее с неба, а она каталась по мокрой некошенной траве, снова и снова терзала себя:

— За что? За что? За какую такую провинность?

За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей — как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили — две недели) — и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью какая же из нее жена?

В кустах жалобно горевала какая-то птица (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился — лихо наяривал на гармошке...

Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.

Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день — начнут перемывать косточки.

— Слыхала, страсти-то у нас какие?

— Какие?

— Лизку Пряслину Егорша бросил.

— Ври-ко?

— А чего врать-то? Правды не пересказать.

— Да за что бросил-то? Месяца не жили...

— А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать...

И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил...

Нет, нет! Не будет этого. Не будет!

Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.

Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще



днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?

Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали по лицу, по глазам... Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.

Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин...

Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?

Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из покотины — чем они-то виноваты?

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.

Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:

— Встречайте гостя!

Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились она нарочно к реке, на склад к Ефимке-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский — чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.

И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила — чтобы без задержки, с жару с пылу подать на стол.

Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана — ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала съездить вместе на рыбалку, при случае посидеть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний

фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они — друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь тогда как?

Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать — это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.

Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать, — вот до чего у них дошло.

Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше — как же без этого в семье? — но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом — они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.

Теперь они спали врозь.

Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.

Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах — долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя... А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.

Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать — женка присмотрела?

— Нет, — буркнул Иван, — ты и так пособирал.

Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?

Она решила замолвить за Петра словечко — как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?

— Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.

Сказала мягко, необидно, а главное, с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.

Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.

— Смотря только где отдохнешь, — припугнул Иван.

Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?

— Ну, довольна? — заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них. Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина...

Она смолчала, задавила в себе обиду.

## 2

Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть — праздником сияла изба, — и даже над собой малость поколдовать.

Платье надела новое, любимое (муж купил!) — зеленая травка по белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.

В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся, что и сказать:

— Фу-ты черт! Ты не опять замуж собралась?

Но Подрезов — бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей — не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее — заулыбался.

Анфиса сразу повеселела, молодкой забежала от печи к столу.

— Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? — завела разговор, когда сели за стол. — Где побывали, чего повидали?

— Хозяйство у вас незавидное. А знаешь почему?

— Почему?

Она ждала какого-нибудь подвоха — уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза, — но поди угадай, что у него на уме!

А Подрезов шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей — она только что поставила перед ним большую тарелку, подмигнул, кивая на Ивана:

— А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.

Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька — вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.

— Нет, Евдоким Поликарпович, сказала она, — не часто нынче едят мясо в деревне. В налог сдают. И мы не едим.

— А это что? Из бревна варено? — Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.

— А это я овцу свою недавно зарезала.

— Для меня? — Подрезов сразу весь побагровел. Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила — не могла остановиться:

— Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.

— Кто завесил? Я?

— А то нет? — Поздно было уже отступить. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? — Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?

— Есть предложение выпить, сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.

— Нет, обожди, — сказал Подрезов. — Пускай уж до конца говорит.

— А чего говорить-то? — Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелет, гость набычился — вот-вот рявкнет. — Разве сам-то не помнишь? «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть...» Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели...

Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накопело, зато когда отбарабанила — озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось.

Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?

Подрезов не ел, муж не ел — она не глазами, ушами видела это. И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как простуженная, и — только этого и недоставало — вдруг расплакалась.

— Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны на все это глядела... Я ведь тоже бабам так говорила...

— Но здесь не бабы! — отрезал Иван.

Она хотела встать — чего давиться слезами за столом, — но рука Подрезова властно удержала ее.

— Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?

— Вино?

— Да.

— С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все годы в черном теле держал...

— Так уж и держал?

— Держал, — сказала Анфиса. — Чего мне врать?

Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.

— Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?

Вот так имениного-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит, то жар. Ну а как своя, домашняя гроза?

Выпей! — приказал глазами Иван.

Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному: сама коней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.

— За такого гостя можно выпить.

— Нет, не за гостя, — сказал Подрезов.

— А за кого же?

— За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге, фронт в войну держали...

Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват. Сказал бы — стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпей — все или только пригуби? А Подрезов — известно: покуда на своем не поставит, не слезет. «Выпей! Докажи, что зла на меня не держишь...»

И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?) и — будем здоровы.

Минуты две, а то и больше никто не говорил — не ждали такого, и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кровати зевнул во сне Родька.

Первым заговорил Подрезов:

— Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?

«Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала — он труды мои вспомнил».

— А сам-то ты не знаешь! — сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза Подрезова. — А по мне, дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездешь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно...

— Ты опять про свое? — цыкнул Иван.

— А про чье же еще? — Она и на него глянула во все глаза.

— Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Думаешь, он всему голова?

— А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас выгребаловку делают? Чьи — не его уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят?

— Правильно, Анфиса, мои, — сказал Подрезов. — Только покамест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.

— Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил — и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, гражданской, уж на что худо было. Гвоздя не достанешь, соли не было — кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло — ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ка на милость, трава каждый год под снега уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить — тоже война виновата?

— Ну, села на любимого конька...

— Села! — с запалом ответила мужу Анфиса. — И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь...

— Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.

— А по мне, дак больно еще хорошо работают. За такую плату...

Иван выскочил из-за стола, забежал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!

Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? «А затем, чтобы человеком себя чувствовать, — ответил ей Петр Житов. — Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь». И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась — ни мужа, ни Подрезова.

Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули — чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.

— Я тебе только одно скажу, Анфиса, — заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. — Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.

— Больному не большая радость оттого, что его сосед болен, — сказала Анфиса.

И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор — вот сколько накопилось всего за эти годы!

Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.

— Куда? — удивилась Анфиса.

— На Сотюгу думаем, — сказал Подрезов. — Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать. — Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: — Чтобы ты его посильнее любила.

— А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! — с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.

Иван, конечно, осадил ее — нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, — но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.

— Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадьми.

— Нет, давай уж сами! — захохотал Подрезов. — Ей сейчас и конюшни не найти.

— Мне не найти? — Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу — только стаканы звякнули. — Нет, врешь! Найду!

Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.

### 3

Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти — есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!

А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:

Но я жила, жила одним тобою,  
Я всю войну тебя ждала...

Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака...

И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.

Из коровника выбежали скотницы — кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогtilись в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо...

А ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?

Конюха на месте не оказалось — за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!

Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам — лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются, —



вывела сперва Мальчика, затем Тучу.

Туча — смиренная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает — не дает надеть на себя седло.

— Стой, дьявол! Стой, сатана!

Она взмокла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги — все полетело: и привязь Ефимова полетела чего со старичонки требовать? — и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.

— Мальчик, Мальчик, куда?

Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.

Только добежала до коровника — Мальчик обратно: тра-та-та-та... Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом — брызгами залепил лицо.

Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.

Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подпругу, попросила Лизу:

— Отведи его, бога ради, лешего, к нам, а я сейчас. Она стряхнула с себя пыль — до слез жалко было нового платья, — заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику — к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.

Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила:

— Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!

А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене тусами да знай ржут, скалят зубы — весело!

Петр Житов закричал:

— Лукашина! — Знает, когда как называть. — Остановись! Дай тормоза...

Не остановилась. И не оглянулась даже.

Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: «Иван, полегче! Иван, дай людям жить!» А они-то сами дают Ивану жить?

Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.

Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.

Поскотина — еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, — справа, вдоль Пинеги. А мызы — по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.

Мыз в Пекашине десятки — они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию — поди-ко запомни все.

Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин — там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша... Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы... — сам черт ногу сломит.

Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.

Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам — то

на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.

Мальчик — а Лукашин уступил ему своего коня — был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку. Да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый — то и дело всхрапывает конь от натуги.

Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.

— Грибов много наносил?

— Раза два ходил с женой.

— А я ни разу. Не ел в этом году лесовины от своих рук.

За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по угорам, березовые рощицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.

Стали попадаться кое-где пустоши — заброшенные поля.

Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только «Новой жизни». Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд — ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.

Копанец начался полевыми воротами с засекой, или по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.

Но была у Копанца сейчас и еще одна примета — грохот жатки, который Лукашин услышал за километр, а может, и за два.

— Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.

— К Михаилу? Это он наяривает? Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.

— Он.

— Валяй. Я тоже гляну.

Росстань на Копанец — торная, широкая, но только до Михайкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.

Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне — вот такая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.

Зато уж попадать на этот Копанец с машиной — всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь — человека не держит.

В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.

И вот единственный выход — крепкий мужик.

У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.

Лукашин и Подрезов спешили к канаве, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.

Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходявшего из кустов Лукашина, но, когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух — напрямик через несжатый ячмень навстречу.

Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым — снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмурь!

Лукашин понимал: кому не лестно — первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти — отвезти табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.

— Ты совсем как отец стал. Понял? — сказал Подрезов. — Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, — Подрезов крепко кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел, — а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца.

Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.

— Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.

Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые — одним словом, военное поколение.

Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах — поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, не улыбочивый — видал виды... Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так — залюбуешься: дерево ходячее! И сила — жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвал, — Лукашин сам видел — даже три поднял.

Подбодрив Михаила словом, Подрезов пошел к жатке, чтобы самому сделать круг. Это уж обязательно, это его правило: не только перекинуться словом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру. Хотя бы на несколько минут. Тем более что Подрезов все умел сам делать: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало.

Так было и сейчас.

Объехав два раза поле, Подрезов остановил лошадей возле Лукашина и Михаила, слез с жатки, растер руки — надергало с непривычки вожжами.

— Ничего колымага идет, — сказал он, кивая на жатку. — Сколько даешь?

— В день? — спросил Михаил. — Гектара три.

— Мало, сказал Подрезов. — Четыре можно.

— Ну да, четыре, — недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем как равный с равным. — Больно жирно! Сколько тут одних переездов, полумок!..

Подрезов и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту.

— Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь. Заворотов много.

— Ерунда! Как большие-то круги делать, когда тут кругом межи да пни?

— А вот это уж председателя надо за штаны брать. Долго ваши пни выкорчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет тридцать — сорок?

Лукашин мог на это возразить: до корчевки ли теперь здесь, на Копанце, когда у них рядом, под боком, зарастают кустарником поля? Но Подрезов уже пошагал к шалашу.

Шалаш стоял на открытой веселой поляне, под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная: и собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен.

Отмахиваясь от комарья. Подрезов заглянул в шалаш, выстланный свежим сеном.

— Тут ночуешь?

— Иной раз тут, — ответил Михаил. — Коней-то не все равно за пять верст гонять.

Подрезов кивнул на Тузика, не спускавшего с него глаз, — казалось, и тот разбирался, кто тут главный.

— Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке? — И сразу же предупредил: — Насчет фуража не говори. Мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще сам знаешь: пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может.

Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района по крайней мере, принял его слова как должное.

— Ну так что же? Есть ко мне вопросы? — повторил Подрезов.

Михаил поглядел на Тузика, зажавшего меж лап берестяное корытце, из которого его кормили, покусал губы: что бы такое спросить, чтобы и Подрезова не поставить в неловкое положение и чтобы в то же время было важно для него, Михаила?

Вспомнил!

— Да, вот что, Евдоким Поликарпович! У меня тут сопленосые — братишки, значит, натворили... Помните, еще в училище ремесленное помогали мне их устраивать?

— Помню. Как же!

— Ну так не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали. Вишь, по этому шпингалету соскучились... — Михаил

кивнул на Тузика. — Не видали, без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили?

— Ладно, вернусь с Сотюги — позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке. — И Подрезов крепко, по-бульдोजьи сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал.

Михаил до самой канавы провожал их.

Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу Копанца, высокий широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался.

## 2

Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пинеге, это Красный бор. Между Копанцем и Сотюгой.

Лес — загляденье: сосняк да лиственница. Это со стороны Пинег. А на север от дороги, там, где посуше, — ельник, пекашинский кормилец.

Всего полно в этом ельнике. В урожайные годы грибов да ягод — лопатой гребь. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь пять-шесть часов выезжали, а привезли домой ушат солей, ушат брусники да корзину обабков. [7]

Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда, случается, и самого батюшку глухаря поднимешь — просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу.

Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин, — олени.

Было это два года назад. Он возвращался домой с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы часа три, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги.

Он поднял отяжелевшую ото сна голову, и у него перехватило дух — алые олени. Летят во весь мах к нему по белой поляне и солнце, само солнце несут на своих ветвистых рогах...

Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса неслыханной радостью: у них будет ребенок.

До войны такие боры, как Красный, шумели по всей Пинеге. А война и послевоенная разруха смерчем, ветровалом прошлись по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная и вывозка — прямо катать в реку?

Выжить Красноборью в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный бор издавна претендовали две деревни — Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, бор принадлежал водянам — деревня их тут рядом, за рекой. Потом Красноборьем снова сумели завладеть пекашинцы. Да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях.

«Не согласны!» — сказали несговорчивые водяне и, не долго думая, послали бумагу прямо в Москву.

И вот это-то бесхозное положение Красного бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже все — капут красноборскому сосняку, а потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет, — и ладно, давай поищем что-нибудь другое.

У Лукашина улыбка заиграла, как только они въехали в бор: сразу два белых гриба. Красавцы такие в беломошнике возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай.

— Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес, — кивнул он Подрезову.

Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел сиверко.

Что ж, подумал Лукашин, Сотюжский леспромхоз (а он был не за горами) — это и есть для первого секретаря сиверко. План по лесозаготовкам не выполняется второй год, рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги — сам черт не поймет, что там делается... А кто в ответе за все? Первый секретарь.

Когда за рекой на угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов, не оборачиваясь (он ехал впереди), направил своего коня к перевозу, и в этом, конечно, ничего особенного не было: как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он,



Лукашин, не проехал мимо Копанца. Но почему не сказать, не предупредить его, как это водится между товарищами? В конце-то концов не на бюро же райкома они! И Лукашин, сразу весь внутренне ощетинившись, съязвил:

— Показательные работы здесь тоже будут?

Подрезов покачал головой:

— Нет, показательных работ здесь не будет. — Потом помолчал и со свойственной ему прямоотой признался: — В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял?

Они переехали вброд за Сотюгу, медленно поднялись в гору.

Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали самого — каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей.

Вышел молодой, самоуверенный, светловолосый, и никакого заискивания, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же — обошел его, к первому секретарю кинулся? Ничего подобного! Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину.

Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду — на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать — директор первого механизированного леспромхоза в районе, предприятия, с которым связано будущее всей Пинеги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются.

Три директора было на Сотюге до Зарудного, и все три ходили навтыяжку перед Подрезовым. А этот, сосунок по годам, два года как институт окончил — и сразу зубы свои показал.

Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: «Товарищ первый секретарь! У меня, между прочим, тоже государственная работа. А потому прошу в следующий раз назначать время точно».

Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно. На Сотюгу.

Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой, из своих, местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь. Но что сделаешь с человеком, которого прислали из треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз.

— Ну как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь? — спросил Подрезов Лукашина.

Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза.

И Лукашин сказал:

— Пожалуй, к своим.

— Добре. Тогда в твоём распоряжении полтора часа.

### 3

Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года и теперь, идя по нему с лошадей в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник! Все разрыто, везде возводятся новые дома, ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров, десятков четырех, не меньше (не то что в Пекашине!), заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице, а она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину.

Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска залощенном фартуке — и с ходу обнимать.

Раньше Илья жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка.

Тесень была страшная, и, наверно, поэтому ребята — два диковатых черноглазых мальчика и девочка — кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату.

Лукашин полюбопытствовал:

— За какие это грехи ты в немилость попал?

Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами — не расслышал.

— За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?

— А-а, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи вместе. Сам директор в конторе живет.

— Да ну?!

— Так, так. Видишь, навербовали людей отовсюду — с Белоруссии, с Украины, со Смоленщины, а жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас барачков. Тесень, тесень... В бане уж которую неделю не моемся — и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились — мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живу нитку тачали...

— А почему? — Лукашину давно хотелось хоть немного разобраться в сотюжских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут.

— А потому, перво-наперво, — начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья, — что леспромхоз затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой — железная дорога. А она у нас еще на десятой версте...

— Ну, а как новый директор?

— Евгений-то Васильевич?

Илья и тут подумал — не из тех, кто попусту сорит словами.

— Характеристику со всех сторон не дам, меньше году человек работает. Да и часто ли его я вижу из своей кузницы? Ну, а против прежних директоров — чего говорить? Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался — механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали, банк все какие-то тормоза ставил как предприятие, не выполнивши план, а Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало...

С улицы донеслось тревожное ржанье и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неумным бесенятам Илья, которые, конечно же, вились вокруг Тучи, привязанной к сосне.

— А я про самовар-то и забыл, — спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытаться Илью про сотюжское житье-бытье.

— А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется да кое-кто не обломает ему рога, дело будет.

Лукашин вопросительно скосил глаз:

— А кто ему может обломать рога? Подрезов? Да, скучать нам, кажется, не придется. Ну, а сам-то ты как, Илья Максимович? Не раздумал насчет переезда?

— Нет, решено — на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да, вишь, Зарудный, Евгений Васильевич, стал упрашивать: постучи, говорит, еще недельки две в кузнице...

Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Ильи, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюжские дела, он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора, но если говорить начистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Ильи: не передумал ли? Вернется ли в Пекашино? И дело было не только в том, что Илья — кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдет — за ним.

Все же Лукашин решил прямо и честно предупредить Илью:

— Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза — сам знаешь...

Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел в красный угол, туда, где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери. Под стеклом, в еловом веночке, перевитом красной лентой.

Лукашин обвел глазами другие стены.

— Нету Марьиной карточки, сказал Илья. — Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась...

Да, подумал Лукашин, вот она, жизнь человеческая. Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет, может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены...

— Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине, зайду к твоим на могилы. Что передать?

Илья опять ничего не ответил.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Веселая, речистая река Сотюга.

Ясным страдным вечером едешь — заслушаешься: на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали — и полная немота. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье.

— Может, повернем обратно? — сказал Лукашин. — Какая уж рыбалка в такую воду...

Подрезов вместо ответа огрел коня плеткой.

Они гнали вовсю. До Рогова, старых лесных барачков, где их ждала лодка и сетки, оставалось еще километров восемь, а солнце уже садилось — красной стеной возвышался на той стороне ельник.

— Поедем мысами, — предложил Подрезов, когда впереди на голой щелье замаячила сенная избушка. То есть той дорогой, которой в страду ездят косари, — вдвое ближе.

Лукашин махнул рукой: согласен. Правда, ехать мысами — значит, раз десять пропахивать вброд Сотюгу, но что делать? Ведь если они и смогут добраться до Рогова засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем.

Первый брод — под Еськиной избой — проскочили легко, только воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова.

Лукашин ему доказывал: выше брод, у черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов — нет и нет, везде под Лысой горой брод.

Коня вздыбил, на стремяна привстал — Чапай да и только, — а через минуту пошел пускать пузыри, в самую яму втяпался.

— Ноги, ноги высвобождай! — заорал что есть силы Лукашин и, ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.

Деликатничать было некогда — он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня.

После этого Мальчик быстро выбрался из ямы, а кобыле Лукашина пришлось туго: двух человек вытаскивала одна.

О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи: вымокли до нитки, и надо было немедля разводить костер.

На их счастье, дрова разыскивать не пришлось: березовый сушняк белым частоколом стоял в покати холма, напротив брода. А вот насчет

огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, изба сенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю Севера оставлен коробок со спичками, за рекой.

Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло — у Подрезова в пиджаке оказалась светленькая зажигалка: давеча, когда ехал в Пекашино, взял у шофера из любопытства — новая, — да и сунул по рассеянности к себе в карман.

Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы — от сырости, от вечернего холода, а еще больше от страха: а вдруг и зажигалка подведет.

Нет, есть, есть бог на свете: проклюнулся огонек. С первого щелчка.

Подрезов прямо в руки Лукашина — он пытал счастье — начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь.

Первым делом они просушили одежду — наверно, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра в алом березовом сушняке, — потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пуншем — полкружки горячего, с огня, чая и полкружки водки.

Подрезов мало-помалу стал приходить в себя. Еще недавно белое, как береста, лицо его раскалилось докрасна. Громовые раскаты появились в голосе.

— Жалко, что здесь застряли, сказал он. — А то бы мы сегодня с рыбой были.

— А по-моему, нечего жалеть, — возразил Лукашин. — Кто по такой воде за рыбой ездит?

— Вот именно что по такой. Курью под Роговом знаешь? Старое речище? Ну дак в такую воду, как нынешняя, рыба просто лезом лезет в эту курью. На зеленку. Ты только сетью горло перегороди — и вся с тебя забота.

В вечернем тумане на мысу задорно и чисто вызванивал подзвонки, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле, урчала и причмокивала вода в Сотюге, потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух похоже, утиная стая пронеслась мимо.

Лукашин с живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в черном небе, а Подрезов не пошевелился. Сидел грузно

на коряге, помешивал палкой в огне: должно быть, все еще не мог примириться с постигшей их неудачей.

Лукашин дососал подсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная, и надо было сходить за сеном: рискованно в такое время на голой земле лежать.

## 2

Стог был поблизости, за кустарником справа (тут, на Сотюге, Лукашин был как у себя дома), и он быстро обернулся.

Подрезов все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь-в-точь как солдат на фронте, когда того донимала шестиногая скотинка.

Лукашин пошутил, бросая на землю охапку сена:

— У нас сегодня по всем линиям война...

— Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна. — Подрезов вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху. — Иной раз бюро, пленум, надо мозгами ворочать, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, все крушить к чертовой матери...

— А медицина что?

— Медицина... Медицина, известно: надо солнце, надо морские купанья, спокойную жизнь... В позапрошлом году я был на курорте — год человеком жил, а нынче разве выберешься...

Над костром огромным снопом взметнулись искры — это Подрезов сторяча бросил в огонь целый березовый кряж.

После молчания он вдруг сказал:

— А в общем-то, я обманщик... Права твоя Анфиса...

— Чего права? Это ты все насчет того давешнего разговора? Брось! Мало ли чего наскажет пьяная баба...

— Нет, — покачал головой Подрезов, — правильно она сказала. Накормить людей досыта — это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается. Подрезов начал загибать пальцы. — Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый... Четыре года войны... да шесть после войны... Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба...

Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за Сотюжского леспромхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотюгу.

Он подбросил сена Подрезову — садись по-человечески! — сказал:

— Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим.

— А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь?

— Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают — так за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.

— А кто у тебя забирает-то? Государство?

— Ты меня на слове не имай! — Лукашин рывком вскинул голову. — Ну и государство. А что? Ленин после той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд...

— Так, сказал сквозь зубы Подрезов. — Еще что?

— А уж не знаю что, — отрезал Лукашин. — Только по-старому нельзя. К примеру, меня взять... хозяина... — Лукашин натянуто усмехнулся. — Я ведь только и знаю что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута да глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять...

— Да так-то оно так, — промычал неопределенно Подрезов и поглядел по сторонам.

И Лукашин поглядел. Жутковато было — непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра?

Костер пылал жарко. Он заражал своей яростью. А потом, полезно, черт побери, первому секретарю знать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про это говорят. И тут хочешь не хочешь, а закутишь шариками, полезешь в красные книжки сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным...

— На брюхе плохая экономия, — сказал Лукашин. — Да и какой, к дьяволу, голодный — работник! У нас, бывало, в деревне Иван



Кропотов... Кулак... Но в экономике толк понимал, будь здоров! Так он что говорил своей женке, когда утром вставал? Скупая, жадная была баба! «Корми работников досыта». Это у него первый наказ с утра был. Потому как понимал: сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток...

— Все правильно, — сказал Подрезов, — но ты не забывай, что у нас война была.

— Ну, войну не забудешь, даже если бы захотел. Об этом, по моему, нечего беспокоиться.

Лошади подошли к самому огню.

Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них.

— Медведя, наверно, чувят, сказал Подрезов. — Тут, на Сотюге, их полно, а теперь темные ночи пошли — самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя когда убил? В двенадцать лет. Вернее, не я убил, а дедко меня капкан взял смотреть...

На севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей. У него все так и ходило, и кипело внутри. Шутка сказать такой разговор завели!

Они долго молчали, оба уставившись глазами в костер.

Наконец Подрезов сказал:

— М-да-а... Разговорчики у нас... Ели и те, наверно, головой качают... Потом встал, секретарским голосом подвел черту: — Ладно, хватит ели да березы пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем — и спать, раз уж мы здесь застряли.

Утром встали на рассвете.

Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана — должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.

Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.

Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:

— Есть предложение заняться делом, а свиданье с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?

— Нет, — сказал Лукашин.

— Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.

— Кому? Зарудному?

Подрезов вместо ответа спросил:

— А ты что намерен делать?

— Мне на Синельгу надо. К сеноставам.

— Добре. — Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце. — А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь...

Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели, и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.

Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки — остатки ночного костра.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Тузик извел его за эти дни — с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.

Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте...

Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь — слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать,

подавать свист: до тех пор будет глотку драть — все равно на кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой, — пока хозяин не подойдет.

Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения — не помогло: опять принялся за свое.

— Тузко, Тузко ко мне!

Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.

Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу — ну, задам я тебе сейчас, гаденьш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.

Стоит на той стороне у переходов, смотрит как замороженная на скачущую у своих ног собачонку и ни с места.

— Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?

Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж всегда. Бывало, зимой встретишь — вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опахнет.

Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке — ни одного гриба, посмотрел на босые ноги — так не приходят на поле снопы вязать.

Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:

— Пестроху ищу... Где-то корова у нас запропала...

— А-а, то-то же! — улыбнулся Михаил. — А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? — На местном языке это означало целоваться.

Он был доволен собой: ловко сострил.

— Ну что — в гости ко мне пойдем, так?

Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его — начал

для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.

Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину — до того у него вдруг пересохло в горле.

— Не хошь? — предложил своей гостье.

Раечка покачала головой.

— Верно. Вода не вино — много не напьешь... А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смиренная корова...

— Вчерась...

— А отец тоже ищет?

— Ищет...

— А у пастухов-то спрашивали?

— Спрашивали...

— И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать...

Тьфу! — вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все «да» да «нет». Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.

Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.

— Садись. Я еще не медведь — не ем заживо.

Раечка не села — только с ноги на ногу переступила.

Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.

Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.

Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его — только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.

Он выпустил ее из рук — какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик — нашел время свое усердие хозяину выказывать.

— Вставай! — зло прохрипел Михаил. — Я еще в жизни никого нахрапом не брал.

Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.

— Коробку-то забыла!

Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам — только этого и не хватало, — потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.

Тузик с лаем бросился за ней.

— Тузко, Тузко, не смей!

Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье и вплела алую ленту в волосы — кто же в таком наряде ищет корову в лесу!

— Рай, Рай, постой!

Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.

— Рай, Рай...

А может, и в самом деле это его рай? — пришло ему в голову. Чем худа девка!

— Рай, Рай... — Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так. — Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам... Со сватами... Хочешь?

— Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!

Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали — цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога не то что три дня назад, когда он

нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось — тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.

Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад, дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних — и все твое царство, а на Копанце просторы — ай-ай! И дичь — не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.

Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на Копанце — это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?

Его любили и бабы, и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было — чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая!

Лошади бежали — тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему — когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.

Да, в этом году он пойдет за красными[8] с Раечкой. Да и вообще — зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами...

Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов... Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было — сбить камнем чашечку с телеграфного столба...

А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину, — красный глиняный косик в году, а на горе знакомый аккуратненький домик...

Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.

Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускаться у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варвариного дома...

Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в покати.

Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!

Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту...

И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!

Михаил поехал не по деревне — болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.

... Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему навстречу: мать, Лизка, Татьяна... Однако Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?

— Ну, слава богу, дождались, — запричитала мать. — А малого-то не видел?

Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец — тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома, — слез с сиденья и только тогда спросил:

— Чего у вас? Где я должен видеть малого?

— Миша! Миша! — со слезами бросилась к нему Лиза. — Татя болен. Мы за тобой только что Федюху верхом послали... По деревне поскакал...

Вот теперь уже кое-что ясно.

— Где он? — спросил четко.

— Татя-то? Да на Синельге, у своей избы... Один... Который уж день...

— Порато, порато болен. Иван Митриевич только вот приехал...

Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать: всегда вот так! Начнут молотить обе сразу — ни черта не поймешь.

Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна — даром что девчонка:

— Иван Дмитриевич только что с Синельги приехал. Приезжаю, говорит, к избе — где старик? А старик в сенцах лежит — пошевелиться не может. Левая половина отпала. Дак я, говорит, в избу затащил, а тепер пускай Михаил за ним едет...

Михаил все-таки ничего не понимал: почему старик на Синельге? Как туда попал?

— Я, я виновата... — зарыдала Лиза. — Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать...

— А раз знала, дак за каким дьяволом отпустила?

— Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал — мы с татей с ума сошли...

— Кто — тот? Какое письмо?

Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам, но разве скроешь от своего брата? Давясь слезами, призналась:

— Тот... Егорша письмо прислал... В армии хочет остаться...

Мать завсхлипывала — и она ничего не знала про Лизкино горе.

Михаил рывкнул — как кнутом стеганул. Потому что ежели распуститься с ними, вой поднимут на всю улицу.

— Мати! На конюшню! Сани запряги. (На телеге на Синельгу не попадешь.)

— Да есть сани. Я уж схлопотала...

Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжения:

— Веревку несите. Да одежонку какую. Живо! Чего стоите? Не за бревном — за человеком еду.

Он торопился. Солнце уже садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать?

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту.

Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе — хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту (старик любил опрятность), — потом стала перебирать его постель да увидела клопа на стене возле кровати — начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыла, перескоблила: стены, кровать, голбец кипятком ошпарила, а потом уж заодно и перину перетряхнула. Чего больному человеку будет маяться на старых соломенных горбылях? То ли дело свежее сенцо! И мягко, и дух приятный, луговой.

Вот так со всеми этими делами — с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины — она и проваландалась до двух часов ночи, а там уж и спать никак: надо печь топить, какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести (насчет коров она договорилась еще вчера с Александрой Боевой).

Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами на деревне такая уж работа у доярки, но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала — та еще в постели.

— Чего всполошилась такую рань? Попей хоть чаю — я сейчас согрею.

Лиза только рукой махнула. До чаю ли сейчас! Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается?

Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги поседел от росы, и ох же пополоскало ее в одном платишке — привыкла по утрам носиться сломя голову.

Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверно, с час или с два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала: вот-вот раздастся конская ступь и из березняка выедет Михаил.

Но Михаил не ехал.

Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком плохо? Везти нельзя?

И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Терехина поля. Сама побежала навстречу. По грязной лесной дороге, четко разутюженной накануне полозьями.

Встретила она брата возле темной еловой рады — не меньше версты прошлепала по грязям.

Сидит, качается на запаренной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат.

С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало да комар не беспокоил, только для дыханья дыра оставлена.

— Татя, татя, — запричитала на весь лес Лиза, — да что же это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?

— Не ори! — коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устало подошел к саням, приоткрыл лицо старика. — Ну как? Жив? Не вытрясло совсем душу?

Ни единого звука не услышала Лиза в ответ, и она с ужасом перевела взгляд на брата:

— Чего с ним? Пошто он не говорит?

— Выходной взял! — свирепо рыкнул Михаил и вдруг заорал на нее: — Чего стоишь, как столб? Не знаешь, как отца встречают?

Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и, поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре в сене, откуда чуть заметно шел парок.

— Татя, татя... — Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватила руками старика, вернее, охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги — какое теперь комарье, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она зачем тут? Разве не может веткой отгонять?

Степан Андреевич узнал ее.

— Ы-ы-за-а... — чуть слышно сказал он, но так, что и она, и Михаил — оба услышали, затем на его старых, испугом налитых глазах навернулись слезы.

— Ну, это ты хорошо, старик, надумал, сказал Михаил и от радости похлопал сестру по плечу. — А то я вчерась приезжаю к избе — покойник покойником. И сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться. А тебя, вишь, с первого слова услышал...

Разлад в теле у Степана Андреевича начался еще тогда, когда он шел с невесткой полями. Хорошее, свежее было утро, ветерок прыскал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги.

Лиза что-то щебетала, давала наказы, советы, а он только и думал о том, как бы добраться до Терехина поля да поскорее распрощаться с невесткой, — не хотелось ее пугать, посреди дороги разлеживаться.

И вот когда наконец Лиза осталась позади, он дотянул кое-как до березняка за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую, еще не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал.

Потом эти лежки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры.[\[9\]](#)

В этот день он с косой, конечно, не разобрался: догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку, и все — не ел, не пил, до утра лежал, зарывшись в какую-то старую сенную труху, во всей одежде, в сапогах.

Но назавтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости вышел из избушки, будто и хворости не было, а когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе.

И покосил.

В одну сторону прошелся, в другую, пьянел от травяных запахов, и как же радовалась стариковская душа! Вот, думалось, не зря ем хлебы. Есть, есть еще от него польза. Будет у Васи молоко...

После утренней напористой косьбы Степан Андреевич поел с аппетитом, попил чаю с дымком всласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку — посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя.

И вот с этой-то расчистки все и началось — не нашел он своей пожни.

Все на месте: Синельга на месте, мыс на месте, старые стожары[\[10\]](#) на месте, только расчистки нет, только пожни нет. Кусты всколосились, ольха да осина вымахали. Из края в край. По всей бережине. И Степан Андреевич сел, охнув на старую валежину и заплакал.

Господи, на что ушла его жизнь? Двадцать лет он убил на эту расчистку. Двадцать... Первые кусты начал вырубать еще при царе Горохе, и, помнится, вся деревня тогда потешалась над ним. Кустарник страшный, двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, а ели — боже мой, впору на небо лезть. Ну какой же тут покос?

А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды: уж ежели ольха да береза так вымахали, то трава и подавно будет.

И он не ошибся. Перед колхозами по тридцать возов самолучшего сена снимал со своих Ольшан — вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль Синельги.

Правда, он уж и работал — жуть!

Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет, а он и эти четверть часа жалел. Тут, на расчистке, спал. Под елью, возле огня. Да и спал ли он вообще в те годы? Кто, разве не он корчевал пни по ночам при свете костров?

Эх, да только ли он себя одного рвал? А Макаровну? Уж ей-то досталось, бедной, она-то, верно, до последнего вздоха помнила эту расчистку. Потому что тут, на расчистке, родила своего единственного сына. Шастала, шастала возле него, оттаскивала в сторону сучья, потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. Белая-белая, как береза...

И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам, напрасно жену в три погибели гнул, сына малолетнего мучил напрасно — снова кусты. По всей пожне кусты. Как сорок лет назад. И комары. Даже сейчас, в конце августа, вой стоял от них в воздухе...

Степан Андреевич вяло обмахивался березовой веткой, смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьем, и жизнь, прожитая им, представлялась вот такой же запущенной и задичавшей расчисткой. Да и вообще он давно уже не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считай что работают задаром — почему? А почему добрая половина пекашинцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить — под суд...

Все-таки Степан Андреевич нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой.

Лиза помогла. Вспомнил про нее, свое солнышко, подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз-другой сена, и пошла коса, заходили руки...

Да, да, удивлялся Степан Андреевич: вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул, а эта, чужая кровь, родней родной стала. «Да что ты, татя, куда я от тебя? Как жили вмести, так и дальше жить будем...»

Он плакал. Плакал ночью, перед выходом на Синельгу, плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих...

Степан Андреянович выкосил полянку, нарезал бересты для коробки и шаркунка для Васи — как было забыть про наказ Лизаветы! — а на обратном пути, когда он уже вошел в сенцы избушки, с ним и случилась беда.

— Степа, Степа! — услышал он зовущий голос Макаровны.

Он обернулся — как тут очутилась жена, которая давно умерла? — и вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами — и он упал...

### 3

Речь к Степану Андреяновичу вернулась на третий день, и первое, что попросил он, было: властей позовите.

— Что? Что? Властей? — Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать. — Зачем тебе власти-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать.

— Властей... Быстрее...

Не посчитаться с больным человеком нельзя, и пришлось посылать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной: Лукашин с утра уехал в район.

В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по-бабьи. Есть практика. В войну все похоронки на себя принимала, первой являлась в дом, куда смерть приходила.

— Ну что, сват? Какую кашу с властями варить надумал?

— Бумагу... хочу... дом...

— Ну, насчет дома не беспокойся. Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо...

Степан Андреянович помолчал, видно набираясь сил, и вдруг четко выговорил:

— Лизавета — хозяйка... Лизавете дом...

— Чего? Чего? Лизавете дом хочешь отписать?

— Да... Весь...

Среди старух, бог знает когда набравшихся в избу, пошли шепотки, пересуды: всем в удивление было, почему старик решил отписать дом невестке. Разве у него родного внука нету?

Лиза, давясь слезами — она стояла в ногах, у старика, — протянула к нему руки:

— Татя, ты ведь неладно говоришь. Какой мне дом? Что ты... На веку не слыхано, чтобы невестке дом отписывали...

— Верно, верно, сват, — поддержала Анфиса. — У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизавета тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть порядок...

В том же духе говорили старику мать, Марфа Репишная, Петр Житов и особенно с жаром убеждал Михаил, потому что, отпиши старик дом Лизке, разговоров не оберешься: а-а, скажут, оболванили старика, вот он и твердит без памяти Лизавете...

Ничто не помогало. Степан Андреевич стоял на своем: весь дом и все постройки при доме — Лизавете. Одной Лизавете...

В конце концов что было делать? Села за стол колхозная счетоводша Олена Житова, и скоро все услышали: «Я, такой-то и такой-то, в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей Пряслиной Елизавете Ивановне, в чем собственноручно и подписуюсь...»

Степан Андреевич расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетели, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза.

Он завершил свои земные дела.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### 1

Егорша, тягуче зевая, продрал глаза и аж подскочил: половина десятого! А потом увидел желтенькие, с детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку: он дома.

Голова трещала: страсть сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с Пекой Черемным и Алексеем Тарасовым.

Пека Черемный, диспетчер районного аэродрома, — старый калымщик, и как минуешь его? Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор-то райкома! Правда, инструктор он особенный — за тот же самый овечий хлев когда-то бегал, что и он, Егорша, — ихние дома в Заозерье впритык друг к дружке, но все-таки, что ни говори, шишка.

И вот помянули деда — прямо в райкомовском «газике». А дальше известно: заехали к Алексею на квартиру чайку попить — помин, в Марьюше на председателя колхоза наскочили — помин, а под Шайволой райтопа встретили — как было не открыть бутылку?

В общем, набрались.

В Пекашино приехали — не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней помощи выкарабкался, а Алексея Тарасова, того, как архиерея, под руки вывели.

— Эй, кто дома?

Никто не отозвался на его голос. Ни в избе, ни в чулане.

Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся на бок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой,

набитой оленьей шерстью перине, — в бриджах, в нательной рубашке, босиком.

Он все помнил, что было поначалу. Помнил, как подъехал к дедовскому дому народу жуть, вся деревня, похоже, собралась, — помнил, как, подхваченный Мишкой, шел по заулку под окошками и плакал даже, помнил, как Мишка на ходу разъяренно шептал ему на ухо: «Нажрался, гад! Не мог потерпеть». (Да, такими вот словами встретил его закадычный друг и приятель!)

Потом, конечно, запомнил встречу с дедом. Он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу — маленького, ссохшегося, какого-то ветошного против прежнего.

Да, деда он запомнил, на всю жизнь запомнил, а дальше, как говорится, пшенная каша в голове: красное, распухшее лицо Лизки, плач, рев, гнусавый старушечий «святой боже, святой крепкий», постоянные подталкивания Мишки сбоку: «Стой прямо!..»

Нет, еще ему припоминается, как, возвратись с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна — век бы не подумал — такую речь толкнула, до пяток прошибло: «Труженик... пример... никогда не забудем...»

А потом до вина дело дошло — что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жахнул первый: не кого-нибудь деда родного похоронил...

Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны...

Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из запотелого ведра.

Водичка была что надо — холодная, утреннего приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место выставила неполного малыша. Лизка?

Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия...

Блаженно, до хруста в плечах, потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется земля — вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк — по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками.



Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстеного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же.

Нет, новое в заулке было — охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.

Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие, и щепка на земле белая.

Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет, — насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай — всегда все сушат да проветривают после покойника.

Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.

## 2

Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: «Зацвели яблони и груши...»

В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.

Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевиота, сапожки хромовые — смотришь заместо зеркала, подворотничок свеженький — белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит.

Ну, а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?

У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство — второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил с двух сторон костылями подперся?

Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень...

Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось попервости! Какая-нибудь дубина-бревно под потолок, а сидит в уголку, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили...

Первый день в армии, первые развороты-повороты по-военному... Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?

Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле... И вдруг просиял — его увидел.

— Как фамилия?

Егорша отрапортовал по всем правилам — еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками:

— Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.

— Во как! Суханов, да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Образование?

— Семь классов. — Егорша всегда немножко округлял для краткости.

— Почерк хороший?

— Хороший, товарищ, старший лейтенант.

— Выйди из строя. Будешь писарем роты.

Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность — все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает.

Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?

Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?

Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел — шаровары на нужном месте, гимнастерка вподруб, подворотничок беленький... Солдат, одним словом.

Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.

Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды — шагом арш!

Раз к ним в ротную канцелярию — он, Егорша, только-только начал в курс входить — вкатывается командир батальона. Злой как черт — язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается — то не так, это не так, а потом увидел его:

— Кем на гражданке работал?

— Шофером, товарищ капитан.

— Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете приказ — всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)

Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули — шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!

Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком так прокочегаришься черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие — как так и надо. Скидал в рот, что тебе сунули, — и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.

Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до окончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском ЗИСе сделать постоянной...

...Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил — ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое веселье ждало — замок в пробое.

Он пошел в магазин сельпо — как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.

Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле — с ходу взять бабу, ошарашить.

Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульку Яковлеву она, оказывается, была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла, — так разве ей на солнце глядеть?

А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие — схема, как разделывать коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По научному. Только мяса нет.

От магазина Егорша двинул на задворки — на колхозные объекты. Может, там больше повезет?

Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? Неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.

Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию

коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор — глазами прикажете хлопать?

Работенка неплохая, углы сшиты — хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран... А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина.

Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом — тут, среди инструмента, нашел: «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!»

Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку «беломорин» — весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.

К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.

Сперва надулся: что это такое — жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи — и начало, и начало травить.

Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в сорок втором году вот в это же самое время... И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть...

Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!

— Здравствуй, — улыбнулся Егорша.

А вообще-то не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамьятя, а

дома дядя сделай?

В сенцах у Пряслиных не лучше — всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?

Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерванной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.

Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?

Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын... Его сын...

Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда ходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он — вот он: как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский — у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.

Егорша присел на корточки, протянул руки:

— Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?

Вася нахмурился — с характером мужик! — а потом вдруг улыбнулся и тят-тят, к нему, к отцу...

И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась...

К счастью, в избу в это время вошла теща.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки, а крыша местами так провалилась, что, того и гляди, кого-нибудь задавит.

Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю

не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.

Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.

Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?

Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок, — она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии!

— Иди, иди, глупая! — сказала она ей. — Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.

Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами — никого.

И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот — Лизка. В самый темный угол забралась — в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.

— Лиза, Лиза, что с тобой? — закричала Александра, обмирая от страха.

Лизка, слава богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.

— Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал — скакать надо от радости... Вставай, вставай!

Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.

— Ну, чего стряслось? Чего не поделили?

— Ни-че-го...

— Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.

— Да не я убегала... Он от меня...

— Что, что? — неподдельно удивилась Александра. — Егорша от тебя убежал? Ну уж, нет, не поверю. В жизнь не поверю!

— Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь...

— Домой не жди? Да когда он это писал?

Александра еще долго так пыталась зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.

— Ничего, ничего, начала успокаивать ее Александра, — не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло...

— Да разве не вышло? Я ждала, ждала его — не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне... — И Лиза снова зарыдала.

Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукойником, причесала.

— А теперь иди.

— Куда? — Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.

— Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризить теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал... Ох, девка, девка... Меня, бывало, муженек-покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак... Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас — у тебя Матвей жив, да господи, до Москвы бы до самой на коленцах сползала... — Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла. — Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится — днем живем...

## 2

Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее — без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло — такая вдруг небесная, ликующая радость хлынула ей в душу.

Домой, домой!

Самой короткой дорогой — мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома...

Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полымем: что сейчас ее ждет? Как встретит Егорша?



Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олегой Тарасовым.

Олега из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олега — власть, в райкоме сидит, но кому не ведомо, что он пьяница зарезной?

Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели «святой боже, святой крепкий...», а он на всю избу: «Цыц, старые вороны! Нету бога. С богом у нас еще в семнадцатом году покончено».

Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам — не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор — уматывай.

Надо остановиться, надо прибрать волосы — куда же растрепой на деревню, на люди?

А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться... Потому что глупые. Потому что головы не слушаются...

Все-таки у воротец перед заулком она остановилась — забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.

По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила — не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла — козой взвилась.

Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец — еще одну меленку мастерит, побольше.

Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп — таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.

— А-а, гудела наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму — для вразумления?

Лиза все про себя отметила — и «маму», и «сынка», и то, как смотрел на нее Егорша, — но все-таки огрызнулась хоть для видимости:

— Хорошему сынка учишь — маму стегать. Мама-то не на плясах была — на работе.

— Разговорчики! А ну марш к шестку — мужики проголодались!

Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится — человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.

### 3

Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени. Еще чего?

Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают — Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.

Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец — кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?

Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось — не налезает больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы набок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубахе.

Смятение охватило Лизу.

Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:

— Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь...

Дробью застучала дресва по стеклам в раме — Егорша бросил: поторапливайся, дескать.

— Сичас, сичас! — И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это — в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.

Платьями она, слава богу, не обижена. Степан Андреевич на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери, сарафаны, кофты, шубы, платки, шали — передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.

И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьянку с матерью не забывала где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?

Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.

Она выбрала кашемировое платье бордового цвета — и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.

— А-а, вот ты где!..

Лиза быстро обернулась: Егорша...

— Уйди, уйди! Бога ради, уйди... Я сичас...

Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.

Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.

— Не подходи, не подходи... — Лиза лихорадочно обеими руками грабастала на себя платье, юбки.

Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платье. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.

И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платье и не дыша, словно замороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У Ставровых началась великая строительная лихорадка, с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.

Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребятишки, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.

Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову на счастье, а потом разошелся — раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.

Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.

Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.

Лиза, когда вернулась с коровника да увидела — в синем вечернем небе белый конь скачет, — просто расплакалась:

— Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: «Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем»... А тут и не Миша, внук родной поднял...

— Но, но! — басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша. — Разговорчики!

Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекала новая, почти незнакомая до этого роль мужа.

Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: «Я не знаю, с ума, наверно, сошла... Все глежу и глежу на тебя и нагледеться не могу...» А с коровника своего возвращается — ух ты! Вся покраснелась, застыдилась — как, скажи, на первое свидание с тобой пришла...

Заскучал Егорша на седьмой день.

В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зуб в деревне? Вином. А потом — вино не помогло — взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар — там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.

И вот только он открыл, гремя ключом, дверь — увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.

Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек — ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе — рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получился скандал. Получилось черт знает что!

— Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся — рады, что старика схоронили...

Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизу, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.

## 2

Зубы заговорила Марина-стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.

Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли — не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края...

Куда пойти?

Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной — это он хорошо понял сегодня. К теще податься? Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие — вот уж неделя, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сиживал.

Егорша пошагал в колхозную контору: вспомнил — председатель на днях с Лизкой наказывал зайти.

Лукашин был в правлении один — сидел за своим председательским столом и играл на костяшках.

— Все дебеты и кредиты сводим? — нашел нужные слова Егорша.

— Да, приходится.

— Ну и как?

— Подходяще! — Лукашин сказал это бодрым голосом, но распространяться не стал, полез за папиросами. Очень удобная штука эти папиросы для начальства: всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор.

Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятно ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. Ведь это же надо — добровольно, по своей охоте к ним на Пинегу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтобы ради нее на край света ехать. Из-за карьеры?

Признаться, попервости он, Егорша, так и думал: в такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. Но сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? Четыре-пять? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так и теперь потеет.

— Так, так, Суханов, сказал Лукашин, закуривая, — отломал, говоришь, три годика, выполнил свой патриотический долг...

— Примерно. На месяц раньше демобилизовали. По причине семейных обстоятельств.

— Да, старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал — всю упряжь чинил...

Егорша со скорбным видом принял соблезнования, даже папиросу вдавил в пепельницу (все та же щербатая тарелка, как три года назад), вздохнул.

— Ну, а какие планы? Как жизнь устраивать думаешь?

— Покамест недоработки стариковы по дому ликвидировал, а вообще-то надо подумать.

— А по-моему, и думать нечего, сказал Лукашин и начал загибать пальцы: Жена у тебя в колхозе — раз, дом — вон какой, с конем! Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали?

— Видел.

— Ну тогда чего же тебя агитировать! Подключайся к Житову. Веселый народ не заскучаешь.

— Так, — сказал Егорша. — Насчет веселья вопросов не имею. А как насчет этого самого? — Он на пальцах показал, что имеет в виду.

— Насчет этого самого... — Тут Лукашин прямо-таки дымовую завесу поставил между собой и им. Не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями.

В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них нежирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет.

— Понятно, — усмехнулся Егорша. — В общем, раскладка не та.

Лукашин вопросительно посмотрел на него.

— Это в части у нас повар был, Иван Иванович. Толстый, такой жирный боров — как баба беременная. Но мастер — во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выедем за город на пикник, — Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина: знает ли?... начнет вздыхать да охать: ах, в деревню хочу, ах, на природу-кустики желаю... Ладно. Демобилизовался. Уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как, скажи, чахоткой заболел. Без паспорта и не узнать. Ну, все-таки до генерала допустили — такие повара на улице не валяются. «Так и так, товарищ генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам часть». — «А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? — спрашивает генерал. — Не понравилось?» — «Понравилось, товарищ генерал. И даже очень понравилось. Только раскладка не та...»

— Ну, и взял генерал этого повара обратно? — спросил Лукашин и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся.

— А то как! Такого повара да не взять.

— Зря, сказал Лукашин. — А кто же будет деревню поднимать?

Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но с другой стороны — что это такое? Ничего не спросил: где, как, кем служил, — полезай на угол. Маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще, разозлился вдруг Егорша, чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют? Так? А другие колхозные показатели? Что-то он, Егорша, не помнит, чтобы Лизка и Мишка взახлеб писали ему по поводу этих самых показателей. Да он и сам не слепой. Не с одного КП просмотрел Пекашино за эту неделю...

Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой своей деревни!

И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой:

— Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер. А кроме того, отпуск. Согласно закона о демобилизации...

Лукашин вздохнул, но ничего не сказал.

### 3

Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее, проплясал его по вертлявым замшелым жердинам и бревнышкам, потом продирался мокрым кустарником — плакали хромовые сапожки и гимнастерка шерстью обросла, пришлось даже с себя снимать, чтобы отчистить, потом еще сколько-то поблуждал-покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника.

Нет, товарищ Лукашин, сказал мысленно Егорша, подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь своим землякам — когда бежал от трудностей? Но и ишачить за вас — нет, извините, дураков нема. За три года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пекашине что? У вас какой оборот по части прогресса?

Три года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пекашинской карте не было — он точно это помнит, потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова и дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорялся насчет ржи. Дескать, плохая рожь ноне на поле, землю навозом не удобряют, а вот у него в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби...

Мишка напоминал Егорше глухаря на току. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит, охотник под самую сосну подходит, чуть ли не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовой столб встал. А Мишка рядом, в двух шагах, проехал — не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопанья граблей — с открытыми глазами слепой.



Да, усмехнулся Егорша, хорошо, что он все это увидел в голой натуре. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках — о чем стал подумывать в последние дни? А о том, чтобы пополнить собой колхозные кадры, тут, в Пекашине, на постоянный причал встать...

Егоршу обнаружил Тузик.

Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности путался в ржанных валках. А тут увидел незнакомого человека загремел на все поле, а потом еще того чище — на него бросился.

Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карие.

Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником.

Таких канав великое множество в пекашинских навинах — точь-в-точь как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками, из поколения в поколение, велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик вроде его деда треть жизни своей выстоял в этих самых канавах-окопах. Вот каким трудом добыта каждая пядь пахотной земли на Севере! А теперь что?

Мишка все же уважил гостя: сам сел на ягодник, а ему, Егорше, бросил ватник.

— Что-то не вижу у тебя бабсилы, сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле.

Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое бабсила, — пришлось растолковывать, на какой тяге едет ихний колхоз.

— В лес женки укатали, — буркнул Михаил. — Вишь, какое тепло стоит. Хотят последние грибы взять...

— Ясно, — подвел политическую подкладку Егорша, — частный сектор наступает на пятки общественному.

Мишка — всегдашняя опора и любимец пекашинских баб — завелся сразу:

— Частный сектор, частный сектор!.. А этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по триста грамм на трудовень отвалили, а в этом году сколько?

Егорша скорехонько вытащил из брюк белоголовку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он

знает с сорок второго года, и, ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами.

— Стакана у Ульки-продавщицы не привелось, а домой не заходил, сказал Егорша, — так что придется вспоминать счастливое детство...

Однако тут не сплосал уже Мишка: быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты с золотистой изнанкой, загнул два угольника — чем не посуда?

— Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте, сказал Егорша, когда выпили.

— На петушином? — удивился Мишка (совсем мозга не работает!). — Это еще что?

— А это такой фронт, на который все с полным удовольствием... Без погоняла... Солдатик один у нас в отпуск ездил. Домой к себе, в колхоз. Ну, съездил как положено. Без чепе. В срок явился, доложил. А через девять месяцев семь заявлений: просим с такого-то Сидорова-Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов — сам знаешь: какие с солдата капиталы? Главное политико-воспитательная работа минус. Майор, замкомандира по политчасти, вызывает Сидорова-Петрова: что ты наделал, такой-раздакий? «Виноват, товарищ майор, а только никак иначе нельзя было». — «Почему?» — «А потому, что когда кур полный курятник, а петух один — что петуху делать?»

— Да, — рассмеялся Михаил, — а ведь действительно петушиный фронт.

— Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте. Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой?

— Раечка — девка.

— Все когда-то были девками.

Мишка махнул рукой — всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выпрашивают! Пробурчал:

— У нас чего — известно. Ты лучше про городских. Как они?

— Да все так же. Существенных расхождений не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть. — Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся. — У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи... Ну, умаялся. Я так, я эдак — из себя выхожу. Всё мимо, всё за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется. Чтобы

на семейную колею, значит... Ладно, хрен с тобой — получай обещание — поженимся. Ну и понятно, первый угар прошел — она счет: женись. Э-э, нет, говорю, коханочка (это у них навроде нашей дролечки), ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе, надо было подол покрепче в зубах держать. «А как же, говорит, честное слово ты давал?» Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен, понятно тебе, а всякие там слова и обещания для него не в счет...

Михаил сказал:

— А говорят, теперь служить против прежнего тяжельше, никуда из казармы не выпускают.

— Ну правильно! — живо согласился Егорша. — Только много ли я в этой самой казарме кантовался? А потом — у генерала стал шоферить — знаешь, какой у меня горизонт был? Сегодня мотаешь в один полк, завтра в другой, послезавтра в округ, в субботу — «подать машину в девятнадцать ноль-ноль. На рыбалку едем. С пикником». — Последнее слово Егорша выговорил с особым старанием, но, как он и предполагал, Мишке это слово ничего не говорило.

— Пикник, — начал разъяснять Егорша, — это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой выпивкой. Понимаешь, у начальства в летний период заведено так: в выходной день за город. А то и в субботу иной раз шпарят, прямо на ночь... Н-да, была у меня одна история на этом самом пикнике...

— Какая?

— Да такая, что только здесь и рассказывать, за две тысячи от места происшествия.

Егорша выждал, пока Мишка закручивал себя в нужном направлении (это перво-наперво — передох, ежели хочешь по черепу ударить), и спокойно, даже как бы с ленцой объявил:

— С генеральшей маленько в жмурки поиграл.

— С женой генерала? Ври-ко!

— А чего врать-то? Правды не пересказать. Ты думаешь, раз генерал — по всем делам генерал? Естество и природность как у всех протчих. После пятидесяти в долгосрочный отпуск. Весной дело было. Крепко подвыпили — первый пикник на лоне был. Меня это подзывает к себе генерал. стакан коньяку полнехонький. И вот такую балясину мяса жареного на железном шомполе шашлыком называется,

только что повар Иван Иванович с огня снял. «Выпей, Суханов, и чтобы через пять часов как стеклышко. Понял?..» — «Так точно, товарищ генерал-майор. Есть через пять часов как стеклышко». Ну, выпил я, залез в свой ЗИС, прямо на заднюю подушку — вот как хорошо! Знаешь, у ЗИСа целый диван на задку. Ладно, спит солдат — идет служба. А через энное время стук в дверцу: жена генерала. Замерзла. Ну я, конечно, моменталом: пилотку в руки и пожалуйста — свободно помещение. А она как толкнет меня обратно...

— Жена генерала?

— А кто же еще? Свидетелев в таком деле не бывает...

У Мишки веревкой вдруг сошлись выгоревшие за лето брови над переносьем, а желваки на щеках как собаки — так и забегали, так и забегали взад-вперед, только что не лают. В чем дело? Сидели-сидели два друга-приятеля на теплом солнышке, под кустиком, обменивались мирно опытом под водочку с берестяным душком — и вдруг трам-тарарам и гроза на ясном небе. Позавидовал? Генеральша эта самая в печенки въелась?

— Объясни свое поведение, — потребовал Егорша. — У нас старшина Жупайло, знаешь, как в этом разе делал?

Мишка вскочил на ноги, морду в землю — прямо дугой выгнулась косматая, давно не стриженная шея — и наутек. Не в обход по тропинке, а напрямик, через кусты, — только треск пошел.

Яростно залаял Тузик.

Егорша схватил недопитую бутылку, шарнул, как гранату, в сторону собачонки — задавись, сволочь! — а потом встал, отряхнул гимнастерку и бриджи, затянул ремень на последнюю дырочку, так что ящиком расперло грудь, и пошел, не оглядываясь, на дорогу, по которой только что верхом проехал Лукашин.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Туман, туман над Пекашином...

Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки молочные разлились под окошками...

Редко, очень редко на пекашинскую гору забираются туманы, все больше вокруг деревни ходят. Низом, по подгорью, по болоту. Но уж когда заберутся прощай белый свет: в собственном заулке ничего не увидишь.

Да, подумал Михаил, стоя на крыльце и поеживаясь от сырости, сегодня до обеда нечего делать в поле.

Он бросил недокуренную папиросу, с криком влетел в избу:

— Федька! Татьяна! Живо за грибами!

Федька заворочался на своих полатях только тогда, когда Михаил проехался кулаком по лопатинам, а Татьяна, та и вовсе голоса не подала из своего девочешника. И как тут было не вспомнить Петьку да Гришку! Те, бывало, команды не ждут, сами все уши прожужжат: «Миша, за грибами ехать надо... Миша, заморозки скоро начнутся...» — а уж утром-то в день выезда на бор только пошевелишься чуть-чуть — как штыки вскочат.

Вчера наконец от Петьки и Гришки получили письмо. Дурачье — двадцать копеек на марку пожалели, с Гриней-карбасом из Водян послали, а Гриня в районе накачался — замертво, как бревно лежачее, мимо Пекашина провезли. И вот только вечер, через десять дней, занес — Михаил как раз с поля приехал, когда Гриня в заулок ввалился: «Мишка, ставь полбанки — письмо от брательников». Вести были что надо: учатся! Сошел с рук Тузик, и, хоть в доме не было ни копейки, Гриню угостили: под дрова четвертак у Семеновны заняли.

Михаил вышел из дому один. Татьяне и Федьке, оказывается, в школу сегодня идти, а матери и подавно нельзя: корова, печь, Вася...

В тумане он прошел заулок, задворье и вдруг подумал про Лизку, про Егоршу: а им-то грибы надо?

К Ставровым Михаил подкатил на телеге.

По привычке он гулко забухал сапогами на крыльце боковой избы — подъем, подъем! — и только наткнувшись на мокрый кол в воротах, вспомнил, что Егорша и Лизка на днях переселились в передние избы.

Открыла ему сестра.

— Чего такую рань? Мы ведь еще дрыхнем... — И, стыдливо потупив глаза, отступила в сторону.

Зато Егорша — ни-ни, одеяла на голое брюхо не натянул. И вообще, зубы стиснуты, глаза в потолок — пошел ко всем дьяволам!

Понятно, понятно, сказал себе Михаил. Не понравилось, как я вчера на поле вскипел. А кто бы не вскипел на его месте, когда перед тобой петушинные подвиги расписывают, сестру твою родную предают да в грязь топчут?

Однако он сейчас и виду не подал, что накануне между ними черная кошка пробежала.

— Давай, давай! Мигом! Солдат еще называется! Он схватил Егоршу за ноги, стащил с постели, вольготно раскинутой посреди избы, — совсем как в былые времена! — кивнул на белые, наглухо затканые туманом окна:

— Грибы наказывали, чтобы мы в гости приехали. Заждались, говорят.

— А ведь это мысля! — сразу воспрянул Егорша.

— Мысля! Молчи уж лучше — не трави душу. Умные люди с вечера о грибах думают.

— Да в чем дело? — спросил Михаил у насупленной сестры.

— Со стиркой я вечер разобралась. Оля выходной дала — дай, думаю, приберусь немного...

— Ерунда! — успокоил сестру Михаил. — Стирка и до вечера подождет.

Все решила команда Егорши. Тот, нисколько не думая про спящего сына, заорал как в казарме:

— Разговорчики! Пять минут на сборы. Понятно?

Собирались весело, со смехом, с шутками. Егорша — дурь в голову ударила начал притворно выговаривать Михаилу, зачем он не подождал, сон ихний оборвал на самом интересном месте — нарочно, чтобы вогнать в краску Лизку, и та, конечно, не выдержала — выскочила из избы.

— Ты бы все-таки эту жеребятину оставлял за порогом, когда в свою избуходишь, — с мягким укором посоветовал Михаил.

— А между прочим, — Егорша по-прежнему в этом слове старательно нажимал на «т», насчет этой жеребятини самой, знаешь, какое мнение у кобыл?

Последовал похабнейший анекдот, и Михаил первым затрясся от смеха.

Лиза не возвращалась. Умылся и оделся Егорша, Вася успел проснуться, а ее все не было.

Наконец забрякало железное кольцо в воротах.

Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык: Лизка была не одна. Вслед за Лизкой в избу входила Раечка.

Егорша от радости подпрыгнул чуть ли не до потолка — любил компанейскую жизнь:

— По коням!

А Михаил только посмотрел на свою сестру, на ее сияющие зеленые глаза и все понял. Нет, ей мало быть счастливой самой. Она хотела, чтобы и брат был счастлив.

### 3

В Пекашине, если не считать заречья, самые грибные места за навинами и в Красноборье.

Занавинье грибом богаче, особенно солехами, да и ягоды там всякой больше, но Михаил решил ехать в Красноборье. Во-первых, надо Васю к матери забросить, а это как раз по дороге, а во-вторых, в занавинье сегодня сыро — до последней нитки перемокнешь.

Егорша, как только сели на телегу, начал травить анекдоты — на всякий случай у него притча да присказка. К примеру, Лизка спросила у Михаила, не забыл ли он свой нож, надо бы дырочку у коробки провертеть, ручка разболталась — пожалуйста, анекдот о дырочках...

Конь бежал ходко. За разговорами да за смехом и не заметили, как проскочили мызы, выехали к Копанцу.

Там кто-то уже был — в сторонке от дороги, под елью, горбилась лошадь. А пока они ставили своего коня да разбирали коробья, объявились и грибники Лукашин и Анфиса Петровна, оба с полнехонькими корзинами желтой сыроеги.

— Покурим? — предложил Лукашин.

Михаил промолчал, вроде как не слышал, а из женщин — из тех и подавно никто не поддержал председателя: раз приехали в лес, какое

куренье?

Но Егорша, конечно, зацепился.

— Шлепайте! — крикнул он. — Догоню.

Рассыпались вдоль ручья. Места хорошие: холмики, гривки, веретейки. Всего тут бывает толсто — и гриба, и ягод.

Лизка, глупая, сразу же отскочила в сторону, якобы для того, чтобы пошире ходить, а на самом-то деле дурак не догадается, что у нее на уме. Хочет оставить их вдвоем с Раечкой, создать, так сказать, соответствующую обстановку.

Раечка кружила у Михаила под носом, он постоянно натыкался на ее широко распахнутые голубые глаза — они, как фары, высвечивали из тумана, звали, манили к себе, хотя тотчас же и пропадали. Но Михаил и шагу не сделал в сторону Раечки. Что-то удерживало, останавливало его. Только раз он, пожалуй, был самим собой с Раечкой — недели две назад, когда вечером столкнулся с ней возле школы. Да и то, наверно, потому, что навеселе был. А во все остальные встречи он будто узду чувствовал на себе.

Все-таки в одном месте они оказались впритык друг к другу. Это у муравейника, где спугнули глухарку.

Глухарка взлетела с треском, с громом, так что не только Раечка насмерть перепугалась — он, Михаил, от неожиданности вздрогнул. Потом он поднял с муравейника рябое, с рыжим отливом перо, оброненное птицей, понюхал:

— Чем, думаешь, пахнет?

Тут их догнал Егорша. Все было тихо, спокойно, и вдруг свист, гуканье, верещанье — по-собачьи, по-кошачьи, по-всякому, а потом и прибаутка на каком-то нездешнем мягком говоре:

«— Мамка, а мамка? У грибов глаза есть?

— Не, дочка.

— Врешь, мамка. Когда их едят, они глядят!».

— Ты лучше, чем зубанить-то, покажи, что набрал, — спросила, улыбаясь, подоспевшая к ним Лиза.

В берестяной коробке у Егорши перекатывалась горстка мокрых, запорошенных старой рыжей хвоей козлятков, каких они, Пряслины, вообще не берут. У Раечки тоже было негусто, зато у Лизки — полкороба. И какие грибы! Желтые маленькие сыроежки (самые лучшие грибы для соленья), масляные грузди, рыжики... А меж них



красная и синяя строчка из брусники и черники пущена. Это уж специально для красоты.

Впрочем, Лизкин короб никого не удивил. В Пекашине — это всем известно нет ягодницы и грибницы, равной ей. Сама Лизка этот свой дар объясняла просто — тем, что ее бог наградил зелеными глазами, которые сродни всякой лесовине. «Вот они, грибы-то да ягоды, — говорила она в шутку, — и выбегают ко мне по знакомству, когда я иду по лесу, только подбирай».

Довольная, широко скаля свой крепкий белозубый рот, Лиза переложила половину своих грибов в коробку Егорши, шлепнула игриво по спине — носи, мол, раз лень самому собирать — и только ее и видели: умотала.

Первые коробья наполнили довольно быстро — к телеге подошли, еще туман ходил по лесу.

От мокрой Раечки шел пар — вот как она бегала, чтобы не подкачать. Потому что, как там ни пой, а неудобно девушке, да еще невесте, с пустым коробом к телеге выходить.

На этот раз Михаил покурил сидя, без особой спешки — имеет право! — затем вынес на обсуждение вопрос, что делать дальше. В запасе у них часа полтора куда двинем? В сторону покотины, чтобы пособирать на луговинах волнух и рыжиков, или побродим в сосняке на речной стороне, то есть в том лесу, который, собственно, и принято называть Красноборьем?

— В сосняке! В сосняке!

Другого ответа он и не ожидал. Так у пекашинцев испокон веку: уж если довелось тебе забраться в Красный бор, то хоть немного, а покружи в приречном лесу. Грибов да ягод тут, может, много и не наберешь, а на свет белый глянешь повеселее. В любую погоду в Красному бору сухо. И светло. От сосен светло. И от самой земли светло, потому что земля тут беломошником выстлана.

Обратно шли пешком — телега в два этажа была заставлена коробьями с грибами.

Лиза была довольнехонька: быстро обернулись. Когда подъехали к Синельге, туман еще был под горой.

Конь легко взял пекашинский косик и мог бы без передыха дотащиться до дому, но Егорша крикнул: «Перекур!» — и конь послушно стал.

Лиза и Раечка, как водится у женщин, начали прихорашиваться, перевязывать на голове все еще сырые платки, Егорша занялся сапогами — в деревню въезжаем, — и только Михаил ни рукой, ни ногой не пошевелил. Потом — как-то совсем машинально — он повел глазами по Варвариным, веселым от солнца окошкам и вдруг вздрогнул всем телом: ему показалось, что из глубины избы поверх белой занавески на него смотрят знакомые темные глаза.

Он, как ошпаренный кипятком, повернул голову к Егорше — тот, к счастью, не глядел на него, вицей огрел коня.

Взглянуть второй раз в окошко у него не хватило духу.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

На Севере сенокос обычно начинают с дальних глухих речек, так как траву там только тогда и высушишь, когда солнце жарит. В таком же примерно порядке убирают и с полей: сперва на лесные навины наваливаются, а потом уж зачищают все остальное.

У Михаила в бригаде из дальних полей недожатой оставалась Трохина навина тот самый участок, на котором вчера соизволил навестить его Егорша. Но сегодня после такого тумана нечего и думать было о Трохиной навине — низкое место. Поэтому, чтобы не терять даром времени, он после обеда перегнал жатку на Костыли — так называются поля за верхней молотилкой.

Работа на этих Костылях — все проклянешь на свете: холмина, горбыли, скаты. За день и сам начисто вымотаешься, и с лошадой не один пот сойдет.

Но весело.

Деревня за болотом как на ладони. Кто по дороге ни прошел, ни проехал всех видно. Обед по сигналу. Как только взовьется белый плат

над крышей своего дома, так и знай: Татьяна и Федька из школы пришли.

Но самое главное веселье, конечно, молотилка у болота, к которой вплотную подходят поля. К бабам на зубы попадешь — изгрызут, измочалят, как сноп, а чуть маленько зазевался — чох из ведра водой, а то и с жатки стащат. Навалится со всех сторон горластая хохочущая орда — что с ними сделаешь?

Сегодня Михаил с удивлением посматривал в черную грохочущую пасть ворот, в которых столбом крутилась хлебная пыль. Он уже три раза проехал мимо, и хоть бы одна бабенка выскочила к нему из гумна.

Ага, вот в чем дело, догадался наконец, Железные Зубы тут (он узнал Ганичева по черному кителю, жестяно отливающему на солнце возле конного привода).

Районных уполномоченных стали приставлять к молотилкам с осени прошлого года. И будто бы такая мода заведена не только у них на Пинеге, но и в других районах области. Для того, чтобы колхоз быстрее выполнил первую заповедь. И для того, чтобы поменьше зерна попадало бабам за голенища. Так, по крайней мере, говорят, в шутку сказал Подрезов на каком-то районном совещании.

Поднявшись в угор, Михаил слез с жатки, выломал на промежке, возле дороги, черемуховую вицу: лошади сегодня ни черта не тянут, особенно Серко, на котором за грибами ездили.

Над черемуховым кустом лопотали осины, уже прошитые желтыми прядями. Серебряные паутинки плавали в голубом воздухе...

Михаил вспомнил, как из этого самого осинника он когда-то воровски поглядывал на Варварину повесть, и невольно посмотрел на ее дом.

У него глаза на лоб полезли: ворота на Варвариной повести были открыты. Те самые ворота, через которые он когда-то залезал по углу.

Он сел на промежек, чтобы прийти в себя. Значит, давеча ему не показалось — Варварины глаза были в окошке...

Мысли у него прыгали и скакали в разные стороны, как лягушата. Голова взмокла — не от солнца, нет. Сердце гремело, как колокол. Все, все было точь-в-точь как раньше, когда он был мальчишкой.

Что придумать? Что? Дождаться вечера? Темноты?

Он глянул на солнце — целая вечность пройдет, покуда дождешься вечера.

Так ничего и не придумав, он сел наконец на свое железное сиденье, погнал лошадей вниз, к молотилке.

Ворота на Варвариной повети все так же зазывно были открыты...

У молотилки остановил лошадей (те только этого и ждали), с бесшабашным видом пошел к бабам.

— Пить нету?

Глупее этого, наверно, ничего нельзя было придумать, потому что бабы с нескрываемым изумлением переглянулись меж собой: дескать, какое тебе питье надо — болото с ручьем под боком.

Нюрка Яковлева первая повернула разговор на «божественное»:

— С кем целовался? Какая милаха так жарила, что осенью высох?

— Ха-ха-ха-ха!

— О-хо-хо-хо-хо!

Подошедший на смех Ганичев строго заметил:

— График срываешь, Пряслин. Барабан загрохотал.

— Ну ладно! — беззаботно махнул рукой Михаил. И громко, чтобы все слышали: — Пойду к Лобановым. Я еще не привык с лошадьми из одной колоды пить.

Раньше, пять лет назад, когда он белой ночью, как вор, крался с задов к Варвариному дому, самым трудным для него было проскочить от амбара в поле до повети — три окошка у Лобановых нацелены на тебя. И сколько же топтался и трясся он возле этого амбара, прежде чем решиться на последний бросок!

Сегодня Михаил прошел по меже мимо амбара не останавливаясь, а на лобановскую избу даже и не взглянул.

Закачало его, когда он подошел к воротцам да увидел в заулке свежепримятую траву: Варвара своими ногами топтала.

У него не хватило духу поставить свой сапог на ее след, и он начал мять траву рядом.

Руки сами по старой привычке нащупали в воротах железное кольцо с увесистой серьгой в виде восьмигранника. Сноп яркого света

ворвался в нежилую темень сеней, вызолотил массивную боковину лесенки, по которой он столько раз поднимался на поветь...

Но он задавил в себе нахлынувшие воспоминания, взялся за скобу.

Варвара мыла пол. Нижняя подоткнутая юбка белой пеной билась в ее смуглых полных ногах, красная сережка-ягодка горела в маленьком разалевшемся ухе...

— Ну, чего в дверях выстал? Так и будешь стоять?

Михаил перешагнул через порог. Дунярка разогнулась.

Да, это была она, Дунярка, хотя и не так-то легко было признать в этой сытой, раздобревшей женщине с румяным лицом его мальчишескую любовь.

Впрочем, Дунярка и сама не скрывала происшедших с нею перемен.

— Крепко развезло? На дистрофика не похожа? Ничего, Сережка у меня не возражает. Его на сухоребриц не тянет.

Сполоснув руки под медным, уже начищенным ручомойником, она поздоровалась с ним за руку, подала стул, села сама напротив.

— А я тебя давеча тоже не сразу узнала. Вон ведь ты какой лешак стал, баб-то всех с ума, наверно, свел. Я в районе у тетки два дня жила — не видала такого дяди.

Дунярка говорила запросто, по-свойски, как бы приноравливаясь к нему, но именно это-то и не нравилось Михаилу. Как будто он уж такой лопух — языка нормального не поймет. А потом — за каким дьяволом постоянно вертеть глазами? В Пекашине и так всем известно, что в ихнем роду глаза у баб исправны.

За занавеской заплакал ребенок. Михаил вопросительно глянул на вскочившую Дунярку.

— А это Светлана Сергеевна проснулась. Ты думаешь, так бы меня Сережка и отпустил одну? Как бы не так. К каждому пню ревнует.

Дунярка не могла не похвастаться своим сокровищем и, прежде чем начать кормить девочку, вынесла показать ему.

— Вот какая у нас есть невеста, не видал? И два жениха еще растут. А чего теряться-то? Хлебы себе под старость растим. А ты все еще на прикол не стал? Не хочешь на одной пожне пастись? Хитер парниша! — И Дунярка опять покрутила глазами.

— А ежели тебе завидно, жила бы в девках, — сказал Михаил, на что Дунярка — уже из-за занавески — громко расхохоталась.

В избе, как показалось Михаилу, сладко запахло парным молоком.

— А я ведь пить зашел, сказал он, и ему и в самом деле захотелось пить. А кроме того, пора было сматываться. Поздоровался, пять минут посидел для приличия, а еще что тут делать?

Он встал, взял ковш со стола и увидел на стене знакомую фотографию Варвары. Карточка была давняя, довоенная, из-за отсвечивающего стекла лица не видно, но он так и влип в нее глазами...

— Скажу, скажу тетке, как ты на нее смотрел, — раздался вдруг сзади смех. — Вот уж не думала, что у вас такая любовь. А я ведь, когда мне рассказывали, не верила...

У Михаила огнем запылало лицо. Он бешеным взглядом полоснул Дунярку и смутился, увидев у нее на груди, на белом, туго натянутом полотне, два темных пятнышка от молока.

Стиснув зубы, он пошел на выход. Дунярка схватила его за рукав.

— Вот кипяток-то еще! Слова сказать нельзя. Нет, нет, насухо ты от меня не уйдешь! Не выйдет!

Она силой усадила его к столу, вынесла из задосок начатую бутылку, из которой, по ее словам, уже отпил шофер, который вез ее из района, налила стакан с краями.

— Давай! За нашу встречу... — И простодушно, даже как-то застенчиво улыbnулась.

— А ты?

— А мне нельзя. У меня, видал, какая невеста-то? Или уж выпить? А, выпью! — вдруг с подкупающей решительностью сказала Дунярка и лихо, со звоном поставила на стол стопку.

Водка шальным огнем заиграла в ее черных и плутоватых, как у Варвары, глазах. И что особенно поразило Михаила — у Дунярки была та же самая привычка покусывать губы.

— А ты очень тогда на меня рассердился? — спросила она.

— Когда — тогда? В городе?

— Ага.

— Будем еще вспоминать, как ребятишками без штанов бегали!

Шутка Дунярке понравилась. Она залилась веселым смехом. Потом долгим, как бы изучающим взглядом посмотрела на него.

- Чего ты?  
— А ты не рассердишься?  
— Ну?  
— Нет, ты скажи: не рассердишься?  
— Да ладно тебе...

Дунярка заглянула ему в самые глаза.

- А ты скажи: сюда бежал — думал, тетка приехала, да?

Михаил махнул рукой (вот далась ей эта тетка) и встал. Дунярка тоже встала, проводила его до дверей:

— Приходи вечером, — вдруг почему-то шепотом заговорила она. — Придешь?

- Можно, — сказал не сразу Михаил и ринулся на улицу.

Он ругал себя ругательски. У него есть невеста — чем худа Райка? Разве не стоит этой вертихвостки? А его только хвостом поманили — поплыл. За что же тогда мочалить Егоршу?

«Нет, с этим надо кончать, кончать...» — говорил себе Михаил, спускаясь с Варваринового крылечка.

Говорил и в то же время знал, что никакие заклинания теперь не помогут. Он пойдет к Дунярке. Пойдет, хотя бы все пекашинские собаки вцепились в него...

Лизка глазами захлопала, Егорша шею вытянул. Даже Вася, показалось ему, своими голубыми глазенками разглядывал его праздничный пиджак, который он напялил на себя в этот будничный вечер.

Михаил не стал тянуть канитель. Рубанул сплеча:

- Сестра, я жениться надумал.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — живехонько согласилась Лиза и прослезилась.

Она не спрашивала — на ком. И Егорша не спрашивал: давешняя поездка за грибами расставила все точки.

Но Егорша сразу же придал сватовству деловой характер: даешь бутылку!

— Сиди! — рассердилась Лиза. — Надо все обговорить, все обдумать, а он: даешь бутылку...

— Насчет бутылки я капут, — признался Михаил. — Может, завтра с утра сколько у председателя раздобуду, а на данное число у меня ни копя.

Бутылка, к великой радости Егорши, нашлась у Лизы — та еще в девках насчет всяких заначек была мастерица.

Выпили. Причем выпила и Лиза: как же по такому случаю не выпить!

— А мама-то хоть знает? Маме-то ты сказал? — спросила она.

Михаил круто махнул рукой: с чего же будет знать мама, когда он и сам до последней минуты не знал! Сидел, брился дома (ну, что-то из ихней встречи с Дуняркою выйдет?), а потом вышел на вечернюю дорогу из своего заулка, посмотрел в верхний конец деревни и вдруг повернул на все сто восемьдесят градусов.

— Нет, как хошь, — рассудила Лиза, — а маме надо сказать. Что ты! Кто так делает? Сын женится, а мать сидит дома и не знает. Ладно, идите вы вдвоем, а я побегу к своим.

Лиза быстро оделась и вдруг пригорюнилась:

— Мы ведь с ума, мужики, посходили. Кто это женится, когда из дому только что покойника вынесли?..

— Это ты насчет дедка? — уточнил Егорша. — Ерунда на постном масле. Дедко ему родня на девятом киселе. Подумаешь — сват! А потом, дедка я знаю. Дедко обеими руками за. Я помню, как он обрадовался, когда я преподнес ему тебя на золотом блюдечке.

Лиза в конце концов сдалась: она ведь сама хотела этой свадьбы. И, может быть, даже больше, чем жених.

На улице Егорша предупредил Михаила:

— Все переговоры с родителями и все прочее под мою персональную ответственность. А твое дело телячье. Ты в этом деле голоса не имеешь. Понял?

Вечер был теплый и тихий. Запах печеной картошки доносился откуда-то из-под горы. Михаил, водя головой, искал в темноте ребячий костер.

Костра он не увидел. Вместо костра он увидел огни на реке.

— Да ведь это пароход идет!



А чего же больше? Новый леспромхоз на Сотюге — знаешь, сколько надо забросить всяких грузов?

— Значит, это буксир, сказал Михаил. — Выгрузка будет.

Егорша хлопнул его по плечу:

— Брось! Нам, дай бог, со своей выгрузкой управиться. Думаешь, так вот с ходу: тят-ляп — и вывернул карманы у Федора Капитоновича?

Михаил как-то обмяк за последнее время, забыл про Райкиного отца. А сейчас, когда заговорил о нем Егорша, у него так все и заходило внутри.

Пожалуй, никого в жизни не ненавидел он так, как ненавидел Федора Капитоновича. Ненавидел за житейскую хитрость, за изворотливость, за то, что тот, как клоп, всю жизнь сосет колхоз. И мало того что сосет — еще в почете ходит. До войны кто на колхозных овощах домину себе отгрохал? Федор Капитонович. А ведь в газетах расписали: колхозник-мичуринец, южные культуры на Север продвигает. То же самое во время войны с самосадам. Развел на колхозном огороде, у всех карманы вывернул, сколько-то на оборону бросил патриот, северный Голованов. На всю область прогремел. Ну, а после войны и того чище — заслуженный колхозник на покое. Пенсия, налоги вполчину, личный покос для коровы и председатель ревизионной комиссии...

Да, такой вот был человек Федор Капитонович. И этого-то человека судьба подкидывала Михаилу в тестя!

Надо, однако, отдать должное старику: принял их с почетом. И не на кухне, а в передней комнате.

— Проходите, проходите, гости дорогие.

Как будто он только и ждал. А потом подал какой-то знак хозяйке — мигом раскрылась скатерть самобранка: рыба — треска жареная, солехи с луком, огурцы свежие (Михаил так и побагровел при виде их) и, конечно, бутылка «Московской».

Егорша ликовал. Он наступал на ноги Михаилу под столом, подмигивал: смотри, мол, в какой ты рай залетел!

Михаилу интересно было оглянуться вокруг — он первый раз был в передней комнате у Федора Капитоновича, но шея у него как-то не ворочалась, и он только и видел, что было перед его глазами: пышный

зеленый куст во весь угол да высокую белую кровать с лакированной картиной на стене — полуголая красotka в обнимку с лебедем.

Егорша по поводу этой картины шепнул ему на ухо:

— Для возбуждения аппетита.

Речь свою повел Егорша, когда выпили.

— Как говорится, молодым у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так говорю, Федор Капитонович? Не переврал песню?

Федор Капитонович пожал плечами и искоса поверх очков посмотрел на Михаила.

— Я в песнях не горазд, особенно когда про нынешнюю молодежь...

— Вот и напрасно! — воскликнул Егорша. — Ну да это дело поправимо. Где Райка? Сейчас мы эту песню споем.

Раечки дома не оказалось, она ушла полоскать белье на реку, но Егоршу это нисколько не смутило.

— На данном этапе это несущественно, — важно, со знанием дела сказал он. Суду и так все ясно: у нас, как говорится, купец, у вас товар — и хватит бочку взад и вперед перекачивать: пиво варить надо.

Федор Капитонович, как положено родителю, поблагодарил сватов за честь, которую оказали ему, а потом и запетлял и запетлял: дескать, не очень хорошее время выбрали, лучше бы повременить, поскольку еще в прискорбии ходите, и все в таком духе. В общем, выставил то же самое, о чем их предупреждала Лиза, смерть Степана Андреяновича.

Егорша на это авторитетно возразил:

— Касаемо свата ты брось. Ни в одной анкете у нас такая родня не указывается. А мы с вами, я думаю, не в Америке живем. В Сэсэрэ.

— В Сэсэрэ-то в Сэсэрэ, — вздохнул Федор Капитонович, — да в каком Сэсэрэ? В пекашинском. Вас-то, может, народ и не осудит, а мне-то по улице не ходить. Каждый будет пальцем указывать.

Смерть Степана Андреяновича для Федора Капитоновича была только предлогом для того, чтобы отказать им, — это Михаилу было ясно. А с другой стороны, нельзя было и не призадуматься над его словами: рановато им затевать свадьбу. И анкетой Егоршиной рот пекашинцам не заткнешь.

Тут в самый разгар переговоров в комнату влетела Раечка — в ватнике, в пестром платке. В первую секунду она удивилась, увидев

таких гостей за столом, а потом все поняла, и жаром занялось ее лицо.

— Вот, доченька, сваты, сказал Федор Капитонович. — А я говорю, не время, подождать надо...

Егорша — закосел, сукин сын! — с ухмылкой оборвал его:

— Подождать можно, почему не подождать, да только чтобы посуда не лопнула. — И кивнул на Раечкин живот.

Конфуз вышел страшный. Федор Капитонович просто посерел в лице — каково отцу такое услышать! — и мать, как раз в это время заглянувшая с кухни, чуть не упала, а у самой Раечки на глазах навернулись слезы.

Михаил четко сказал:

— Ничего худого про свою дочь не думайте. Райка у вас честная. А ты думай, что говоришь!

— А что я такого сказал? — огрызнулся Егорша. — Не все равно, когда обручи с бочки сбивают...

— А мы таких речей про свою дочь не желаем слышать, сказала ему в ответ Матрена, Райкина мать.

Мир за столом мало-помалу восстановился. Федор Капитонович пошел даже на попятный: они с матерью, дескать, не будут заедать жизнь своей дочери. Раз она согласна, то и они согласны. Но согласны только при одном условии: молодым жить у них, в ихнем доме.

— Ну, это само собой! — воскликнул Егорша. — Дворец у жениха известен...

— Нет, не само собой! — оборвал его Михаил. — Я со своего дома уходить не собираюсь.

— А чего? — удивился Егорша.

— А то! Мне, может, еще скажут, чтобы я и семью бросил, да?

— Райка, ты чего молчишь? — крикнул Егорша. Раечка — она сидела с матерью на кухне — показалась в дверях.

— Ну, доченька, — сказал Федор Капитонович, — закапывай отца с матерью заживо в могилу...

— Да к чему такой поворот? — возмутился Михаил. — Кто вас закапывает?

— А одних немощных стариков бросить? Ни воды, ни дров не занести.

— Ну, чего ты стоишь истуканом? — подтолкнула сзади Раечку мать. — Худо тебя отец родной поил-кормил? Разута, раздета ты у него

ходила?

Раечка испуганно переводила взгляд с отца на Михаила, кусала губы, а потом сзади запричитала мать («Что ты, что ты, доченька, делаешь? Без ножа родителей режешь...»), запричитала и она.

Михаил ничего подобного не ожидал. Ведь все же ясно как божий день. Райка его любит, он любит Райку — какого еще дьявола надо? А тут слезы, стоны, плач — как будто их режут... И добро бы только старуха заливалась, а то ведь и сама Райка ревет.

— Ну, вот что, сказал Михаил и встал из-за стола, — я еще никого за глотку не брал. Так что посидели — и хватит. Спасибо за угощение.

— Нет, нет, — кинулась к отцу Раечка. — Я пойду за него, папа. Я люблю его...

И опять во весь голос завелась Матрена: дескать, его-то ты, доченька, любишь, а нас-то на тот свет отправишь...

Михаил выбежал из дому.

Высочивший вслед за ним Егорша схватил его за рукав:

— Чего ты делаешь? Все на мази. Райка согласна! Да я бы такую девку зубами вырвал! Слезы тебя расквасили, да? Папочку с мамочкой жалко стало? Идиот несчастный! Да по мне хоть все деревня меня на коленях умоляй, от своего бы не отступился!

Когда они отошли немного от дома Федора Капитоновича, Егорша опять закричал, ругаясь:

— А-а, к такой тебя матери! Иди. Дома ему жить надо... Как же! Чтобы навоз в свою кучу падал. Катай! Вон видишь, пароход у берега стоит, грузчиков ждет? Топай! Буханку зарабатываешь...

— Ну и потопаю! — взъярился Михаил. — Да, за буханкой потопаю. Думаешь, валяются у нас буханки-то на дороге? Тебе вон паек дали за то, что ты в отпуске, а мне чего дают?

— И правильно делают! Не будь ослом. Сколько я тебе говорил: уматывай из Пекашина! Не послушался. Ну дак и не вякай. Тащи хомут. Эх, да ну вас к дьяволу! Семь дней живу в вашем Пекашине, а только и слышу: буханки, корова, налог... Кроты несчастные! Хоть бы раз увидели, как люди по-человечески живут!

Егорша, не попрощавшись, вильнул в сторону.

Михаил прислушался к летучим шагам в темноте, посмотрел в сторону поля, туда, где у леспромхозовского склада яркими огнями сверкал пароход, и — дьявол со всей свадьбой — побежал к реке.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Утром, лежа в постели, Егорка подводил итоги своего недельного пребывания в Пекашине: деда схоронил, семейное дело наладил, коня на крышу водрузил, винца, само собой, попил...

Хватит! Пора подумать насчет работенки, а то, чего доброго, найдутся любители в свои оглобли тебя загнать. К примеру, тот же самый Лукашин. Живо захомутает, ежели ворон считать. А захомутает — кому пожалуешься? Комсомолец. Внеси вклад в подъем сельского хозяйства.

Сказано — сделано.

Быстрый, по-военному, завтрак — большая, чуть да не литровая крынка утреннего молока с холода, — затем беглая разведка насчет транспорта, и вот он уже мчится в район на колхозной машине. С Чугаретти, которого Лукашин послал в райпотребсоюз за стеклом, навесными петлями и прочим железом для нового коровника.

В районе остановились напротив райпотребсоюза, в виду райкома.

Егорша сразу же, еще сидя в кабине, объявил себе боевую тревогу: быстро прошелся по запылившимся сапогам рыжей бархоткой, которую всегда носил в кармане завернутую в газетку (сапоги — это самое главное в солдатском деле), затянулся ремнем на последнюю дырочку, оправил гимнастерку, посадил, как положено по уставу, пилотку на голове (два пальца над глазами) и с острым, бодрым холодком в груди выскочил на деревянные мостки. Нельзя ударить в грязь лицом перед райцентром, а особенно перед Подрезовым. Подрезов любит, заложив руки за спину, обозревать райцентр со своего КП. И кто его знает, может, он и сейчас стоит у окна.

Подрезова, однако, на месте не оказалось (он был в отпуске), и в первое мгновение Егорша чуть не брызнул слезой — такая досада его взяла. Ведь мало того что с Подрезовым были связаны все его расчеты. Хотелось еще предстать перед первым во всем своем параде. Посмотри, дескать, на своего бывшего шофера. Не подкачал? Оправдал высокое доверие?

— А когда же первый из отпуска вернется? — спросил Егорша у помощника.

— Думаю, не раньше чем через месяц. Потому как у Евдокима Поликарповича две недели еще за прошлый год не использованы.

— Понятно, — сказал Егорша.

Он уже овладел собою, тем более что Василий Иванович, помощник Подрезова, предложил ему присесть на большой черный диван, а на этот диван Василий Иванович садит не каждого — это Егорша хорошо знал по прошлому. Да и вообще, Василий Иванович, часто мигая своими темными ласковыми глазами, с нескрываемым любопытством присматривался к нему: не часто такие солдаты заходят в райком.

Егорша, держа в руках свежую газету — для солидности, — начал выпрашивать про обстановку в районе. И в первую очередь про то, как район справляется с лесозаготовками, поскольку лес — это золотая валюта и основа нашего богатства.

— А похвастаться, пожалуй, нечем, — осторожно отвечал Василий Иванович. За этот квартал план на пятьдесят три процента выполнили.

— Причины? — Егорша придал своему лицу должную государственную суровость и озабоченность.

— Причины — реорганизация. Лесок поблизости от рек выбрали, и теперь с лошадкой ничего не сделаешь. Надо на механическую тягу переходить, узкоколейки строить, лежневки...

Тут из кабинета Подрезова вышел Фокин, третий секретарь райкома, который сейчас, в отсутствие Подрезова, командовал всем районом.

Егорша мигом вскочил на ноги, встал по стойке «смирно», отрапортовал:

— Товарищ первый секретарь райкома ВКП(б)! Младший сержант Суханов-Ставров закончил действительную службу в Советской Армии и прибыл в вверенный вам район для прохождения дальнейшего мирного и патриотического труда на благо партии и народу...

Рапорт этот, обдуманый и обкатанный Егоршей со всех сторон еще по дороге в район, предназначался для Подрезова, но все равно получилось здорово: заулыбался Фокин, показал, какие у него зубы, а

то ведь вышел из кабинета с замком на губах. Строгостью да важностью самому Подрезову, пожалуй, не уступит.

— Это что же, из Пекашина Ставров?

Егорша уж помалкивал, виду не подал, что Фокин знает его как облупленного. В войну комсомолом в районе заправлял — на сплаве за один багор бревно таскали. Хрен с ним, раз надо инкогнито навести, наводи.

Отчеканил:

— Так точно, товарищ секретарь, из Пекашина. А лучше сказать, из Заозерья, поскольку Заозерье место рождения.

— Из Заозерья? А ну-ко, зайди, зайди.

Когда они оказались вдвоем в кабинете, Фокин, глубоко сунув руки в карманы галифе, спросил:

— Ты чего ж это, Суханов, райком компрометируешь, а?

Егорша вздрогнул: политика!

— Был у тебя на похоронах Тарасов?

— Был.

— В каком состоянии был?

— Да вроде так... нельзя чтобы сказать...

— Нельзя сказать... А ты скажи! Чему тебя три года в армии учили? В дымину, без задних ног был Тарасов. А ты что сделал? На народ распяняющего работника райкома выставил? Вот, мол, полюбуйте... Так?

— Виноват, товарищ секретарь, — упавшим голосом сказал Егорша. (Чего говорить — сухой, коли в куче дерьма сидишь.)

— То-то! — погрозил пальцем Фокин и подошел к зазвонившему телефону. Зарудный? Здравствуй, товарищ Зарудный. Ну, чем порадуешь?.. (Егорша сразу догадался: директор Сотюжского леспромхоза звонит.) Так, так, закончили прокладку дороги до Росох? На пять дней раньше? Это хорошо... Хорошо, говорю. А где лес?.. Лес, спрашиваю, где? Кубики... Ты мне брось на всякие причины ссылатся. Стране лес нужен, а не причины. Понял?

Ничего нового в самом разговоре для Егорши не было. Сколько он живет на белом свете, столько и разговоры про лес слышит. Поразил его Фокин. Лет восемь назад, когда он, Егорша, начинал свою трудовую жизнь, кто бы всерьез принял Митьку Фокина! Приедет к ним на Ручьи, только у него и дела, что зубы тебе заговаривать да

клянчить насчет повышенного обязательства. Просто как бес вьется вокруг тебя в делянке. А теперь наоборот: ты вокруг него вьешься. А он горло поставил — не хуже Подрезова погромыхивает.

Когда Фокин повесил трубку и сел за подрезовский стол, Егорша с видом человека, очень хорошо понимающего главные заботы районного руководства, спросил:

— Чего-то не пойму, товарищ секретарь райкома... Все в части леса жалобы... Недооценка момента...

— Лес действительно поблизости вырублен, — сказал хмуро Фокин.

— Есть лес, товарищ секретарь. Мы на днях грибную вылазку делали — хорошую древесину видели. Первый сорт.

— Где такая?

— В Красноборье. Под самым боком у Сотюги.

Фокин вздохнул:

— Красноборье — лес колхозный...

— Но, как говорится, государственные интересы у нас превыше всего... Когда колхозы не шли навстречу Родине?..

Черный фокинский глаз, как-то вразброд гулявший до этого по залитому солнцем кабинету, прилип к Егоршиному лицу. Ему сразу стало жарко: неужели ляпнул что-нибудь не то?

— Какие у тебя планы насчет работы? Решил что-нибудь? — спросил Фокин.

— Нет еще. Но хочется, чтобы направили в разрезе профессии, поскольку в армии я был водителем машины у генерала...

— У генерала? — живо воскликнул Фокин. — То-то я смотрю на тебя да все ломаю голову: с каких это пор у нас такая форма у солдат? А ты вон какой важной птицей был! Самого генерала возил... Так, так... Ну а если все-таки мы тебя в другом направлении двинем? А? Что ты на это скажешь?

На лесозаготовки, с упавшим сердцем подумал Егорша и сказал:

— Оно, конечно, лесной фронт во главе угла... Но ввиду семейных обстоятельств желательно, чтобы при доме, на широкой трассе, поскольку я только что похоронил деда...

— Значит, в колхозе решил? — сказал Фокин. — А если мы, скажем, в районе покрутиться предложим? Коммунальный отдел райисполкома знаешь? Дома, бани, пекарни, учреждения... Большое



хозяйство. А скоро будет еще больше — растет у нас район. Очень важный участок. А он у нас оголен... Вот такие коврижки-коржики, — вдруг совсем весело и просто сказал Фокин. — Я думаю, хватит у тебя энергии, чтобы вытащить нашу районную коммунию. Ну а мы, райком, поможем...

Егорша взмок от всех этих слов. Он готов был пойти в пляс, вприсядку, скакать до потолка, а то и со второго этажа прыгнуть — скажи только Фокин слово.

Самое большое, на что он рассчитывал, это снова сесть за баранку райкомовского «газика», а тут вон как — на руководящую, да и на руководящую-то какую! На отдел райисполкома, в номенклатуру райкома! Было от чего закружиться голове. Правда, иной раз приходили ему мыслишки, что и он бы мог быть каким-нибудь начальником — сколько их, олухов, развелось, — но дальше завхоза или начальника снабжения мечты его не шли, потому как понимал: с его семью классами, да и то незаконченными, по нынешним временам высоко не прыгнешь.

Фокин встал, по-подрезовски заложил руки за спину, вышел из-за стола, и Егорша, стоя навтыжку, так и начал крутиться вслед за ним. Как подсолнух за солнцем. А за кем же ему крутиться? Кто когда возносил его на такие высоты?

— Значит, так, Суханов, — сказал Фокин, — дней через десять заглянешь. Попробуешь... Сперва, конечно, врию, а там уж от тебя все будет зависеть. Как поворачиваться начнешь... Ясно?

— Ясно, товарищ секретарь, Суханов-Ставров не подведет.

Из райкома Егорша вылетел как застоявшийся жеребец — сила распирала его. И, честное слово, не будь это райцентр, дал бы строчку на километр, на два. А райцентр — ша, замри! Зануздай и захомутай себя.

Он любил дисциплинку, любил, чтобы было кому доложить и отрапортовать. И чтобы тебе сказали: правильно, Суханов! Молодец, Суханов! В разрезе линии шагаешь! А то бы и рыкнули при случае, ежели ногу сбил.

Раньше таким человеком для него в районе был Подрезов — вот чье одобрение и похвалу хотелось всегда заслужить. А сейчас оказалось, что и Фокин ничего умеет команды подавать. Хорошо взял его попервости в работу, неплохой расчес дал.

Как раз в то время, когда Егорша выскочил из калитки райкомовского палисадника, на деревянном настиле у райпотребсоюза замаячил кумачово-закатный берет Чугаретти.

— Чугаев, — крикнул Егорша, — приставь ногу!

Чугаретти, направлявшийся к своей машине, которая стояла в заулке райпотребсоюза напротив базара, где сейчас не было ни единой души, остановился. Он был ужасно мрачен, и от него несло сивухой.

— По случаю победы рванул?

— Не, с горя, — ответил Чугаретти и обиженно, по-детски ширнул своим широким негритянским носом.

— А конкретно, в расшифрованном виде?

— Чего — конкретно? Тот, Кондраха, уперся — никаких гвоздей. Слушать не хочет.

— Кондраха — это кто? Телицын, председатель райпотребсоюза?

— Ну.

Острое, до зуда в ладонях желание борьбы охватило Егоршу. Он посмотрел на плавающее от солнца широкое итальянское окно на втором этаже, за которым сейчас сидел Фокин.

— Где у тебя документы?

— Какие документы?

— Наряды и все прочее.

— Нема бумаг. Иван Дмитриевич по телефону вчерась договаривался.

— Айда за мной!

Кондратия Телицына по его наружности давно бы надо поставить на конюшню: чистый мерин. Лицо длинное, пухлое, желтое от оспы, нос горбылем и плешь с головы до пят. Как Невский проспект в Ленинграде, где Егорше довелось-таки раз побывать. Правда, в торговом деле Телицын дока. С дореволюционным стажем. Еще у купцов Володиных выучку прошел.

Егорша к нему в кабинет без стука и с ходу на басы:

— Это что за фокусы, товарищ Телицын? Я выхожу из райкома, а колхозный труженик, понимаешь, несолоно хлебавши от тебя... Не

пойдет!

— С кем имею честь говорить? — спокойно, чуть ли не с позевотой спросил Телицын.

— Насчет чести покамест помолчим, товарищ Телицын. В данный момент твоя честь не очень чтобы очень... В подрыв колхозному строю!

— Точно, — подал откуда-то сзади голос Чугаретти. — У нас, понимаешь, снопы на молотилку не вожены, а машина где...

Егорша, не оглядываясь, махнул рукой: заткнись, тебя не спрашивают! Потом взял из пачки, лежавшей на столе у председателя, «беломорину», не спеша размял ее, остукал о стол, не спеша закурил и, мало того, сел на стол сбоку — генерал у них всегда так делал, любил почесать красную генеральскую лампасину о стол подчиненного.

Что тут поделалось с Телицыным, этого и сказать нельзя. Желтое лошадиное лицо вытянулось чуть ли не до стола, плешь пошла багровыми пятнами... Но вот что значит смелость! Стерпел, подтянул нижнюю губу и даже как-то весь подобрался.

— Не мудри, не мудри, старик, сказал Егорша и запросто, но в то же время и по-начальнически похлопал председателя по рыхлому загривку. — Кончай с этими старыми прижимами! — Намек на не очень революционное прошлое Телицына: на его службу у купцов Володиных. — Важную политическую кампанию срываешь. В показательные «Новую жизнь» выводим, а ты как помогаешь? Палки в колеса?

— Но я не могу отменять распоряжения райкома...

— Какие это распоряжения райкома? Я что-то не слыхал...

— Башкин сегодня звонил...

— Башкин?

Егорша на какую-то долю секунды замешкался. Кто такой Башкин? Новый человек в райкоме? Инструктор? Завотделом? Одно ему было ясно: не секретарь. А раз не секретарь, можно немножко этого Башкина и осадить. Да и что ему делать? Поздно было отступать.

— Ох, опять мудрит этот Башкин... — озабоченно вздохнул Егорша.

— Башкин сказал, — как по газете начал читать Телицын, — чтобы все стекло, имеющееся в наличии на складах райпотребсоюза,

передать Сотюжскому леспромхозу... ввиду того, что этот объект в настоящее время является ударной стройкой...

— Ну, правильно! — живо воскликнул Егорша. Об этом же самом сейчас обсуждали у Фокина... Лес — это основа, товарищ Телицын, золотой фонд... А у нас картина в данный момент один минус. Худо работаем. На пятьдесят три процента план третьего квартала выполнили...

Телицын, медленно ворочая своей лысой головой, делал вид, что внимательно, с пониманием слушает этого необычного посетителя, а на самом-то деле — Егорша был уверен в этом — только и делал, что ломал свою лошадиную голову над тем, кто он, Егорша. Где служит? Старый, опытный волк — боялся сделать промашку: а вдруг да этот человек, так нахально развалившийся у него на столе под самым носом, какая-нибудь важная шишка!

Егоршу это забавляло. Но в конце концов он сжалился над стариком.

— Не верти впустую подшипниками. Новый зав коммунальным отделом райисполкома. — Егорша назвал свою фамилию, пожал руку председателю и сразу заговорил как равный с равным, как товарищ по работе:

— А в части стекла соображать надо, товарищ Телицын. Башкин ему сказал... А кто, Башкин будет отвечать за срыв коровника в Пекашине? Завершающий этап колхозного строительства на данную пятилетку... Башкину будет расчесывать кудри Подрезов?

Непонятно, как это раньше ему не пришло на ум имя Подрезова, зато сейчас ничего больше разъяснить Телицыну не нужно было. Все понял в один миг. Вот какой пароль это имя. Все двери открывает.

В общем, девять ящиков стекла Егорша вырвал. Ну а насчет личного провианта вопрос решился без всяких прений. Два килограмма сахара, три восьминки чая, три буханки черного хлеба, две буханки белого — это Телицын отвалил сразу.

На улице Чугаретти, с восторгом глядя на Егоршу, воскликнул:

— Ну, товарищ Суханов, ты и мастер же по части заправлять арапа...

— Шлепай, шлепай, — снисходительно сказал Егорша. В магазине народу не было — хлеб по спискам выдают с утра, — и продавщица, довольно смазливенькая чернушка, быстро отоварила его.

— Еще дымку подбрось, дорогуша, хоть пачечки две, — попросил Егорша.

— А дымку вам не положено, — ответила продавщица.

Действительно, про дымок Телицын забыл — Егорша обнаружил это уже тогда, когда вышел на улицу. Но возвращаться ему не хотелось. Да и самолюбие не позволяло. Какой же он, к хрену, заведомо райисполкома, ежели сельповский прилавок не сумел самостоятельно взять?

— Давай, давай, милуша, не разоришься, — зачастил Егорша, а главное, нажал на свой синий глаз с подмигом.

И глаз сработал: продавщица, улыбаясь, выбросила из-за прилавка две пачки «Звездочки».

Точно так же Егорша поупражнял свой глаз и на другой продавщице из соседнего мясного и рыбного отдела, хотя на морду та была и не шибко съедобна. Он запомнил слова старшины Жупайло, который в минуты отдохновения любил поучать своих питомцев: «Сколько раз увидишь бабу, столько раз и выворачивайся чертом, а иначе в нужный момент можешь дать осечку».

— Все в порядке, Иван Дмитриевич! Привез, девять ящиков — как в аптеке... Ну, жмот этот Кондраха! Гад буду, всю договоренность вашу похерил. Райком, райком — и никаких гвоздиков. Трясись обратно... Ставров помог! Как начал, начал Кондрахе массаж на лысину наводить, тот и копыта кверху — хоть все склады выворачивай.

— Ладно, Чугаев. Иди. До завтрашнего дня свободен.

Чугаретти угрюмо сверкнул своими беляшами, подождал, не скажет ли еще что хозяин, и вышел.

Загремела, застонала лестница под сапожищами, пушечным выстрелом бабахнули ворота на крыльце, а затем Лукашин услышал яростный визг и скрежет железа под окошком — Чугаретти заводил грузовик.

Анатолий Чугаев, при всей своей разбойной наружности, был как малый ребенок. Набезобразил, напортачил — выругай, хоть выпори —

не обидится. Но уж если он сделал хорошее дело — приголубь, не пожалей хороших слов, а иначе он и не работник на другой день.

Лукашин хорошо знал эти причуды своего шофера, но разве ему сейчас до этого было? Разве человек, у которого пожар в доме, улыбается? А у него было пожар — плотники опять удрали на выгрузку. И когда! Среди бела дня, чуть ли не у него, председателя, на глазах.

Первой мыслью его было кинуться к реке: сволочи! Что делаете? Неужели не понимаете, что ежели коровник к холодам не будет готов, вся скотина померзнет?

Но он взнуздal себя — пошел в контору. Он ходил уже раз на берег, разговаривал с пьяными мужиками, а что вышло? Кричал, разорялся, грозился стожки отнять, а сегодня чем грозить?

На задворках, за амбарами, там, где новый коровник, догорало усталое, натрудившееся за день солнце. Красные лучи его насквозь прошивали колхозную контору, скользили по худому, небритому лицу Лукашина, который затравленно, как волк, бегал из угла в угол.

Что делать? Как совладать с этими мужиками?

Была, была одна закрутка — дать выставку из своей деревни. Решением общего собрания колхозников. За невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины. Кое-где подтягивали так подпруги в сорок восьмом — сорок девятом годах. Но, во-первых, плотники у него все сплошь инвалиды — какой с них спрос? Благодарю бога, что вообще что-то делают. А во-вторых, даже если бы и удалось кого-нибудь закатать — разве это выход?..

Долго, до темноты раздумывал Лукашин, прикидывал так и этак. И ничего не решил — все с той же сумятицей в голове вышел из конторы.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Пекашино гуляло.

И добро бы только мужики завелись — без этого ни одна выгрузка не обходится, — но сегодня, похоже, и баб, и девок закружило.

У миленочка одиннадцать,  
Двенадцатая я.  
Он по очереди любит,  
Скоро очередь моя.

Задушевная подруга,  
Супостаток сорок семь.  
Я на это не обижусь,  
Погулять охота всем.

Горе нам, горе нам,  
Горе нашим матерям.  
Выдай, маменька, меня  
Не будет горя у тебя.

Девкам Лукашин не удивлялся. Молодость. Самой природой положена любовь в эти годы. И что же им делать, когда на весь колхоз один стоящий парень Михаил Пряслин? Топчи свой девичий стыд, хватай крохи с чужого стола, а то так и засохнешь на корню, как засохли твои старшие подруги, юность которых пала на войну.

Но бабы, бабы... вдовы солдатские... У них-то откуда берется сила?

Разуты, раздеты, жрать нечего — старухи беззубые, какая им любовь? А ну-ко послушай — кто это врезался своим хрипловатым, простуженным голосом в звонкие девичьи переборы?

Да, жизнь брала свое. И всходили всходы, первые послевоенные всходы хилые, худосочные, не знающие ни мужского догляда, ни ласки. Дички, имя которым безотцовщина...

Долго, до тех пор, пока Лукашин не вошел в дом Житовых, рвали его слух то тут, то там вспыхивающие в осенней темени задорные частушки.

На кухне у Житовых была одна хозяйка. Выгнув полную белую шею, она сидела за кроснами — массивным ткацким станком — и при свете лампы ткала холст.

Кросна из жизни деревни ушли еще перед войной, но сейчас многие из тех, у кого они уцелели, годами пылясь по темным углам повети и клетей, снова запрягли их в работу.

Труд допотопный, на износ: ведь надо коноплю и лен посеять, убрать с поля, вымочить в яме, высушить, превратить в волокно, потом волокно это спрясть, выбелить, навести основу... — каждый аршин холста выходил золотым. Но что делать? Голым ходить не будешь — приходится идти и на этот труд.

— Где хозяин? — спросил Лукашин.

— В клубе своем, наверно.

— В каком клубе?

— В бане. Так они, пьяницы, зовут нынче нашу баню. Раньше, в те годы, все тут, на кухне, табак жгли, а зимой я с кроснами разобралась — выгнала. Вот они и обосновались в бане.

Лукашин вышел на крыльцо. Из кромешной осенней темени на задах действительно лучился свет.

Как же он раньше-то не догадался об этом? Ведь сколько раз видел этот свет по вечерам! И еще удивлялся: ну какие чистюли эти Житовы — чуть ли не каждый день в бане моются...

Лукашину не раз приходилось бывать в бане Житовых, которая для хозяина одновременно служила столяркой. Поэтому, выкурив на крыльце папиросу, он довольно уверенно двинулся по тропинке на свет на задах огорода.

Крепкий мужичий хохот докатывался оттуда. Взрывами, залпами. Как будто там то и дело метали жар на раскаленную каменку.

Когда он наконец, изрядно вымочив в картофельной ботве брюки на коленях, вышел к бане, к нему из темноты прыгнула ласковая мохнатая собачонка, и он понял, что тут в числе прочих есть и Филя-петух.

Собак в Пекашине сейчас было три: Найда, злая, свирепая сука, заведенная объездчиком Яковлевым на смену Векше, которую года три назад переехало грузовиком, голосистый щенок Пряслиных и вот эта



самая малорослая шавка, которую нынешней весной всучил Филе какой-то приятель с лесопункта за старые долги.

Верка, жена Фили, поначалу выходила из себя: в доме самим жрать нечего до собаки ли? Но Филя, по его же собственным словам, раза два сделал Верке внушение — крепкие, увесистые у него кулаки, хоть сам и маленький, — и собачонка осталась.

Лаская рукой игриво прыгающую вокруг него Сильву — такое имя было у собачонки, — Лукашин тихонько вошел в сенцы, ощупью отыскивал скобу на дверке и вдруг услышал свою фамилию:

— Лукашин-то прищучит? — Да клал я на него с прицепом. Чего он мне сделает? Поразорется, поразорется да сам же и поклонится...

Игнатий Баев ораторствовал — его блудливый голос разливался за дверкой.

— Не скажи, — возразил ему Петр Житов.

Но тут с треском, с грохотом начали припечатывать костяшками — в бане забивали «козла», — и какое-то время только и слышалось оттуда про азики, про рыбу, про мыло. Потом, когда игра понемногу выровнялась и страсти поулеглись, Игнатий Баев опять принялся трясти его, Лукашина. Дескать, какого хрена перед ним на задних лапах ходить? В случае чего ведь можно и выставку дать — колхоз у нас, а не частная лавочка.

— Полегче на поворотах, — раздался предостерегающий голос Петра Житова. Советую.

— А что?

— А то. В Водянах один все глотку надрывал, знаешь, теперь где?

— Это Васька-то беспалый?

— Хотя бы.

— За Ваську не беспокойтесь, — живо вмешался Аркашка Яковлев. — На днях письмо было. Ничего, говорит, края сибирские, — жить можно. Без коклет да без компоту за стол не садимся — на золотых приисках вкалывает. И бабе своей тышчонку да посылку сварганил.

— Ну вот видишь? — торжествующе воскликнул Игнатий. — А мы с тобой много этих самых коклет да компоту едали? И потом, вот что я тебе скажу. Он хоть и чужак-чужак, а понимает: без нашего брата ему никуда...

— Кто чужак? — вскричал Чугаретти. — Иван Дмитриевич? Не согласен!

Тут в бане поднялся страшный шум и галдеж. Игнатий Баев, Аркашка Яковлев, Филя-петух — все трепали и рвали Чугаретти, учили уму-разуму: дескать, не вылезай из общей упряжки, не холуйничай, не сучься.

Чугаретти попервости огрызался, тому, другому сдачи давал, но под конец и он запросил пощады:

— Да что вы, понимаешь, все под дыхало да под дыхало! Когда Чугаретти сукой был? Чугаретти, понимаешь, всю жизнь по честности...

Лукашин решил воспользоваться шумихой в бане и дать задний ход — все равно теперь никакого разговора с мужиками не будет, а ежели и будет, то один крик, — но тут на дороге у Житовых взыграли частушки, и вскоре в огороде зашаркали сапоги.

Неужели какая-нибудь баба шлепает сюда, чтобы выманить на улицу мужиков?

Нет, девки и бабы скорее всего гнались за Михаилом Пряслиным — его упрямый, с поперечной бороздкой подбородок, освещенный малиновой сигаркой, качнулся в темноте у порога.

Прижавшегося к шероховатой, пропахшей дымом стене Лукашина больно ударило дверкой по ногам, желтая полоска света наискось разрубила темные сенцы.

В бане взвыли от радости:

— Мишка, ты?

— Давай, давай сюда!

— Хочешь за меня постучать?

— Я тоже могу уступить.

— Не, играйте, — сказал Михаил и с треском опустился не то на скамеечку, не то на какой-то ящик.

Тем временем бабы и девки на дороге опять начали подавать свои позывные, и Аркашка Яковлев рассмеялся:

— Какая ему игра сегодня? Вишь ведь, какой спрос на него...

— Ну как, Пряслин, крепко угостил зятек? — любопытствовал Петр Житов. Говорят, из района приехал — воз всякой продукции навез.

— Ташил бы его сюды — может, и нам чего откололось.

— Ну уж нет! — сказал Аркашка. — Ежели с кого и приходится сегодня калым, дак с самого Мишки.

— С меня? Это за что же?

— За что? А хотя бы за то, что из холостяков выписываешься.

— Мишка, правда?

— Неуж к нашему берегу надумал?

— Ух и девка же эта Райка! М-да-а-а...

— А я бы, мужики, век с холостяжной жизнью не расставался, сказал Филя-петух.

Все так и грохнули.

У Филя-петуха в тридцать два года только в одном Пекашине насчитывалась дюжина ребятишек (пятеро в своей семье да семеро россыпью по всей деревне). А кроме того, был еще немалый приплод на лесопункте, где он каждую зиму отбывал трудповинность. Черт его знает, что за человек! Сам маленький, щупленький, бельмо на одном глазу, а юбочник — каких свет не видал.

Игнатий Баев — хлебом не корми, а дай поточить зубы — сказал:

— Ты хоть бы, Филипп, раскрыл нам свои секреты, поделился опытом передовика на данном фронте.

— Чего, скажи, мне делиться-то, — ответил за Филю Аркашка (тоже ерник не последний). — Надо, скажи, патриотом быть, сознательность иметь. Верно, Филя?

— Да, я, мужики, это дело уважаю. Моему здоровью оно не вредит...

Простодушный ответ Филя вызвал новый взрыв смеха, затем Аркашка, явно желая продолжить удовольствие, подбросил еще одно полено в огонь.

— Ну, чего я говорил! — воскликнул Аркашка на полном серьезе. — Он в бабку свою Дуню, да, Филя? Ту, бывало, у нас дедко до самой смерти хвалил. За эту самую сознательность. К другой, говорит, идти надо — тетеру или еще какой провиант прихватить, а Дунюшка, говорит, ничего не спрашивает — только чтобы сам в исправности был...

Положение у Лукашина было самое идиотское. Ведь если его накроют мужики за подслушиванием — скандал на всю деревню. Да и не только на деревню. На весь район. А с другой стороны — что делать? Кто-то из мужиков, как назло, толкнул в сенцы дверку —

наверняка чтобы дым табачный выпустить, — и он в углу за этой дверкой оказался как в капкане: не то что двинуться к выходу — пошевелиться нельзя.

Между тем в бане перестали стучать костями, и по всем признакам было ясно, что мужики вот-вот начнут расходиться: шумно, с потягом зевали, слова из себя выжимали нехотя, подолгу молчали. И вдруг, когда Лукашин уже решил было поднять в сенцах шум и грохот, а затем с беззаботным видом ввалиться в баню надо же было как-то выбираться отсюда! — за дверкой опять разгорелся спор. И какой спор! Как будто специально по его, Лукашина, заказу — о том, что делать завтра. Можно ли взять с утра азимут на берег, к орсовскому складу? (Игнатий Баев так выразился — разведчиком на войне был.)

Четверо — Аркашка Яковлев, Филя-петух, сам Игнатий и тугодумный молчун Вася Иняхин (первый раз открыл рот за весь вечер) — без колебаний высказались за. Чугаретти, как шофер, был не в счет. Петра Житова, наверно, не спрашивали из уважения к его положению.

Оставался еще Михаил Пряслин — его ответа ждали.

Наконец Михаил сказал:

— Я поближе к вечеру подойду.

Тут баня заходила ходуном. Кто яростно наседал на Михаила (дескать, друзей, товарищество подрываешь), кто, наоборот, с такой же горячностью защищал его (у Пряслина нет в кармане белого билета — можно и застучать), кто вдруг ни с того ни с сего начал восхвалять Худякова. За то, что у Худякова завсегда люди с хлебом...

На это Чугаретти сказал:

— А чего дивья? Потайные поля у него... Чугаретти, как всегда, не поверили, его начали уличать во лжи, в завиральности. До тех пор, пока свое веское слово не произнес Петр Житов:

— Насчет потайных хлебов не скажу, может, и брехня. А то, что у Худякова голова шурупит, это факт. И про нашего брата думу имеет — тоже факт.

После некоторого молчания — это, между прочим, всегда так бывает, когда Петр Житов высказывается, — Игнашка Баев раздумчиво сказал:

— Некак приспособиться — вот в чем вся закавыка. Никакой щели не осталось — все запечатали. У меня зять Николай пишет, на

Украине живет: все яблони, говорит, у себя похерил.

— Как это похерил?

— Порубал. Каждую яблоню налогом обложили.

— А у нас покамест сосны да ели еще обложить не догадались.

Тут опять в разговор вмешался Петр Житов: заткнись, мол, не на те басы нажимаешь.

— Пошто не на те? Я по жизни говорю!

— А я говорю, включи тормозную систему. Спокойнее спать будешь по ночам. Понял?

Лукашин не мог больше оставаться в своем закутке — все вот-вот попрут на выход мужики, — и он, уже не заботясь о тишине, с шумом, грохотом ринулся в ночной огород.

### 3

Ну и сволочи! Ну и сволочи... Нет, какие сволочи! Лукашин — чужак, Лукашин жить им не дает...

Да, за эти полчаса-час, что он стоял, затаясь, в сенцах, он узнал пекашинцев, пожалуй, больше, чем за все пять лет своей председательской работы. Да и председательствовал ли он? Был ли хозяином в Пекашине? Не Петр ли Житов со своей компанией вершил всеми делами? Ведь что, по существу, было сейчас в бане у Житовых? А заседание мужичьего правления. Да, да, да! Нечего тень на плетень наводить. Все обсудили, все порешили: как быть с выгрузкой, кому можно идти, кому остаться на колхозной работе...

Лукашин шагал в кромешной темноте осеннего вечера, думал о том, что приоткрылось ему только что в житовской бане, а девки и бабы по-прежнему трезвонили свое.

У клуба его опознали, и вслед ему полетели знакомые припевки:

Это что за председатель,

Это что за сельсовет?

Сколько раз я заявляла:

У меня миленка нет!

Девочек много, девочек много,  
Девочек некуда девать.  
Из Москвы пришла записка  
Девочек в сани запрягать.

У кого миленька нет,  
Заявляйте в сельсовет.  
В сельсовете разберут,  
Всем по дробочке дадут.

В правлении горел свет. По сравнению с чахлыми коптилками в домах колхозников он походил на маяк — вот что значит лампа со стеклом.

Но кто же там сейчас? Ганичев?

Ганичев, уполномоченный райкома по хлебозаготовкам, каждый вечер приходил в контору и сидел тут долго, до часу ночи. На случай, если позвонит районное начальство. Времени, однако, он зря не терял: оседлав железными очками свой сухой, костлявый нос, штудировал «Краткий курс», который, впрочем, и так знал чуть ли не наизусть, либо читал другую политическую литературу.

— Ну, как дела в Водянах? — спросил Лукашин.

Ганичев почти неделю пропадал у соседей, где он тоже шуровал по хлебным делам.

— Порядок. Мы там ценную инициативу проявили — круглосуточные посты дежурства на молотилках организовали. У вас это тоже надо сделать.

— У нас не то что посты — хлеб некому убирать.

— Это другой вопрос — организация труда, сказал Ганичев. — А я в данный момент на бдительности и охране зерна заостряю.

— А сам-то ты как? Ел сегодня? — чисто по-человечески поинтересовался Лукашин.

— Давеча немного в Водянах подзаправился.

— А чего же к нам не зашел? Жена бы накормила.

Ганичев что-то невнятно пробормотал себе под нос и опустил глаза.

Лукашин про себя обиженно хмыкнул: тоже мне невинная девица! Как будто ему в новинку подкармливаться в ихнем доме. Да не бывало дня, чтобы, приехав в Пекашино, Ганичев не пил и не ел у них. А когда Лукашин ехал в район, Анфиса специально совала ему шаньги да ватрушки — гостинцы для вечно голодных ребятишек Ганичева.

Пройдя к своему председательскому столу, Лукашин полез в ящик: страсть как хотелось курить. Последнюю папиросу он выкурил еще на крыльце у Житовых.

Ничего! Даже самого завалиющего окурка не было. Ну а Ганичева насчет курева и спрашивать нечего. Ганичев курил. И курил жадно, взасос, но только тогда, когда его угощали, а своего табака не имел. Не мог тратиться — дай бог дома концы с концами свести.

Лукашин снова начал рыться в столе, даже бумаги из ящика начал выкладывать, и вдруг рука его в глубине ящика наткнулась на какой-то острый, колючий камень.

Он вынул его, положил на стол.

Странный какой-то камень — серый, очень легкий и с вмятинами. — Чего там нашел? — спросил Ганичев.

Лукашин взял камень в руки — пальцы влипли во вмятины. Плотно. Емко. Настоящий кастет! Только слишком легкий...

И вдруг вспомнил, что это такое. Хлеб. Хлеб, которым его угостила когда-то Марья Нетесова. В тот день, когда они с Ганичевым подписывали Нетесовых на заем. Он сунул тогда этот страшный мокрый кусок, похожий не то на черное мыло, не то на глину, в карман шинели и всю дорогу до самого правления сжимал его в кулаке. Вот откуда эти глубокие вмятины, в которые так плотно вошли его пальцы.

Ганичев что-то говорил ему, спрашивал, но что — Лукашин не мог понять. Он только видел его железные зубы. Крепкие железные зубы на худом голодном лице.

Так ничего и не сказав ему, он вышел на улицу, сжимая в кулаке проклятый сухарь.

...Никто не думал, что умрет Марья. Когда хоронили Валю, все боялись за Илью. Потому что все знали, как он любил дочку. А Марья — что же? О Марье и речи не было. Да и на похоронах она держалась не в пример своему мужу. Того прощаться с Валею (перед тем как заколотить гроб) привели под руки, а Марья нет. Марья сама отпела дочку, сама курила над ней ладаном, а на кладбище даже лопату в руки

взяла, чтобы помочь ему, Лукашину, поскорее зарыть могилу, никого из мужиков, кроме него, не было в деревне, все были в лесу на месячнике.

И вот не прошло после похорон Вали и полугода, как вдруг однажды утром, хватаясь за косяки дверей, вваливается в избу Анфиса — за водой ходила:

— Илья Нетесов еще одну покойницу привез... Марью...

— Марью? Жену?

— Да. С тоски, говорят, по Вале померла...

На этих похоронах Лукашин не был: его в тот день вызвали на бюро райкома с отчетом о строительстве скотного двора. И — чего скрывать — он был рад этому вызову. Потому что он боялся встречи с мертвой Марьей. Потому что, как ни крути, ни верти, а есть, есть его вина в смерти обеих — и дочери, и матери.

Сухарь, зажатый в кулаке, начал покрываться слизью, и на какое-то мгновение Лукашину показалось, что вовсе и не было этих долгих трех лет, что все по-старому, все так, как было в тот день, когда они с Ганичевым возвращались от Нетесовых...

Сверху, из непроглядного мрака ночи, на разгоряченное лицо упало несколько прохладных капель. Неужели дождь будет? — подумал Лукашин. Ну тогда хоть живым в землю ложись. Мужики с утра удерут на выгрузку, и никакими веревками их оттуда не вытянешь: законно! Сам бог за них...

Зашуршало, залопотало над головой (вот куда его в темноте занесло — к маслозаводу, где стоял один-единственный тополь в Пекашине) — припустил дождик. У клуба кто-то жалобно, словно нарочно бередя ему сердце, пропел:

Конь вороной,  
Белые копыта.  
Когда кончится война,  
Поедим досыта.

Лукашину вспомнился мужичий разговор про потайные поля у Худякова. Да, вот с кем ему хотелось бы сейчас поговорить — с Худяковым.



Давай, Худяков, раскрой свои секреты. Расскажи, как ты ухитряешься накормить своих колхозников. А у меня ни хрена не получается. Бьюсь, бьюсь как рыба об лед, а толку никакого. Все один результат: весной сею, а осенью выгребаю...

Дождик кончился внезапно — тучка, наверно, какая-то проходная брызнула.

Надо действовать! Надо во что бы то ни стало, любой ценой удержать мужиков на коровнике. А иначе — гроб. Гроб всем — и коровам, и колхозу...

4

— Кто там?

— Я, Олена Северьяновна. К хозяину.

На какой-то миг за воротами наступила мертвая тишина (Олена, видно, раздумывала, как ей быть: открывать или не открывать), и Лукашин отчетливо услышал шаги в ночной темноте на дороге. И даже чуть ли не разочарованный вздох. Это Нюрка Яковлева отвалила.

Нюрку встретил он напротив дома Фили-петуха и, хотя была крошечная темень, сразу узнал ее по накалу серых беспокойных глаз.

— Что, Нюра, на осеннюю тропу вышла?

И вот столько и надо было Нюре. Живехонько пристроилась сбоку, пошла, похохатывая и скаля в темноте зубы...

Глухо, как отдаленный гром, прогремела железная щеколда. Лукашин вошел в знакомые сени и, шагая вслед за Оленой, от которой волнующе пахло теплой постелью, переступил порог кухни.

В кухне горела коптилка. Белым ручьем вытекал холст из сумрака красного угла.

— Вставай! — услышал Лукашин сердитый голос из-за приоткрытых дверей. Председатель пришел.

— Какой председатель?

— Какой, какой! Какой у нас председатель?

— Я, между прочим, не звал никакого председателя.

— Не выколупывай, дьявол, а вставай. Начитается всяких книжек и почнет выколупывать. Слова в простоте не скажет.

В избяной тишине жалобно охнула пружина, потом что-то стукнуло о пол («Костыль берет», — подумал Лукашин), и вскоре из передней комнаты вышел Петр Житов. Хмурый, недовольный, в одном белье.

— Ты уж, Петр Фомич, извини, что в такое время беспокою...

— Лишний звук! К делу.

Опираясь на крепкий березовый костыль своей работы, Петр Житов проковылял к столу, сел на свое хозяйское место и гостю кивнул на табуретку возле стола.

Лукашин присел.

— Ты знаешь, зачем я пришел, Петр Фомич. Так что давай выкладывай.

— А чего мне выкладывать? За других не скажу, а завтра к реке иду.

— На выгрузку?

— Вроде.

— Так, — медленно сказал Лукашин. — А как с коровником?

— А у коровника хочу отпуск взять. По инвалидности, — добавил Житов, чтобы сразу же исключить всякие недомолвки.

— Ясно. Работать на коровнике не можем — инвалидность мешает, а таскать мешки — это мы пожалуйста...

Петр Житов покачал головой.

— Я думал, у тебя, товарищ Лукашин, пониманье есть, сердце... А ты... Эх ты! Чем вздумал попрекать Петра Житова? Выгрузкой? А ты не видал, нет, как Петр Житов идет на эту самую выгрузку? Полдороги пехом да полдороги ребята под руки ведут... Понял? Вот как Петр Житов на выгрузку идет. Дак как думаешь есть от такого грузчика польза? Выгодно со мной мужикам?

Темная, лопатой лежавшая посреди стола волосатая ручища судорожно сжалась. Короткий всхлип вырвался из груди Житова.

— Да ежели хочешь знать, мне каждая буханка, каждый кусок с берега поперек горла. У мужиков ворую. Понял?

Да, Лукашин знал, что это за каторжный труд — выгрузка. Бывал весной. До дому кое-как от реки доберешься, а чтобы поесть, попить чаю — нет: замертво валишься. Так ведь то его, здорового мужика, так выматывает, а что же сказать о Петре Житове с его деревягой?

Темная тяжелая рука лежит на столе перед Лукашиным. Указательный палец торчит обрубком, большой палец раздавлен — в прошлом году под бревном на скотном дворе прищемило, — мизинец скрючен... А сколько на ней, на этой руке, белых рубцов — порезов и порубов!

Нелегкая, неласковая рука. Но все, все, что делалось в ихнем колхозе за последние пять лет, делалось этой рукой. Аркашка Яковлев, Игнатий Баев, а тем более Василий Иняхин и Филя-петух — ну какие они сами по себе мужики? Топора и пилы не наставить, самая что ни есть нероботья...

Да как же я раньше-то этого не понимал? Всю жизнь считал Петра Житова за своего врага, думал: он мутит воду, он палки в колеса ставит. А что бы я делал без этого врага?

Лукашин достал из грудного кармана пиджака растрепанный блокнот, вырвал листок и быстро написал записку.

— Вот. По пятнадцать килограмм ржи на плотника. Можете завтра с утра на складе получить, да только, пожалуйста, потише. Незачем, чтобы вас все видели...

Петр Житов надел очки, внимательно прочитал записку. Положил, подумал.

— С огнем играешь.

— Ладно, — махнул рукой Лукашин. Не все ли равно, из-за чего пропадать: из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или из-за массового падежа скотины, который начнется с наступлением холодов.

Петр Житов закурил. Лукашин тоже наконец прополоскал свои легкие махорочным дымком.

Эх, если бы еще он догадался захватить бутылку! Вот бы и посидели, вот бы и поговорили по душам. А то что это такое? Пять лет он живет в Пекашине, а все как-то сбоку, все в одиночку.

— А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника.

— Зря? — Лукашина будто обухом по голове хватили. Ведь он-то думал: поняли они наконец друг друга. — Почему зря?

— Да потому... Чего он даст нам, этот коровник?

— Я думаю, ясно чего: молоко. Раз земледелие в наших условиях разорительно, какой же выход?

— Ерунда, — насупился Петр Житов. — Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели... Молоко... Ну-ко прикинь, чего нам стоит литр молока. Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платят? Одиннадцать копеек...

Лукаши молчал. Ему нечего было возразить. Каждый маломальски умный человек понимал это. И разве они с Подрезовым не об этом же самом говорили на Сотюге? Но что делать? Не может же он сказать Петру Житову: правильно! Махнем рукой на коровник.

За приоткрытой дверью тяжело ворочалась во сне на кровати полнотелая Олена. На улице под окошком что-то хрустнуло — неужели кто-то там стоял?

Лукашин разудало и беззаботно тряхнул головой:

— Так, значит, договорились? Завтра с утра на коровник? — И, быстро сунув руку хозяину, выскочил на улицу.

Ночное небо прояснилось — хороший день будет завтра.

Эх, подумал с горечью Лукашин, глядя на мерцающую звездную россыпь над головой, и у них на небосводе с Петром Житовым проступила было ясность. Да только ненадолго, всего на несколько минут. А теперь, похоже, опять все затянет облажником...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

В ту самую минуту, когда по сосновой крышке гроба застучали первые горсти земли, Лиза, задыхаясь от слез, дала себе слово: каждый день хоть на минутку, на две забегать на могилу к свекру.

И не сдержала слова. Ни на другой день, ни на третий, ни на четвертый...

Бегала, моталась мимо кладбища туда-сюда — то на коровник, то с коровника — сколько раз на дню? А ничего не замечала, ничего не видела: ни нового столбика, белеющего в соснах за дорогой, ни самих сосен — те-то уж просто за подол цеплялись. Одна думушка владела ею: когда увижу Егоршу?

И даже вчера, в девятый день, не выбралась к дорогому покойнику.

Вчера с Егоршей они уговорились: днем, как только он вернется из района, всей семьей, всей родней сходить на могилу, а затем, как положено, справить поминки.

Но Егорша вернулся только поздно вечером и распьяным-пьянехоньким. Да мало того: стал куражиться, похваляться какой-то большой должностью, которую ему в районе дали, а потом, когда она, Лиза, начала выговаривать ему все, что у нее накипело на сердце за день, просто взбесился: не тебе, навознице, меня учить!.. Скажи спасибо, что тебя на свет вывели...

А тут, как на грех, в избу вошел Михаил и все, все высказал Егорше: дескать, ты довел дедка до могилы! Своим письмом довел... Из-за тебя старик на Синельгу побрел...

Оба кричали, оба орали — только что кулаки в ход не пускали. И это в девятый-то день!

Тихо, с покаянно опущенной головой подходила Лиза к могиле.

Холмик у Макаровны колосился высоким, тучным ячменем — Лиза весной его посеяла, — а могила Степана Андреевича была голая, по-сиротски неуютная, с двумя неокоренными сосновыми жердинками, вдавленными сверху в желтый песок. Черные угольки валялись по обе стороны заметно осевшего бугра — остатки от камины с ладаном, которым Марфа Репишная окуривала могилу...

Лиза опустилась на колени.

— Ты уж, татя, прости меня, окаянную. С ума я сошла... Начисто потеряла и стыд, и совесть... Вчера-то уж я знала, что ты меня ждешь... Да я... Ох, татя, татя... Хватит, порасстраивала я тебя немало и живого, а что — таить не буду... Опять у нас все вкривь да вкось пошло... Я уж, кажись, все делала, все как лучше хотела, веником и метелкой вокруг него бегала, а ему — не знаю чего и надо... Ох, да что тебе сказывать, ты ведь и сам все видишь.

Тут Лиза, сложив руки на груди, подняла кверху заплаканное лицо да так и застыла.

Ну не диво ли? Не чудо ли на глазах сотворилось? Из дому вышла — туман, коров провожала — туман и сюда шла — тоже туман, чуть не руками разгребала. А вот сейчас солнце и радуга во все небо...

Это татя, татя меня успокаивает, он бога упросил солнце выкатить, растроганно подумала Лиза.

Спустил ее на грешную землю Игнатий Баев, который вдруг, как медведь, вылез сбоку, треща сухими сучьями. Да не порожняком, а с мешком за плечами вот что больше всего поразило Лизу.

Да откуда же это он? Что у него в мешке? — подумала она, провожая глазами нескладную, долговязую фигуру, и тут же устыдилась своей суетности: господи, в кои-то поры выбралась к свекру на могилу, так нет того чтобы хоть полчаса мыслями и сердцем побыть с ним, — начала по сторонам глазеть.

Однако сколько ни стыдила и ни совестила себя она, Игнат Баев не выходил у нее из головы, а тут вскоре, к ее великому удивлению, и еще один мешочник на кладбище объявился — Филя-петух.

— Филипп, откуда вы это с мешками? Чего тащите?

Филя три года проходу ей не давал. Где ни встретит, когда на глаза ни попадешься, начнет хихикать да своим кривым глазом подмигивать: когда, мол, дролиться начнем? Страсть какой охотник до баб! А тут она сама окликнула — не только не остановился, стал удирать от нее. Как сорока-белобока зашнырял в сосняке, так что она с трудом и догнала его.

— Откуда это ты, Филипп? Что за моду взяли — по кладбищу с мешками разгуливать? Дороги для вас нету?

— Да я это, вишь, так... Вишь, свернул маленько, — заблеял Филя и уж так старательно начал осматриваться кругом, как будто тут не беломошник растет, а золото рассыпано.

Лиза пощупала рукой в мешке. Зерно.

— Ох, прохвосты, жулики! Дак это вы с молотилки жито воруете!

— Да ты что — спятила? — ахнул Филя.

— Не спятила! Откуда еще хлеб можно взять? Вон как! Люди — в чем душа держится, а мы дорожку к молотилке проторили. Через кладбище. Никто не увидит, не догадается...

Филя божился, заклинал ее: нет и нет, близко у молотилки не был, — и под конец, когда она, распалившись, уже перешла на крик, признался: на складе получил.

— На складе? — страшно удивилась Лиза. — Да когда об эту пору колхозникам на складе давали? Заповедь не выполнена...

— Председатель немножко выписал. Для плотников... Только ты не сказывай никому. Нельзя это... Чтобы тихо все...

— А Михаил-то наш тоже получил?

- Не знаю, девка. Я вроде как его там не видел.  
— Как не видел? На складе не видел или в ведомости?  
— На складе.

Лиза наконец отпустила Филю — чего зря воду в ступе толочь — и, вздохнув, пошла к могиле.

Нет, тут что-то не то, подумала она. Михаила не видел... А почему? Иголка Михаил-то?

Она посмотрела вокруг, покачала сокрушенно головой и побежала к своим.

## 2

Слух о том, что в колхозе дают хлеб, с быстротой ветра облетел утреннее Пекашино. Жнеи, доярки, молотильщицы, подвозчицы кормов — все кинулись к хлебному складу на задворках у Федора Капитоновича.

Василий Павлович, колхозный кладовщик, не растерялся — вовремя успел выкатить к дверям какую-то старую телегу, бог весть почему оказавшуюся в хлебном складе, и это больше всего выводило из себя разъяренных баб.

— Вот как! Мы не люди? Нам не то что хлеба — ходу на склад нету!

— Да это с кем ты придумал?

— Бабы, чего на него смотреть? Нажимай!

Телега затрещала, сдвинулась с места, но Василий Павлович уперся своими толстыми коротышками и откатил назад.

Тогда тихая, набожная Василиса решила пронять его жалобным словом:

— Ты, Васильюшко, неладно так делаешь. Раз уж одним дал, дак и других не обижай. Мы в войну из хомута не вылезали и тепереча на печи не лежим. А поисть-то хлебца, Васенька, всем охота...

— Дура! — завопили со всех сторон на Василису. — Нашла кого уговаривать да совестить.

— Ему что! Он, боров, рожу наел — разве поймет нашего брата?

Тут в кладовщика через головы баб полетели камни и палки — это уж Федька Пряслин со своей бандой вступил в работу. Никто из ребят

в это утро не дошел до школы, все завязли в заулке у склада. Орали, толкались, колотили матерей по спинам, по тощим задкам, готовы были зубами прогрызть себе лаз в склад: теплым зерном несло оттуда.

Один камень угодил кладовщику в плечо, и Василий Павлович заорал благим матом:

— Да вы что — с ума посходили? Я, что ли, председатель? Мое дело выдать, когда бумага есть. А где у вас бумага?

— А и верно, бумаги-то у нас нету, — спохватился кто-то в толпе.

— К председателю надо!

— Да где он, председатель-то? Еще даве чуть свет в поскотину укатил.

— Неужели?

— Дак это они сговорились, сволочи!

— Знамо дело — не без того же.

— Ну и паразиты! Ну и прохвосты!

— Кто паразиты? Кто прохвосты? Кому нужна подмога Советской Армии?

Егорша подходил к складу — его беззаботный и ликующий голос взмыл над орущей толпой.

Нюрка Яковлева схватилась за платок, Манька Иняхина, коротыга, привстала на цыпочки, да и другие бабы, которые помоложе, не отвернулись. Не часто, не каждый день такое увидишь: руки в брюки, хромовые сапожки горят на ноге, и улыбка во всю ряху — своя, нашенская, от души.

— Ну, из-за чего разоряемся? — спросил Егорша, игриво щуря свой синий глаз. — Почему шуму много, а драки нет?

— Да в том-то и беда, что драка, — отозвался из склада Василий Павлович.

— Какая драка? Штаны с тебя снимают, а ты упираешься? — Егорша опять по-свойски подмигнул, адресуя свою улыбку сразу всем бабам.

— Хлеб требуют. Хлеб приступом хотят взять.

— Хлеб? Какой хлеб? — Егорша перестал улыбаться.

— Какой, какой! Известно какой. У людей перво-наперво как бы с государством рассчитаться, заповедь выполнить, а у нас первая забота — как бы брюхо свое набить...

— Врешь, ирод! Мужикам-то небось давал...



— Тихо! — вдруг грозно, по-командирски рыкнул Егорша. Затем, не дав опомниться растерявшимся бабам, быстро разгреб их по сторонам, занял позицию у телеги, перегораживающей вход в склад. — А ну назад! Сдай, говорю, назад. Живо! Яковлева! — окликнул он по фамилии Нюрку. — Бери подол в зубы и чеши, покамест не поздно. А ты чего, Иняхина? Советской власти у нас нету?

Дрогнул бабий залом у дверей склада. Одна за другой, как бревна, извлекаемые опытным багром, завыскакивали из толчеи.

В общем, быстро навел порядок Егорша, всем дал нужное направление: и бабам («На работу! На работу!»), и школьникам — прямо в руки молоденькой учительницы передал, которая за ними прибежала.

Но тут в заулочок влетел Михаил Пряслин верхом на храпящем, на взмыленном коне, и все закружилось сызнова.

— Михаил! Миша! — в один голос возопили бабы. — Да что же это такое? Кому в рот, кому в рыло? Разве мы не люди?

Соскочившего с коня Михаила обступили со всех сторон. К Михаилу тянулись черными суковатыми руками. На Михаила смотрели как на своего спасителя: уж он-то им поможет, уж он-то наведет справедливость, их всегдашняя опора и заступа.

Михаил, сцепив зубы, двинулся к дверям. Его и так то трясло от бешенства (все продали: и председатель, и дружки!), а тут еще это бабье голошенье...

— Покажи ведомость. Кому выписан хлеб?

— Осади, Пряслин! — ответил за кладовщика Егорша. — Колхоз первую заповедь не выполнил, а ты насчет фуража...

— Чего? — У Михаила надо лбом встала черная бровь. Он, конечно, сразу заметил Егоршу в дверях. Как же не заметишь! Приметный! Но он думал, тот просто так перед бабами выдрючивается, а он, оказывается, в начальника играет.

— А ну проваливай! Без тебя разберемся.

— Пряслин, осади, говорят! Последний раз предупреждаю! — громко, на весь заулочок крикнул Егорша и, бледный, решительный, с воинственно выкинутыми вперед кулаками, шагнул ему навстречу.

Михаил не размахнулся, не врезал как следует, хотя и не мешало бы: не забывайся! Но проучить этого нахалюгу надо. Потому что он и раньше был из породы тех, кого пока бьешь, до тех пор он и человек. И

вдруг, когда Михаил начал поднимать руку, страшная боль опалила его, и он упал на колени.

— А-а-а! — взметнулся над оцепеневшей толпой истошный крик Лизы. Она как раз в это время с Анфисой Петровной подбежала к складу.

Меж тем Михаил поднялся на ноги. Его шатало. Из разбитого рта и носа ручьем хлестала кровь.

— Ах, сволочь! Ах, сволота!.. Дак ты меня боксой... Боксой... Научился!..

Он неторопливо вытер ладонью рот, посмотрел на ярко горевшую на солнце алую кровь и вдруг, как разъяренный бык, ринулся на Егоршу.

Они не успели на этот раз добраться друг до друга. На Егорше с двух сторон повисли Лиза и Федька, а Михаила облапила сзади Анфиса.

— Миша, Миша... Опомнись! Бабы, а вы чего рот-то разинули? Уходите, бога ради, домой. Уходите! Разве не понимаете, чем это пахнет...

Михаил хрипел, страшно ругался, таскал по земле растрепанную Анфису, пытаясь стряхнуть ее со своей шеи. Егорша тоже выходил из себя — только голос выдавал его ликование.

— Нет, фига! Нет, дудки с купоросом! — выкрикивал он звонко. — Кабы ты рубаху мою, к примеру, взял — ладно, пользуйся, слова не скажу. А то куда ты лапы потянул? К священной основе!.. Тут от Суханова-Ставрова не жди пощады. Всегда на страже!..

Анфиса заплакала.

К складу подходила сама беда. И у той беды железные зубы. Целую неделю Ганичев не показывался в Пекашине, а вот вечер заявился. Как будто нарочно выжидал этой заварухи у склада.

Весь день бабы на скотном дворе вздыхали да охали: что будет? С кого спросят власти? Удержится ли ихний председатель? А она, Лиза, думала еще о том, как пойдет теперь у них жизнь, удастся ли ей примирить брата с мужем.

Егоршу она не видела с утра, с той самой минуты, как с доярками ушла от склада на коровник. И брата не видела, хотя днем три раза бегала и домой, и к матери.

Самые неотложные дела взывали к ней в ее немудреном хозяйстве: дрова и вода, белье неприбранное — целый ворох лежал на столе, — овцы, некормленные и непоеные, горланили в хлеву... А она вошла в избу, села на прилавок, да так и сидела в потемках не шевелясь.

И на уме у нее было все то же: Егорша, Михаил... Где-то они сейчас? Не сцепились ли опять друг с другом? И еще почему-то сердце сжималось от страха за Васю, как будто ему грозила какая-то беда...

Когда в избе стало совсем темно, Лиза решила еще раз сходить к своим.

И вот только она поднялась — Егорша. Пьянехонький: на весь дом пролаяло железное кольцо в воротах.

— Чего огня нету? Или, думаешь, раз у тебя кошачьи глаза, дак и другие в темноте видят?

Егорша покачался в проеме дверей, перешагнул за порог.

— Ну, кого спрашиваю?

Лиза вспылила:

— Чего глазами-то корить? Я не сама их выбирала...

— Всё вы не сами! У вас, у Пряслиных, завсегда дядя виноват. Может, и давеча, на складе, ты не сама кинулась на меня? Сука! Жена называется!.. Вцепилась, как падла, в своего мужа... Небось не в братца, а?

— Да ведь ты братца-то насмерть убивал.

— И убил бы! — Егорша горделиво вскинул свою светлую голову. — А чего? Прошли те времена, когда он командовал парадом. Ха-ха-ха! Разлетелся: я, я... Как бык слепой. А того не соображает, балда, что быка всю жизнь бьют обухом по черепу!

В голосе Егорши было нескрываемое торжество и ликование. Он бегал по избе, потрясал кулаками, и Лиза с ужасом всматривалась в его бледное, облитое лунным светом лицо: да неужели это Егорша, ее муж? Или он, как всегда, разыгрывает ее?

— Ты думаешь, нет, чего говоришь-то? — сказала она задыхающимся от возмущения шепотом. — Ведь Михаил-то тебе кто?.. Шурин... Заместо брата...

Егорша захохотал, затем круто обернулся к Лизе.

— Он контра подлючая — вот кто твой брат. Поняла? А как ты думаешь середь бела дня колхозный склад выворачивать? Это что? Евонный подарок матери-родине? — Егорша звонко и смачно впечатал кулак в свою распахнутую в ворота грудь. — Ну нет, не тому учен Суханов! Стоял три года на боевом посту у родины и всегда будет стоять. И тут для меня нету ни братьев, ни сватьев. Запомни это! Всех к ногтю! И твоему братцу это так не пройдет. Подожди, кое-кто им еще займется.

— А чего им заниматься-то? Что он сделал?

Егорша отчеканил чуть ли не по слогам:

— Хлеб колхозный в период хлебозаготовительной кампании хотел украсть у государства!

— Да хлеб-то этот он сам и сеял и сам убирал. Хоть какой килограмм и достался бы, дак не беда. На-ко! — возмутилась Лиза. — Всем плотникам хлеб выписан, а самому первому работнику нету...

— Первому, первому!.. Ты долго еще будешь тыкать мне в нос этим своим первым работником? Вот бы и выходила взамуж за своего первого работника.

— Да ты сдурел вовсе! Чего мелешь-то? За брата взамуж выходи...

— Ничего не мелю! — вконец разошелся Егорша. — Все вы сволочи! Михаил, Михаил... Первый работник... А что вы сделали с этим первым работником, покамест я в армии был? А-а, замолчала? Прикусила язык? Ну дак я скажу. Ну-ко расскажи, как тебе дом старик отписал... А-а, молчишь? Глаза закатываешь? Думаешь, все шито-крыто? Не узнает Егорша?

Пушечным выстрелом бабахнула запухшая дверь, со звоном, с грохотом ударились о стену ворота, затем Лиза услышала знакомый летучий скрип хромовых сапожек — и все, жизнь ушла из дому.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Подрезов вскочил на пароход в самую последнюю минуту. А пока он забросил в каюту чемодан да вылетел на палубу, огромный белорудый красавец еще старинной выделки уже развернулся.

Разбежавшимся глазом он прежде всего наткнулся в толпе провожающих, по-деревенски махавших белыми платочками, на своего зятя. Приметный! На голову выше всех. Просто как пугало огородное торчит, сверкая круглыми очками из-под какой-то дурацкой клетчатой кепки. Но Ольги рядом с ним не было.

Евдоким Поликарпович глянул в одну сторону, глянул в другую и вдруг увидел дочь на высоком крутом берегу, пониже пристани.

Слезы вскипели у него на глазах.

Ольга и всегда-то, с самого детства, походила на свою мать — легкой походкой, характером, светлыми пушистыми волосами, а сейчас, в эту минуту, в ней и вовсе, казалось, воскресла покойная Елена. Та, бывало, вот так же, провожая его, выбегала вперед от людей все равно где — в поле, в деревне или у реки — и долго стояла там одиноко и неподвижно, словно для того, чтобы он получше запомнил ее...

С дочерью Евдоким Поликарпович не виделся пять лет, с тех пор как Ольга, не спросясь отца, вдруг вышла замуж и бросила институт.

— Ладно, сказал он жене, когда та однажды осторожно сообщила ему эту новость, — баба с возу — кобыле легче.

И — все. Больше ни слова. Вычеркнул из своего сердца. Не мог простить такой обиды: не за пеленками виделось ему будущее дочери.

Круглая отличница, каждый год похвальные грамоты, из института даже присылали ему благодарности — да ей ли не учиться? Ей ли не закончить институт? По крайней мере, хоть один человек в роду Подрезовых был бы с высшим образованием. А то ведь и дальше

могла махнуть. У Михайлова, первого секретаря Плесецкого райкома, дочь в аспирантуре учится, на ученого — тот об этом при каждой встрече хвастается, — а почему бы не могла учиться в этой самой аспирантуре его Ольга?

Одним словом, удар для него был страшный. Он даже запил было, да хорошо, у первого секретаря дел всегда невпроворот, в делах забылся. Три года Евдоким Поликарпович выдерживал карантин. Три года не читал от дочери писем. Вплоть до прошлогодней весны, когда у Ольги родился сын.

Нет, нет, он не заулюлюкал, не пошел вприсядку оттого, что стал дедом и что на свете появился еще один Евдоким. Наоборот, он самыми последними словами изругал дочь. Потому что кто же в наше время дает такое имя ребенку? Овдя, Овдюха, Овдейко... Да внук не только отца с матерью — деда будет проклинять всю жизнь! А потом вдруг что-то сдвинулось у него в груди, и он все чаще и чаще стал ловить себя на том, что думает о маленьком Овде...

В прошлом году ему не удалось выбраться к дочери: год был тяжелый, «перестроечный», он даже на курортном лечении не был, а нынче твердо решил: к внуку. Непременно к внуку!

И вот когда ему в конце августа дали отпуск, он первым делом и подался на Вычу — лесную глушь по Северной Двине, где учительствовали дочь и зять.

Встретили его цветами, шампанским. Будто к ним какой-то столичный артист приехал.

Ладно, против красоты возражений нет. Красоту принимаем. А что же это у вас с ребенком-то делается? Почему ребенок весь в чирьях?

— Врачи предполагают, что нарушен, по-видимому, обмен веществ, диатез, может быть. Скоро будем знать точно — еще на той неделе сдали кровь на анализ.

Так ему по-ученому ответили молодые родители. А то, что у них ребенок насквозь простужен, это им и в голову не приходит. А он, Евдоким Поликарпович, сразу все понял, как только легли спать, — без всякой медицины поставил диагноз. Из каждой щели дует, ветер по полу ходит — да как тут здоровым быть ребенку?

Он не стал много разговаривать с мамой и папой. Дочь у него всегда была слабаком по практической части, с детства не знала

никакой работы по дому, все делала за нее сердобольная мачеха, ну а ее ненаглядный Зиночка, или, как он сам представился ему попервости, Зиновий Зиновьевич, и вовсе оказался без рук. Гвоздя в стену не вбить, лучины не нащепать, а уж чтобы сколотить там какую-нибудь немудреную скамейку (на ящиках сидят!) — об этом и говорить нечего.

В общем, на другой день встал Евдоким Поликарпович, выпил стакан чаю и давай тепло в комнате наводить. Целый день конопатил углы и подгонял рамы. Это он-то, первый секретарь крупнейшего района в области, можно сказать, государства целого по своим размерам! А через два дня и того чище: топором начал махать. Да как махать! С раннего утра до позднего вечера. Как заправский плотник.

На реке ходили волны, тяжелые, размашистые, с белыми гребнями. Тоненькую фигурку Ольги, все еще стоявшей на крутояре, ниже пристани, выгибало, как пруттик. И золотом, солнцем вспыхивали ее светлые раскосмаченные волосы.

А что делалось тут, на палубе? Выли и свистели провода над головой, тучи ползали по его плечам, и бух-бух волна снизу. До лица, до глаз долетали брызги. А он — ничего. Стоял. Стоял, единственный пассажир на всей палубе, и еще покрывал, зубы скалил от удовольствия. Хорошо! По нему такая погодка!

И вообще он чувствовал себя сейчас так, будто молодость вернулась к нему, будто прежняя крутая сила бродит в нем. А главное, прошли красные пятна на теле, прошел проклятый зуд. Вот что было удивительно.

За эти годы что только он не делал, к кому только не обращался, чтобы избавиться от своей изнуряющей, изматывающей хвори! К врачам разным ходил — к своим, районным, к областным, раз даже у одной столичной знаменитости на приеме побывал, когда на курорт ездил, к старухам травницам обращался ничего! В лучшем случае, на какое-то время отпускало. А тут сам вылечился. И чем? Топором. Да, да самым обыкновенным мужицким топором.

А дело было так. Утеплил у дочери жилье, пошел в баню — смыть грязь. И боже ты мой — две версты по грязище, по пустырям, по вырубкам, да под дождем, под ветром.

В общем, он едва ноги приволок обратно, бутылку водки выдул, чтобы отогреться. Так ведь это его, здорового быка, так укачало, а что

же сказать о годовалом ребенке? Ему-то как достается эта баня?

Евдоким Поликарпович глядел-глядел на внука, с ног до макушки осыпанного злыми, малиновыми чирьями, и — к дьяволу отпуск! Баню буду строить.

Построил. За две недели построил. Один. Без посторонней помощи...

Подрезов приподнял мокрое, раскаленное ветром и брызгами лицо, привстал на носки — где-то там, в той стороне, за мысом, за крутояром, на котором еще недавно стояла его дочь, осталась построенная им банька. Небольшая, неказистая — из ерунды собирал, ни одного бревна стоящего не было, но живая — с жаркой, трескучей каменкой, со сладким березовым духом. И теперь каждую субботу, где бы он, Евдоким Поликарпович, ни был, обязательно будет вспоминаться ему эта крохотная, стоящая у самого озера банька. А вслед за банькой будет вспоминаться и вся его жизнь с топором в руках, да такая счастливая и полноводная, какая, возможно, только и была у него один раз — там, на родной Выре, когда он молодым, семнадцатилетним парнем строил школу. Для своей Елены...

Давно уже исчезла из виду Ольга, давно голые, безлесые берега сменились зверской, без единого просвета чашобой ельников, а он все стоял на верхней палубе, один, плотный, несокрушимый, и веселел духом — от радостных воспоминаний, от ощущения собственной силы в обновленном теле, от всего этого раздолья и необузданного шабаша на реке.

Спать было еще рано, и Подрезов, спустившись с палубы, заглянул в ресторан — давно не баловался пивком.

Но в ресторане все столики были заняты, а о том, чтобы пробиться к стойке, нечего было и думать.

Ладно, решил Подрезов, зайду попозже, когда схлынет самая шумная и буйная людская пена. И вдруг, когда он уже повернул на выход, его окликнули:

— Евдоким Поликарпович, алё!



Оглянулся — Афанасий Брыкин. Сидит у окошечка, потягивает пивко. Розовый, прямо-таки малиновый от натуги, и улыбка во все рождество.

По его знаку словно из-под земли вырос раскосый жуликоватый официант в белой грязной куртке, напяленной поверх ватника — холодновато было в ресторане, — и будто метлой повымело из-за столика каких-то трех полупьяных работяг.

— Не знал, не знал за тобой таких талантов, Брыкин.

— Дак ведь это, чай, мое воеводство.

— Что ты говоришь! Как же я этого не сообразил? — И тут Подрезов признался, что почти две недели жил у него, у Брыкина, в районе.

Как и следовало ожидать, Брыкин начал пенять и выговаривать ему чуть ли не со слезами на глазах: дескать, почему не брякнул, не дал знать о себе? Уж он бы для кого, для кого, а для него-то, Евдокима Поликарповича, постарался, встретил бы как самого дорогого гостя.

Подрезов терпеть не мог этих бабьих причитаний в мужских штанах, как любил говаривать у него председатель колхоза Худяков, и спросил:

— Куда путь держишь? В область?

— Ага.

— А чего? Не опять ли за новым назначеньем? — пошутил Подрезов.

Брыкин с озабоченным видом пожал кожаными плечами, и Подрезов понял, что у него опять завал в районе. По завалам Брыкин был просто мастер. Куда, на какой район ни посадят, конец один: покатила под гору телега. Зато кто проворнее, отзывчивее Афони? Надо, скажем, взять обязательство сверх плана по хлебозаготовкам, по молоку, по мясу — а ну-ка, Брыкин, покажи пример. И Брыкин показывает: «Дорогие товарищи! Наш район, подсчитав свои возможности, обязуется... Я призываю последовать нашему примеру...»

Ресторан начал пустеть: быстро выкачали православные бочку. В черное окошко, у которого сидел Подрезов, яростно, со всхлипами хлестал косой дождь.

Брыкин снова и снова подливал ему пива из эмалированного ведерка, которое недавно — уже третий раз — наполнил официант,

пил сам и с волнением, вздохнул рассказывал про своего необыкновенно умного сына, который в этом году поступил в торговый институт. Потом, видя, что собеседник не очень-то слушает его, опять заканючил-заныл насчет того, почему он, Подрезов, не заглянул к нему в хоромы, не отведал у него нынешних свежепросоленных рыжиков.

Рыжики у Брыкина замечательные — тут у него просто талант. Да еще какой талант! Он сам их собирал в лесу, сам солил, сам делал специальные бочоночки ладные такие еловые пузатики с тоненькими можжевелевыми обручами, литра на два, на два с половиной.

Отправляясь в область на совещание по вызову, Брыкин обычно прихватывал с собой парочку таких пузатиков и при случае кое-кому вручал эти дары природы, как он сам выражался. И Подрезов был уверен, что у него и сейчас в каюте наверняка найдется бочоночек с рыжиками, а то даже и не один.

Снова взбурлила жизнь в ресторане, когда подошли к большой пристани, ярко освещенной вечерними огнями.

Тут, помимо новой партии любителей пивка, появилось еще ихнее райкомовское — подкрепление. Сразу три секретаря: Павел Кондырев, Василий Сажин и Савва Поженский. Все с Северной Двины.

Савву Поженского, покажись тот в ресторане один, Подрезов, пожалуй, и не признал бы: в сером потрепанном макинтошике, в фуражке с мятым козырьком — что от первого хозяина района?

Зато Павел Кондырев и Василий Сажин — комиссары. В таких же хромовых, как он, Подрезов, регланах, туго затянутых в поясе и мокрых от дождя (только блеск пошел по ресторану), в полувоенных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну и в соответственных сапожках — щелк-щелк. Правда, Василий Сажин не совсем лицом вышел — желтое, сплошь оспой изрыто, как, скажи, овец пасли на нем, и оскал рта неприятный, хищный какой-то, а Павел Кондырев — хоть в кино. Красавец мужчина! И недаром буфетчица, еще довольно молодая бабенка с ярко накрашенными губами, сразу же начала вытягивать шею в ихнюю сторону.

Встреча была шумной, радостной. Пять перваков скрестили свои дороги часто такое бывает?

Подрезова обнимали, тискали, лопатили по спине, и — что удивительно — даже старик Поженский не отставал от других. А уж

он ли не отличался выдержкой, он ли не умел держать себя в узде! С тридцать третьего в райкомовской упряжке ну-ко, какой надо иметь ум и сноровку, какую житейскую академию пройти.

Павел Кондырев, как только разместились за двумя сдвинутыми столиками тут уж не было помех со стороны, все понимали, какая рыба заплыла в ресторан, — побежал к буфетчице насчет пива. Такой неписанный закон: чей район, тот и угощает (а они как раз ехали районом Павла Кондырева).

Пива у буфетчицы в заначке не оказалось — все, дура, распродала до литра, — но Павел Кондырев достал ведро — чуть ли не из запасов команды парохода.

Он же как хозяин и предложил первый тост:

— За Евдокима Поликарповича! За Подрезова, который всегда впереди!

Насчет всегда — это, пожалуй, крепковато сказано. Нынче Подрезов чуть ли не закрывает областную сводку по лесу. Но черт подери! С чего ему опускать голову? Разве всю войну и после войны не он шагал в передовиках? Ну-ко, сплюсуем все кубики, что дал его район за все эти годы, — кого можно поставить рядом с ним? Назвать миллионщиком?

За это уважали его в области. Ну, и за смелость, за удасть уважали.

Удивительная штука жизнь! Уж, казалось бы, среди них-то, хозяев районов, какая может быть смелость да лихость против начальства. Сами начальство. Да и начальство немалое. Первые люди области.

А вот поди ты: везде по одним законам живут. И у них меж собой первая честь и хвала тому, кто перед начальством шею не гнет. А он, Подрезов, не гнул. И не сидел, как мышь, в углу, не делал вид, что его ко сну клонит, когда за товарища надо вступить или начальству правду в глаза сказать.

Нет, он, как говорится, и с места реплику подавал, так что последний глухой слышал, и на трибуну лез.

В сорок четвертом их, первых секретарей, вызвали на бюро обкома. Специально для того, чтобы дать накачку насчет экономного расходования хлебопродуктов.

С приморского секретаря райкома — это он, бедняга, стоял на ковре — просто пух летел: двести килограммов муки раздал

районному активу. И когда? В какое время? В минуту великой народной страды!

Секретари сидели — глаз поднять не смели, только бы грозой не задело их, потому что кто из них не делал то же самое у себя!

И вот Подрезов не выдержал:

— Разрешите задать вопрос Севастьянову. (Фамилия секретаря Приморского райкома.)

— Давай.

— Скажи, товарищ Севастьянов, сколько килограмм хлеба на районного активиста досталось из этих двухсот килограмм, розданных тобой?

— От пяти до семи.

— И за какой период эту надбавку ты выдал?

— За год.

— За год пять килограммов на нос?! Ну дак я вот что тебе скажу, товарищ Севастьянов: плохой ты секретарь! Я свой актив чаще подкармливаю. Килограмма-то с три каждый месяц подбрасываю.

Шум поднялся такой, что Подрезов думал — тут ему и конец. Сам Лоскутов, второй секретарь обкома, начал утюжить его — он главный разнос Севастьянову делал:

— Безобразие!.. Судить будем!.. Мы покажем подкормку!!

Но Подрезов — терять нечего — сам кинулся на амбразуру:

— А вы знаете, товарищ Лоскутов, сколько районный служащий хлеба получает? Шестьсот грамм в день. А у этого служащего семья, ребятишки, а ребятишкам этим как иждивенцам двести грамм. Так что этот служащий свои шестьсот грамм никогда и не съедает. А ведь на нем, на районном активе, весь район держится. Они наши руки. У меня один инструктор раз попал в колхоз. В командировку, Вперед-то добрался, все в порядке, а назад пошел вечером — всю ночь просидел под кустом на лугу. А из-за чего А из-за того, что у него куриная слепота, ничего не видит.

Севастьянов отделался тогда простым выговором, а их, секретарей райкомов, бюро обкома специальным решением обязало обратить самое серьезное внимание на бытовое обслуживание районного актива. То есть обязало регулярно подкармливать актив, правда, не выделив для этого никаких дополнительных лимитов.

Вот после этого случая фамилия Подрезова стала известна во всех районах области.

В двадцать три ноль-ноль из ресторана перешли в каюту к Афанасию Брыкину.

Во-первых, их стал упрашивать директор ресторана: дескать, к пристани большой подходим, пассажиры нахлынут — до утра не выжить, а во-вторых, из-за Тропникова, заместителя начальника лесотреста. Он песню испортил.

Вошел в пестром халате, как баба, на носу стекляшки с золотыми зажимами, и давай носом ворочать — неаппетитно, мол, не тем пахнет. А потом — мораль: какой пример подаете, хозяева районов?

Лично он, Подрезов, даже бровью не повел — с войны терпеть не мог этого зализанного и расфуфыренного ябедника, — но осторожный и благоразумный Савва Поженский, а вслед за ним и Афанасий Брыкин встали: большая шишка Тропников. И рука у него длинная...

А впрочем, нет худа без добра. Именно в каюте-то у Брыкина они и почувствовали себя людьми. Никаких ограничителей в горле, никаких досмотрщиков со стороны. Своя братва! И уж, конечно, никаких величаний по имени-отчеству. Все — ровня!

Сперва навалились на еду — волчий аппетит разыгрался от пива. Все подорожники — рыбники, шаньги, колобки, ватрушки — все, чем заботливые супруги набили сумки и чемоданы, вывалили на стол, а расчувствовавшийся Афоня сверх того выставил еще пузатик с малюсенькими, копеечными, рыжиками.

Савва Поженский да Иван Терехин (еще один первач, подсевший на последней пристани) попытались ихнему застолью придать деловой характер, что-то вроде производственного совещания устроить — оба так и вкогтились в Подрезова: дескать, как у тебя нынче с хлебом? как с помещениями для скота? что делаешь, чтобы удержать мужика в колхозе? Словом, для этих прежде всего дело. Серьезные мужики.

Но где там! Разве поговоришь о деле, когда Павел Кондырев в загуле!

Зыркнул своими цыганскими, топнул:

— К хренам дела! Завтра дела!

И как выдал-выдал дробь — всех на пляс потянуло. Подрезов топнул, Василий Сажин топнул, Поженский сыпанул горох по столу каким-то хитроумным перебором пальцев.

А дальше — больше. Посыпались соленые шутки-прибаутки, анекдоты, всякие житейские истории, и, конечно, начали строить догадки насчет внезапно исчезнувшего Павла Кондырева.

— К той буфетчице, наверно, подбирается, — высказал предположение Василий Сажин.

— Да, может, уж подобрался. Долго ли умеючи? — живо, с озорным блеском в глазах воскликнул Поженский. Савва по этой части тоже старатель был не из последних — в десять душ семью имел. Потом уже без всякой игривости, с неподдельным беспокойством за товарища: — Ты бы, Евдоким Поликарпович, приструнил его маленько. А то как бы он того... из хомута опять не вылез.

Но тут Кондырев сам влетел в каюту. Глаза горят, лицо бледное, потное — не иначе как шах и мат Клавочке, то есть буфетчице.

Покачался-покачался у дверей — артист не из последних — и выпалил:

— Братцы! Цирк на пароходе!

— Да ну?!!

— А что — двинули?

Но Савва Поженский — не зря на плаву двадцать лет — сразу совладал с собой, хотя было какое-то мгновение — и у него угарным огоньком загорелся старый глаз:

— Бросьте! Не для нас эти забавы.

— А чего? — запальчиво возразил Павел Кондырев. — Подумаешь, с артистками цирка посидеть! Да там и не одни девчонки — такие лбы сидят, ой-ой! Целая бригада из поездки по колхозам да леспромхозам возвращается.

— Эх, Паша, Паша! Мало тебя мылили, вот что. Забыл, как давеча Тропников носом вертел? Дак ведь то в ресторане мы сидели, без паров в голове, а как прореагируют, когда мы середка ночи к этим самым артисточкам закатимся?

Вот это все и решило — Тропников да расчетливая осторожность Саввы.

— Пойдем, Пашка! Ко всем дьяволам этого Тропникова!

А что, в самом деле? Не люди они? Почему должны плясать под дудку какого-то кляузника и ябедника? А потом, он, Подрезов, в отпуске. Неужели и во время отпуска спрашивать, как жить, у Тропникова?

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Подрезов любил первые минуты своего водворения в гостиницу.

Все чисто, все свежо в номере: белоснежная кровать, кафельная ванна, приветливо улыбающаяся горничная в белом переднике — как в праздникходишь. А потом, не успел еще раздеться, звонки. Один секретарь райкома — привет, другой секретарь — привет, третий... Просто непонятно, как и углядели. По коридору шел — ни одна душа навстречу не попала...

Сегодня звонков не было. Сегодня, едва он снял с себя кожанку да отпил холодняка из-под крана в ванной (июльская засуха стояла в горле), в номер к нему толпой вперлись перваки. И те, с которыми ехал на пароходе, и новые: Онега, Лешуконье, Приозерье, Няндомы, Коноша... Народ все крепкий, краснорожий, обдутый и продубленный всеми ветрами Севера. Одним словом, опорные столбы, на которых жизнь всей области держится.

На Евдокима Поликарповича навалились сразу трое — дух перехватило. Правда, и он в долгу не остался: Саватеева из Приозерья так приголубил, что у того слезы из глаз брызнули.

Кто-то из новичков завел речь насчет вечернего сабантуя.

У Евдокима Поликарповича, откровенно говоря, это радости не вызвало: у него еще вчерашние пары из головы не выветрились, да и дел на вечер был воз.

Но, с другой стороны, когда Подрезов портил песню своим товарищам? Когда шел против коллектива? Ведь ежели хорошенько разобраться, то первый секретарь и узду-то с себя может скинуть, только когда из района вырвется. А в районе ты всегда начеку, всегда по команде первой готовности — иначе как же ты с других спрашивать будешь?

Да дело, в конце концов, вовсе и не в том, чтобы разрядку себе дать.

Поговорить сердце в сердце, выложиться как на духу друг перед дружкой, ума-разума поднабраться — вот чем дороги были эти ночные, никем не планируемые совещания.

— Ладно, сказал Подрезов (все выжидающе смотрели на него), — пейте кровь! Согласен.

— Братцы, братцы! — В номер вломился Павел Кондырев. — Последнее сообщение Совинформбюро... Павла Логиновича в Москву забрали.

— Первого? Да ты что?

Сивер загулял по номеру. Перемены в руководстве области могли коснуться каждого из них. Это обычно: пересаживаются в области, а стулья трещат под ними, районщиками.

Все как по боевой тревоге начали затягивать ремни на скрипучих кожанках, поправлять фуражки.

— А ты чего, Евдоким Поликарпович? — Василий Сажин первый разморозил свой голос. — Одевайся. Пойдем послушаем тронную речь Лоскутова.

И Подрезов уж взялся было за пальто, да вдруг махнул рукой:

— Ладно, ребята, катайте. Хватит и того, что вы похлопаете.

## 2

— Ну и ну! Вот это рванул дак рванул!

— Да, хватит и того, что вы похлопаете...

— Натура!

— Посмотрим, посмотрим! У Лоскутова тоже не хрящики вместо пальцев...

Все эти голоса, восхищенные реплики, которыми сейчас по дороге в обком наверняка обменивались меж собой его товарищи, Подрезов хорошо представлял себе. Но сам-то он трезво, очень трезво оценивал свой поступок. Во-первых, в отпуске — какие могут быть претензии? У человека на руках путевка, причем путевка горящая, с завтрашнего дня, — имеет он право кое-какие дела перед отъездом



справить? А второе — и это самое главное — с чем идти на совещание?

Тронная речь будет. Распишет Лоскутов свою программу, расставит вехи. А ежели наоборот? А ежели с ходу: доложить обстановку в районах?

Нет, нет, он, Евдоким Поликарпович, не привык тык-мык — и язык присох к горлу. Он с подчиненных строго спрашивал, но и себе поблажки не давал: все цифры, все хозяйство района держал в голове. Хоть во сне спрашивай — без запинки выложит. А теперь, после двухнедельных разъездов, что он мог сказать по существу?

Ничего, ничего, успокаивал себя Подрезов, выхаживая по номеру, Фокин в грязь лицом не ударит. Язык подвешен, сообразит, где что прибавить, а где что поубавить. Только почему его нет в гостинице? У тещи остановился? Или район не на кого оставить?

И еще мутит ему сейчас голову Зарудный.

Две недели отдыхал от этого молодца, две недели, покуда жил на Выре, не думал о Сотюге, а вот только приехал в город — и завертелась старая карусель.

Перед отъездом в отпуск Подрезов загнал-таки наконец Зарудного в свои оглобли — обязал решением райкома (конечно, с согласия области) до минимума сократить жилищное строительство и высвободившуюся рабочую силу бросить в лес, на ликвидацию прорыва.

Но как выполняется это решение? Не отмочит ли сотюжский директор какую-нибудь новую штуковину? Ведь заявил же он на бюро райкома: «Я с этим решением категорически не согласен и со своей стороны сделаю все, чтобы доказать, что оно идет вразрез с интересами дела».

Ладно, чего заранее отпевать себя, решил Подрезов и взялся за телефонную трубку.

— Справочная? Дай-ко мне номер телефона ремесленного училища номер один... Ответили быстро.

— Товарищ директор? Секретарь райкома с Пинеги говорит, Подрезов. Тут у вас есть два моих подшефных. Близнецы. Пряслины фамилия. Так вот интересуюсь. Как они там?..

— Есть, есть такие, — ответил директор. — Очень хорошие ребята...

У Евдокима Поликарповича сразу посветлело на душе. Так уж, видно, он устроен: лучшее лекарство для него — дело. А прыслинские ребята его давний долг. Михаил просил насчет братьев чуть ли не месяц назад, когда они с Лукашиным заезжали к нему на Копанец. И он был очень доволен сейчас, что вдруг пали ему на ум эти ребятишки.

Труднее было звонить родному сыну.

Первенец от любимой жены, парень с образованием — техникум механический кончил — чего еще надо? А вот, поди ты, не лежала у него душа к Игорю, и все. Встретятся — посидят за столом, попьют чайку, а говорить и не о чем. Разные люди. У него, Евдокима Поликарповича, голова кипит от забот о районе, он за всю страну думает, а Игорь, как крот, в нору свою носом уткнулся, и нет ему дела ни до чего. В двадцать три года у человека первая дума — как бы отдельную квартирку сварганить да Капе своей шубу котиковую завести.

Ох, эта Капа, Капа, провались она трижды сквозь землю! (У Евдокима Поликарповича при одной мысли о невестке в глазах темнело.) Худая, злющая, как оса, жадная. Вином уж не угостит, нет. Дескать, нельзя, дорогой папочка, для здоровья вашего вредно... И еще: на чистоте помешалась, стерва, — медсестрой работает.

То, что она сама всю зиму чесноком обвешана ходит, черт с ней, ее дело, и на хлорку ейную — у дверей в коридор насыпана — наплевать. Да она и ему-то всю плешь с этой чистотой переела. Только он переступит к ним за порог, еще поздороваться не успел, а она уж тут как тут со своими тапочками. «Сапожки, сапожки, дорогой папочка, снимем. Дайте отдых своим ножкам, Очень медицина рекомендует...»

Евдоким Поликарпович не раз говаривал сыну: уходи ты, к чертям, от этой паскуды! Она из тебя все соки выпьет и голову назад повернет. Но где там! Разве с его Игорем сговоришься? Ума большого бог не дал, с первого класса выше троек не поднимался, а по части упряма — рекорд поставит. По целым дням может не разговаривать.

Игоря на работе не было — в командировку уехал, — и Евдоким Поликарпович с превеликим облегчением вздохнул. Должен, обязан он повидать свою внучку — тут и разговоров быть не может, но раз сына дома нету, к невестке можно сейчас и не ходить. Да и внучка трехнедельная — чего поймешь? Чего разглядишь? А вот на обратном

пути завернет, тогда картина уже прояснится. Тогда видно будет, в кого пошла — в ихний, подрезовский, корень или в материн.

В войну и после войны районщики работали на износ. Выходных не знали по месяцам. Спали по три-четыре часа в сутки, а так — либо по колхозам и лесопунктам мотаются, либо на посту в своем кабинете.

Подрезов с его богатырским здоровьем легко переносил этот режим, а уж если когда становилось неважно, сон начинал одолевать, ведро холодняка на себя (уборщица за этим строго следила) — и опять сидит себе за своим рабочим столом в одной синей трикотажной майке, весь красный, раскаленный, как самовар. И сразу за двумя делами: большое, по-охотничьи чуткое ухо телефонный звонок из области сторожит, а цепким ястребиным глазом в книжке — приходилось натаскивать себя, потому как с начальной академией сложный узел не развяжешь.

Но была, была и у Подрезова одна отдушина — баня. Раз в неделю обязательно ходил, всю усталость березовым веником выпаривал и из бани выходил как заново на свет рожденный, а в городе, в гостинице, всегда принимал ванну.

Горячую воду наливал — рука еле терпела. И лежал, лежал, весь распустившись и блаженно прикрыв глаза, а ежели удавалось выкроить свободный часок, то и приземлялся.

Сегодня Евдоким Поликарпович пять часов проспал после ванны.

Он живо, без малейшей раскочки вскочил на ноги, начал звонить одному секретарю, другому, третьему.

Никто не отозвался.

Долгонько, долгонько их накачивает Лоскутов. В охотку работка — новая.

А в общем-то, он не удивился бы, если б ребята запаздывали и не из-за Лоскутова. Это ведь в районе своем секретарь — первый человек и гроза, а тут, в области, он и попрошайка, и плакальщик, и еще черт-те кто...

Да, да, да! Все надо протолкнуть и выбить секретарю: и грузовики, и тракторы для колхозов, и технику для леспромхозов, и

хлебные лимиты, которые каждый месяц урезают, отстоять. А пенсии? А учителя, которых из года в год не хватает в школах? Да ежели говорить откровенно, то это еще неизвестно, где у первого секретаря главная работа: в районе у себя или в области.

Во всяком случае, тут, в области, добывается смазка и горючее для машины, которая называется районом. Тут раскрываешь свои таланты сполна. Потому что от них, от этих твоих талантов, зависит судьба целого района, жизнь и благополучие десятков тысяч людей...

Подрезов беглым, наметанным глазом просмотрел областную газету (в ней еще ни слова не было о переменах в областном руководстве), подождал еще минут пять и пошел в ресторан: страшно хотелось есть. Утром на пароходе он выпил только стакан крепкого чая.

В ресторане играла музыка.

Маленький человечешко, уже немолодой, лысый, с жаркими южными глазами, лихо притопывая ногой, изо всех сил лупил деревянными скалками по барабану и медным тарелкам и был счастлив, как малый ребенок, когда тот доберется до любимой игрушки.

Подрезову он почему-то напомнил Ганичева, может быть, своим железным ртом, который как-то особенно дико было видеть на этом счастливом и улыбающемся лице.

Свободные места были чуть ли не за каждым столом, но он направился в дальний угол, где в полумраке и одиночестве восседал Покатов.

Очень приметная фигура этот Покатов — ни с кем не спутаешь. Сидит за столом, как барин, вразвалку, нога на ногу, белая крахмальная салфетка на груди (Подрезов в жизни своей ни разу не пользовался ею) и тонкая нервная рука с золотым кольцом. Ну, а голова у Покатова и вообще на всю область одна крупная, продолговатая, всегда гладко выбритая, так что сейчас, присматриваясь к ней, Евдоким Поликарпович неожиданно для себя сравнил ее с головой святого на иконах — такой же свет вокруг.

Чего только не знала эта голова! Как-то на семинаре их, первых секретарей, стали гонять по четвертой главе «Краткого курса». Гегель... Кант... Фейербах... Имена такие, что не сразу и выговоришь. А до Покатова очередь дошла — как семечки начал щелкать. Все знает, все ему нипочем.

В тридцатые годы Виталий Витальевич гремел на всю область, в больших мужиках ходил, одно время даже заместителем председателя исполкома был. А потом круто покотился вниз. Из-за дружбы с зеленым змием. И сейчас, увидев его в ресторане, Подрезов несколько не удивился. Чего с него возьмешь? У кого поднимется рука отчитывать такого человека по каждому пустяку?

— Здорово, Виталий Витальевич! — Подрезов пожал узкую, интеллигентную руку с золотым кольцом, которую Покатов, как-то брезгливо поморщившись, подал. Оказывается, не я один стороной топаю.

— То есть?

— Да чего то есть! Сознательные люди тронную речь сегодня слушают, а не по ресторанам сидят.

— Вы имеете в виду совещание в обкоме?

— А чего же больше.

— Вы ошибаетесь, — сказал Покатов. — Я был на совещании. А во-вторых, никакой тронной речи там не было.

— Вот как! А разве Павла Логиновича не переводят в Москву?

— Переводят. Но это еще не значит, что на его место сядет Лоскутов.

На минуту разговор у них оборвался — подошла официантка.

Подрезов заказал натуральный бифштекс, палтус и две бутылки пива и снова стал допытываться у Покатова: почему он думает, что Лоскутов не станет первым?

— Потому что не станет, — процедил сквозь зубы Виталий Витальевич. Позвоночник недостаточно развит...

Подрезов захохотал.

На них стали глядеть с соседних столиков, но Виталия Витальевича это несколько не смущало. Он никогда не стеснялся в выражениях. Да его выражения не сразу и раскусишь. К примеру, как понимать вот это двусмысленное высказывание о Лоскутове? Как похвалу или как порицание?

— Ну, а что же там было, на этом совещании? — спросил Подрезов.

— Вас ругали.

— Меня? — Подрезов от смущения крякнул. — За что же? Тропникову, поди, не понравился?

С Тропниковым они не ладили давно, еще с той поры, как тот первый раз приезжал на Пинегу.

Со сплавом в том году было ужасно. Июнь месяц в разгаре, только что половодье отшумело, а река как летом после жары: весь лес по берегам.

И вот Тропников — он приехал в чине особого уполномоченного — рубанул: прекратить полевые работы в колхозах! Всех на сплав! До единого человека.

Подрезов и сам иногда прибегал к такой мере. Случалось, снимал людей с сева на день-два, но только в отдельных колхозах. А тут по всему району. В самый разгон полевых работ. Да это ведь все равно что заранее объявить голод в районе!

— Не прекращу, — сказал Подрезов.

— Как не прекратишь? Да я тебя под суд отдам!

— Хорошо, — решил Подрезов, — прекращу. Но только вы сперва дайте письменное распоряжение.

Письменного распоряжения Тропников, понятно, не дал, но с той поры и начал-начал мотать ему нервы. По каждому пустяку. И даже то, что на Сотюгу прислали директором мальчишку-сосунка, Подрезов не сомневался: его, Тропникова, работа. Специально постарался, чтобы своего недруга допечь, чтобы каждодневно и каждодчасно отравлять ему жизнь. Ну а что касается сегодняшней стрижки на совещании, то иначе и быть не могло. Он сам дал козырь в руки Тропникову. Надо же было им с Кондыревым поднять пыль на пароходе!

Пашка Кондырев, как только попал к артистам цирка, сам начал всех смешить и забавлять, а потом разошелся — «Из-за острова на стрежень» рванул. Вот тут и вломился к ним Тропников в своем бабьем халате — оказывается, у него каюта рядом — и давай, и давай их отчитывать, как мальчишек. Это их-то, первых секретарей, при девчонках! Ну и Подрезов сразу вспылел, а когда Тропников снова, уже с капитаном парохода, заявился, просто выставил непрошенных гостей...

— А, дьявол с ним! — выругался Подрезов. — Чего себя раньше смерти отпевать!

Покатов неторопливо и тщательно вытер белой салфеткой бледные губы, взял из раскрытой пачки толстую, внушительную папиросину.

— Надо знать, где показывать свой норов. Устраивать дебош на пароходе...

Дальше должны были последовать наставления. Покатов, когда был в хорошем настроении, любил поучать молодежь (а он всех своих коллег, даже Савву Поженского, за молодежь считал), и Подрезов, совсем не склонный сейчас к серьезному разговору, с беззаботным видом махнул рукой.

— Перемелется, Виталий Витальевич! То ли еще видали!

— Не скажите. Когда о пьянке первого секретаря райкома говорят с такой трибуны на всю область, можешь поверить мне, хорошо не кончается. А кроме того... — Покатов замолчал, сосредоточенно выпуская табачный дым углом рта, а кроме того, тебя еще трясли за чепе.

— За чепе? Меня за чепе?

— Я полагаю, тебе лучше знать, что у тебя в районе делается.

— Да откуда? Я уж две недели как из района...

Покатов потер своей узкой и белой рукой наморщенный в гармошку лоб.

— Как же фамилия, дай бог памяти? Лапшин... Есть у тебя такой председатель колхоза?

— Лукашин, может?

— Да, кажется, Лукашин... Арестован. За разбазаривание колхозного хлеба в период хлебозаготовок...

Все это Покатов сказал прежним спокойным голосом, со своим неизменным выражением какой-то брезгливости на лице, а Подрезову показалось — из пушки бабахнули по нему.

Но он не вскочил, не заорал как зарезанный, хотя такое ЧП хуже всякого ножа режет первого секретаря. Он заставил себя небрежно махнуть рукой (а, ладно, мол, ерунда все это, не то видали), заставил себя выпить бутылку пива и даже поковырять сколько-то вилок палтус, потом расплатился с официанткой и протянул руку Покатову.

Виталий Витальевич крепче обычного пожал ему руку, и когда немало удивленный Подрезов глянул ему в лицо, он прочитал в его мудрых, все понимающих глазах сочувствие.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Был одиннадцатый час утра, когда Подрезов, раскрыв дверцу остановившегося перед райкомом «газика», поставил свою тяжелую ногу на землю.

Туча воробьев ошалело взмыла с черемухового куста, еще не просохшего от росы, в окнах забегали, замельтешили белые, перепуганные лица — всех врасплох застал неожиданный приезд хозяина.

— Кто дал санкцию на арест? Ты?

Фокин улыбался. Улыбался, стоя за столом и стиснув зубы, одними краешками черных прищуренных глаз. Такая уж у него привычка: пока не соберется с мыслями, ни одного звука наружу. И раньше Подрезову нравилась эта железная выдержка у своего подчиненного. Но только не сейчас. Сейчас, увидев эту глубоко запрятанную деланную улыбку, он заклокотал, как раскаленная каменка, на которую подбросили жару.

— Я спрашиваю, кто дал санкцию? Кто?

— По-моему, это и так ясно, поскольку я оставался за вас...

— Идиот! Сопляк! С мальчишками тебе мяч гонять, а не районом командовать. Ты понимаешь, нет, что натворил?

Смуглое, всегда румяное лицо Фокина побагровело, желваки под скулами закатались, как пули. Но Подрезов и не подумал щадить его самолюбие. Потому что за такую дурость мало ругать. За такую дурость надо штаны спускать. Да, да! Одна такая глупость — и все. Годами не вылезешь из дерьма...

— Где у тебя голова? Сколько раз я тебе говорил: держи ворота на запоре, не давай каждой собаке совать нос в свою подворотню. А ты что? Караул на всю область?.. Помогите?..



— Я думал, раз такое чепе в районе, то надо прежде всего отсечь его от райкома. А кроме того, есть закон...

— Ты думал!.. Думал, да все дело — каким местом. Как ты отсечешь его, это самое чепе, от райкома, когда оно в твоём районе?

Подрезов махнул рукой устало: бесполезно, видно, толковать. Вот тебе и Милька Фокин, вот тебе и смена. А он-то думал всегда: этот все понимает. С собачьим нюхом родился парень. Черта лысого! Деревянные мозги...

За окном разгоралось сентябрьское солнце. Медленно, с трудом, как костер из сырых дров.

Он подошел к окну, ткнулся горячим лбом в холодное запотелое стекло. Его поташнивало, хотя качки сегодня не было — большой самолет летел. Поташнивало всего скорее оттого, что с утра ничего не ел. Да и не спал. В час ночи приехал на аэродром на каком-то случайном катеришке и с тех пор ни на одну минуту не сомкнул глаз. До сна ли, когда у тебя ЧП в районе!

— Кто теперь в Пекашине?

— В смысле руководства? — уточнил вопрос Фокин.

— Да.

— Покамест Ганичев.

— Что? Ганичев? — Подрезов круто обернулся — в нём снова забурлил гнев.

— Там теперь, Евдоким Поликарпович, прежде всего нужна фигура политическая...

— Мужик там нужен с головой. Хозяйственник! Чтобы скотный двор достроить, а то зима начнется — весь скот околеет.

Подрезов сбросил с себя душивший его кожан, прошелся по кабинету.

— Сводки!

Фокин подал сперва сводку по хлебозаготовкам, но Подрезов даже не взглянул на нее. Лес, лес в первую очередь!

Три леспромхоза кое-как держались, а некоторые лесопункты — Туромский и Синь-гора — даже к заданию приближались. Но Сотюга!.. Что делать с Сотюгой? Тридцать семь процентов отвалили за последнюю декаду!

— А это что еще такое? — Подрезов тряхнул какую-то бумагу, подколотую к сводке.

— Докладная записка директора Сотюжского леспромхоза.

— Зарудного? — Подрезов просто зарычал на Фокина. — Мне не докладные записки от него нужны, а лес. Понял?

— Записка адресована министру лесной промышленности, а это копия...

— Кому копия?

— Копия райкому, поскольку Зарудный считает, что последнее решение бюро райкома по Сотюжскому леспромхозу в корне ошибочно...

Подрезов взял себя в руки, пробежал глазами записку.

Ничего нового для него в записке не было.

Промахи проектных организаций в определении сырьевой базы леспромхоза, недопустимая халатность комиссии в приемке объекта, совершенно неготового к эксплуатации, необходимость всемерного форсирования строительства жилья, поскольку от этого прежде всего зависит прекращение текучести рабочей силы, и, наконец, самое главное — настоятельная просьба о пересмотре задания для леспромхоза, по крайней мере перенесение летне-осенних лесозаготовок на зимний период... В общем, в записке излагались все те вопросы, которые Зарудный не раз ставил и перед районом, и перед областью.

Новое для Подрезова было в другом. В том, что Зарудный через голову района и области обратился прямо в Москву, в столицу... Да такого, как Пинега стоит на свете, не бывало!

Что такое ихняя Пинега, ежели начистоту говорить? В области своей знают и в соседней Вологде слышали, а дальше кому она известна?

Как-то у Подрезова на курорте зашел разговор о своей вотчине. Собеседник его — начальник главка из Москвы — захлопал глазами: дескать, это еще что такое?

А вот тут нашелся человек, который, недолго раздумывая, бах в Москву. Читайте! Сотюга — даже не Пинега! — считает... Сотюга настаивает...

От мальчишества это? От незнания жизни? Или это какой-то новый человек идет в жизнь — совершенно другой, нездешней выработки, который ничего не боится?

Подрезов так и не додумал до конца эту пришедшую на ум мысль — надо было немедля браться за дела, начинать свой замес жизни.

Райкомовская машина работала на полных оборотах.

Подрезов снова держал рычаги управления в своих руках. Он вызывал к себе людей, звонил по телефону, требовал, отдавал команды.

Хлеб — взял. Навалился на председателей колхозов, которые покрепче, и за каких-нибудь два-три часа хлебная сводка подскочила на пятьсот пудов.

А как взять лес? Лес с наскоку не возьмешь, хотя он-то и решает сейчас все. Лес, кубики — голова всему, а не какие-то там жалкие тысячи пудов зерна, да к тому же еще фуражного, которые дает государству Пинега.

Раньше было просто.

Задание получил, по леспромхозам, по лесопунктам, по колхозам раскидал, людей в лес отправил, а остальное уж от тебя зависит, от того, как ты сумеешь извернуться.

А что зависело от него на Сотюге?

Лес поблизости вырублен, надо тянуть железную дорогу, лежневки строить для лесовозов, а кой черт он понимает во всем этом? Возле трактора да лесовоза как пень стоит. Любой сопляк обжулить может.

А бывало?!

«Залупаев, Ступин, в чем дело? Почему график срываете?» — «Да с вывозкой затирает, Евдоким Поликарпович. Только и знаем, что ремонтируем дорогу — две версты болотом».

В тот же день — на лесопункт. Взял стариков охотников, которые, как свою избу, все леса вокруг знают, все выбродил, ногами своими вымерил. «Кочан у вас на плечах! Почему дорогу в обход не сделать — болота не обойти?» — «А и верно, Евдоким Поликарпович. Оно хоша на версту и подальше будет, да зато никакая запайка не страшна. До последнего снега санный путь держаться будет».

И так всюду, во всех делах. Сам первый инженер. Во всем. А теперь — нет. Теперь стой сбоку, в сторонке, и жди, что тебе скажет ученый молокосос, потому как ты во всей этой железной механике и во всех этих проектах и графиках, вычерченных в Москве и Ленинграде, ни бум-бум.

— Что будем с Сотюгой делать? — в упор спросил Подрезов Фокина.

Фокин не сразу ответил. (Когда это первый спрашивает чье-либо мнение?)

— Вопрос слишком серьезный, и без районного актива или пленума не обойтись.

— А что это даст? С каких пор на районных активах и пленумах стали лес рубить?

Да, надо немедленно сдвинуть с места сотюжский воз — в этом, только в этом выход. И самое разумное сейчас было бы самому махнуть на Сотюгу. Поостыть, поуспокоиться, там, на месте, с недельку полазать и подумать, но где она у него, неделька? Двух дней даже нет. Потому как пекашинское ЧП можно смыть только немедленным рапортом: государственное задание Сотюга выполнит.

А потом, что он мог возразить по существу Зарудному? Уж ежели прямо-напрямь говорить, то этот мальчишка не без мозгов — в самое яблочко лупит. Сырьевая база нового леспромхоза определена ошибочно — факт, а это значит минимум на два лишних года затянется строительство железной дороги. Без жилья ни туды ни сюды — тоже факт. И прав Зарудный насчет ошибок, допущенных при приемке объекта...

Какой там, к чертям, механизированный леспромхоз, когда ни мастерской для ремонта тракторов и лесовозов, ни заправочных пунктов, ни подвочных дорог от лесных делянок к железной дороге! И ведь Подрезов (он сам возил приемочную комиссию на Сотюгу) понимал, видел все эти недоделки, даже председателю заявил, что предприятие не готово к эксплуатации. Да председатель — тертый калач, насквозь человека видит — покачал головой: «Ну, товарищ Подрезов, вот уж не ожидал, что ты такой мелочага! А мне-то про тебя былины в области пели». И товарищ Подрезов растаял.

А за этим ляпом, само собой, последовал и другой ляп — непосильное задание. Раз леспромхоз принят, вступил в строй, то

какой же план? На всю катушку. И была, была у него возможность поправить дело — только бы скажи со всей прямоотой и откровенностью на бюро обкома. Нет, не сказал. Озноб, мороз пошел по коже, когда задание для нового леспромхоза услышал, а духу возразить не хватило. Как же это так? Он, Подрезов, да будет канючить, отбой бить? Никогда!

— Ладно, — сказал Подрезов и шумно выдохнул из себя воздух, — совещание так совещание.

А что еще оставалось?

Фокин протянул лист исписанной бумаги.

— Это еще что?

Подрезов надел очки, начал читать:

В бюро обкома ВКП(б)

Заявление

Ввиду того, что в последнее время у меня с первым секретарем райкома тов. Подрезовым Е. П. наметился ряд принципиальных расхождений в решении принципиальных вопросов, прошу от занимаемой должности...

Подрезов, не спуская с Фокина своих пронзительных, замораживающих глаз, медленно сложил заявление пополам, потом еще раз пополам, надорвал и бросил в корзину.

— Иди. Будем считать, что я этой бумажки не видел.

— К вашему сведению, это не бумажка, а официальное заявление секретаря райкома...

— Ну, ну! Валяй. Еще что скажешь?

— Еще скажу, что я не мальчик на побегушках, а вы не хозяин, у которого я на службе. Это первое. А второе... От докладной записки Зарудного нельзя так просто отмахнуться. Пора прямо правде взглянуть в глаза.

— Ты за решение бюро голосовал, нет?

На их счастье, тут с зажженной лампой вошел Василий Иванович, и Подрезов огромным усилием воли задал в себе гнев.

Он не слышал, как вышел из кабинета Фокин. Прикрыв глаза тяжелой, отливающей рыжим пухом рукой от непривычно яркого,

режущего света, ходил по кабинету и не замечал стоявшего навтыжку своего помощника.

Взглянул, когда тот несмело кашлянул.

— Чего у тебя?

— Евдоким Поликарпович, там один человек к вам просится...

— Какой еще человек?

— Анфиса Петровна...

— Анфиса Петровна? — Подрезов как-то и не подумал, что к нему может явиться жена Лукашина, хотя сам Лукашин не выходил у него из головы.

Да, да! Лесозаготовки, хлебопоставки — ради кого он сейчас всеми силами гнал? Разве не ради того, чтобы этого дурака поскорее из ямы вытащить? Потому что одно дело, когда ты разговариваешь с областью, опираясь на лесные кубики и хлебные пуды, и совершенно другое, когда ты, как нищий, протягиваешь пустую руку за милыстыней...

— Скажи, что меня нету. Понятно? — Поморщился и устало махнул рукой. Ладно, пуцай заходит.

### 3

Сколько времени прошло с той поры, как он последний раз видел эту женщину? Дней двадцать, не больше. А не скажи ему помощник, что сейчас к нему войдет Анфиса Минина, он бы, ей-богу, не признал ее.

Тихо, каким-то бесплотным призраком переступила за порог, стала у дверей.

Подрезов, однако, не дал власти чувствам. Он в кулак зажал сердце.

— Пришла? Насчет мужа?

— Насчет...

— Ну и что? Отпусти, Евдоким Поликарпович, зря посадили... Так?

Анфиса тяжело перевела дух.

— Ага, вздыхаешь! Понимаешь, значит, что натворил твой безмозглый муженек?

— Он не для себя взял...

— Не для себя? Вот как! Не для себя... А государству разве большая разница от того, кто и как к нему в карман залез? Ну! Чего язык прикусила?

Темная злоба вдруг накатила на Подрезова. Из-за кого, по чьей милости у него все эти неприятности, срывы, провалы? Кто виноват в том, что он сегодня сломя голову прискакал сюда среди своего отпуска? Разве не ее пекашинский болван? А она сама? Присмирела, богородицей сейчас смотрит на него, а может, она-то и есть всему вина? Может, она-то и науськала своего муженька? Он не забыл еще, как она напевала ему за столом, когда они с Лукашиным ездили на Сотюгу, черт бы ее побрал!

— Получит, получит, что заработал! И даже с довесом. Так трахнем, чтоб не только он сам, а и другие навеки запомнили...

В вечерних сумерках бледным пятном светилось лицо Анфисы, все так же безмолвно и покорно стоявшей у дверей, а он метался по кабинету, кричал, грозил...

Опомнился он, когда внизу хлопнула наружная дверь. Громко, на все здание, так, как она хлопает только в конце рабочего дня, когда пустеет райком...

Вечерняя густая синева заливала главную улицу райцентра, уже кое-где прорезались первые огоньки, уже висячий фонарь зажгли на широком крыльце сельповского магазина, но не от них, не от этих огней был сейчас свет на улице. От белого платка.

Первый раз сверкнул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьины луга — главные покосы пекашинцев.

Время было тяжелейшее — голод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта, ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами.

И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на вечернем лугу — яркий, чистейшего снежного накала.

— Кто это там у вас?

— Да председательша. Зарод дометывает — боится, сено под дождь уйдет.

И, помнится, тогда Подрезову только от одного вида этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по-военному горевшего на вечернем

лугу, стало легче на душе.

И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы — и к ней, к Анфисе, на помощь.

А вскоре к зароду подошли и бабы. И спасли сено — до дождя дометали зарод...

Белый платок полоскался в вечерней синеве, гас, снова вспыхивал, а Подрезов стоял у окна в своем кабинете и плакал...

С ней, с этой бабой из Пекашина, связаны у него самые дорогие, самые святые воспоминания о войне, о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пинеге.

И вот он криком, бранью встретил ее, по сути, предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием «Новая жизнь»...

И мало того. Опять, опять, как раньше, отплясывался на ней, срывал свой гнев, свои промахи и ошибки...

#### 4

В приемной у Дорохова за секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть, из приезжих, и печатал на машинке. Подрезова это немало удивило: никогда в жизни не видал мужчину за пишущей машинкой.

Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать. Не часто заглядывал в это заведение хозяин района. Может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства.

Правда, Подрезов не мог пожаловаться на своих начальников — ни на старого, Таранина, которого три года назад перевели в другой район, ни на нынешнего, Дорохова. Нет, мужики что надо. Нос без толку не задирают и по первому зову, без задержки являются к нему.

А с нынешним, с Дороховым, он даже позволял себе шуточки при встречах:

— Ну как, безопасность? Все пишем! Много накатал на меня?

— Да накатал, не без того же! — в том же духе отвечал Дорохов.

И вот сейчас, когда Подрезов переступил за порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру:



— Ба, какой гость у меня!

Живо, не чинясь, поднялся из-за стола, пошел ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами — будто горбушку солнца нес во рту. Да и вообще — красив Дорохов. Щеголь мужчина. Гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня.

Единственно, что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность да болезненно-красные усталые глаза.

Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянуты окна, он, кажется, понял, отчего это. И еще он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно — в лучшем случае иногда видно узкую желтую полоску света в нижнем этаже.

— Так, так, — сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету. — Давим, говоришь, контру? Может советский народ жить и работать спокойно?

— Может, — улыбнулся Дорохов.

— Сухим держим порох в пороховницах?

— Сухим.

— То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? — Подрезов кивнул на портрет Дзержинского на стене.

— В надежных.

В таком вот духе они и говорили. Он, Подрезов, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, а Дорохов с золотой улыбочкой отвечал. Коротко, его же словами.

В кабинете из-за того, что наглухо запечатаны окна, было жарко. Пот лил с Подрезова.

Он начинал злиться.

Его до глубины души возмущало собственное малодушие. Почему, почему он не рубанет прямо: так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит. Прочил ты этого пекашинского дурака — и хватит, гони в шею. Нечего ему зря казенные хлебы переводить.

Но вот как раз этого-то самого простого и самого сейчас нужного он и не мог сказать. Струсил?..

Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Я райком! Подрезов. И никаких гвоздей. А то, что ты там кому-

то будешь шлепать и названивать, — наплевать. Наплевать и растереть.

— Наконец завелся внутри мотор. Былая сила вернулась к нему.

Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять эта золотая улыбочка... А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку «Казбека».

Пришлось взять толстую папиросину — не орать же на человека, который тебя угощает! И, в общем, началась та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его.

— Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? — сказал Подрезов. — Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась.

— По-моему, тоже, — ответил Дорохов.

— По американцам это удар, верно? — Вот тебе и русский Иван! Опять себя показал как надо, весь мир удивил...

— Да, удивил.

— А внутреннее у нас положение тоже на высоте. Читаешь газеты? Вся страна рапортует о досрочном выполнении хлебопоставок...

Тут Подрезов внутренне весь напрягся: все-таки он подвел разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдет ему навстречу?

Не пошел.

— Рапортует, — ответил.

Подрезов вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе, с напускной молодцеватостью расправил плечи.

— Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании? В общем-то, я насчет этого и зашел. Топал мимо — чего, думаю, не зайти?

— Постараюсь, сказал Дорохов.

Улыбаясь, они пожали друг другу руки.

Дорохов до дверей приемной проводил почетного гостя. И даже лампу взял со стола лейтенанта, все так же уныло выстукивавшего на машинке, чтобы осветить Подрезову в темном коридоре.

Подрезов генералом прошагал по коридору.

А потом, а потом...

Хорошо, что на свете есть осенняя темень! Она, как плащом, накрыла его. Черным, непроницаемым, словно шторы в кабинете у

Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Холодный сиверко резвился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте, над его крышей, шумно, с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага.

Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме, а вечерняя служба еще не началась — только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа.

— Анфиса, Анфиса...

Кто-то — давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади, но разве могла она подумать, что это Варвара? А то была она, Варвара.

Со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею.

— Я еще давеча тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла — я ведь там уборщицей, — да, думаю, ладно, не буду мешать, пуцай сходит к прокурору. Сказал он тебе чего, нет?

— Чего скажет. По закону, говорит...

— По закону! Какой такой закон — самого честного-распрочестного человека сажать?

Крепко подхватив под руку, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться.

Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулочек.

— Пойдем, пойдем, — зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку. — С ума-то не сходи. Нету дома Григорья. А хоть бы и дома был — что с того? — Невелика птица милиционер: куда пошлют, туда и пойдешь.

Вот так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже.

Варвара ухаживала за ней, как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые, с печи, валенки, а потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем.

— Ешь, пей. Ты ведь, наверно, еще и не ела сегодня?

— Да, пожалуй... — кивнула Анфиса и вдруг расплакалась. — Не думала, не думала я, Варвара, что у тебя найду пристанище...

— Да ты с ума сошла, Анфиса! К кому же тебе идти, как не ко мне! Господи, всю войну вместех, какие муки приняли, а теперь, на старости лет, счеты сводить... Пей, пей да не думай — он тоже не голоден. — Тут Варвара быстро привстала с табуретки, зашептала ей в лицо: — Я ему передачу сегодня передала.

— Кому? Ивану?

— Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер — упросила...

— Ну и как он? — У Анфисы дыханье перехватило.

— Ну и ничего. Да ты не убивайся, бога ради. Сколько ни подержат выпустят. За что его держать-то? Человека убил? Деньги казенные растратил?

Анфиса покачала головой:

— Нет, девка, дров-то он наломал немало. Сама знаешь, какой закон: ни килограмма хлеба на сторону, когда жатва.

— А колхозники-то что — сторона? Ну-ко, вспомни, когда еще ты бабам говорила: бабы, не жалеете себя, бабы, после войны досыта исть будем? Ей-богу, я иной раз подумаю: да что это у нас делается? Я не сею, не жну, а каждый день с буханкой, а в том же Пекашине люди на поле не разгибаются — и на-ко... Нет, нет, — еще с большей убежденностью заговорила Варвара, — этого и быть не может! Выпустят, вот увидишь. А ежели здесь не разберутся, то ведь и в область можно. Да и Москва не в чужом царстве...

Анфиса кивала, соглашалась с Варварой, а сама так и клевала носом: сон навалился — ничего не могла поделать с собою.

Наконец Варвара догадалась разобрать для нее постель. На полу — от кровати она сама наотрез отказалась. Тут у нее голова еще сработала. Зато уж когда почувствовала под боком мягкую перину, только что занесенную с холодного коридора, заснула моментально, намертво. Будто в воду нырнула.

Проснулась Анфиса посреди ночи — от песни. Какие-то бабенки, должно быть возвращаясь с запоздалой гулянки, горланили на всю улицу. И горланили, как назло, ее любимую — о ней и об Иване.

Зачем, зачем ты снова повстречался,  
Зачем нарушил мой покой?

И она слушала эту песню, глядела на бегающие по белому, крашенному известкой потолку отсветы от проезжавшей по заулку машины (на задворках был леспромхозовский гараж) и снова в который уже раз сегодня думала о своей вине перед Иваном.

Как должна вести себя хорошая жена, когда ночью уводят из дому мужа? А как угодно, наверно, но только не стоять истуканом посреди избы. А она стояла. Вросли в пол ноги, отнялся язык. Вот так оглушило ее появление неожиданных ночных гостей в ихнем доме. И даже в ту минуту, когда Иван последний раз обернулся к ней от порога, она не двинулась с места, не бросилась к нему.

Но и это еще не все.

Самую-то страшную вину, вину непоправимую, она сделала накануне вечером, когда Иван пришел домой с работы.

Видела: на человеке лица нет. Не глупый же, понимает, какой бедой может обернуться этот хлеб. И не ей ли, жене, в такую минуту было прийти на подмогу своему мужу? Не ей ли было утешить и приободрить его?

А она, едва он переступил за порог избы, начала калить да отчитывать его, как самая распоследняя деревенская дура. Дескать, с кем ты все это удумал? Почему не посоветовался? Враг тебе жена-то, да?

В общем, кричала, бесновалась — себя не помнила. А потом и того хуже: сына на кровать, сама к сыну, а ты как хочешь. Даже ужинать не подала. И Иван в тот вечер так и не ужинал. Снял с вешалки свой ватник, в котором только что пришел с улицы, бросил на пол и лег.

А ночью к ним постучали...

Когда песня на улице стихла, Анфиса тихонько поднялась и решила дойти до милиции, постоять там: должен же Иван почувствовать, что она тут, рядом с ним.

Но Варвара — она тоже не спала — не пустила ее. Встала поперек горенки и нет-нет, нечего расхаживать по ночам. Спи. Затем, обнимая ее за плечи, крепко прижимая к себе, она опять уложила ее в постель, а потом и сама залезла к ней под одеяло.

Анфиса исступленно, обеими руками обвила ее шею, и тут уж слезу пустила Варвара:

— Помнишь, как мы с тобой в войну жили? Как сестры родные, верно? Я иной раз подумаю: да у меня и роднее тебя родни нету. Кто же нас это развел? Пошто теперь-то мы не вместе?

— Жизнь, Варвара... Жизнь разводит людей...

— Жизнь-то жизнь... А мы-то, люди, зачем свою жизнь топчем, лишаем себя радости?

Нет, не прежняя, не лихая, никогда не унывающая бабенка говорила это, и тут Анфиса вдруг вспомнила, какое невеселое, потускневшее лицо было у Варвары за чаем.

— Я все о себе да о себе. Ты-то как живешь, Варвара?

Варвара — вот характер — мигом преобразилась.

— Живу! Чего мне не жить на всем готовеньком? Ладно, — оборвала она себя круто, — обо мне чего говорить. Ты лучше про Пекашино расскажи, про сына своего. Большой стал у тебя Родион?

— Большой. Уж две недели, как на своих ногах стоит.

— С кем оставила?

— Родьку-то? С Лизой Пряслиной. Сама прибежала ко мне: «Ты, говорит, Анфиса Петровна, ежели в район надо, Родьку к нам давай. Нам с мамой все равно — что один, что двое... И Михаил, говорит, велел сказать...» Михаил, все ладно, скоро женится. Раечка бегаёт по деревне — ног под собой не чувствует. Ну да чего дивиться? За такого парня выходит... А вы-то с Григорьем записаны? — спросила Анфиса.

Варвара не ответила.

В заулочек с ревом въехал не то трактор, не то тяжелый грузовик. Рамы задрожали. Ослепительный свет скользнул по потолку, по дверям, по постели.

На миг Анфиса увидела сбоку от себя Варварино лицо, мертвенно-бледное, заплаканное, увидела крепко закушенные губы и с

ужасом подумала: господи, да ведь она все еще любит Мишку. Столько-то лет...

— Варвара, Варвара... Что я наделала, что натворила... Да я ведь жизнь твою загубила...

Ни одного словечка в ответ. Только со всхлипом вздох. А потом умерла Варвара.

Анфиса заплакала.

— Господи, господи... Самому заклятому врагу так не делают, как я тебе сделала. Да простишь ли ты меня когда-нибудь?

Она долго ждала, когда заговорит Варвара. Но Варвара молчала.

Все сделала для нее: приютила, накормила, напоила, с сердца камень сняла, — а вот заговорила о Михаиле — и конец ихней дружбе. Стена встала меж ними.

И Анфиса, вдруг вспомнив недавно сказанные Варварой слова, с горечью, с тоской спрашивала себя: ну почему, почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?..

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Подрезов отошел, отоспался за ночь. У него появились мысли насчет Сотюги он решился наконец, что с ней делать, как вытащить сотюжский воз. А это самое главное. Основа основ всего. И поутру, когда он пришел в райком, ему уже не казалось, как вчера, все безнадежным.

Пекашинское ЧП, конечно, есть ЧП — тут нечего делать вид, что ничего не случилось. Но нечего и биться головой о стенку, кричать караул.

Снова замотало у него душу, когда приехал Филичев, заведомо промышленности обкома партии. Приехал внезапно, неожиданно, без всякого предупреждения. Просто как снег на голову пал. Он уж, Евдоким Поликарпович, собрался было идти вниз, на первый этаж, где в просторном парткабинете ожидали его люди, приехавшие со всех

концов района на совещание, он уж было за ручку двери взялся — и вдруг Филичев. Грудь в грудь, глаза в глаза.

Филичев в обкоме человек был новый, так, запросто, не спросишь: дескать, какая тебя нелегкая к нам принесла? Вот у Евдокима Поликарповича и пошел крутеж в голове — зачем приехал? Для знакомства с лесным делом на Пинеге (Филичев еще не бывал в районе)? Докладная записка Зарудного сработала? К нему, Евдокиму Поликарповичу, ключи подбирать?

В другое время Подрезов и не подумал бы ломать голову над всем этим: наметил себе дорогу — и при, а сегодня, когда у тебя такая ноша на горбу, приходилось все учитывать, каждую ложбиночку, каждое болотце, а уж тем более не лезть без нужды в трясины.

Взбодрила немного Подрезова встреча со своей лесной гвардией — директорами леспромхозов, начальниками лесопунктов, парторганами, рабочками, стахановцами. От их красных и темных обветренных лиц, от их тяжелых, шероховатых рук, которыми они неумело прикрывали рот, чтобы приглушить кашель, от всех их будто вытесанных топором коренастых фигур так идохнуло на него лесной свежестью, дымом костров, запахом смолы. И он, который в парткабинет вошел с крепко сомкнутым ртом, тут невольно разжал губы, улыбнулся.

Филичев повел себя хозяином с первой минуты, как только Подрезов объявил порядок дня. Порядок самый обыкновенный, такой, какого придерживаются на любом совещании: сперва заслушать начальников передовых лесопунктов — Туромского и Синегорского, поскольку у них можно позаимствовать положительный опыт, а потом уже заняться Сотюгой.

— А почему не наоборот? — спросил Филичев. — Почему не сразу быка за рога?

Зал замер. Не привыкли к такому, чтобы их первого, как мальчишку, одергивали. Да и по существу: кто же это кобылу с хвоста запрягает?

Подрезов, однако, сдержался: зачем палить по воробьям, когда идешь в лес, где медведя встретишь? А потом, как-то и неловко было ему, здоровенному человеку, с первой минуты задирать инвалида войны — у Филичева вместо левой руки был протез с черной хромовой перчаткой.



— Хорошо, сказал Подрезов, — начнем с Сотюжского леспромхоза.

Зарудный, как всегда, вылетел из задних рядов быстро, стремительно, как торпеда. Но Филичеву, судя по его хмурому лицу, он не очень понравился.

Все еще были в военных и полувоенных кителях, гимнастерках, все еще чувствовали себя солдатами (да восстановительный период мало чем и отличался от войны), а этот в белой рубашечке, с галстучком, в какой-то курточке со сверкающей молнией, и светлые волосы на голове с задором, с вызовом — как гребень у петуха.

— Ну, расписывать успехи мне нечего, поскольку таковых нет...

В задних рядах фонтаном брызнул смех, потому как кто же так начинает речь? Где политическая подкладка, связь с международным положением, с внутренней обстановкой в стране? И Филичев тут уже не на зал посмотрел, а на Подрезова: дескать, что такое? как прикажешь понимать?

В зале заворочались, завытягивали шеи, улыбками расцвели суровые лица.

Филичев начальственным взглядом обвел зал, но и это не помогло. Так всегда было: когда на трибуну выходил Зарудный, оживали люди.

— Сотюжский леспромхоз, как известно, в трясине, — еще более определенно выразился Зарудный. — В трясине, из которой не вылезает второй год. И если мы будем работать и дальше так, то не только не вылезем, а, наоборот, будем увязать все глубже и глубже. Это я вам точно говорю.

— Значит, надо работать иначе. Так? — подал реплику Филичев.

— Безусловно.

— Так в чем же дело?

— Дело во многом... — И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания Сотюги: просчеты в определении сырьевой базы, недостроенность объекта и в связи с этим нереальность задания, отсутствие жилья, и как прямой результат этого — необеспеченность предприятия рабочей силой...

Восемь пальцев загнул Зарудный. Восемь.

— Но самая главная причина сотюжского кризиса, причина всех причин — это непонимание того, что происходит сейчас в лесном

деле, непонимание, что в лесной промышленности наступила новая эпоха — по сути дела, эпоха технической революции...

Филичев опять прервал Зарудного:

— Кто этого не понимает?

— Кто? — Зарудный на мгновение по-мальчишески закусил верхнюю губу с чуть заметным золотистым пушком. — Этого, к сожаленью, многие не понимают ни в районе, ни в области — я имею в виду прежде всего некоторых руководящих работников лесотреста. Сегодня совершенно очевидно, что старый, дедовский способ заготовки древесины и ведения лесного хозяйства изжил себя начисто...

И пошел, и пошел чесать. Сегодня нельзя больше полагаться на лошадку да на топор — этим инструментом не взять леса из глубинки. Сегодня надо строить железные дороги, автомобильные трассы — словом, внедрять технику. А чтобы внедрять технику, нужны квалифицированные рабочие, целая армия инженерно-технических работников. А чтобы иметь последних, надо по-новому строить все бытовое и жилое хозяйство, надо сделать небывалое — воздвигнуть в тайге современные благоустроенные поселки, где была бы своя школа, свой клуб, своя больница...

Люди слушали Зарудного, затаив дыхание, — всех заморозил, сукин сын, сказками про райское житье, которое вот-вот наступит в пинежских суземах. А когда Зарудный с той же горячностью своим звонким, молодым голосом начал говорить об отставании от требований времени руководства, о необходимости нового, более смелого и широкого взгляда на жизнь, Подрезов не узнал свою лесную гвардию: гул одобрения прошел по залу. А ведь в кого бил Зарудный, когда пушил руководство? В него, Подрезова, прежде всего.

— Да, да, — валдайским колоколом заливался Зарудный, — кое-кто у нас в методах руководства все еще едет на кобыле. И не просто на кобыле, а на старой кляче. (Дружный смех прокатился по залу.) Пора, пора с лошади пересесть на трактор, на автомобиль. И вот еще что скажу, — это уже прямо в его, Подрезова, адрес, — окрик да кнут трактор и автомобиль не понимают. Их маминым словом с места не сдвинешь...

Кто-то в задних рядах не удержался — захлопал, но тут опять в дело вступил Филичев:

— Популяризаторские данные у вас, товарищ Зарудный, несомненны. Но мы не лекцию собрались здесь слушать. — И уже совсем сухо, по-деловому: — Ваши конструктивные предложения?

— Предложения по выполнению плана?

— Да.

— Ну, я об этом с достаточной ясностью высказался в докладной записке.

— В какой докладной записке?

Шумный, торжествующий вздох облегчения вырвался из груди у Подрезова.

Все правильно, все так, как он думал. Лес, кубики дай стране — за этим приехал Филичев. Ну, а раз так — живем! Нет сейчас на Пинеге другого человека, который бы в нынешних условиях мог дать больше леса, чем он, Подрезов!

— Речь идет о докладной записке, которую товарищ Зарудный направил министру лесной промышленности.

— Как министру? — И Филичева поразила дерзость молодого директора. — У вас что, куда рак, куда шука? В чем существо дела?

— Существо дела в том, что строить на Сотюге. Бюро райкома считает, что на данный момент, поскольку мы два года недодаем родине древесину, можно строить здания барачного типа, а то и вовсе на время свернуть жилищное строительство. А товарищ Зарудный — нет. Не хочу черного, без булки и за стол не сяду. Мне светлицу да терем подай... — Подрезов взял лежавшую перед ним записку Зарудного, порылся в ней глазами и, нарочно косноязыча, произнес: Ко-тед-жи...

В зале язвительно рассмеялись — наступал перелом.

Северьян Мерзлый, председатель захудалого колхозишка, явно подлаживаясь к первому, выкрикнул:

— Ето что же за котोजи, разрешите узнать? Ето не те ли самые котोजи, из которых мы в семнадцатом году кровь пуцали?

После немного затихшего хохота Подрезов сказал:

— Вот видишь, товарищ Зарудный, чего ты требуешь. Народ православный даже и слова-то такого не слыхал...

— Я могу разъяснить этому православному народу, что такое коттеджи. Это двухквартирные и четырехквартирные дома со всеми

бытовыми удобствами, которые, надо полагать, заслуживает лесной рабочий — человек одной из самых тяжелых и трудных профессий...

Подрезов, сохраняя внешнее спокойствие, перебил:

— А скажи, товарищ Зарудный, на сколько можно увеличить заготовку древесины, ежели временно отказаться от строительства этих самых... — он не упустил случая, чтобы еще раз лягнуть своего противника, — коттеджей и высвободившуюся рабочую силу направить в лес?

Зарудный немного помялся, но ответил честно:

— Думаю, процентов на тридцать, на тридцать пять.

— Что? На тридцать пять? И вы, имея такой резерв, до сих пор не использовали его? — Филичев и в сторону Подрезова метнул гневный взгляд.

— Это фиктивный, кажущийся резерв, а попросту самообман.

— То есть?

— То есть!.. Можно прикрыть жилищное строительство, можно снова загнать людей в бараки. Все можно! Можно даже под елью жить. Жили же во время войны...

— Ты лучше войну не трожь, товарищ Зарудный, — с угрозой в голосе посоветовал Подрезов. Его при одном этом слове заколотило.

— А почему не трожь? Надо, обязательно надо трогать войну. И надо понять раз и навсегда: ударные месячники, штурмовщина, всякие авралы кончились. С ними теперь далеко не уедешь. — Тут Зарудный до того разошелся — перешел на визг: — Война, война! Голодали, умирали, жертвовали... До каких пор? До каких пор кивать на войну? Вы хотите увековечить состояние войны, а задача состоит в том, чтобы как можно скорее вычеркнуть ее из жизни народа...

— Вычеркнуть войну? Войну забыть предлагаешь? — Подрезов встал. — Да откуда ты явился такой, а? В какой семье вырос?

Тут Подрезов еще отдавал себе отчет, что перебирает. На самом деле он хорошо знал биографию Зарудного: не один раз листал его личное дело. Из рабочей семьи. Мать — посудомойка в столовой. Трое детей, причем Евгений старший, отец пропал без вести на фронте. Но дальше уже ни малейшего притворства, ни малейшего наигрыша. Дальше его понесло, как коня под гору. Красный туман заходил перед глазами.

— Вот тут сидит сколько человек? Сто? Сто двадцать? Встаньте, по кому война не проехала! Видишь, нет таких. Никто не встал. А — ты до каких пор, говоришь, на войну кивать? Всю жизнь! До самой смерти! И я тебе не советую, товарищ Зарудный, тыкать пальцем в раны, которые еще у всех кровоточат...

Зарудный пытался что-то возражать, оправдываться. Но его никто не слушал. Зал клокотал, зал лихорадило, а Филичев — тот сидел бледный-бледный, как бумага, и вокруг его серых выпуклых глаз отчетливо проступили синие пороховые пятна.

Подрезов, отдышавшись, закончил. Закончил уже как полный хозяин положения:

— Теперь насчет жилищного строительства на Сотюге. Будем строить. Придет время — в отдельных домах будем жить. — Он посмотрел в сторону дивана у стены, где своей белой рубашкой выделялся Зарудный среди сурового воинства, затянутого в армейские кителя и гимнастерки. — А теперь покамест придется немного потерпеть. Страна кричит, требует: дай лес, дай лес! Люди на разоренной врагом территории живут еще в землянках, мерзнут в хибарах, каждой доске, каждой жердине рады. А мы не можем год-два в бараках пожить? Да советские ли мы люди после этого? Братья и сестры мы? Или кто?

Зал ответил аплодисментами.

## 2

Победа!

Наконец-то Зарудный поставлен на свое место. Теперь он. Подрезов, будет командовать парадом. И у него есть что предложить совещанию или пленуму. Вполне можно так назвать: весь цвет района собран. Не зря он до четырех часов утра не смыкал глаз.

Первое, в чем он уже заручился поддержкой представителя обкома, — свернуть на время работы по жилищному строительству.

Второе — снять половину задания с Сотюжского леспромхоза (восемьдесят девять тысяч кубометров — годовой план) и разбросать по другим леспромхозам и колхозам. В порядке, так сказать, дополнительных обязательств. Колхозы, конечно, взвоят. Но что

делать? Поразоряются-поразоряются, а придется ремень затягивать еще на одну дырку.

Третье — это уже на самый крайний случай — «прочесать» слегка Красный бор. Люди, понятно, потом проклянут его за этот Красный бор, можно сказать, последний стоящий сосновый бор на Пинеге (остальные в войну свели), да когда человек ко дну идет, разве ему о том думать, за что ухватиться.

Расчеты Подрезова правильны — он в этом не сомневался. И это хорошо, что его сегодняшняя схватка с Зарудным происходит на глазах у всего районного актива и в присутствии такого умелого и влиятельного работника обкома, как Филичев. Сразу с двух сторон подпоры! И поди попробуй теперь сказать, что Подрезов зарвался. Подрезов своевольничает...

Филичев устал и был рад перерыву. Сразу же, как только вошли в кабинет, полез в карман за какими-то таблетками. Но вот характер! Отвернулся — не захотел, чтобы видели его слабость.

Подрезов, щадя самолюбие Филичева, подошел к окну.

Двери внизу визжали и ухали, крыльцо разламывалось от топота ног, а в райкомовский садик под окнами все вываливались и вываливались люди. На солнышко. На зеленую травку.

Возле турника, как всегда, сбились те, кто помоложе. Вася Каменный, низкорослый здоровяк из Юрги, так облапил своими ручищами железную перекладину, что Подрезов даже со второго этажа услышал, как жалобно завывали деревянные столбы, но где там — не смог оторвать от земли свой увесистый самовар.

Лучше получилось у Пашки Тюрина и Вани Дурынина — эти без особого труда перевернулись, но по сравнению с Зарудным и они оказались неповоротливыми тюленями.

Черт-те что за человек! Только что били, только что колотили, все совещание восстановил против себя, а с него как с гуся вода. Подошел с улыбкой — зла не помню — да как начал-начал выделять номера — и колесом, и ласточкой, и медведем — все сбежались к турнику.

Этот турник в райкомовском садике поставили какой-нибудь год назад, а потом турники за одну эту весну расплодились по всему району. И теперь на какой лесопункт ни приедешь, в какой колхоз ни заглянешь, даже самый захудалый, турник обязательно увидишь. Ну, а

на Сотюге — это от Зарудного все пошло — был даже целый спортивный городок выстроен.

Да, вздохнул про себя Подрезов, ничего не скажешь — орел парень. Орел... И на какую-то секунду ему даже жалко стало, что они не сработались. Всех обламывал он или приручал к себе. А этого не сумел. Этот за два года даже Евдокимом Поликарповичем его ни разу не назвал — всё «товарищ Подрезов»... Почему?

А в общем, чего теперь об этом горевать? Теперь им уж недолго осталось мозолить глаза друг другу. И он, еще раз бросив взгляд на летающего в воздухе Зарудного, на замороженную им толпу лесозаготовителей, со всех сторон окруживших турник, отошел от окна.

Филичев уже пил чай.

Подрезов тоже взял себе стакан чая с подноса, который минуту назад вместе со свежими газетами внес помощник, пошел на свое секретарское место — он любил попивать чаек, просматривая газету.

— Посмотрим, посмотрим, чему нас учит товарищ Лоскутов, — пошутил он.

Пошутил в надежде, что Филичев немного прояснит ситуацию в области, но тот даже ухом не повел. Всего скорее не хотел откровенничать.

Ладно, думал не без ухмылки Подрезов, на лесе мы с тобой сошлись, а уж на Лоскутове-то тем более сойдемся, потому как Лоскутова, он знал это, аппаратчики не очень любили.

Передовая областной газеты была посвящена завершению уборки на полях лягнули виноградовцев и лешуконцев, затем еще один материал на первой странице — письмо Сталину от трудящихся энской области, рапортующих о досрочном выполнении плана хлебозаготовок.

Вторую и третью страницы Подрезов даже и просматривать не стал выступление Вышинского в ООН. Такие материалы он читает по центральной «Правде» и обычно дома перед сном, уже лежа в постели. А насчет того, чтобы дырывать газеты глазами в рабочее время, у него закон твердый: ни себе ни малейшей поблажки, ни своим подчиненным.

Четвертая страница была, как всегда, дробной и пестрой. Первой зацепила глаз заметка с фотографией клоуна о последних,

завершающих гастроях цирковой труппы, и он мысленно вздохнул — вспомнил смазливенькую черноглазую артисточку...



***«Выше дисциплину на речном транспорте!»...***

Эту статейку из двух столбцов в левом углу сверху он и просматривать не собирался — какое ему дело до речников? — да вдруг бог знает как в середине второго столбца увидел: Подрезов. Какой Подрезов? Однофамилец?

Нет, нет, нет. О нем шла речь.

«К сожалению, не всегда должный пример подают и коммунисты. Так, первый секретарь райкома т. Подрезов Е. П. на днях допустил непозволительную грубость и кичливость на пароходе, где капитаном тов. Савельев».

Всего один абзац в статейке на четвертой странице, маленький абзац, напечатанный каким-то тусклым, подслеповатым шрифтом, а Подрезова он оглушил. У Подрезова в глазах все заходило и закачалось.

Потом он поднял от стола голову вместе с газетой и, как бы прикрывая ею свое пылающее лицо, посмотрел поверх нее на Филичева.

Филичев блаженствовал.

Большой покатый лоб его бисером осыпал пот. Он даже китель расстегнул, чтобы вполне насладиться чаепитием, и Подрезов увидел на груди у него поверх белой нательной рубахи с солдатскими завязками желтый, совсем еще новенький ремешок, которым закреплялся протез.

До сорок пятого года у них в райкомовском доме было две общих уборных одна внизу, на первом этаже, а другая на втором. Но в том сорок пятом году, вернувшись из города с банкета в честь Победы, Подрезов приказал уборную на втором этаже заново переоборудовать

— повесить зеркало на стену, завести умывальник, чистое полотенце, туалетное мыло — и гужом туда всем не переть.

По поводу этого своего нововведения Подрезов долго подтрунивал над собой, зато сейчас он оценил его как следует. Сейчас уборная была единственным местом во всем огромном двухэтажном здании, где он мог остаться наедине с собою.

Накинув крючок на дверь, он еще раз прочел злополучный абзац, затем прочел всю статейку.

Все ясно: Лоскутов решил поставить на нем крест. Да, да. Только одна его фамилия названа. Как будто с ним Кондырева не было.

Он не очень ломал голову, почему именно он попал в опалу. Всякие могли быть причины. И первое — прорыв на лесном фронте. Разве он сам, к примеру, стал бы держать в начальниках лесопункта человека, который два года подряд не выполняет задание? Могло быть и другое — Лоскутов решил подтянуть дисциплинку. С этого многие начинают, когда приходят к власти. И на ком же учить районщиков? На Афоне Брыкине? А могло у Лоскутова разыграть и честолюбие. Все люди. И там, наверху, с нервами, с самолюбием. А Подрезов не больно-то считался со вторым секретарем — всегда по каждому вопросу шел к Павлу Логиновичу.

Э-э, да что теперь гадать, почему ты загремел. Что это меняет? Теперь надо думать о другом.

Подрезов аккуратно свернул газету в трубку, положил на подоконник. Потом снял с себя гимнастерку, старательно умылся холодной водой, растерся вафельным полотенцем, глядя на себя в зеркало, и зачем-то с особым тщанием, щеря рот, осмотрел свои зубы — крупные, крепкие и довольно чистые, никогда не знавшие никотина.

Когда он вошел в свой кабинет, Филичев уже знал про статейку. Он стоял у стола хмурый, озабоченный, снова застегнутый на все пуговицы, и областная газета со знакомой фотографией циркового клоуна лежала возле него.

— Ну что же, товарищ Филичев, пойдем, сказал Подрезов своим обычным голосом и кивнул в сторону приоткрытых дверей, откуда валом накатывал гул: участники совещания уже были в курсе дела.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ему не могло почудиться. Он хорошо слышал ребячий смех и визг в кухне. Слышал, когда поднимался на крыльцо, слышал в сенях, берясь за скобу, а открыл двери — и вмиг все оборвалось. Онемели, к полу приросли дети, будто стужей крещенской дохнуло на них. И Софья тоже немым истуканом уставилась на него.

Он прошел в переднюю комнату, постоял немного, как бы прислушиваясь — в кухне по-прежнему ни звука, — и прошел к себе.

Бог знает когда подросшая Софья начала помогать ему снимать кожаный реглан, но он оттолкнул ее от себя.

— Мать называется! Отец домой приходит, а дети от него как от чумы шараются.

— Мы, вишь, не ждали, что ты через кухню пойдешь...

— Не ждали! Что же, я должен заранее объявлять, когда на кухню зайду?

Софья, как всегда, не выдержав его взгляда, покорно опустила глаза, потом, спохватившись, спросила:

— Исть ставить?

Он ничего не ответил. Заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— Слышала, что говорят обо мне?

Что-то вроде испуга метнулось в больших темных глазах, румянец на секунду отхлынул от крепкого скуластого лица, но ответа он не услышал.

Да, вот так. Весь район ходуном ходит, везде только и говорят сейчас что о нем, а жена его как с неба свалилась...

— Ладно, иди. С тобой говорить — легче воз дров нарубить.

Софья вышла, тихонько закрыв за собой дверь.

Он прошелся еще раз по комнате, глянул в окно на улицу, по которой в это время с грохотом пронесся порожний грузовик, и прилег на койку — прямо в гимнастерке, в сапогах.

За окном вечерело. В темном углу за койкой, там, куда не попадали лучи солнца, уже невозможно было разобрать буквы на плакате с разгневанной матерью-родиной, зато все остальные плакаты времен войны — а их в комнате было множество, каждый вновь

попадавший в район плакат садил он у себя на стену пылали, как факелы, как живые костры.

В прошлом году, когда он из города привез обои, жена хотела было оклеить ими и его комнату, но он запретил. Всю войну прошел плечом к плечу с этими богатырями-воинами — с красноармейцами, партизанами, маршалами, всю войну заряжался от них силой-ненавистью, а теперь долой? В утильсырье за ненадобностью?

Он расстегнул офицерский ремень с медной звездой, стащил с себя гимнастерку — все тело горело от зуда, который вдруг неожиданно со страшной силой обрушился на него во время этого судилища. Можно сказать даже, публичной казни — вот чем обернулось для него созванное им районное совещание.

## 2

...У него хватило силы воли — в парткабинет вошел с улыбкой, и это так всех изумило, так всех ошарашило, что не то что люди — газеты замерли в руках.

— Начнем, товарищи! Газетками, я вижу, вы подзапаслись, так что повеселее пойдут прения, а?

И опять ни звука. Опять ни единого шороха в зале.

И тогда он вдруг почувствовал в себе такую силу, что, кажется, только крикни он этим людям: «За мной, ребята!» — и они бросятся за ним в огонь и в воду.

И был, был соблазн у него трахнуть напоследок дверью на всю область: вот, дескать, запомните, кто такой Подрезов, — но он сказал:

— Я думаю, товарищи, поскольку в работе нашего совещания принимает участие заведующий отделом обкома, то лучше будет, ежели председательствовать будет он.

Вот после этого и началось.

Видал, немало на своем веку он повидал весенних разливов в половодье — и на малых реках и на больших. И что всегда поражало его? Муть, нечисть, мусор, которые кипят и крутятся на воде.

Вот так же и сейчас.

Вся грязь, весь хлам, вся погань всплыли наверх. Северьяха Мерзлый, тот самый Северьяха, который еще сегодня утром дозорил

его у входа в райком дескать, какие указания будут? в каком разрезе выступать? — Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков...

Все орали, горланили, размахивали руками, лезли на трибуну: Подрезов... Подрезов!.. Подрезов — тормоз... Подрезов житья не дает. Подрезов — воевода, который всех подмял под себя... А в колхозах который год трудодень пустой кто виноват? Подрезов... А из-за кого в магазинах ни чаю, ни сахару? Из-за Подрезова...

Все из-за Подрезова! Во всем Подрезов виноват!

«А война у нас была тоже из-за Подрезова?» — хотелось рывкнуть ему на весь зал.

Но он не рывкнул. На кого рывкать? На эту нероботью и шуштуру?

Боже мой, боже мой! Подрезов для них тормоз. Подрезов им житья не давал... Да в том-то и беда, в том-то и вина его страшная — перед народом, перед партией, — что он терпел их, пригрел у себя под боком.

Северьяху Мерзлого, к примеру, взять. Пять колхозов завалил, сукин сын! Пять! А Митрофан Кузовлев... Ну кого тупее его в районе сыщешь?! А он, Подрезов, пригрел. Ребятишек пожалел. Пятеро. Не в детдом же при живом отце отдавать!

И такие, как эти — не лучше! — Фетюков, Санников, заместитель председателя райисполкома Лазарев... Всех, всех давно в шею надо было гнать. А он их держал. Почему? Да потому, что хорошо кадили, славословили, в ладоши хлопали... Да каким же судом судить его за это? Какой карой карать?

Два человека — Исаков да Лешаков — вступились за него.

Исаков напомнил, как он, Подрезов, весной сорок третьего года спас скот района от падежа — всех поголовно белый мох из-под снега выкапывать выгнал. Даже школы на неделю закрыл. А Лешаков подал голос с места: дескать, чего за строгость хозяина корить? С нашим братом распустись — что будет?

Заступничество Исакова и Лешакова Подрезов оценил после, когда снова и снова прокручивал в своей памяти ленту совещания. А в тот момент, когда они говорили, даже поморщился от досады. Ну какая это заступа? Молчали бы уж лучше. Один — председатель колхоза, который давно уже на ладан дышит, а другой тоже не кадр: начальник самого захудалого лесопункта, которого он же сам, Подрезов, разносил везде и всюду при первом случае.

Судьбу решала большая вода. Она в разлив выворачивает с корнями столетние сосны и ели, сносит постройки, размывает и рушит каменные берега.

А большая вода — это директора леспромхозов, начальники ведущих лесопунктов, председатели крупных колхозов, руководящий аппарат района.

И вот первый вал — Афиноген Каракин.

Дружба с арестованным Лукашиным, бабья заваруха у колхозного склада в Пекашине, факты незаконного разбазаривания хлеба в колхозах, то есть выдача его колхозникам в период хлебозаготовок, и даже... поощрение частнособственнических тенденций в колхозах — дескать, с ведома первого секретаря у Худякова и еще кое у кого заведены тайные поля, которые не облагаются налогом...

Под корень рубка!

Но и этого мало. Напоследок Афиноген вытащил из грудного кармана записную книжку, раскрыл не спеша и давай, как бухгалтер, перечислять все прегрешения первого. По числам. С указанием свидетелей.

13 июня 1948 г. т. Подрезов в нарушение устава сельхозартели вывез из колхоза, где председателем Худяков, 5 кг свежих огурцов и употребил их по личному назначению.

10 мая 1949 г. т. Подрезов, попирая партийную этику, распил вместе с арестованным ныне Лукашиным бутылку водки в своем кабинете. Водку из магазина сельпо доставил специально посланный для этой цели помощник первого секретаря.

5 октября 1949 г. т. Подрезов организовал бригаду браконьеров и в течение 2 дней незаконно ловил в реке семгу. На предупреждение рыбнадзора т. Коровина прекратить это безобразие ответил выстрелом из ружья в воздух, а затем пригрозил утопить т. Коровина в реке...

Все перечислил, ничего не забыл. Грубое обращение с людьми, мат по телефону, покупка продуктов в колхозах по заниженным ценам, незаконное увольнение людей с работы... И так далее и тому подобное.

Зал клокотал, бурлил, как вода в разъяренном пороге.

Никто, никто не ждал такой прыти от Афиногена Каракина. Заведующий отделом райкома, выдвиженец Подрезова, и не просто выдвиженец — любимчик, можно сказать, и вдруг такой крутеж на глазах у всех...

А сам Подрезов глаз не поднимал. Зажал себя. Как сплавщик, который плыл на бревне по осатаневшей реке в половодье, и все силы, все уменье и сноровка его были направлены на одно — устоять на этом бревне.

— Кто следующий? — Филичев по-военному резко обратился к залу.

Зал молчал.

Чего, чего они ждут? Какого дьявола сидит набравши в рот воды Зарудный? Бей! Лупи в хвост и в гриву! Пришел твой час.

Но еще больше удивлял его председательствующий.

Ведь ясно же: синим огнем горит человек. По существу, на поводу у секретаря райкома пошел...

Правильно: не знал мнения обкома (как выяснилось потом, Филичев прилетел на Пинегу не из Архангельска, а из Лешуконья, где был в командировке), да вот же перед тобой газета — черным по белому сказано: Подрезову крышка. Выправляй линию! Кто осудит тебя? Да и выправлять-то проще простого: только поддакивай, только раздувай помаленьку сам собой вспыхнувший в зале огонь.

Филичев закаменел — не по нему, видно, такая работа. А когда Северьян Мерзлый снова полез на трибуну, просто срезал того:

— Я думаю, кроме болтовни, мы все равно от вас ничего не услышим.

— Верно! Правильно! — раздалось сразу несколько голосов, и среди них — или это показалось ему? — звонкий, решительный голос Зарудного.

Последним выступал Фокин.

Ну, Милька, покажи себя. Прыгай прямо с трибуны в мое кресло!

Лихо, с разудалой беззаботностью глянул Подрезов на поднявшегося из-за стола румянощекого молодого своего помощника, а на самом-то деле озноб пробрал его. Что скажет Фокин?

В течение всего совещания Фокин ни разу не подал своего голоса. Все кипели, кричали, выходили из себя, Филичев сколько раз менялся в лице, его, Подрезова, бросало то в жар, то в холод, но Фокин — ни-ни. Сидел неподвижно, с поджатыми губами, не улыбался, не хмурился, только время от времени перекачивал под скулами тугие, как пули, желваки да делал какие-то пометки карандашом в блокноте.

— Товарищи, это хорошо, что у нас такая большая активность, такое желание высказаться по наболевшим вопросам, но плохо то, что мы забыли с вами, ради чего здесь собрались. О лесе забыли, товарищи.

У Подрезова дух перехватило.

Все что угодно ожидал сейчас от Фокина, но только не такого вот разворота. И ему стыдно, просто по-человечески стыдно стало за себя. Как он сам-то, он, Евдоким Подрезов, мог забыть про дело?! Все, все можно сказать о нем, самое тяжкое обвинение припаять, но только не шкурничество, только не корысть, только не трусость.

Он так жил: головой рискую, сам ко дну иду, но дело, прежде всего дело!

В сорок шестом прислали к нему Митьку Фокина из области. Мальчишка! По существу, ходить еще не умел по-взрослому — все бегом, все вприпрыжку. Когда со второго этажа по лестнице спускается, на весь райком гром. Но комсомол в районе этот мальчишка поставил на ноги. За один год.

А ну-ко, парень, попробуем тебя в лесном деле. Вертеть-то языком да глазки закатывать перед девками не велика хитрость, а лесопункт потянешь?

Лесопункт Кочушкин — страхи божьи. Рабочие — всякий сброд, отовсюду на вербованы, как говорится, с бору по сосенке. Начальники не приживаются трое за полгода сменились. И все будто бы из-за какого-то Вани Рязанского, который мутит народ и никого не слушает. Ну, а насчет плана и говорить нечего — забыли, когда и выполнялся.

И вот в этот-то вертеп Подрезов и бросил своего любимца: тони сразу или выплывай.



Неделя проходит — ни звука, две проходит — ни звука, три... Подрезов уже начал было подумывать: а не поехать ли самому? И вдруг телефонограмма:

Докладываем, что Кочушский лесопункт месячный план по заготовке древесины выполнил на 94 %. Недоимку за этот месяц обещаем ликвидировать в следующем месяце.

*Начальник лесопункта Фокин Парторг Калинин*

*Председатель месткома Рязанский.*

...Да, да! Фокин поставил все на место. Лес, лес главное, товарищи! Лес ждет от нас родина. Ну, а раз так, временно от жилищного строительства на Сотюге, товарищ Зарудный, придется отказаться. Другого выхода у нас нет...

Подрезов не посвящал Фокина в свои планы. Даже словом не обмолвился — до того рассвирепел из-за ареста Лукашина, а когда вечер Фокин полез в бутылку заявление об уходе подал, — он и вовсе его вычеркнул из своего сердца. Да и вообще, в голову начали закрадываться кое-какие сомнения и подозрения: уж не роет ли ему Милька яму, чтобы самому сесть на его место?

Нет, когда роют яму, так не говорят, а Фокин полным голосом на весь зал: не торопитесь ставить крест на Подрезове. Не одни ошибки да недостатки у Подрезова. Есть кое-что и другое...

— Ну, а что касается некоторых обвинении в адрес Подрезова, сказал Фокин, — то, я думаю, они брошены сгоряча. Как, к примеру, можно говорить, что первый секретарь райкома поощрял частнособственнические тенденции в колхозах, что он знал о так называемых тайных полях у Худякова? Думаю, что нет никаких оснований связывать с первым секретарем и разбазаривание хлеба в Пекашине...

Вот в это самое время в Евдокима Поликарповича и вкогтился зуд.

Решающая минута! Минута, какой не было в его жизни за все сорок четыре года. И наверняка не будет. Ведь стоит ему только отрезать, отсесть от себя Худякова и Лукашина, как подсказывает Фокин, — и какие против него обвинения? Грубость, мат, не очень ласковое обхождение с рыбадзором...

Да, да, да! Два серьезных политических обвинения против него — тайные поля и дружба с арестованным Лукашиным, а все остальное чепуха, мусор, пена... И в зале уже кое-кто подавал голос: правильно! Правильно, мол, сказал Фокин. Нечего все валить на одного. И Зарудный и Филичев протягивали ему руку помощи. Во всяком случае, ни тот, ни другой не долбали его. В общем, хватайся обеими руками за протянутую веревку, вылезай из проруби.

Но что тогда будет с Лукашиным и Худяковым? Они-то уж тогда наверняка пойдут ко дну... Знал не знал, ведал не ведал... Должен был знать!

Подрезов собрал все свои силы, какие у него были, встал.

— Лукашин роздал хлеб с моего разрешения. Я приказал.

Постоял, помолчал немного, вглядываясь в ошеломленный зал, и забил последний гвоздь:

— Про худяковские поля здесь говорили. Знал. Все знал. Иначе какой я, к дьяволу, хозяин района, ежели не знал, что у меня под носом делается?..

#### 4

Ему казалось, что он ни на минуту не сомкнул глаз — такой зуд разыгрался у него в теле на нынешний закат, — но на самом деле он спал. Вокруг было темно. Ни один плакат не светился на стенах, а в соседней комнате за неплотно прикрытыми дверями горела уже лампа.

Он надел на себя нательную рубаху, брюки — все сорвал в беспомыслии, тихонько встал. Босые, все еще разгоряченные зудом ноги с великим блаженством ощутили под собой прохладу заскрипевших половиц.

Софья встретила его у дверец с лампой в руке — она, как всегда, сидела на часах и ждала его пробуждения.

Он подошел к столу, посмотрел на тикающий будильник.

— Ого! Пол-одиннадцатого. — И тут, обернувшись к жене, он второй раз за вечер увидел испуг в ее темных, по-птичььи округленных глазах.

— Я не знала, как и быть. Ты ничего не сказал, будить тебя или нет...

Он сел к столу, запустил руки в свои мягкие, изрядно поредевшие волосы, а она продолжала стоять перед ним, большая, грузная, не сводя с него настороженного взгляда, и это взорвало его:

— Чего стоишь? В денщиках ты у меня, что ли?

— Я думала, на стол подавать...

— Думала! Сядь, говорю. Некуда больше торопиться.

Софья села. Села как-то неуверенно, на край стула, как будто не у себя дома, а в гостях или, еще вернее сказать, на приеме у большого начальства. И он глядел-глядел на ее большие работающие руки, покорно лежавшие на коленях, на ее полуопущенную голову в буйном курчавом волосе с проседью, на ее широкое, вечно залитое, как у молодки, густым румянцем лицо, и вдруг обручем перехватило ему горло.

Боже мой, боже мой! Кто только сегодня не шерстил его, в чем только его не обвиняли! Задавил, согнул, зажал в кулак... А что бы могла сказать о нем вот эта женщина, его жена? Какой счет она могла предъявить ему?

После смерти Елены он дал себе слово: не жениться. И лет пять — ни-ни, ни на одну молодую женщину не посмотрел. Потом — он уже работал инструктором в райкоме — от него уехала в город к своей дочери старушонка, которая вела его хозяйство и ухаживала за детьми, и тут — хочешь не хочешь — пришлось обратиться за помощью к вдове-соседке.

Софья пришла. Все прибрала, все перемыла — ни квартиру, ни детей не узнать. А потом как-то он вернулся из командировки да увидел ее — пол на кухне моет, — большая, сильная, с высоко подоткнутым подолом баба вся в жарком, малиновом цвету, и прахом пошли зароки...

Вот так он и стал жить с женщиной, которая была старше его на семь лет.

Каждый месяц он приносил домой зарплату, выкладывал на стол — распоряжайся как знаешь, корми семью, — иногда, возвращаясь из поездки по колхозам, привозил какие-нибудь продуктики: мясо, масло, свежие овощи... А еще что? Еще какое внимание оказывал жене? Был ли он хоть раз с женой в клубе — в кино, на торжественном вечере в честь Октября или Первого мая? Служащие райцентра в праздники ходят друг к другу в гости — с женами, с детьми. Он с

Софьей вместе — никогда. А чтобы забежать в магазин да купить какой-нибудь подарок или привезти покупку из города — нет, это ему и в голову никогда не приходило.

Да, с усмешкой подумал Подрезов, вот о чем забыл упомянуть в своем кондуите Афиноген Каракин — о жене. «Сколько лет прожили, сколько детей наплодили, а кто она тебе, товарищ Подрезов? Прислуга? Батрачка?»

— Софья... сказал он медленно, не совсем обычным голосом.

Она сразу подняла полуопущенную голову — что делать?

Он взял ее зачем-то за руку, спросил:

— Соня, тебе очень тяжело со мной было?

Она сперва не поняла его. Когда он разговаривал с ней так? Когда называл ласковым словом? А потом, ему показалось, дрожь прошла по всему ее крупному телу. Но ответила она спокойно:

— Чего теперь об этом говорить. Сама знала, какую ношу на себя брала...

Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол.

Да, думал Подрезов, лошадей знал. Лес знал. Коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая... Э, да что там говорить! Жену свою, с которой прожил чуть ли не двадцать лет, не знал...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице...

Он даже шинель надел специально, которую года два уже не снимал с вешалки.

Шинель он завел сразу после войны. Длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах — единственную в своем роде во всем районе. Такую, какие носили еще в двадцатые годы и какие нет-нет да и мелькнут изредка в кино.

Несерьезно, ребячество это... Понимал, ежели говорить начистоту, чувствовал. Да после тех победных, ликующих маршей, которые с утра до ночи гремели по радио, так кружило голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим,

делами, даже видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии. Тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтобы всяк — и старый, и малый — узнавал тебя за версту...

Ночь, глухая осенняя ночь стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета.

Он любил эти ночные обходы своей районной столицы, любил торжественный гул деревянных мостков под ногами, любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову.

А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за тысячи верст от Пинеги громадным костром в ночи пылает красноезвездный Кремль и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир.

В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он все время мысленно разговаривал с любимым вождем. И вообще, увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд — а его ждали с часу на час, — его, Подрезова, непременно пошлют делегатом.

И вот — все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто, все втоптанно в грязь: и его жизнь, и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся.

За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал... А себя Подрезов не ломал? Сам Подрезов в раю жил?

Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района — всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома — пойдет без него, Подрезова.

А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? В годы войны ребяташки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов, а как теперь? Как теперь посмотрят на него ребяташки?

Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью.

Какое-то время он стоял недвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах, — может, от курева полегчает? Но папирос,

которые он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось.

На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал, весь в огнях, пароход, а за ним тянулся еще пароход и еще...

Буксиры с грузами. Для Сотюги, для других леспромхозов...

Но не он, не он завтра будет отдавать команды насчет разгрузки, не он сломя голову полетит в Пекашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо, мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идет сейчас по реке вот эти буксиры...

Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе, какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри.

Что бы это такое? Не от пароходов же этот свет и этот дым?

Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую и вдруг прямо перед собой в поле увидел красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий...

Да ведь это же ребячьи костры на картофельниках!

Боже, как давно не видал он этих костров! Где же он был все эти годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры. По всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огонечков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку.

Жадно, прямо-таки с наслаждением вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерку, вернее даже, к остаткам костерка, уже покинутого ребяташками, неумело опустился перед ним на корточки и вдруг почувствовал себя маленьким Овдей. И все, все — все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение, — все отступило в сторону, и он вспомнил свое детство, свою Выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра.

Двадцать пять лет он не был на Выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой.

А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра, глушь медвежья, зимой трое суток надо ехать на лошади... Да ведь ты же оттуда на свет вылетел.

Костерик благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки.

Да, да, думал он с облегчением, поеду на Выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается — сколько всякой столярной да плотницкой работы будет! Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим... Посмотрим...

И вдруг Подрезов резко выпрямился. А собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя! Где решение обкома? Кто сказал, что ему конец? Северьяха Мерзлый, Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков... Да кто их когда принимал всерьез!

Он глубоко, всей грудью вдохнул в себя теплый ночной воздух, в котором все еще держался запах печеной картошки. И этим запахом позабытого детства, с вернувшейся радостью простора и воли начал мало-помалу оживать в нем пошатнувшийся было Подрезовский дух.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день. И третий день, подбегая в этот вечерний час к ее дому, Лиза надеялась увидеть ворота на крыльце без приставки. Больше того, ей даже представлялась такая картина: Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровной встречает ее на крыльце. «Ну, спасибо, спасибо, Лиза, выручила. А меня вот, видишь, освободили...»

Но не спешили что-то с возвращением домой Лукашины. И, как вчера и позавчера, торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня.

Лиза быстренько, за какие-нибудь полчаса, разделалась с Майкой, коровой Лукашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину — в алюминиевое ведро и забрала с собой.

Дома, конечно, стоял рев — с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька, и сама нянька редела.

Татьяна не маленькая кобыла — десятый год шел. Разве трудно после школы какой-то час с двумя ребятенками по полу поползать?

Бывало, она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась — с оравой, на голодное брюхо, а эту Михаил испотешил — только и знает, что по улице бегать. «Ладно, пушай хоть у одного человека в пряслинской семье нормальное детство будет». Детство-то будет, а будет ли человек — это еще вопрос.

— Ты хоть бы огонь зажгла, — сердито сказала Лиза сестре. — Вот бы они и не ревели. А то в темноте-то и старик заплачет.

— Зажигала. Карасина в лампе нету.

— Карасин-то в сенях, за дверями. Отсохнут у тебя руки, ежели нальешь.

Засветив лучину, Лиза заправила в сенях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьянин простыл. Как, когда успела улизнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок не в пробое — как овечий хвостик, болтается.

Ну и девка, ну и девка бессовестная, подивилась Лиза. Чего только из нее будет?

Ребята — Вася и Родька — с отчаянным воплем грабастались за ее подол.

— Сейчас, сейчас! Никуда не денусь.

Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавки к печи.

В протянутые руки первым ткнулся Васька, но она взяла на руки не его Родьку.

Вася с размаху хлопнулся на пол, замолотил ножонками.

— Ну еще! Бесстыдник. У тебя-то отец дома, а у него где?

Сразу затихший Родька с жадностью — и зубами, и ручонками — вонзился в ее грудь, а она устало, из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец?

На другой день утром, после того как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: хватит. Сколько еще ему надо мной измываться? Жить — так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу.



Но вот явился вскорости домой Егорша — тише воды ниже травы — да начал-начал мелким бесом вокруг нее виться (за водой к колодцу сбегал, дров из сарая принес, растопки нащепал), и сердце не камень — оттаяло. Не могла она оставлять Васю безотцовщиной! Будет — помытарили вдоволь они, Пряслины.

Но только ли из-за сына она сменила гнев на милость?

Она любила своего беспутного Егоршу. Правда, в первые дни их брачной жизни она без ужаса подумать не могла о надвигающейся ночи — что же, она ведь зеленой девчушкой переступила Егоршин порог.

Почувствовала себя Лиза женщиной после того, как родила сына. По ночам ей снился Егорша, во сне она обнимала, ласкала его, шептала такие слова, от которых назавтра саму в жар бросало. Ну, а когда дождалась Егоршу, страсть с головой накрыла ее.

Егорше было забавно, Егорша похохатывал:

— Ну и ну! На горячем месте сварганили тебя папа и мама.

И она презирала, ненавидела себя — ведь понимала же: не утехам, не радостям надо предаваться, когда по дому еще покойник ходит, а все равно, где бы ни была, что бы ни делала, на уме было одно — Егорша.

Вот бог-то меня, может, и наказывает за это, в который раз сегодня подумала Лиза и взяла на руки совсем наревевшегося сына (Родька, накормленный, уже посапывал на кровати).

— Ну чего орать-то? Чего? — начала она вразумлять сына. — Разве я тебя не люблю? Да всех пуще люблю. Только ведь нельзя обижать Родьку. Он и так обижен. Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе. Оставь чего и людям.

Где он сейчас шатается? Утром собирался в район ехать — пора бы уж к месту приставать. Сколько можно баклуши бить?

А может, опять где веселится? Поминали на днях — в верхнем конце видели. Неужто опять к Нюрке Яковлевой, своей старой любушке, тропу заторил? У той, бесстыжей, сроду ворота настезь для всех отворены...

Скрипнули воротца за избой — Лиза вся так и встрепенулась: Егорша!

Нет, не Егорша, а брат. Егорша прошмыгнет под окошками — и не услышишь: всегда крадучись, всегда потайком. А Михаил идет — за версту слышно. Будто с землей разговаривает.

— Где тот?

— Откуда я знаю? — Лизу зло взяло: в кои-то поры зашел к сестре и хоть бы спросил: как поживаешь, сестра?

— Жене, между прочим, полезно знать, где муж, — с назидательностью сказал Михаил. — Есть у тебя четвертак?

— Деньги?

— А что? Не туда адресовался?

— Да хватит тебе выколупывать-то. У меня свой словечушко в простоте не скажет. Чего хочешь с четвертаком-то делать? Не на бутылку?

— Не твое дело.

Лиза уложила на кровать рядом со спящим Родькой сморенного к этому времени едой и плачем сына, сходила в чулан.

— На, сказала она, подавая двадцать пять рублей брату (тот с какой-то удивившей ее мрачностью стоял у кровати и вглядывался в пухлое румяное личико разогревшегося во сне Родьки). — Только теперь тебе и пить.

— А чего?

— Чего, чего... Человек ни за что ни про что посажен, а они — на-ко, мужики еще называются — на коровник залезли да знай хлопают весь день топорами...

Лиза была вне себя от обиды на односельчан. Раньше: «Нам уж с этим председателем пива не сварить. Чуж-чужанин». А теперь, когда председателя забрали, другую песню завели: «Нет, нет, такого председателя нам больше не видать. Сами человека упекли, сами до тюрьмы довели. Ох, ох, мы дураки, дерево некоренное»...

— Да еще дураки-то какие! — сердито сказала вслух Лиза.

— Чего ты опять?

— Ничего. Все стараются, из кожи лезут. Вы на коровнике, бабы на поле. А раньше-то где были? Раньше надо было свое усердие показывать, а не сейчас.

— А чего, чего мы должны делать?

— Да уж всяко, думаю, не топорами с утра до ночи размахивать. С начальством бы поговорили, объяснили все как надо...

— Заткнись! — заорал Михаил. — У меня сегодня с этим начальством и так был разговор.

— С кем?

— С Ганичевым. Вызвал середка дни, прямо с коровника. Есть, говорит, предложение, Пряслин, написать письмо в районную газету... Так и так, дескать, осуждаем своего бывшего председателя...

— Ивана Дмитриевича? — страшно удивилась Лиза. — Да что он, с ума сошел. Железные Зубы? Неужто Пряслины — уж и хуже их нету? Еще-то кого вызывали?

— Не знаю... Петр Житов, кажись, ходил. — Это Михаил сказал уже в дверях.

### 3

Развалюха Марины-стрелехи служила своего рода забегаловкой для пекашинских мужиков. От магазина близко, старуха — кремень, не надо бояться, что до твоей бабы дойдет, и — худо-бедно — завсегда какая-нибудь закусь: то соленый гриб, то капуста. Потому-то Михаил, выйдя из магазина, и направился по накатанной лыжне.

Марина рубила в шайке капусту у переднего окошка, где было посветлее, но, увидев его, в три погибели согнувшегося под низкими полатами, сразу без всяких разговоров встала, принесла с надворья соленых, достала из старинного шкафчика граненый стакан.

— А себе? — буркнул Михаил, присаживаясь к дряхлому, перекошенному столу с белой щелястой столешней, в правом углу которой было вырезано три буквы, обведенных рамочкой: С. Н. И., Семьин Николай Иванович. Покойник при нем, при Михаиле, оставил эту памятку о себе в сорок втором в это же самое время, когда уходил на войну.

— Нет, нет, родимо мое, не буду, воздержанье сделаю, сказала старуха.

— Что так? В староверки записалась? — Михаил слышал от кого-то, что Марину будто бы недавно крестила Марфа Репишная. Да как! Прямо в Пинеге на утренней заре.

— Записалась не записалась, а все больше, родимо, натешила дьявола.

— Ну как хошь, сказал Михаил. — Не заплачу.

— Про постояльца-то моего чего слыхал, нет?

Михаил нахмурил брови: про какого еще постояльца? И вдруг вспомнил: так старуха зовет Лукашина, который в войну действительно сколько-то квартировал у нее.

Пробка от бутылки стеганула по стеклянной дверке шкафика — вот так он всадил свою ладонь в дно бутылки. А кой черт! За этим он сюда пришел? Затем, чтобы про постояльца выслушивать? Да он, дьявол ее задери, и так все эти дни как ошалелый ходит. Куда ни пойдет, с кем ни заговорит — Лукашин, Лукашин... Что Лукашину будет? Как будто Лукашина из-за него, Михаила, посадили. А Чугаретти, к примеру, тот так и думает. Вчера встретился у церкви пьяный: «Ну, Мишка, заварил же ты кашу!» — «Как я?» — «А кто же?» Оказывается, не надо было ему, Михаилу, шум из-за зерна поднимать, тогда бы все шито-крыто было. Вот так: тебе в поддыхало, да ты же и виноват.

Стакан водки, выпитый одним духом натошак после работы, весенним половодьем зашумел у него в крови, и вскоре Михаилу уже самому захотелось говорить.

— Марина, а ты знаешь, что мне сегодня один человек предлагал? — сказал он старухе, которая к тому времени опять начала потихоньку тюкать сечкой капусту. — Ох-хо! Чтобы я, значит, вот этой самой рукой приговор Лукашину подписал.

У старухи при этих словах подбородок с темной бородавкой отвалился — хоть на дрогах въезжай в рот.

Но Михаила это только подхлестнуло.

— Да! Так и сказал! А я ему, знаешь, что на это? На, выкуси! — И тут Михаил выбросил в сторону старухи свой огромный смуглый кулак. — Да ты знаешь, говорю, чем для меня был этот бывший председатель? В сорок втором, говорю, кто меня в комсомол принимал, а? Ты? Да этот бывший председатель, говорю, ежели хочешь знать, второй мне отец. Понял?

— Так, так, родимо, — кивала старуха.

— А чего? — забирал все выше и выше Михаил. — Он меня и теперь еще иной раз крестником зовет. А, говорю, ты видал таких председателей, которые сами зимой в месячник к пню встают? Чтобы кузня в колхозе не потухла, чтобы Илья Нетесов мог дома жить. Видал, говорю, нет?

— Так, так, родимо.

— А насчет, говорю, этого самого хлеба, дак ты помалкивай. Куда, говорю, он девал хлеб-то? Себе взял? Нет, говорю, мужикам выдал. Чтобы скотный двор побыстрее строили. Он, говорю, за колхозную скотину страдает. Дак какое, говорю, ты имеешь право мне об твоём поганом письме говорить? Подпиши... Да я, говорю, скорее сдохну, чем подпишу. Ты что, говорю. Мишку Пряслина не знаешь, а?

Марина давно уже плакала, громко ширкая носом, и у Михаила тоже слезы подкатывали к горлу — до того было жалко Лукашина.

Он налил еще в стакан, выпил, потом закрючил двумя пальцами попригляднее сыроегу и посмотрел на свет — у старухи живо червяка слопаешь.

Вдруг неожиданная, прямо-таки сногшибательная идея пришла ему в голову: а что, ежели...

— Марина, у тебя найдется листок бумаги?

— Зачем тебе?

— Надо. Давай быстрее.

На него просто накатило — в один присест настрочил, не отрывая карандаша от бумаги. — Ну-ко послушай, сказал старухе.

### *Заявление*

В связи с данным текущим моментом, а также имея настроения колхозных масс, мы, колхозники «Новая жизнь», считаем, что т. Лукашин посажен неправильно.

Всяк знает, как председатели выворачиваются в части хлеба, чтобы люди в колхозе работали, а почему отвечает он один?

Кроме того, данный т. Лукашин по части руководства в колхозе имеет авторитет, а в войну не только насмерть бил фашистов, но, будучи ранен, конкретно подавал патриотический пример в тылу на наших глазах.

В части же хлеба категорически заявляем, что все поставки колхоз «Новая жизнь» выполнит в срок и с гаком, и никогда в хвосте плестись не будем.

*К сему колхозники «Новая жизнь».*

— Ну как? Подходяще? Ничего бумаженция? — спросил у старухи Михаил и самодовольно улыбнулся: ничего. Забористо получилось. Можем, оказывается, не только топором махать.

Он четко, с сердитой закорючкой в конце расписался, затем подвинул заявление и карандаш старухе.

— Давай рисуй тоже.

Но Марина подписывать заявление наотрез отказалась.

— Чего так? — удивился Михаил. — Сама только что слезы насчет постояльца проливала...

— Нет, нет, родимо, не буду. Не мое это дело.

— Пошто не твое?

— Не мое, не мое. В колхозе не роблю — чего людей смешить. Ты хороших-то людей подпиши, пушай они слово скажут, а я — что? Кому я нужна?

— Ну как хошь, сказал Михаил. — Не приневоливаю. Найдется охотников — не маленькая у нас деревня.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Темень. Морось. И — гром.

Не небесный, домашний: чуть ли не в каждом доме крутят — дождались новины на своих участках!

Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душек размолотого зерна, которым встречает тебя каждое крыльцо.

Но чтобы попасть в этот час в чужой дом... Мозоли набьешь на руках, пока достучишься!

Он начал сбор подписей со своей бригады — ближе люди.

К первой ввалился к Парасковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность.

— Председатель у нас, Парасковья, ничего, верно? — заговорил Михаил с ходу.

— Кто? Иван-то Митриевич? Хороший, хороший председатель, дай ему бог здоровья.

— Надо выручать из беды мужика? Согласна?

— Надо, надо, Мишенька.

— Тогда подпишись вот здесь.

— Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варжаю.

— Это ничего. Валяй крест. Крест тоже сойдет.

Нет, и крест не поставила.

Полчаса, наверно, вдалбливал в темную башку, зачем надо подписывать письмо, зачитывал вслух, стыдил, ругал — не смог навязать карандаш.

Точно так же не солоно хлебавши ушел он от Василисы. Эта, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пущай, дескать, грамотные люди такие дела делают, а я весь век с топором да с граблями — чего понимаю?

— Не приневоливай, не приневоливай, Михайло Иваныч, я и так богом обижена — всю жизнь одна маюсь... — И все в таком духе до самых ворот.

Но старухи — дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колеса ставить. А как вам нравятся Игнаша Баев да Чугаретти?

Игнаша зубы скалить да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи, первый, а туту едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть — мух осенних на потолке пересчитывать.

— В чем дело? — поставил вопрос ребром Михаил. — Бумага не нравится? Давай конкретные предложения. Учтем.

Да, так и сказал. Официально, прямо, как на собрании. Потому как чего агитировать — и так все ясно.

Игнаша раза два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак — за что бы уцепиться?

Наконец нашел лаз — Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерицы вокруг рта заюркали — так ухмыляется.

— А кто это бумагу-то писал? Не ты?

— Допустим, сказал Михаил.

— Ну тогда извини-подвинься... Эдак каждый выпьет да пойдет по деревне бумаги читать...

— Кто выпил? Я?

— Да уж не я же...

В общем, поговорили, обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнаше и ему подобных.

Ну, а про то, как он у Чугаретти был, про это надо в «Крокодиле» рассказывать.

Полицка Бархатный Голосок, жена Чугаретти, как злая собачонка, набросилась на него, едва он раскрыл рот. Нет, нет! Не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо, дьяволам, покажу, что волком у меня взвоете...

Ну а Чугаретти? Что делал в это время Чугаретти, который все эти дни, пьяный вдребезину, шлепал по деревне и каждому встречному-поперечному плакался: «Все. Последний нонешний денечек, как говорится... Раз уж хозяина заарканили, то и Чугаретти каюк. Потому как с сорок седьмого вместях на одной подушке...»

Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами: Полицки своей он боялся больше всех на свете.

Наконец одну подпись он раздобыл — Александра Баева подписалась.

— Хорошо, хорошо придумал. Под лежач камень вода не бежит — не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю — кто поможет?

Ободренный этими словами, Михаил толкнулся и к соседям Яковлевым: авось Нюрка не в расходе.

Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях.

— Заходи, заходи.

Старики были еще на ногах, старшая — золотушная — девочка, учившая уроки за столом, хмуро, недружелюбно посмотрела на него. Но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У нее просто: огонь задула — и на кровать, а как там отец, мать, дети — плевать.

Михаил как-то раз закатился было к ней по пьянке и назавтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что песню на всю избу запела.

— Заходи, заходи, — приветливо, играя белозубым ртом, встретила его Нюрка, цыкнула на девочку — марш спать.

Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы.

На улице разгулялся ветер — холодный, яростный, с подвывом, не иначе как зима свои силы пробует, и он, чтобы прикурить, вынужден



был даже прислониться к стене старого нежилого дома.

Махорка в сигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра.

У Лобановых в низкой боковой избе еще мигала коптилка, но не приведи бог заходить к ним поздно вечером: изба от порога до окошек выстлана телами спящих. Как гумно снопами. Три семьи под одной крышей.

К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить — какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть.

И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что больно уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками.

Сердце у него загрохотало как водопад. Что такое? Неужели все оттого, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться?

В доме смеялись — Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул воротца.

Егорша... В самом своем натуральном виде — у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил.

В общем, положение — хуже некуда. Как говорится, ни туды и ни сюды.

— Извиняюсь, тут, кажись, третий не требуется. Черта с два смутишь Егоршу! Завсегда ответ припасен:

— Да, не припомню, чтобы мы особенно шибко горевали о тебе.

Но тут, спасибо, врезала Егорше Дунярка:

— Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобудь бутылку. — Она кивнула на пустую поллитровку на столе. — Нету у тебя счастья. Мы с анекдотами-то, видишь, что сделали. До донышка добрались.

— Не, — мотнул головой Михаил, — не надо. Я так, на смех забежал. Больно весело живете.

— А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство? — Дунярка громко захохотала. — Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит. А сейчас почему нейдет за вином? Боится, как бы мы тут не столковались без него...

— Но, но, секретов не выдавать!

— А иди-ко ты со своими секретами! Вот я сейчас один секрет покажу, дак это секрет!

Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку — высокая, красивая, как-то по-особенному, не по-деревенски поигрывая бедрами.

— Ну, закройте глаза! Живо! — крикнула она из-за перегородки.

Михаил и Егорша переглянулись с усмешкой, но подчинились.

Дуняркиным секретом оказалась непочатая бутылка водки, она поставила ее на стол — как печатью хлопнула.

Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом:

— Догадываешься, нет, что это за винцо, а?

Егорша вспыхнул, вскочил на ноги:

— Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов.

А и делай! — хотелось крикнуть Михаилу. Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту! А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась Дунярка. Такие уж, видно, эти иняхинские бабы — и тетка, и племянница до костей прожигают. Эх, кабы тот же жар да от Раечки шел!

Михаил, однако, опередил Егоршу — первый выбежал из избы. Нельзя! Не время сейчас распускаться. Кто за него будет собирать подписи?

Он уже подходил к дому Марфы Репишной, когда его догнал Егорша.

— Слушай! Ты ничего не видел, ты ничего не слышал. Это для некоторых, ежели речь пойдет. У нас старшина Жупайло так, бывало, насчет энтих дел говорил: «Самый большой грех на свете — выдавать мужскую тайну». Понял?

Михаил свернул в заулоч.

На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня — когда шел вперед, — но Марфы тогда дома не было. А сейчас она была дома — в избе стучал топор.

Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом — кто же их теперь будет выручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить — да мало ли чего!

И вот напрасно, оказывается, разорались из-за посуды: Марфа стала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделия Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговечные. Как сама она.

Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея — в духовном.

Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице — так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.

Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти, — их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленной избе.

Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной доски Почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.

— Здорово, соседка, сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. — Труд в пользу. Или, как у вас говорят: бог на помощь.

— Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны — помысел.

Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит — любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чураке, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом — обруч еловый на ушат наколачивала.

Свет был двойной — сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной лампадки перед божницей.

— Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно, полусуто-полусерьезно посоветовал Михаил.

Марфа не словами ответила — топором. Так ткнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.

Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене, на тяжеленные черные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, — они, как ящички, были сложены в переднем углу на лавке, — на медные иконы в красных бликах.

— От Евсея слышно чего?

— Печи кладет людям.

— Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.

— Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.

— Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь, какое положение? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?

Марфа кивнула.

— Я вот тут письмишко одно написал. — Михаил достал из кармана листок с заявлением. — Подписать надо. Когда там, наверху, увидят: народ требует знаешь, как на это дело посмотрят...

— Не подпишусь, сказала Марфа и опять застучала топором.

— Это почему же?

— В дела мирские не мешаюсь.

— Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?

— Нет, нет, не подпишусь.

— Да почему? — начал уже горячиться Михаил.

— А потому. Не бумагой — молитвой мы помогаем.

— Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь... Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт вас подери, пропадает!

Тут Марфа так на него посмотрела — в обморок впору упасть: страсть это при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели,

как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще — не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина — пекашинский поп!

Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишешь Марфа под письмом подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.

Он ругал, пушил, лопатил Марфу — не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.

А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.

Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь — то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.

Но на темноту, в конце концов, наплевать — он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пушайте!

И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.

Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюрьге сидит, а вам и горя мало. Вы — храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то я все ворота разнесу!

Открывали, извивались ужом. И — не подписывались.

К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!

Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в

Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная — старухами.

Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе — серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).

Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:

— Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?

Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.

В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.

Петр Житов снова надел очки, прочитал.

— Я думал, ты поумнее, Мишка.

— Насчет моего ума после поговорим. А сейчас — подпись ставь!

— Подпись поставить нетрудно. Все дело — зачем.

— А то уж не твоя забота. Без тебя разберемся — зачем.

— Эх, мальчик, мальчик! — сокрушенно вздохнул Петр Житов. — Мало тебя жизнь долбала, вот что. На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. — Ты подумал, что из этого письма будет?

— Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я... Со смертью обнимался...

— Не трогай войну, Пряслин, — тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов. Так лучше будет. — Он шумно выдохнул. — А теперь сказать, почему твое письмо ерундистика?

— Давай попробуй.

— Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.

— Коллективка? Это еще что такое?

— Письмо твое — коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил — ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь...

— Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! — Михаил громко расхохотался. — Давай, давай! Еще чего скажешь?

— Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.

— Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.

Тут за стеной, в передней избе, поднялся страшный грохот. Словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженная ими Олена. Не иначе как поленом сгорячахватила: дескать, уймитесь, дьяволы! Сколько еще будете орать?

Петр Житов не вояка со своей женошкой, тем более когда трезвый, это всем известно, но что касается других — убьет словом. Наповал и сразу. А тут, как рыба, выброшенная на берег, захватал ртом воздух — в цель, в десятку самую попал Михаил.

Наконец справился с собой.

— В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни: Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалеючи, дурака. В сорок втором нам выдали летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, в снегу воевать. Ну, я и скажи ребятам во взводе: давай напишем начальству. Написали. Да меня за это письмо едва под трибунал не упекли. Больше недели таскали. Вот что такое эта самая коллективка. Понял? Теперь насчет Лукашина. Ежели непременно хочется в петлю голову сунуть, пес с тобой — суй. А зачем Лукашину на шею новый камень?

— Чего-чего?

— А вот то. Как, скажут, ты воспитал своих колхозников? Письма подрывающие писать?.. В сорок третьем, когда мы стояли...

Михаил сгрел со стола письмо и вылетел вон.

Петр Житов совершенно запутал его, все поставил в нем с ног на голову. До сих пор для него было законом: надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся. Потому что как ты ни бейся — все ерунда. Ничем не поможешь Лукашину. Наоборот, даже хуже сделаешь.

Нет, такие советы Михаил принять не мог, и он решил прочесать деревню до конца.

Прочесал.

Результат все тот же — ни единой новой подписи.

В темноте на ощупь он добрался до взвоза Ставровых — к Федору Капитоновичу не пошел, и так все ясно, — сел на отсыревшие за ночь бревна, закурил.

Сиверко разбушеввался — кепку рвало с головы. А уж телеграфные столбы стоном стонали.

Ну и дьявол с ними. Пускай стонут. Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал — кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. И Райка, его невеста, тоже не лучше других...

Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Федора Капитоновича, и вдруг отчетливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховиках. Он яростно вскипел.

Э-э, да кто сказал, что она его невеста? Хватит быть остолопом! Нравится тебе Дунярка? Тянет тебя к ней? Ну и на здоровье! Топай. А все эти твои переживаньица насчет Варвары, Раечки — муть собачья. Один раз живем!

Вон Егоршу взять. От молодой жены бегаает — и ничего. А ты как старуха старая: разве можно сегодня с теткой, а завтра с племянницей? Можно! В Заозерье Паша Фофанов и дочке брюхо наvertsел и маму не обидел — тоже вширь пошла. А ты как самый последний дурак. Свататься побежал. Чтобы дорогу к Дунярке отрезать...

Нет, все. С этим покончено. Был один запоздалый идиот в Пекашине, а сегодня и он кончился. Спасибо вам, землячки дорогие! Выручили. Просветили.

Михаил решительно встал.

И, однако же, не в верхний конец пошагал, а сперва к изгороди возле ставровского хлева. Что там такое отсвечивает — вроде как сполох в темноте играет? Все время, пока сидел на взвозе, косился глазом в ту сторону и не мог понять.

Загадка оказалась совсем простой: у Ставровых в избе был свет — от их окошек отблески. Они не спят, полуночничают.



Минуты не раздумывал Михаил, идти или не идти к Ставровым: что-то нехорошо у них в доме, раз ночью огонь палят.

Воротца, чтобы не скрипнули, приподнял, затем на носках, пригибаясь к земле, вошел в ярко освещенный заулок. Остановился, прислушался. В избе крик. И вроде Лизка плачет.

Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко.

Так оно и есть: Лизка, как елушка в дождливый день, вся в слезах, а кто ей трепку задает, не надо спрашивать. Дорогой муженек — не иначе как, сукин сын, только что с б.....а явился, даже фуражки еще не снял.

Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул — едва не выломал.

В окошке резко раздвинулась занавеска — показалось Егоршино лицо, злое, колючее, — затем так же резко задернулась.

Раздался новый крик в избе, новая ругань, потом наконец заскрипели двери, и в сени вышла Лиза — Михаил по ширканью носа узнал сестру.

Однако когда они вошли в избу, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела, из гордости не хотела показывать брату свое горе.

Егорша — он стоял посреди избы руки в брюки, фуражка на глаза — словно из автомата прострочил в него:

— У меня не постоянный двор, чтобы ломиться середка ночи. Можно, думаю, и до утра подождать.

— Извини, я думал, мы еще без докладов.

— А ты не думай!

— Да что ты, господи! — всплеснула руками Лиза. — Неуж брату родному спрашивать, когда к сестре приходиться? — Что бы тебе сказал татя, кабы услышал это?

— Не услышит, поскольку мертвая природа и прочее... А потом, вы этому тате еще при жизни уши запечатали. Сволочи! — вдруг взвизгнул Егорша. — Родной внук в армии, священные рубежи... а вы дом у него вздумали оттяпать...

Михаил сделал шаг.

Но надо знать Егоршу! Закривлялся, заприплясывал, — дескать, пьяный в дымину, ничего не соображаю, ни за что не отвечаю, а потом и вовсе начал валять ваньку: в пляс пустился.

Царапала, царапала,  
Царапала, драла,  
У самого Саратова  
Я милому...

— Больно, больно баско, — сказала Лиза. — Может, еще сына разбудить? Пущай посмотрит, что отец пьяный вытворяет...

— А что! — петухом вскинул голову Егорша. — Буди. Чем плох у него отец?

Он новый номер выкинул — парадным шагом пропечатал к дверям.

— Порядочек! Ладнехонько идем. Пить выпивам, линию знам и в милицию не попадам...

— Ничего, попадешь. Так будешь делать, выведут на чисту воду. — Лиза все-таки не выдержала, всхлипнула. — Это ведь из-за чего у нас ночное собрание, — кивнула она брату. — Только что за порог родной перевалил.

— Ревность — родимое пятно и всякая тьма капитализма... — изрек Егорша.

— А по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали: бегай от своей жены...

— А я в указчиках не нуждаюсь. Понятно? — отрезал Егорша...

— А я говорю, не надувайся — лопнешь.

— По етому вопросу советую вспомнить кое-какие события у колхозного склада.

— Ты!.. Ты мне про склад? — Михаил озверел, двинулся на Егоршу, и тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лизке — она привела его в чувство.

— Что вы, что вы, дьяволы! Образумьтесь! Уж двух слов сказать не можете, чтобы не на кулаки...

Егорша, как лезвием, резал его своими синими щелками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой,

и Михаил подивился столько ненависти было в этих щелках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода. Даже наоборот: после той идиотской потасовки у склада сам первый пришел к Ставровым. С бутылкой. Потому что черт его знает, этого прохиндея: начнет еще на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него.

А может, это из-за Дунярки? — вдруг пришло ему в голову. Из-за того, что та дала ему от ворот поворот? Да еще при нем, при Михаиле. Егорша такой: не пожалеет, кого угодно стопчет, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбывал. А то, что у него зуб на Дунярку горит, это ясно.

— Вопросов больше ко мне не имеется? — спросил, чеканя каждое слово, Егорша. — Ну и у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с Советской властью живут. Ясно?

— А я что, не с Советской?

— Да вы об чем это? Об каком письме?

— А это уж ты его спрашивай, своего дорогого братца. — Егорша с ухмылкой кивнул Лизе. — Он решил зимой в прорубь прыгать.

— И ничего я не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белое — белое...

Лиза еще нетерпеливее спросила:

— Да чего ты натворил-то? Про какое письмо он говорит? Где оно?

Михаил отмахнулся:

— Так. Ерунда. — Не хватало еще, чтобы он сестру свою втащил в эту историю.

Но тут Егорша просто заулюлюкал: ага, дескать, что я говорил? Ничего себе письмецо, ежели даже родной сестре показать нельзя!

Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол: читайте!

Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух.

— Коль уж и дельно-то! Все, каждое словечушко правда. Да я бы того, кто писал, расцеловала прямо.

— Целуй! — усмехнулся Егорша. — Он тут, между прочим.

— Ты?

Лиза, конечно, хитрила — это было ясно Михаилу: не могла же она не узнать почерк своего брата! Но все равно было приятно. И приятно было видеть ее зеленые, по-весеннему загоревшиеся глаза. А потом еще больше: Лизка, которая за всю жизнь ни разу не целовала его, тут вдруг выскочила из-за стола, обняла его и, подскочив, звучно чмокнула в небритую щеку.

Егорша язвительно захохотал:

— Да ты, может, и письмо подпишешь?

— Подпишу! Где карандаш?

— Ладно, ладно, сестра, сказал Михаил. — Брось. — Стоило бы, конечно, проучить этого индюка, да уж ладно: с него достаточно и того, что сестра не струсила.

Но Лизка загорелась — не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш.

— Где мне расписаться-то? Все равно?

— Не смей у меня! — гаркнул на всю избу Егорша. — Чуешь?

Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом, с приступком положила его на стол.

В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер, уныло скрипит в заулке мачта.

Потом булыгами пали слова:

— Все! Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор. Счастливо оставаться! Раз тебе брат мужа дороже, с братом и живи.

Лиза не закричала, не заплакала. Ни тогда, когда захлопнулась за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги.

Она сидела за столом. Неподвижно. Белее недавно покрашенной известкой печи. И глядела на лежавшее перед ней письмо.

— Ну зачем ты, сестра, подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила... Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

— Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ночью, перед самым рассветом, на Пекашино налетел страшный ветер, или торох по-местному, и дров наломал — жуть! Где разметал зароды с соломой и сеном, где повалил изгородь, где сорвал крышу, а у маслозавода тополь не понравился — пополам разодрал.

И пришлось Михаилу, как всегда выбежавшему из дому ни свет ни заря, сворачивать с дороги да обходить зеленый завал стороной.

Больше всего, конечно, пострадали от тороха вдовьи хоромы, к которым бог знает сколько времени уже не притрагивалась похозяйски мужская рука.

Завидев Михаила, бабы протягивали к нему руки, упрашивали, умоляли:

— Михаил... Миша... Помоги...

Нет, дудки! Плевать я на вас хотел. Пальцем не пошевелю. Как бумагу подписать — вы в стороны, а прижало — Миша...

Он пушил, клял этих разнесчастных дурех на чем свет стоит и заодно клял себя, потому что знал: пройдет день-другой — и он снова подставит им свое плечо. Так уж повелось со времен войны: что бы ни случилось, что бы ни стряслось у девушек — так с легкой руки Петра Житова в Пекашине называют солдатских вдов, — к нему бегут. К Михаилу. И бесполезно говорить, что в деревне сейчас, помимо него, еще кое-какое мужское поголовье завелось. Не слышат.

На дороге возле сельпо, на всю улицу чертыхаясь, разбирала ночную баррикаду из пустых бочек и ящиков Улька-продавщица — и тут, оказывается, торох поработал.

Ульке пособить надо было в первую очередь — смотришь, скорее лишняя буханка и кусок сахара тебе перепадут, но, черт побери, мог ли он тут задерживаться, когда перед ним маячил растерзанный, растрепанный дом председателя!

Дом Лукашиных со сбитыми и содранными тесницами Михаил увидел еще от клуба — так и выпирали в утрешнем небе голые, непривычно светлые балки и стропила, и вот, хотя Улька-продавщица сразу же начала зазывать его к себе, он протопал мимо на полном ходу, даже не взглянув на нее. И вообще, сейчас, в эти минуты, сам дьявол не мог бы остановить его.

На дом, на крышу к Лукашиным! Назло всем, всей деревне!

Вбежав в заулочок, сплошь закрещенный тесницами, Михаил первым делом поднял их с земли, поставил на попа возле крыльца, чтобы легче, без задержки было поднимать на дом, затем кинулся искать топор.

Заглянул на крыльцо, заглянул в дровяник — нету. Должно быть, Лизка, хозяйничавшая в эти дни у Лукашиных, убрала подальше.

— Помощников не надо?

Михаил, в раздумье топтавшийся подле крыльца (не хотелось идти к соседям за топором), повернул голову и увидел Раечку. Стоит у раскрытой калитки со стороны дороги и улыбается. Хорошо вылежалась на своих мягких пуховиках!

Злость закипела в нем.

— Иди, иди! Помощница... Уж коли ты такая смелая до охочая, ночью надо было помогать, а не сейчас.

Сказал и еще пуще закипел. Ведь что подумала Райка? На чей счет приняла его слова? На свой. Дескать, чего сейчас толковать, какое у парня с девкой дело днем, при белом свете, на виду у всех?

— Да не выдумывай ты чего не надо! До тебя мне сегодня было, когда я всю ночь по деревне с письмом шлепал!

— С каким письмом?

— Здравствуй! Да ты, может, и насчет Лукашина не слыхала? — Михаил глянул прямо в глаза Раечке и врубил: — Письмо насчет того, чтобы председателя нашего освободили, поскольку, сама знаешь, не за что такого мужика...

Раечка кивнула.

— Ну ладно, чего там растабарывать, — уже без всякого запала сказал Михаил. — Сама знаешь, какой у нас народец. Три человека подписались... — И он, порывшись в карманах, неизвестно для чего вытащил мятое-пермятое письмо.

Раечка взяла письмо в руки, разостлала на столбике калитки, старательно разгладила... А дальше — черт знает что! Вытащила откуда-то химический карандаш и прямо по белому — свою подпись.

— Да ты что? — только и мог сказать Михаил. — Не читавши, не знаяши, прямо с закрытыми глазами...

А еще какую-то минуту спустя он глядел вслед бойко взбегавшей на угорышек Раечке, ловил глазами ярко горевший в ее тяжелой

светло-русой косе бант и говорил себе: да, вот и все. Вот и кончилось твое холостяцкое житье...

Долго, годами канителился он с Райкой. Долго не прошибала она его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас за какие-то пять минут все решилось.

Надолго. Навсегда.

## 2

Первые тесницы Михаил поднимал на дом один, а потом подошла с коровника Лиза, и работа у них закипела.

Под конец к нему пожаловал еще один помощник — Петр Житов.

— Так, так, мальчик! — одобрительно закричал, задрав кверху голову. — Это мы можем. Это по нам — махать топором...

Михаил взглядом не удостоил Петра Житова. Пускай, пускай пожарится на собственных угольках, потому как малому ребенку было ясно, зачем пожаловал сюда Петр Житов. Затем, чтобы совесть свою успокоить. После их ночного объяснения.

Петр Житов напоследок даже к Ульке-продавщице не поленился скататься дескать, давай, Пряслин, мирными средствами разрешим вчерашний конфликт, но Михаил, спустившись с крыши, неторопливо и деловито отряхнулся, закурил на дорогу, а Петр Житов так и остался стоять в заулке с бутылкой в руке.

До медпункта Михаил шел как напоказ — знал, что Петр Житов сзади смотрит, — а от медпункта полетел сломя голову. С быстротой человека, бегущего на пожар. Да у Ильи Нетесова, похоже, и в самом деле было что-то вроде пожара все боковое окошко пылало заревом.

Надо сказать, что дым над нетесовским домом Михаил видел еще с крыши Лукашиных, но ему и в голову не приходила мысль о беде. Ведь рядом, по верхнюю сторону Нетесовых, — сельповская пекарня, и чего-чего, а дыму от нее хватает.

Его опасения, слава богу, оказались напрасными.

В доме был сам хозяин и, ни мало ни много, топил печь.

Запыхавшийся Михаил нетерпеливо махнул рукой в сторону ребятишек уймись, дьяволята! (те беззаботно, на все голоса

переговариваясь с пустой, еще не захлавленной избой, носились по кругу друг за дружкой) — подсел к столу.

Илья тоже вскоре оседлал табуретку.

— В отпуск приехал всем табором? — спросил Михаил, кивая на ребят.

Илья по глухоте своей не понял сразу, и пришлось дать звук на полную мощность:

— В отпуск, говорю, приехал? Как рабочий класс?

— Не. Насовсем.

— Как насовсем? — оторопел Михаил.

— А ближе к своим...

— К могилам?

— Аха.

— К могилам-то ближе, а как их-то кормить будешь? — Михаил, морщась от ребячьего крика, сердито повел глазами на избу.

— Как-нибудь... Я думаю, жизнь теперь к лучшему повернет.

— С чего? — Михаил тут просто заорал: после смерти дочери и жены Илья совсем малахольным стал. — А председателя нашего тоже к лучшему закатали?

— Ну, это дело поправимо, сказал Илья. Но сказал уже потише, с некоторой заминкой.

И все-таки Михаил не пощадил его, а снова ударил по черепу — до того в нем все вдруг вздыбилось да ошетинилось!

— А кто, кто будет поправлять-то? — заорал он вне себя. — Мы, колхозники, да? Наш ведь председатель-то, правильно? Правильно я говорю, нет?

Илья согласно кивнул. Ребята, перестав бегать, усталились на них.

— Ну так вот, полюбуйся! — Михаил выхватил из кармана письмо, прихлопнул его своей тяжелой лапой к столу. — Полюбуйся, как поправили колхознички!..

Илья не спеша, с обычной своей обстоятельностью развернул бумагу, надел очки.

Читал долго, хмурился, вздыхал — в общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться.

Наконец нашел:

— Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической линии. В части того, что Лукашин нарушил закон. Есть такой закон —



в хлебопоставки никакой раздачи хлеба. Так что арестовали его по закону. Но учитывая, что данный председатель нарушение сделал, исходя не из личных интересов...

Михаил, не дослушав, отвернулся. Нет ничего хуже — смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки!

А в общем-то, ежели говорить начистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил. Партийный... Характер, известно, не матросовский. Всю жизнь Марьи боялся...

Э-э, да чего на пристяжных отыгрываться, когда коренники не тянут!

Михаил протер рукой заплаканное, запотелое окошко.

По дороге вышагивали Петр Житов и Егорша. Петр Житов тянул протез пуще обычного, так что можно было не сомневаться, что с бутылкой он уже справился. Может быть, даже не без помощи Егорши.

Михаил встал:

— Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора... — И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.

Илья подписывал письмо.

Четко, со старательностью школьника выводил свою фамилию. Буква к букве и без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает.

Потом подумал-подумал и добавил:

Член ВКП(б) с 1941 года.

В небе летели журавли.

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в теплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький — всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни.

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было.

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся

журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна.  
Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей.

*1973*

**Дом**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Пес лежал в воротах сарая — передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза — угли раскаленные: так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин. Спина и шея у Михаила взмокли: нет ничего хуже обдирать созревшее межножье да седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окаянные — поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел да миновал подбрюшье — одно удовольствие: нож в балку над головой и давай-давай орудовать одними руками...

Снятую, вывернутую наизнанку овчину — ни единого пореза, блеск работа он собрал в большой, расползающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо повертывая подвешенного на распялке барана, хозяйским, оценивающим взглядом обвел его тугие, белые от сала бока.

— А барька-то ничего, а?

Не жена ответила — пес клацнул голодными зубами. Он вырубил хвост, не глядя бросил Лыску и опять залюбовался забитой животинной.

— Баран-то, говорю, подходящий. Чуешь?

— До осени подождет бы, еще подходящей был.

— До осени! Может, еще до зимы, скажешь?

— Да как! Кто это под нож скотину в такую жару пущает?

— А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?

Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа — сверху донизу — распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности лавой хлынули на свежую, вновь подостланную солому.

— Воды!

За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула Звездоня — замаялась, бедная, от жары, — взвизгнул нетерпеливо Лыско. А

хозяйка, его помощница? Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбке: белые подколенки жены, склонившейся над ведром, увидел. Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрайкам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мякотькая, свеженькая — час какой назад в огороде накопил...

— Куда лить-то? Чего молчишь?

— Погоди маленько... Перекур надо...

— Перекур? Это барана-то с перекуром резать?

— А чего? Передохнуть завсегда полезно... — Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом.

Раиса попятилась к двери, за которой томила корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками:

— Ты в эту Москву съездил... рехнулся...

— Дура пекашинская! С тобой и пошутить нельзя!

Михаил забежал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок: не лезь на глаза, когда не просят!

## 2

Круто забирал июль.

Мясо, пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал — ступой толк да утрамбовывал, и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, так что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку.

На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплескался водой из ушата (не нагрелась еще, в тени стояла), затем, войдя в кухню, переоделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие, вьетнамского подела, довольно улыбнулся: месяца не гулял в столице, а поправился — насилу застегнул верхнюю пуговицу.

Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить-печь? Для мух выставила на стол печень и почки?

Михаил заглянул на одну половину — на всю катушку радио, заглянул на другую — и у него дыбом встала бровь: Раиса давила

кровать.

— Это еще что за новая мода — с утра на вылежке?

Взвыли, стоном простонали пружины — Раиса рывком отвернулась к стене: разговаривать с тобой не хочу. Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди, повернул к себе лицом. Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых немигающих глаз. А ведь было время лето жило в этих глазах. Круглый год, всю зиму. И, помнится, покойный Федор Капитонович, провожая их в день свадьбы, так и сказал: «Не дочь — лето ты уводишь из моего дома».

Нелады у них, конечно, бывали и раньше — как всю жизнь проживешь гладко? — но чтобы сиверко задул на месяцы — нет, этого еще не бывало. Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила. Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пекашино, по два, по три месяца живет в теткинском доме со своим выводком (девятиерых отгрохала, рекорд по сельсовету держит), а чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить — нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал, когда племянница о покойнице вспомнит (самый захудалый столбик на всем кладбище), да и не выдержал: весной, когда Раиса как-то уехала в район в больницу, и поставил пирамидку. Узнала. Кто-то брякнул из дорогих землячков.

— Мясо-то, говорю, само в печь залезет, але соседей позвать?

— Отстань! Видеть не могу я это мясо, а не то что варить.

— Больно заелась, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ране устраивали.

Раиса — не сразу — сказала:

— Может, мне в больницу, в район съездить?

— Тебе в больницу? Зачем?

— Зачем, зачем... Зачем бабы в больницу ездят...

Какое-то время он озадаченно, выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену — какая еще ей больница? — и вдруг все понял.

— Дак это ты... — Дух захватило у него от радости. — Давай, давай! Солдаты надоть. За мир будем бороться.

— Весело, ох как весело! Только зубы и скалить. Девки обе невесты, а мать с брюшиной переваливается. Что о нас подумают?

— А это уж ихнее дело! Пушай что хотят, то и думают, — отчета давать не собираюсь. Сказано тебе было: до тех пор рожать будешь, покамест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекачивать.

Больше Раиса не перечила. Но, вставая с кровати, все-таки кусанула:

— Парни-то ноне тоже не золото. Не дай бог как ваш Федор, по тюрьмам смалу пошел.

— Ладно! Хозяйка! Гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.

— Што, я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек...

И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал, а я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:

— Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича... — Он помолчал немного, хрустнул пальцами. — А с той как будем? Сразу сказать аля как?

— Папа, папа, автобус не в час, а в два будет! — В спальню, вся запыхавшись, влетела Анка, худущая, длинноногая и зеленые глаза навывкате, как у козы.

— Ты бы не автобус караулила, а за землянкой сбегала. Чем людей-то угощать будешь?

— Сбегаю. А тебе в контору велели.

— Кто? Управляющий?

— Ага. Пушай, говорит, отец сейчас же идет, к сену ехать надо.

— К сену... Он, поди, опять хочет запереть меня на Верхнюю Синельгу. Дудки! Я тридцать лет комаров кормил на этой Верхней Синельге, а теперь пушай другие покормят.

Михаил перевел взгляд на Раису расчесывавшую волосы перед зеркалом.

Как в чащобу, как в бурелом вламывалась гребнем — треск стоял в комнате, вот какая грива у сорокалетней бабы!

Расчесала, завила в тугой узел на затылке, накрепко зашпилила.

Тут у ей сидит главная-то злость, гроза-то подумал Михаил и спросил:

— Дак как, говорю, будем с той? Чего удила закусила? Сестра ведь первый спрос у братьев об ней будет.

Раиса — дурь нашла — так и вышла из спальни не сказав ни слова.

До прихода почтового автобуса оставалось часа полтора, не меньше, и что было делать, за что взяться? Расколоть дрова, напиленные еще до поездки в Москву, отметить навоз у коровы, грабли, косы достать с подволоки да хоть пыль с них стереть, обручи на разохшейся кадке набить... Уйма всяких дел скопилась по дому!

Михаил отправился под угор, на свой покос. Вот о чем надо было позаботиться в первую очередь. С кормами в совхозе, как и раньше, в колхозное время, было туговато. Прошка-ветеринар каждую весну строчил акты об авитаминозе с летальным исходом (в Пекашине все знали эти мудреные слова), и вот те совхозники, у кого еще водились коровенки и овцы, добрую половину своих приусадебных участков засеивали горохом, викой и овсом, а то и просто запускали под траву.

Целый месяц Михаил не был на своем пряслинском угоре (так ныне зовут угор против его нового дома) и как вышел к амбару да глянул перед собой так и забыл про все на свете. Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу (первый раз в жизни не видел, как одевалось подгорье зелению), а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок-желтык, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса — синие, бескрайние, до самого неба...

В Москве чего только он не видел, куда только его не таскала Татьяна: и на выставку народного хозяйства, и в Кремль, и даже в Большой театр, куда и иностранцам-то не всегда ход есть, а нет, все не то, все ерунда по сравнению с этой вот доморощенной красотой, с этой ширью да с этими просторами.

И он снова и снова делал заход глазами, жадно ловил, вдыхал травяной ветер, а потом не выдержал и безрассудно, как молодой конь, со всех ног ринулся под угор. А под угором он отбросил в сторону топор и — хрен с вами, дивитесь, люди! — начал кататься по траве.



И еще одно мальчишество: не дорогой, не тропинкой пошел, а лугом, целиной — пускай потом косарь клянет все на свете. Шел, срывал на ходу борщевки, грыз их сладкие стебли и ногами, коленями переговаривался с разомлевшими на солнце травами...

Под полоем, возле сельповского склада, кто-то косил на лошадях — так и вспыхивала на солнце белая голова.

Это Михаила немало удивило. Почему на лошадях? Почему не на тракторе? Слава богу, хватает нынче железа в деревне. А кроме того, что за болван этот косильщик? Есть у него хоть одна извилина в башке? В самую жару на самое пекло вылез — неужели нельзя сообразить, что лошадям сейчас легче под горой, возле озерины? Нет, будь у него время, он бы не поленился — растолковал этому сукину сыну сенную политграмоту!

Травяное поле у Михаила было на старых капустниках, напротив его старого дома, и он еще издали увидел: хорошо уродился горох. Ни одной проплешины, ни одной прели.

Изгородь — от совхозных коней, — как он вскоре убедился, обоняя вокруг поле, тоже неплохо сохранилась. Нужно было заменить лишь кое-где подгнившие колья.

За делом, за работой, по которой он порядком истосковался в Москве, Михаил и не заметил, как подъехал косильщик. Увидел, когда тот его окликнул.

— Дядя Миша, задымить е?

— Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался!

Но черта с два смутишь Борьку! Сверкнул на солнце белыми жерновами — не рот, а целая мельница, вывернул:

— А чего? Сам же в позапрошлом годе сказал: зови дядей Мишей. Не помнишь, на Октябрьской супротив школы пьяный встретился?

Михаил не помнил. Но, может, и говорил. Находила на него иной раз блажь — комок к горлу подступал, когда встречал Егоршина отпрыска: вроде и ничего общего с отцом — коренастый, весь как веревка, как узловатая сосна, свит из мускулов, глаза круглые, рысьи, — но ему вдруг приходил на память Егорша, ихняя дружба-товарищество, и срывались, срывались с губ непрошенные слова. Но это случалось с ним редко, только в пьяную минуту, а в обычное время он видеть не мог это отродье. Потому что как забыть? Не успел откочевать в том памятном пятидесятом году Егорша из района, как

начала пухнуть Нюрка Яковлева, а потом — нате — получайте Бориса Егоровича, новоиспеченного братца Васи.

Борька подошел развалистой походочкой, с ухмылкой, закурил — как откажешь? — но когда, выпустив дым изо рта, чисто по-отцовски цыкнул слюной сквозь зубы, Михаил заорал как под ножом:

— Ты в городе вырос, что ли? Какого дьявола мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в мыле!

Борька с показным интересом посмотрел на луг, пожал плечами — вроде как не понял, о чем речь, — и тогда Михаил уже совсем вышел из себя:

— Я говорю, есть, нет у тебя башка на плечах? Почему в такое пекло не от горы косишь? Не видал, как люди делают?

— Да будет тебе разоряться-то! Теперека не старые времена все-то командовать.

— Что?

— Не демократия, говорю, колхозьска, — без малейшей задержки выпалил Борька. Знал, гад, как отец, знал нужные слова и, как отец, умел сказать их к месту. — Есть у нас начальников-то. Немало. Деньги за это получают.

— А раз начальник не видит — делай что хочешь?

Борька примирительно ухмыльнулся:

— Да хватит, говорю, честных-то тружников калить. Этих одров, — он кивнул на блестящих на солнце запаренных лошадей, — все равно осенью на колбасу погонят. Ты бы чем подрастающему поколению разгон давать, сестре своей приструнку дал.

— Это какую же приструнку? Насчет дома? — Михаил слышал от людей: подала Борькина мать заявление в сельсовет — требует своей доли в ставровском доме.

— А чего? Я сын родной, а какие ейные права? Она теперека сбоку припека...

У Михаила заходили глаза, запрыгали губы — какими бы поувесистее словами оглушить этого гаденыша, чтобы у него раз и навсегда отбить охоту заводить разговор насчет ставровского дома? И вдруг, глянув в сторону своего дома, увидел на угоре двух мужиков с вьющейся вокруг них, как белый мотылек, Анкой. Братья, братья приехали! Петр и Григорий...

И тогда все разом вылетело из головы: и ставровский дом, и изгородь, и Борька, — и он со всех ног бросился навстречу уже сбегавшим с угора своим дорогим двойнятам.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

— Так, так, браташа! Собрались, значит, к брату-колхознику? Нет, ребята, теперь не к колхознику надо говорить. К совхознику. Кончилась колхозная жистянка... Долгонько, долгонько собирались. Когда в последний раз виделись? Семь лет назад, когда мать хоронили? Так?

— Так.

— Да, — вздохнул Михаил, — не пришлось покойнице пожить в новом доме. И вслед за тем горделивым взглядом обвел горницу, или гостиную, как сказали бы в городе.

Все новенькое, все блестит: сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену — подарок Раисе от Татьяны... В общем, обстановочка — в городе не у каждого. И он подивился, покосившись на братьев. Пестрые застиранные ковбечки, в каких у них на работу ходят, парусиновые туфельки... А насчет барахлишка и подавно говорить нечего. С рюкзачками, с котомочками заявили. Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит!

— Давай, — Михаил поднял стопку, — со свиданьем! — И предупредил, с подмигом кивая на стол: — Это мы так покудова, для разминки, как говорится, а основное-то у нас вечером будет...

Петр выпил — всю, до дна стопку осушил, — а Григорий только виновато улыбнулся.

— Ну нет, так у нас не пойдет. Да ты откуда такой взялся? К старшему брату в гости приехал аля в монастырь?

— Ему нельзя, — сказал Петр.

— Знаю. А у него у самого-то язык есть?

И опять ни слова, опять кроткая, виноватая улыбка обмыла льняное лицо Григория.

А в общем-то, с Григорием ясно. Все такой же двойняшка. Худущий, насквозь просвечивает. Просто святой какой-то, хоть на божницу ставь вполне за икону сойдет.

А вот Петр... К Петру не знаешь как и подобраться, за что уцепиться. Как речной камень-голыш, который со всех сторон водой обточило. Или это все оттого, что бороду отпустил? Бородка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого в семнадцатом году скovyрнули. Татьянин муж деньги старые собирает, так он, Михаил, посмотрелся на этого бывшего царя.

— Ты это бородой-то обзавелся, чтобы от брата отгородиться? — по-доброму пошутил Михаил. — Ну правильно. А то ведь, бывало, не то что чужие, я, родной брат, не каждый раз угадаю, кто из вас Петька, кто Гришка. Ей-богу!

— А я сразу угадала, который дядя Гриша, — сказала Анка.

— Как?

— Тетя Лиза сказывала.

Михаил не стал уточнять у дочери, что сказывала тетя Лиза. С него довольно и того, что произошло с братьями при одном упоминании имени сестры. Оба вдруг ожили, оба вдруг глазами в него. И было, было у него искушение рубануть со всего плеча, ведь все равно придется говорить, но вместо этого он закричал на весь дом:

— Эй ты там! Уснула?

И тут с кухни наконец пожаловала Раиса, прямая, статная, и принарядилась — уважила гостей. Но голову от миски с мясом отвернула видно, и в самом деле понесла.

Михаил, довольный, заржал.

— Предлагаю выпить за будущего солдата!

— За кого? За солдата? — переспросил Петр.

— Чуваки! У нас со старухой на эту пятилетку твердое задание наследника!

— Не плети чего не надо! При ком язык-то распускаешь?

Михаил смущенно крякнул, поглядел на младшую дочь, пристроившуюся возле дяди Гриши, сразу, с первой минуты к нему присосалась, дал команду — на улицу.

Когда закрылась за Анкой дверь, притворно вздохнул:

— Вот так и живем, браташки. Совсем заездила супружница.

— Тебя заездишь! Ты в эту Москву слетал — совсем ошалел.

— Да, ребята, слетал. Повидал белый свет! — Михаил встал, принес из спальни увесистый альбом в дорогих бархатных корках, с золочеными буквами, трахнул по столу. — Вот мое пребывание в столице нашей родины. Татьяна тут все моменты зафотографировала.

Карточек было много. Михаил с сестрой, Михаил с зятем, Михаил со сватом, то есть со свекром Татьяны... Само собой, был увековечен Михаил в пестрой толпе и у ленинского Мавзолея с двумя замершими у дверей часовыми-гвардейцами, и возле знаменитых фонтанов на выставке, и возле царь-пушки.

— Да, ребята, золотой билет вытщила наша Татьяна. Я три недели у ей пожил — ну, скажу, в коммунизме побрал. Ей-богу. Без пивка да без водочки за стол не саживался. Дача двухэтажная, квартира пять комнат, машина, прислуга... Помните, как, бывало, Татьяна Ивановна зимой за хлев босиком бегала вместе с вами? А теперь — подай, поднеси. Да на блюдечке... В газетах-то читаете? «Высоких гостей на Внуковском аэродроме встречали товарищи... маршалы, а также деятели культуры и другие представители общности столицы...» Ну дак в этих «других представителях» и наша Татьяна. Два раза при мне на этот Внуковский аэродром каталась. Со свекром.

— Со свекром? — удивилась Раиса. — Пошто со свекром-то? Разве мужика у ей нету?

Михаил насмешливо постучал кулаком по столу.

— Темнота пекашинская! Мужик-от у ей есть, и мужик — душа-человек, видела ведь, чего спрашиваешь? Да на этот аэродром не за душу пускают. Говорю, Борис Павлович, свекор ейный, шишка большая, всема каменными памятниками заправляет, а ему положено с супругой. Ну а он как человек вдовый Татьяну за собой волокет. Дошло теперь?

— Я не знаю, что за такой муж, — не унималась Раиса, — жену одну отпускает...

— Да не одну, с отцом! Чем слушаешь-то? Хороший старикан. Меня все кумом называл. «Ну как, кум, твердо решил: никуда не годится шампань?» Подшучивал, сам только шампанское примает. А у меня дак с этой шампани брюхо, ребята, пучит, пьешь-пьешь его — все без толку. Да я и клоповник этот, коньяк, не больно уважаю. Я пивко да

водочку лучше всего. А муж у Татьяны, тот только шипучую водичку. Ни грамма спиртного. — Михаил покачал головой. — Вот человек для меня загадка! Не видали его? Хрен его знает, как вам сказать... Сказать чтобы больно умен, ума палата... Летом, видали, по деревням ездят-шныряют — прялки, ложки, туеса, всякое старье собирают? Дак он из тех самых старьевщиков... Иконы особенно уважает.

— И что он с этими иконами делает? — спросила Раиса. — Молится?

— Ну, он молится-то, положим, на другие иконы. Представляете, — Михаил игриво подмигнул братьям, — на каждой стене Татьяна. И в нарядах и без нарядов. По-всякому... В умывальнике, и в том Татьяна... На белом кафеле эдакая картиночка...

— Ну, хорошему, хорошему научит племянниц тетушка.

— А не возражаю. Хорошо бы хоть одна пошла в тетушку. Вера и Лариса у меня ведь в Москву уехали, — пояснил Михаил братьям. — Отец из Москвы, а дочери в Москву. Вот так ноне у Пряслиных.

Хоть какое бы впечатление! Хоть бы один вопрос! Как там Татьяна? Что? Девка, прямо скажем, на небо залезла. Гордиться такой сестрой надо, бога молить за нее. А брат ихний почти целый месяц в Москве выжил — это как? Тоже неинтересно? Правда, с одной стороны, такое безмолвие близнят льстило ему. Года годами, образование образованием, а не забывайся, кто говорит. Брат отец. А с другой стороны, где они сидят? На встречах или на бывалошном колхозном собрании, на котором районные уполномоченные выколачивают дополнительные налоги или заем? Да, там боялись рот раскрыть, потому что, что бы ты ни сказал — против, за, — все худо, за все взыск: либо от начальства, либо от своего брата-колхозника...

А-а, догадался вдруг Михаил, дак это вот что у них на уме... И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы:

— Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро два года как к дому своему близко не подпускаю.

Григорий зажмурился — с детства от всех страхов закрытыми глазами спасался, — а у Петра будто лоб распахали — такими морщинами пошла кожа.

— Да разве вам она не писала? — спросил донельзя удивленный Михаил.

— Ну и ну, вот это терпенье, — по-бабьи запричитала Раиса. — Тут не то что люди — кусты-то все придивились.

— В общем, так. — Михаил налил водки в стакан с краями вровень, залпом выпил. — Вася потонул четырнадцатого октября, а пятнадцатого февраля помирать стану, не забуду этот день: «Михаил, у тебя сестра с брюхом...» Понимаете?

— Беда, беда! — снова запричитала Раиса. — Как Пекашино на свете стоит, такого сраму не бывало. Кошка и та, когда котят порушат, сколько времени ходит, стонет, места прибрать не может, а тут одной рукой гроб с сыном в могилу опускаю, а другой за мужика имаюсь...

По худому, нездоровому лицу Григория текли слезы, Петр закаменел только борода на щеках вздрагивает, — а на самого Михаила такая вдруг тоска навалилась, что хоть вой. Застолье не ладилось. Сидели, молчали, как на похоронах. Будто и не братья родные после долгой разлуки встретились. И Раиса тоже в рот воды набрала. В другой раз треск — уши затыкай, а тут глаза округлила — столбняк нашел.

Наконец Михаила осенило:

— А знаете что? Дом-то мы новый еще ведь и не посмотрели! Ну и ну, ну и ну! Сидим, всякую муть разводим, а про само-то главное и позабыли.

## 2

Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню. Причем что удивительно! На зады, на пески, к болоту все качнулись: там вода рядом, там промышленность вся пекашинская — пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну а Михаил плюнул на все эти расчеты — на пустырь, на самый угол, против Петра Житова выпер.

Зимой, правда, когда снега да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной — красота. Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди, из-за мыса выплывают... А что это за праздник, когда птица перелетная через тебя

валом валит! Домой уходить не хочется. Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой...

Григорий — чистый ребенок, — едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворешню — как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался: не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка.

Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату дескать, брось ты эту ерундовину, — он сам любил говорливых скворчишек, а только легонько похлопал того по плечу: потом, потом птички. Найдется кое-что и позанятнее их.

Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать — с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей: погреб, мастерская, баня.

Петр Житов такое придумал. От него — кто с руками — переняли. В погребе задерживаться не стали — чего тут интересного? Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивает, а все остальное известно: кастрюли, ведра, кадки, капканы на деревянных крюках, сетки...

Другое дело — мастерская. Вот тут было на что подивиться. Инструмента всякого — столярного, плотницкого, кузнечного — навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фрунт, навтыяжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное — долота, сверла, напарьи, фуганки, рубанки — все было в блеске. Михаил любил инструмент, с ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной ни зайдут, первым делом: а где тут железо рабочее?

Петра заинтересовал старенький, с деревянной колодкой рубанок.

— Что, узнал?

— Да вроде знакомый.

— Вроде... Степана Андреевича заведение. Тут много кое-чего от старика. Ладно, — Михаил пренебрежительно махнул рукой, — все эти рубанки-фуганки ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я вам одну штуковину покажу — это да!

Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием, покачал на ладони.

— Ну-ко давай, инженера. Что это за зверь? По вашей части.



Петр снисходительно пожал плечами: чего, мол, морочить голову? Металлом! И Григорий в ту же дуду.

— Эх вы, чуваки, чуваки!.. Металлом. Да этот металлом — всю Пинегу перерыть — днем с огнем не сыщешь. Топор. Первостатейный. Литой, не кованый. Вот какой это металлом. Одна тысяча девятьсот шестого года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе при Николашке делан. А заточен-то как — видите? С одной стороны. Как стамеска. Вот погодите, топорище сделаю да ржавчину отдеру — вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то он как ко мне попал, знаете? Охо-хо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте!

Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал:

— Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была! У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора... Ну, которые статуи делают. И вот все: я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду... А одна лахудра, — Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, — на ногу мою обзарила. Ей-богу! Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? «Да сходи ты к ей, — говорит Татьяна, — она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги. Все они чокнутые...» Ладно, поехали в один распрекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим — тоже мастерская называется: статуев этих — навалом. Головы, груди бабьи, шкилет... Это у их первое дело — шкилет, ну как болванка вроде, чтобы сверку делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили — вкусно, шкилет тебе из угла своими зубками белыми улыбается... Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю это сымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может, штанину до колена закатываю, а она: нет, нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кажинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь — куда еще чище? А оказывается, чистая натура это сымай штаны да рубаху...

Михаил вовремя остановился, потому что разве с его двойнятами про такие вещи говорить? Хрен знет что за народ! За тридцать давно

перевалило, а чуть начни немного про эту самую «чистую натуру» — и глаза на сторону...

В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали — тут техника недалеко шагнула: все тот же колун с расшлепанным обухом да чурбан сосновый, сук на суку. Прошли прямо к въездным воротам. Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот, а вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе.

Чудо-ворота! Широкие, на два створа — на любой машине въезжай, столбы на века — из лиственницы, и цвет красный. Как Первомай, как Октябрьская революция. И вот все, кто ни едет, кто ни идет — чужие, свои, пекашинцы, все пялят глаза. Останавливаются. Потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пинеге.

И Раиса, которая букой смотрела, когда он их ставил («На что время тратишь?»), теперь прикусила язык.

— А в музыку-то мою поиграли? — Михаил с силой брякнул кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновенье блаженно закрыл глаза: такой гремучий, такой чистый звон раскатился вокруг. — Это чтобы без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы — хуже?

В это время еще одно кольцо забренькало — у соседей. Калина Иванович из дому вышел — с котомкой, с черным, продымленным чайником, а следом за ним сама.

— Знаете, нет, кто это? — быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. Не знаете? Да это же Калина Иванович! Дунаев!

— Дунаев? Тот самый Дунаев?

— Да, да, тот самый!

— Это о котором статья-то нынешней зимой в «Правде Севера» была? — Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым под боком жила.

— Статья!.. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите: комиссар гражданской войны! Самого Ленина видал...

Котомка была явно не по старику — его качнуло, обнесло, и Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа:

— Держи, держи крепче! Чего ворон считаешь?

— Замолчи, к лешакам! Без тебя тошно.

— Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька-угар прозвали.

Михаил потащил братьев на соседнее подворье. Прямо через воротца в старой изгороди. С Евдокией — просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно. Все прошла, все вызнала, где ни бывала, кого и чего ни видала ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой и осталась. Даже одежду и ту на деревенский пошиб носила: сарафан, какой сейчас и на самой старорежимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетенья, безрукава... Зато уж с Калиной Ивановичем будь начеку. Вроде бы старичонко, сушина наскрозь просушенная, вроде бы ветошь, как все в его возрасте, да вдруг так скажет, такую породу выкажет — сразу по стойке «смирно» уши поставишь. И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем.

— Куда это наострил лыжи? — с ходу закричал он старику. — Не на Марьюшу?

— Да, имею такое намеренье.

— Погодь до завтра. Праздник сегодня. Посидели бы вечерком, у меня братья приехали.

Тут Калина Иванович полез за очками — худо видел, а охоч был до свежих людей.

Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с ниточной окруткой над переносьем, но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась.

— Очень приятно, очень приятно, молодые люди. — И за руку с обоими.

— А раз приятно, дак оставайся до утра, — опять начал урезонивать старика Михаил. — Завтра вместе поедем.

Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену.

У той фарами запылали синие глазища.

— Не поглядывай, не поглядывай! Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим.

— Во, во дает! — рассмеялся Михаил и подмигнул братьям.

— Не скаль, не скаль зубы-то! Вишь ведь разъехался! — Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. — Не боишься, как раскулачат?

— Не раскулачат, — ловко, без всякой натуги отшутился Михаил. — Сейчас не старые времена — бедность не в почете. На изобилие курс взят. Я в Москве был — знаешь, как там живут? У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве сто сорок голов лошадиное стадо.

— Плети! С коих это пор в городах лошадей стали разводить?

— Чего плети-то! Две машины — одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по семьдесят кобыл. Считай, сколько будет.

Больше Евдокия не слушала. Стащила с мужа котомку, взяла у него из рук чайник, косу, обернутую в мешковину, и на дорогу — сажеными шагами работающей крестьянки.

Калина Иванович еще хорохорился: дескать, надеюсь, молодые люди, увидимся, потолкуем, — а старыми-то руками уже шарил по стене возле крыльца — своего помощника искал.

Михаил подал старику легкий осиновый батожок — тот на сей раз стоял за кадкой с водой — и, провожая его задумчивым взглядом, сказал:

— Вот такая-то, ребята, жистянка. Сегодня мы верхом на ей, а завтра она на нас. Н-да...

Лыско развалился посреди заулка, или двора, как теперь больше говорят: ничего не вижу, ничего не слышу. Хоть все понесите из дому. И клочья линялой шерсти по всему заулку. Вот пошла собака! И надо бы, надо проучить подлюгу, двинуть разок как следует — не забывайся, да Михаил и так чувствовал себя виноватым перед псом: давеча в сарае налетел — расплачивайся пес за то, что хозяин с бабой совладать не может.

— Ну что будем делать-то? Снова за стол але экскурсию продолжим?

На Григория он не взглянул — давно понял, в чьих руках завод, но и Петр — где его предложенья?

— А не принять ли нам, ребята, душ изнутри, а? Шагайте в мастерскую, я моменталом.

Михаил сбегал на погреб, принес две холодненькие, запотелые бутылки московского пивка — специально для Калины Ивановича берег, — разлил по стаканам. Его дрожь сладкая пробрала, едва обмочил пересохшие губы в холодной резвой пене, а как Петр и Григорий? А Петр и Григорий, ему показалось, и не заметили, что пиво московское пьют.

— У меня это заведение хитрое, ребята. — Он обвел хмельным глазом мастерскую. — Когда работаю, когда процедуры принимаю. Неясно выражаюсь? Чуваки! Население-то у меня какое? Женское. Ну и насчет там всякого матерхата не больно разойдешься. А здесь стены крепкие, кати — выдержат.

Михаил от души рассмеялся — ловко закрутил — и вдруг полез за койку, вытащил оттуда полено, плашку березовую.

— Ну-ко скажите — в институтах учились, — с чем это едят-кушают? Почему хозяин его бережет? Эх вы, инженера! Спальное полено. И это непонятно? А домто я как строил — вы подумали? Людей брал только на окладное да на верхние венцы, а тут все сам. Капиталов-то, сами знаете, у меня — не у Ротшильда. Да еще колхозная работа целый день. И вот по утрам топориком махал, до работы. А чтобы не проспять, полешко под голову. Так новый-то дом мы строили... Так...

Петр и Григорий на этот раз сделали одолжение — раздвинули губы. Но только губы. А где глаза? Видят они его своими глазами?

Не хотелось бы, вот так не хотелось бы вправлять мозги гостям, тем более в первый день, а с другой стороны, что это такое? Побасенки он им рассказывает?

— Между прочим, — начал чеканить Михаил и вдруг с остервенением сплюнул: двадцать лет нет Егорши в Пекашине, а ему все еще отрывается это его дурацкое словцо, да и многие другие, замечал он, выговаривают его, как Егорша.

В заулке лениво рявкнул пес — не иначе как Раиса пинком угостила. Точно: послышался плеск воды, ведро грязное опрокинула в помойку.

— Ладно, идите. Все равно с вами каши не сварить, раз у вас в башке дорогая сестрица засела. Да у меня к восьми как из пушки.

Понятно?

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

О приезде братьев Лиза узнала еще вечер от Анки. Та прибежала к тетке никакие запреты ей родительские не указ, — как только пришла телеграмма.

А сегодня Анка еще два раза прибежала и все, все рассказала: и как отец встретил братьев, и чем угощал, и какие разговоры вел за столом. И все-таки вот как у нее были натянуты нервы — выстрелом прогремела железная щеколда в старых воротцах на задворках.

Какое-то время не дыша она глядела в конец заулка на голубой проем между стареньким овечьим хлевом и избой, где вот-вот должны появиться братья, и не выдержала — перемахнула за изгородь (луковую грядку под окошками полола) и так вот босая, растрепанная, с перепачканными землей руками, вся насквозь пропахшая травой, солнцем, так вот и повисла у них на шее. Отрезвление наступило, когда перешагнули за порог избы: в два голоса ревела ходуном ходившая зыбка, завешенная старыми цветастыми платишками.

— Да, вот так, братья дорогие, — сказала Лиза, — не хватило духу написать, а теперь судите сами. Все на виду.

Григорий, заплакал как маленький ребенок. Навзрыд. А Петр? А Петр что скажет? Он какой приговор вынесет?

Петр сказал:

— Мы не судьи тебе, сестра, а братья.

И тут Лиза уже сама зарыдала, как малый ребенок. Господи, сколько было передумано-перегадано, Как она с братьями встретится, как в глаза им посмотрит, какие слова скажет, и вот — «мы не судьи тебе, сестра, а братья»...

Вмиг воспрянула духом, вмиг все закипело в руках: ревунов своих утихомирила, самовар наставила, стол накрыла... А потом увидела — Петр и Григорий перед Васиной карточкой стоят, и опять все померкло в глазах.

— Нету, нету у меня Васеньки... А я вишь вот что натворила-наделала. Вот Михаил-от и отвернулся от меня. Он ведь Васю-то пуще дочерей своих, пуще всего на свете жалел да любил. Все, бывало, как выпьет: «Вот моя смена на земле!» А как беда-то эта случилась, трое суток не смыкал глаз, трое суток рыскал по реке да искал Васино тело...

Петр и Григорий давно уже все знали про смерть племянника, не было письма, в котором Лиза не вспомнила бы сына, но разве есть предел материнскому горю? И, давясь слезами, вместе с братьями глядя на дорогую карточку под стеклом, в черной рамочке, она стала рассказывать:

— У меня тогда как чуяло сердце. С самого утра места прибрать не могу. Коров на скотном дою — ну колотит всю, зуб на зуб не попадают. Где, думаю, у меня парень-то? Который день рекрутит — хоть бы ладно все. Прибежала домой, а парень с ребятами да с девками за реку собирается. В Водяны. Там тоже молодежь в армию провожают. Руками обхватила: не ездь, бога ради, не ездь! Река не встала, лед несет... А он эдак меня одной рукой отпихивает — что ты, мати, солдата не пушу, да еще вот эдак себя в грудь: «Советским танкистам никакие преграды не страшны». Гордился, что в танкисты взяли. Одного со всего Пекашина... Любка, Любка Фили-петуха во всем виновата. Она вздумала на реке шалить, задом вертеть... Все выплыли, все спаслись. И Вася было выплыл, да услышал — Любка кричит: «Помогите!» — на яму вместе с лодкой понесло, ну и опять в ледяную воду... Кинулся за своей смертью...

— Что теперь растревлять себя, сестра! Чем поможешь?

— Не буду, не буду, Петя! — Лиза скорехонько вытерла глаза, заулыбалась сквозь слезы. — Я все про себя да про себя. Вы-то как живете? На вас-то дайте досыта насмотреться. Ну, Петя, Петя, совсем мужик стал. А я, бывало, все боялась: о, хоть бы у нас двойнята-то выросли! А ты, Григорий, я не знаю, — от тебя все войной пахнет. Сейчас кабыть у нас не по карточкам хлеб — можно бы и досыта исть, думаю...

Сели за стол, за радостно клопочущий, распевшийся на всю избу самовар Лиза терпеть не могла электрических чайников, которые теперь были в моде: мертвый чай.

— Ну, братья дорогие, — Лиза высоко подняла сполна налитую рюмку, спасибо, что не погнушались худой сестры... Не дивитесь, не дивитесь — за стопку взялась. С радости! А вообще-то... Страсть отчаянный народ пошел. И я, ребята, отчаянной стала. Не отталкиваю рюмку, нет. Ладно, — вдруг разудало, бесшабашно махнула рукой, — хоть Раисье теперь будет что говорить. Топчет меня, поносит на каждом шагу. Я и сука, я и тварь бездушная, я и сына своего не любила... А я, когда Вася нарушился, замертво лежала, в петлю едва не залезла — вот истинный бог. А спросите меня, как, какой дорогой на скотный двор ходила, — не скажу. Ничего не помнила, ничего не видела. Ну, я себя не защищаю, не оправдываю. Двадцать лет без мужика жила — худого слова никто не скажет. А тут отбило ум, отшибло память; Вот он, Михаил-то, и «нету у меня сестры»...

Тут Петр опять попытался остановить ее, но разве могла она молчать?

— Нет, нет, ребята! Не хочу, чтобы вы от других узнали, всякой небыли наслушались. Сама расскажу. С Михаила Ивановича, с братца родного, все началось, вот как все было-то. Он привел ко мне постояльца на постой: «Сестра, пусти, все тебе повеселее будет». А какое мне веселье, когда я только что сына схоронила? Говорю, не помню, какой дорогой на коровник ходила. И постояльца этого, уйди он от меня через день, через неделю, тоже не запомнила бы. Я уж когда его разглядела-то? Когда он начал разговаривать меня. Человек, вижу, немолодой, из офицеров (какие-то военные тогда у нас стояли), и забота... Я сроду такой заботы о себе не видала. Приду с коровника — дрова наколоты, вода наношена, самовар на столе — с ходу садись за стол. И вот слово за слово, разговор за разговором... Не знаю, не знаю, как ума лишилась. А когда опомнилась — об одном думушка: как помереть, как себя нарушить. Анфиса Петровна поперек встала: «Сама как знаешь, что хошь, говорит, с собой делай, а у ребенка не смей жизнь отнимать». Вот так и обзавелась Надеждой да Михаилом...

Лиза заставила себя взглянуть на примолкших братьев.

— Раисья, сказывают, из-за этого Михаила пуще всего рвет и мечет. Думает, это я нарочно, чтобы брата разжалобить, чтобы к нему на шею сесть. А у меня и в думушках ничего такого не было, пластом лежала. Анфиса Петровна и в сельсовете записывала. Пришла: «Не знаю, так, нет сделала: Михаилом парня назвала. Охота, говорит,



чтобы еще один Михаил в Пекашине вырос...» Вот ведь как дело-то было. Дак при чем тут я? Не переписывать же мне было идти.

— Не горюй, сестра! Без детей тоже не жизнь.

— Да это так, так, Петя, — с живостью ухватила за слова брата Лиза. Все-таки у меня опять какая-то забота, верно? Только срам, срам, ребята! Коровы-то все придивились, не то что люди. А Павел-то Кузьмич, офицер-то мой, где, спросите? Отпустила я его, ребята, на все четыре стороны отпустила, алиментов даже не потребовала. Что же, у него жена, у него дети, дочь-невеста. Узнал, что я в тягости, насмерть перепугался. «Ну, говорит, теперь я погиб. И дома узнают — жизни не будет, и со службы попрут». Ну, я подумала-подумала: да иди ты с богом. Чего, думаю, всех разорять, всем мучиться, раз сама виновата...

Все. Распустилась, вздохнула всей грудью, даже голову от облегчения откинула.

Нет, нет, она не сидела с опущенной головой, она и раньше, до этого, жадными глазами вглядывалась в родных братьев. А как же не вглядываться столько годов не видела! Но только сейчас, только в эту минуту, когда она вся сполна выговорилась, когда сполна очистилась сама, только в эту минуту она увидела братьев такими, какие они есть.

Увидела и ужаснулась.

— Ты что, сестра? — спросил Петр.

— Ничего, ничего. Это я от радости, от радости...

А уж какая там радость... То есть радость была, и радость великая братья приехали, братья родные у нее в гостях. Но как же она сразу-то не увидела, не распознала беду?

Все считала, все думала: Григорий у них болен, Григорий несчастный человек. Да так оно и было: на всю жизнь, до скончания дней своих инвалид что же еще страшнее? И худущий — страсть. Как льдинка весенняя — вот-вот растает...

Но Григорий-то болен, а Петр еще больше болен — вот что сейчас вдруг поняла Лиза. Но она не дала ходу своим думам. Увидела — Петр и Григорий водят глазами по избе, по некрашеному полу, по неоклеенным бревенчатым стенам со старыми сучьями и щелями, сказала:

— Что, ребята, насмотрелись у брата богатства — глаза режет моя голь? Не от бедности, не от бедности это. Нашла бы я денег-то и пол

чтобы покрасить, и стены в обои взять, да я, ребята, так рассудила: ничего не менять. От тати карточки не осталось, тогда моды не было сниматься, дак пушай дом заместо карточки будет. Так я рассудила.

Гости были самые дорогие, самые желанные. За все эти два года, что не заглядывал к ней старший брат, а может и больше (Михаил все-таки под боком живет), у нее не было в доме таких гостей. И она — сама чувствовала — вся сияла, вся лучилась от счастья, от радости, и это счастье, эта ее радость мало-помалу стали передаваться и Петру — о Григории говорить нечего: от того в ночи свет. Сперва разгладились на лбу морщины, приобмякли, распустились губы, потом снял туфли, а потом и верхнюю рубаху долой: дома...

Но окончательно доконал ее Петр, когда вдруг поднялся с лавки (она и лавки в избе, заведенные Степаном Андреяновичем, сохранила) и направился к зыбке.

Она вся замерла: что-то сейчас будет?

А Петр подошел к зыбке, раздвинул старые платишки, сказал:

— Ну, долго вы еще, сони, будете скрываться от дядей?

Григорий завсхлипывал — верно, и он не ожидал такого от брата, — а сама Лиза, чувствуя, что вот-вот расплачется от радости, выбежала в сени... Когда она, виновато горбясь, вернулась в избу, малые двойнята были на полу и их забавлял Григорий («Коза-коза...»), а Петр сидел у раскрытого окошка и, похоже, смотрел на зеленое подгорье, на старую развесистую лиственницу.

— Татьяна-то тебе пишет?

Заговорил сразу, с прежней хмурью на лбу — отвык, видно, за эти годы сердце настежь держать.

— Какие мне письма от Татьяны. — Лиза заняла свое хозяйкино место сбоку заснувшего самовара. — Хорошо хоть от брата не отвернулась.

Некоторое время, покачивая головой, она старательно разглаживала на колене платье, а потом вдруг слезы к горлу подступили — опять навзрыд:

— Кабы вы от меня отвернулись, все бы мне не так обидно было. Не много я вас тешила — бывало, разве чаем когда напою да сухарь суну, а ведь ей-то я поделала добра, послужила... Михаил — десятилетку кончила: как хошь, девка, учить дальше не могу, сама видишь, какие у колхозника доходы. А я: нет, нет! Хоть одного Пряслина да выучим в институте. И уж я, ребята, — с места мне не сойти — все, все, что у меня было, ей отдавала. Деньги велики ли студентам платят, ладно — овцу одну выкормлю, другую выкормлю, луку на лесопункт свезу, продам: учись, девка! Покудова жива, не будешь мереть с голоду. Але платье, одежду взять. Все твое, что в дому есть. В самое раздетое, в самое безлопотинное время как картиночка ходила. Думаю, я никакой молодости не видела, пушай хоть она покрасуется. Але на каникулы-то летом приедет! «Сестра, я у тебя буду жить. Там, у Михаила, и без меня негде повернуться». Живи, живи, девка. Передние избы раскрою, как барыня, как принцесса из одной горницы в другую похаживает... Все позабыто, все не в счет. Вишь, сестра опозорила ей, в Москве ей мои дети жить мешают... Ладно, — махнула рукой Лиза. — Чего это мы кости родной сестре перебиваем? То и ладно, то и хорошо, что высоко взлетела. Радоваться надо, а не скулить. — И заговорила уже с восхищением: — Ну бес, ну бес девка! Со счастьем родилась, да ведь надо было это счастье-то выждать. До двадцати восьми годков сидела в девках, ждала, пока цыганкино гаданье исполнится.

— Какое гаданье?

— Да разве вы не помните? Цыгане тут раз зиму жили, у Семеновны покойной в дому стояли. Нет, это, наверно, уж после вас, когда вы в город уехали. Ничего люди, хоть и говорят, что вор на воре, а у нас лучинки не тронули. Старуха у них была, Максимиха, старая такая, вся седая, нос крючком. Вот она и нагадала нам с Татьяной. Мне сразу сказала: тебе, говорит, век горевать, век куковать. Так оно и вышло: век не мужья жена, не законная вдова. А у Татьяны ручку-то взяла, аж прослезилась даже. Ей-богу. Вот, говорит, у кого рука-то из золота чистого отлита. Высоко, говорит, взлетишь, высокого лету птица, на самой Москве гнездо совьешь... И вот ведь какая стойка, какая выдержка у человека! До двадцати восьми годов не потеряла головы, не свернула в сторону. А уж женихов-то у ей было! Косяки. Стаи. Сами знаете, в маму красой, не я, страховидина. Девки все глаза

проплакали, на корню засохли, а эта не знает, как от них отделаться. Один другого лучше! Иван Спиридонович, комсомолом всем в районе командовал, директор школы Олег Окимович, Вася Черемный, инженер леспромхоза... Да всех и не перечислить. А на этого ейного москвича, когда он в Пекашине объявился, надо правду говорить, я и смотрела-то через раз. Лысый, плешь на голове, как яичушко из утинового гнезда выглядывает, в очках, занимается — не во всяком месте и скажешь: по чердакам да по клетям пыль глотает, старье бывалошное собирает. Да разве сравнишь его с теми? А моя Татьяна, гляжу, сразу вцепилась, сразу в горницы повела, в сарафан старинный вынарядилась, ленту в косу заплела. А через неделю-две — провожать своего Иосифа поехала — письмо с дороги: сестра, кончилась моя девичья жизнь, я взамуж выхожу...

Лиза перевела дух, посмотрела на братьев и закончила назидательно:

— Да, вот так надо добывать счастье-то. А что мы? Живем — куда поволокло, потащило, и ладно...

### 3

Им не дали наговориться досыта, обсказать-обкатать все семейные дела. Повалили бабы — одна за другой.

Сперва соседка Дарья, жена Софрона Мудрого (эта неслышно, как мышь, вошла, вся выгорела, вся высохла от рака), потом Маня-коротышка, потом Александра Баева, Оксинья-жаровня, Фекола — два уха. И удивляться не приходилось: в деревне всегда на свежего человека как на огонек бегут, а у Лизы еще вдобавок с незапамятных времен вдовы солдатские, да старушонки престарелые, да всякая пришлая нероботь вроде Зины-тунеядки, высланной из Ленинграда за «хорошую» жизнь, коротали время. В замешательство всех привела Анфиса Петровна. Анфиса Петровна редко когда заулок своего дома переступает, а зимой в последние годы месяцами в районной больнице лежала: тяжело выходила война. Но подкосила-то ее, сокрушила напрочь даже и не война, а смерть мужа. В пятьдесят четвертом году, вскоре после смерти Сталина, Фокин, тогдашний первый секретарь райкома, добился: с Лукашина скостили шесть лет, подчистую все

неправедные грехи сняли. И вот какая судьба у человека! Через все ужасы, через блокаду прошел, пуля немецкая не взяла, все несправедливости, все понапраслины от своих вынес, а от ножа бандитского не уберегся. И когда? Когда уж в руках бумаги об освобождении держал.

Зашел Иван Дмитриевич напоследок в барак проститься со своими товарищами, с которыми три года за проволокой мыкал. А там, в бараке, шпана, уркачи чего-то не поделили, своего шпаненка учат: волосы заживо огнем бреют. И дьявол бы с ним, с проклятым, пускай бы зажарили, одним гадом на земле меньше бы стало: распоследний паскуда во всем лагере был. Так потом писал Анфисе Петровне товарищ Ивана Дмитриевича. Нет, не смейте над человеком издеваться! Ну и сунул один нож Ивану Дмитриевичу под левую лопатку, намертво уложил...

Анфиса Петровна, переступив за порог, долго переводила дух — вся задохлась, пока шла, а потом, когда увидела — Петр и Григорий во все глаза на нее смотрят, сказала:

— Что, ребята, такая ягода стала — не узнать? Лиза, не дожидаясь, что ответят братья, живехонько замахала руками:

— Не говори, не говори чего не надо! Не узнать... Это они не ждали тебя, врасплох — много ли ты по гостям-то ходишь? Не наш брат...

Улыбаясь, всем лицом своим, всем видом своим выказывая радость — она и в самом деле радехонька была: первый человек в Пекашине была для нее Анфиса Петровна, — Лиза подхватила ее под руку, усадила на самое почетное место в избе, а в душе-то, конечно, была согласна с братьями. Голову взмылило, взбелило, как лен на осеннем лугу, располнела, раздалась, ноги как колодки, — что осталось от прежней Анфисы Петровны? Разве что только глаза. Все такие же черные, властные, председательские глаза, как говаривали иной раз бабы. От чая гости все как одна наотрез отказались — только что, мол, дома сидели-наливались, — и Лиза стала угощать их вином: к початой бутылке, из которой отпила с братом, выставила еще «малыша» — всю наличность, какая имелась в доме.

— У-у, праздник-от, праздник-от у нас, бабы! — загудели старухи.

— Вот это встретины дак встретины!

— Ну, здорово жить, гости дорогие! Вот какие вот умники-разумники все у Пряслиных! У нас и на работу и с работы с рылом мокрым идут, земле кланяются, а тут сколько лет с сестрой не виделись — как стеклышки!

В общем, начали гладью — на все лады расхваливали Петра и Григория, а кончили, как это часто и бывает, когда вина мало, гадью: того же Петра да Григория шерстить стали — почему не женаты.

— Да отстаньте вы к лешому! — с ухмылкой ответила за них Фекола — два уха. — Женилка, скажите, еще не выросла.

— Это в тридцать-то шесть лет не выросла? — заохала и замотала головой Маня-коротышка. Нарочно замотала, чтобы масла в огонь подлить. — Да когда же она вырастет-то?

— Ладно, монахи, бывало, до ста жили и не грешили.

— Да пошто не грешили-то? В Пекашине все от монахов, вся порода наша монашья — разве ты не слыхала, Уля?

— А у меня Иван третей раз женился, — сказала Александра Баева. (От нее-то уж Лиза не ожидала таких речей. Неуж вино заговорило?) — Третей раз девку взял. Мама, говорит, те, говорит, были до меня откупорены, а я, говорит, из чужой посуды пить-исть не жалаю...

Первой встала Дарья Софрона Мудрого: человеку, может, двух месяцев жить на этом свете не осталось — неуж такие глупости слушать? А потом вскоре поднялась и Анфиса Петровна. Лиза проводила ее до задних воротец, а когда вернулась в избу, бабы уж сменили пластинку — по Анфисе Петровне прокатывались. И пуще всех Манякоротышка:

— Эдак, эдак она голову-то несет! Мы не люди — сидеть с вам не желам...

— Да, да, — поддакивала ей Фекола, — полегче бы нос-от задирать надо. Не шибко от нас ушла. Тридцать пять монет пензия — тоже не гора золота.

— И Родион не в больших перьях! У меня Октябрина до самого высокого образования дошла, да я разве чего говорю? А у ей за рулем сидит, керосинкой правит — мало ноне таких?

Петр, сидя на отшибе, у рукомойника, во все глаза смотрел на сестру: не понимал, что все это значит. Не понимал, как можно так об Анфисе Петровне говорить. А Григорий по голубиной кротости своей

даже и взглянуть не решался: голову опустил и только что не плакал. И Лиза подбирала, подыскивала в своем уме слова (как бы помягче, побезобиднее сказать старухам) и не нашла подходящих слов.

Сердце закипело — на кого руку подняли! — рубанула сплеча:

— Ну вот что, гости дорогие! Кого хошь задевайте, об кого хошь зубы точите, а чтобы в моем доме слова худого об Анфисе Петровне не было!

— Да что она, святая? — фыркнула Маня.

— Святая! — еще непримиримее отрубил Лиза. — Да еще святая-то какая!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

На могилы ходят с утра — испокон веку так заведено у людей, — но Петру, вскоре после того как они опять остались одни (все на свой счет приняли ее перебранку с Маней), вздумалось идти сегодня, и Лиза не стала противиться. Ребят оставить было с кем — как раз в это время прибежала Анка новое платье показывать (отец семь платьев от тетки из Москвы привез), — а то, что они придут на кладбище не рано, кто упрекнет их? Степан Андреянович? Мать? Вася? Лиза надела праздничное платье, туфли на полувысоком каблуке, а когда вышли на улицу, под руки подхватила Петра и Григория и не боковиной, не закрайкой — середкой потопала: пушай все знают, пушай все видят, как ее братья почитают. Но напрасно предавалась она этим суетным мечтам и желаниям: одни ребятишки малые гонялись на великах по улице, а взрослых, ни трезвых, ни пьяных, не было — ни единой души не попало на глаза вплоть до магазина. На работе еще? Или все — похоронили наконец Петра и Павла? Петров день — 12 июля — из века в век поперек горла у страды стоит. Люди только выедут на пожню, успеют-нет наладить косы — домой: праздник справлять. И Лиза была согласна, когда три года назад на Пинеге ввели день березки, приуроченный к последнему воскресенью июня. Ввели для того, чтобы задавить им старый праздник. Так нет же! Березку отпраздновали, а подошел Петр — и опять гульба. Первого пьяного

они увидели возле ларька рядом с сельповским магазином. Кругом пустые ящики, бутылки, чураки, бревешки лощеные — не пустует кафе «ветродуй», как называют это место в Пекашине, завсегда тут кто-нибудь с бутылкой расправляется или отлеживается, а сейчас кто тут на карачках ползал? Евсей Мошкин.

Рубаха на груди расстегнута, медный крест на шее болтается и на две ноги один растоптанный валенок — не иначе как второй потерял.

— Так, так ноне, — скорбно вздохнула Лиза, — весь спился. Марфа Репишная совсем из ума выжила — в срубец старика загнала, знаете, хлевок такой у ей на задах, картошку преже хранили. За грехи. И все староверское дело в свои руки забрала. А старушонки, те жалеют Евсея Тихоновича, не почитают Марфу... Не смотрите, не смотрите в его сторону, — зашептала она братьям. — Причепится еще, кто рад с пьяным.

Однако не сделали они после этого и пяти шагов, как Лиза первая повернула к старику.

— Ой, ой, срамник! — начала она с ходу отчитывать его. — И не стыдно тебе, так налакался. Посмотри-ко, самых зарезных пьяниц сегодня не видко, а ты, старый человек, какой пример подаешь.

— А я только пригубился маленько, рот сполоснул.

— Пригубился! Шайку але ушат выжорал.

Евсей сел на землю, довольнехонько засмеялся.

— Все знает, все понимает у вас сестра. Ничего не скроешь. Верно, я посуды-то сегодня опорожнил немало.

— Зачем?

— А не знаю, не знаю, девка... — И вдруг заплакал, зарыдал, как малый ребенок. — К тебе, вишь вот, приехали, прилетели... А я один как перст на всем свете... Ко мне никто не приедет, никто не прилетит...

— Давай дак сколько можно убиваться-то, — начала вразумлять старика Лиза. — Не одного тебя война осиротила. Пройди по деревне-то. На каком дому звезды нету...

— Верно, верно то говоришь. У меня две звезды, два покойника, а в Водянах у старушки Марьи Павловны в два раза больше — четыре красных отметины на углу... Ну я грешен, грешен, ребята, — снова навзрыд зарыдал старик. — У других-то хоть при жизни жизнь была, а



моим ребятам, моим Ганьке да Олеше, и при жизни ходу не было... Из-за меня. Я им всю жизнь загородил...

Тут на какое-то мгновение замешкалась даже находчивая Лиза: нечем было утешить старика, потому что чего тень на плетень наводит — из-за отца, из-за его упрямства столько мук, столько голода и холода приняли его сыновья.

— Пойдем-ко лучше домой, Евсей Тихонович, — сказал Петр и стал поднимать старика.

— Помнит, помнит меня! — опять чисто по-детски, бурно возрадовался Евсей. — Евсей Тихонович... А нет, — он топнул ногой в валенке, — к вам пойдем! Вот мое слово. Раз Евсей Тихонович, то и угощение как Евсею Тихоновичу.

— Нет, к нам не пойдем! — сказала Лиза. — Тверезой будешь — в любой час, в любую минуту приходи, а пьяному у меня делать нечего.

— И не пустишь? — спросил Евсей.

— И не пущу! — без всякой заминки ответила Лиза.

Старик пришел в восторг:

— Ну, ну, как мне по уму да по сердцу это! Не пущу... А ты думаешь, я не помню твоего добра-то? Я вернулся, ребяташки, оттуда, не будем говорить откуда (ноне все позабыто, на всем крест), — меня двоюродная сестрица Марфа Павловна и на порог не пушает: я на радостях — снова дома — бутылку в сельпо опорожнил. «Десять ден тебе епитимья. Вода да хлеб, а местожительство срубец на задах...» И вот вскорости после того тебя, Лизавета Ивановна, встречаю. Помнишь, какие слова мне сказала?

— Где помнить-то? — искренне удивилась Лиза, — У меня язык без костей сколько я слов-то за день намелю?

— А я помню. — Евсей всхлипнул. — Иду опять же с сельпа, хлебца буханочка под мышкой, а навстречу ты. Увидала меня, возле лужи у сельсовета маюсь, сапожонки что решето, как бы, думаю, исхитриться с ногой сухой пройти. Увидала: «Чего ходишь как трубочист, людей пугаешь? Пришел бы ко мне, у меня баня сегодня, хоть вымылся бы...» А я, правда, правда, ребята, как трубочист. Может, два месяца в бане не был, а весна, солнышко, земляца уже дух дала... Ну я тогда уревелся от радости, всю ночь плакал, в слезах едва не утонул...

— Надо было не слезы лить, а в бане вымыться, — наставительно сказала Лиза и улыбнулась.

Тут на дорогу из седловины от совхозной конторы вылетел запыленный грузовик, и Лиза замахала рукой: сюда, сюда давай! Машина подъехала.

Из кабины выскочил смазливый черноглазый паренек, туго перетянутый в поясе и сразу видно — форсун: темные волосы по самой последней моде, до плеч, и на промасленном мизинце красное пластмассовое кольцо в виде гайки.

— Чего, мама Лиза?

— Куда едешь-то? В какую сторону?

— На склад, — парень махнул в сторону реки, — за грузом.

— Ну дак по дороге, — сказала Лиза и кивнула на Евсея, которого поддерживал Петр. — Отвези сперва этот груз.

Старик заупряился. Нет, нет, не поеду домой! Сегодня праздник, законно гуляю. Но разве с Лизой много наговоришь?

— Будет тебе смешить людей-то! — строго прикрикнула. — Хоть бы вечером вылез, все куда ни шло, а то на-ко, молодец выискался — середь бела дня кренделя выписывать. Вези! — сказала она шоферу.

И вот живо раскрыли задний борт у грузовика, живо притихшего, присмирившего старика ввалили в кузов, и машина тронулась.

Петр, когда немного стих рев мотора, любопытствовал:

— Это еще что за сынок у тебя объявился?

И тут Лиза удивилась так, что даже остановилась:

— Как?! Да разве вы не узнали? Да это же Родька Анфисы Петровны! Всю жизнь меня мамой Лизой зовет. У Анфисы Петровны, когда Ивана Дмитриевича забрали, молоко начисто пропало, я полгода его своей грудью кормила. Вот он и зовет меня мамой Лизой.

Сперва невольно, еще загодя начали смягчить шаг, сбавлять голоса, потом пригасили глаза, лица, а потом, когда с проезжей дороги свернули на широкую светлую просеку, густо усыпанную старыми сосновыми шишками, — тут не часто, разве что с домовиной, проезжает машина — они и вовсе присмирели. Густым смоляным

духом да застойным жаром, скопившимся меж соснами за день, встретило их кладбище. И еще что бросалось сразу же в глаза — добротность и нарядность могил.

Раньше, бывало, какой жердяной обрубок в наскоро нарытый песчаный холмик воткнут — и ладно: не до покойников, живым бы выжить. А теперь соревнование: кто лучше могилу уделает, кто кого перешибет. И вот крашеный столбик со светлой планкой из нержавеющей стали да деревянная оградка — это самое малое... А шик — пирамидка из мраморной крошки, привезенная из города, поролоновый венок с фоткой да железная оградка на цементной подушке. Лиза первая нарушила молчание. Заговорила резко, с возмущением:

— Я не знаю, что с народом дется, с ума все походили. Преже дома жилого не огораживали, замка знамом не знали, а теперека и дома жилые под забор и покойников загородили. Срам. Старик какой — Трофим Михайлович але Софрон Мудрый захотели друг к дружке сходить, словом перекинуться — не пройти. Трактором, бульдозером не смять эти железные ограды, а где уж покойнику через их лазать...

Уже когда подходили к своим могилам, Лиза вдруг, неожиданно для Петра и Григория, свернула в сторону, к могиле под рябиновым кустом. Пирамидка на могиле из горевшей на вечернем солнце нержавеющей стали с выпуклой пятиконечной звездой в левом углу не очень отличалась от тех надгробий, которые попадались им доселе, но что они прочитали на пирамидке?

***ЛУКАШИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ***

***1904–1954***

Петр, оглядевшись вокруг, спросил:

— Когда же это прах-то Ивана Дмитриевича перевезли?

— Не перевозили. Ничего там нету, — кивнула Лиза на уже обросший розовым иван-чаем бугор. — Ины беда как ругают Анфису Петровну: слыхано ли, говорят, на пустом месте могилу заводить? А я дак нисколешенько не осуждаю. Везде земля одинакова, везде от нашего брата ничего не останется, а тут хоть когда она сходит,

поговорит с ним, горе выплачет. В городах памятники ставят, а Иван Дмитриевич не заслужил? Признано: зазря пострадал, а нет, все на памяти Ивана Дмитриевича лагерная проволока висит...

У давно осевших и давно затравеневших могилкок Степана Андреяновича и Макаровны Лиза стояла молча, с виновато опущенной головой. В прошлом году какие-то волосатые дикари из города, туристами называются, ослепили на них столбики — с мясом выдрали медные позеленелые крестики, и она до сих пор не собралась со временем, чтобы вернуть им былой вид.

Ни единого слова, ни единого оха не обронила она и на могиле сына — при виде светловолосого, улыбающегося ей с застекленной карточки Васи она всегда каменела, — зато уж когда подошла да припала к высокому, заново подрытому весной и плотно обложенному дерниной холмику матери, дала волю своим чувствам.

Смерть матери была на ее совести.

Семь лет назад 15 сентября справляли поминки по Ивану Дмитриевичу. Михаила да Лизу Анфиса Петровна позвала первыми — дороже всякой родни были для нее Пряслины. Ну а как с коровами? Кто коров вместо Лизы поедет доить на Марьюшу? Поехала мать. И вот только отъехали от деревни версты две грузовик слетел с моста. Семь доярок да два пастуха были в кузове — и хоть бы кого ушибло, кого царапнуло, а Анну Пряслину насмерть — виском о конец гнилой мостовины ударились...

— Ой да ту родимая наша мамонька... Ой да ту чуешь, нет, кто пришел-то к тебе да приехал... Ой да уж любимые твои да сыночки... По шажкам, по голосу ты их да признала...

— Будет, будет, сестра, — начал успокаивать Лизу Петр, и она еще пуще заголосила, запричитала. И тут Григорию вдруг стало худо — он кулем свалился сестре на ноги.

— Петя, Петя, что с ним? — закричала перепуганная насмерть Лиза.

— А больно нежные... Без фокусов не можем...

— Да какие же это фокусы? Что ты такое говоришь? — Григорий забился в судорогах, у него закатились глаза, пена выступила на посинелых губах...

Лиза наконец совладала с собой, кинулась на помощь Петру, который расстегивал у брата ворот рубахи.

— Голову, голову держи! Чтобы он голову не расшиб!

Сколько времени продолжалась эта пытка? Сколько ломало и выворачивало Григория? Час? Десять минут? Два часа? И когда он наконец пришел в себя, Лиза опять начала соображать.

— Может, мне за фершалицей да за конем сбегать? — сказала она.

— Не надо, — буркнул Петр. — Первый раз, что ли?

Бледного, обмякшего Григория кое-как подняли на ноги, повели домой. Повели, понятно, задворьем, по загуменью, по-за баням — кто же такую беду напоказ выставляет.

У людей начиналось гулянье — старый Петр опять верх взял.

Сперва завысказывались старухи пенсионерки — свои, старинные песни завели. Эти теперь кажинный праздник открывают — хватает времени! Потом затрещали, зафыркали мотоциклы — молодежь на железных коней села, — а потом заревела и Пинега.

Даровой гость — вроде старушонок и всякой пожилой ветоши, отпускники, студенты — прибыл в Пекашино еще днем на почтовом автобусе, на машинах, водой — у кого теперь лодки с подвесным мотором нет? А в вечерний час Пинегу начали распахивать моторки и лодки тех, кто днем работал на сенокосе, в лесу.

По пекашинскому лугу пестрым валом покати́л народ, розовомехие гармошки запыхали на вечернем солнце...

Долго сидела Лиза у раскрытого окошка, долго вслушивалась в рев и шум расходившейся деревни и мысленно представляла себе, как веселятся сейчас на широком пустыре у нового клуба пекашинцы. Компаньями, семьями, родами. Было, было времечко. И еще недавно было, когда и она не была обойдена этими радостями — в обнимку с братом, с невесткой выходила на люди. А теперь вот сидит одна-одинешенька и, «как серая кукушечка» оплакивает былые дни.

Но радости праздничные — бог с ними, можно и без радостей прожить. А что же это с Григорием-то делается? Когда, с каких пор у него падучая? Не шел у нее с ума и Петр. Брат родной сознание потерял, замертво пал на Землю — да тут дерево застонет. Камень

зарыдает. А Петр ведь не охнул, слова доброго Григорию не сказал. Ни на кладбище, ни тогда, когда уходил к Михаилу.

Горе горькое, отчаянье душило Лизу.

Михаил с ней не разговаривает, Татьяна ее не признает, Федор из тюрьмы не вылезает, а теперь, оказывается, еще и у Петра с Григорием нелады. Да что же это у них делается-то?

Она прикидывала так, прикидывала эдак, да так ни в чем и не разобравшись, начала закрывать окно — комары застонали вокруг...

Григорий, слава богу, — его положили в сени на старую деревянную койку Степана Андреевича, там поспокойнее и попрохладнее было — заснул, она это по ровному дыханию поняла, и Лиза, сразу с облегчением вздохнув, пошла за дровами на улицу.

Белая ночь плыла над Пекашином, над старой ставровской лиственницей, которая зеленой колокольней возвышалась на угоре. Лиза ступила с крыльца босой, разогретой в избяном тепле ногой на пылающий от ночной росы лужок, сделала какой-то шаг и — Михаил. Как в сказке, как во сне из-за угла избы выскочил в синей домашней майке, в растоптанных тапках на босу ногу.

И тут ей вмиг все стало ясно: прощение принес. Сидели-сидели с Петром за столом, разговаривали да вдруг одумался: что же это, Петька, я с сестрой-то родной делаю, за что казнию? А дальше — известно: никому ни слова — к ней.

— Где те?

Не слова — плеть хлестнула ее наотмашь, но она де могла сразу погасить улыбку. Она улыбалась. Улыбалась от радости, от счастья, оттого, что впервые за полтора года вот так близко, лицом к лицу, а не издали, не украдкой видит родного брата.

За считанные мгновенья, за какие-то доли секунды отметила для себя и разросшуюся на висках изморозь, и незнакомую раньше мясистую тяжесть в упрямом, начисто выбритом по случаю праздника подбородке, и новые морщины на крепком, чуть скошенном лбу.

— А-а, улыбаешься! Весело? Ребят на меня натравила и рада?

— Брат, брат, опомнись!..

Это не она, не Лиза закричала. Это закричал Петр, который, к счастью или к несчастью, в эту минуту вбежал в заулок с поля.

— Дак ты вот как на меня! Плевать? Позорить на всю деревню?

— Я без сестры не пойду, — сказал Петр.

— Чего, чего?

— Без сестры, говорю, не пойду.

— Не пойдешь? Ко мне не пойдешь? — Михаил вскинул кулачищи: гора пошла на Петра.

И вот тут Лиза опомнилась. Кинулась, наперерез кинулась Михаилу, чтобы своим телом закрыть Петра. Уж лучше пускай ее ударит, чем брата. Но еще раньше, чем она успела встать между братьями, сзади плеснулся какой-то детский, щемящий вскрик.

Лиза и Михаил — оба вдруг — обернулись. На крыльце стоял Григорий весь белый-белый и весь в слезах...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

От ставровской лиственницы до Пинеги рукой подать: под угор спустился, перемахнул узкую луговину в белых ромашках — и вот прибрежный ивняк, пестрый галечник, раскаленный на солнце.

А Петр выбежал на луговинку, глянул на широкий голубой разлив пекашинского луга слева и вдруг порысил туда, к родному печищу, — захотелось к Пинеге сбежать той самой тропинкой, по которой бегал в детстве.

Луг был скошен, сладко, до головокружения сладко пахло свежим сеном, но где же люди? Неужели какой-то десяток белых бабьих платков, затерявшихся на Монастырском клину, это и есть «все сеноставы»?

Ему не хотелось сейчас встречаться с пекашинскими бабами. Начнут пытаться, выспрашивать про Михаила, про Лизу — ловчить? Ужом извиваться? И он решил дать крюк. Но там, на Монастырском клину, казалось, только этого и ждали. Закричали в один голос:

— К нам, к нам давай! А потом со смехом:

— Девки, девки, держите его!

И вот уж две резвые девчушки, бойко выкидывая коленки из-под цветастых платьишек, кинулись наперехват его. И он уступил.

Пекашинские бабы, а вернее сказать, старухи, похоже, не узнали его.

— Да вы кого, девки, привели-то? — с деланным ужасом на лице заголосила подслеповатая, высокая и сухая, как Жердь, Ульяна. — Ведь это мужик-от чужой.

— А нам все равно, скажите, девки, хоть свой, хоть чужой: не проходи мимо! А нет — бутылку ставь!

— Околей ты со своей бутылкой! — На Маню-коротышку — это она отпечатала — обрушились все разом.

— Бутылка-то вишь до чего довела. Страда, а у нас вся деревня в лежку.

— Так, так ноне. Одни двадцатирублевки выползли да сколько школьниц прихватили с собой, а остальная публика с Петрова дня не может прийти в себя.

— Застонали! — огрызнулась Маня-коротышка. — Кто вас гнал? Лежали бы на печи да плевали в кирпичи.

— Да как на печи-то улежишь, когда сено тебе из-под горы глаза колет?

Из-за спины Ульяны высунулась Парасковья-пятница. Петр даже ахнул про себя: сколько же ей сейчас лет? Еще в войну была старухой.

— Ты откуда, молодец, будешь-то? Из каких кра-ев-местов? У вас там поменьше нашего пьют? Ульяна — всю жизнь скоморох — захохотала:

— Да это наш мужик-от, Фадеевна! Анны Пряслиной сын.

— Что ты, что ты, Уля! — заахали и заохали старухи. — Ты вот сразу узнала, а у нас глаза, как ворота полые, — ничего не задерживается.

Начались, как и ожидал Петр, расспросы: где живешь? где служишь? надолго ли приехал? у кого остановился — у брата или у сестры? И даже те, что были вчера на встречах, выпрашивали.

Школьницы быстро отвалили в сторону — чего тут интересного? — а затем вскоре и старухи оставили его в покое: кончился перекур.

Парасковья-пятница побрела к сенному валку, одной рукой держась за Ульяну. Переставлять потихоньку свои старые ноги вслед за граблями — это она еще кое-как могла, а ходить по земле просто, ни на что и ни на кого не опираясь, уже не могла.

Близко, совсем близко было пряслинское печище, уже, казалось Петру, он и тропинку свою, натопанную с детства, различает в



пестрой чаще разнотравья — луг там был еще не выкошен, — но он посмотрел опять на Парасковью-пятницу, на ее черные старые руки, ярко горевшие на солнце, — старухи уже взялись за грабли — и ему расхотелось купаться.

Ветер рыскал по лугу, выпущенную рубаху вздувало пузырем, и все-таки пот лил с лица: старухи разошлись — на глазах росли сенные валы. А копнить кто? Он да Маня-коротышка.

Помощь Петру пришла от кого? От сестры.

Прибежала — глаза зеленые блестят, сарафан морошковый колоколом — сама удаль спустилась на луг.

— Вот как, вот как она! Как на праздник вышла! — одобрительно закивали, зашамкали беззубыми ртами старухи, со всех сторон разглядывая нарядную, сверкающую на солнце Лизу.

— Да ведь праздник сегодня и есть! — с задором ответила Лиза. — Когда домашний сенокос в тягость был?

— Так, так, девка! — опять с одобрением закивали старухи. — Это мы все обасурманились — кто в чем пришел, а родители-то наши блюли обычай.

Но не только, как догадывался Петр, дело было в следовании обычаям: своим праздничным видом, своей разудалой беззаботностью Лиза хотела еще заткнуть всем рот насчет вчерашнего. Дескать, не шепчитесь, не мозольте языки. Ничего вчера у Пряслиных не случилось, никакого скандала не было иначе я разве была бы такая бесшабашная?

— А как же дети? — спросил Петр.

— А дети не золото — не украдут!

И опять ответ Лизы пришелся старухам по душе:

— Верно, верно, Лизка! Смалу не испотетишь — человек вырастет.

Старуху любили Лизу, просто на глазах у Петра стали жаться к ней, и он не понимал, как мог Михаил отвернуться от сестры. И из-за чего?

Но еще удивительнее было для Петра то, что Лиза оправдывала старшего брата. Утром она битый час ему за завтраком втолковывала: дескать, пустяки все это. Разве не знаешь Михаила? Всегда кипятилок, был, всегда без углей закипал. А тут ждал-ждал вас в гости, барана зарезал, может, еще люди, Раиса подначивает — как все это стерпеть?

— Еще, еще один помощник идет! — радостно завизжали девчонки.

Петр — он укладывал очередную охапку сена в копну — глянул на пекашинскую гору. Оттуда спускался мужчина — рукава белой рубахи закатаны по локоть, тяжелые сапоги мечут жар — так и вспыхивает на солнце подбитая железными гвоздями подошва.

— Завсегда вот так, дьявол! — хмуро заметила Лиза. — Как праздник, так и сапоги. Умираю, горю на работе!

— Кто это?

— Кто? Управляющий наш. Антон Таборский. Помнишь, бывало, на сплаве Таборский был? Младший брат его.

Таборский еще издали, от озерины, высоко вскинув кулак, одобрительно загоготал:

— Хорошо! Гул, ол райт, товарищи старухи! Есть еще порох в пороховницах!

— Чего старух-то подзадориваешь? Старухи-то работают.

— Где твои механизаторы, рожи бессовестные? На какой работе убиваются?

— Старухи-то вымрут — на ком поедешь? Таборский ни секунды не раздумывал:

— На работе!

— На ком, на ком?

— На работе, говорю. Ученым человек такой заказан. Железный. Чтобы в любой момент работал и чтобы пить, исть не просил. И чтобы без этого... Таборский ловко, как фокусник, щелкнул ниже подбородка.

И вот уж старухи — ох русский человек! — отмякли:

— Да уж так, так, железного надоть, раз живые робить не хотят.

— А коровы-то как? Может, и коров железных наделаете?

— Не, коровы будут обыкновенные, только другой породы. Медвежатницы!

— Медвежатницы?!

— Да. Чтобы зимой лапу сосали, сена не просили.

— Ох, ох, ввалина! — застонали старухи. — Как тебя и земля-то терпит.

С Петром Таборский поздоровался за руку и сразу по-свойски, как с давнишним приятелем:

— Приехал, говоришь, крепить смычку города с деревней? Давай-давай. А меня помнишь? Что? Не помнишь, как один моряк тебя с братом на моторке в город вез? Ну и ну! Вы еще, кажись, в ФЗУ опаздывали.

У Петра по-хорошему, по-доброму защекотало в горле. Было такое дело, точно. Они прибежали с Григорием в райцентре на пристань — парохода нет и неизвестно, когда будет. И вот в это самое время в старую ожидалку, где торговали проездными билетами, ввалился» подвыпивший морячок с веселыми и наглыми глазами: «Что за слезы на берегу в мирное время!» Куда-то сходил, с кем-то поговорил — раздобыл моторку. И их с Григорием взял.

— То-то! — сказал довольно Таборский. — Взаимовыручка — закон жизни. Я и Михаилу, брательнику твоему, немало добра делал.

— Делал волк добро корове! — сердито фыркнула Лиза.

Таборский, однако, и бровью не повел на это, зычно, во все горло объявил:

— Час — перекур, пять минут — работа! Есть возражения?

Долгонькими оказались эти пять минут. Тридцать одну копну накопили Таборский тоже бегал, как застоявшийся жеребец. И, наверно, еще бы погребли, да тут неожиданно из накотившейся тучи хлобыстнул дождь.

Девчонки первыми очухались — с криком, с визгом кинулись в гору, за ними, охая и крикая, посеменили старушонки, Антон Таборский показал свою прыть...

А им что делать? Домой далеко — через весь луг бежать надо, к чужим людям в мокрой одежде не хочется. Петр крикнул:

— Чего ж мы ворон считаем? Давай на старое пепелище!

Воды в тучке хватило ровно настолько, чтобы отбить гребь да вспарить их, потому что едва они поднялись в гору, как дождь перестал и опять брызнуло солнце.

Петр с головы до ног закурился паром.

Прижимая к груди скинутые по дороге туфли, он подошел к разлившейся на дороге перед домом луже, песчаный бережок которой уже крестила своей грамоткой шустрая трясогузочка, попробовал ногой воду и вдруг, как в детстве обмирая от страха — такая бездонная глубь с белыми облаками открылась ему, ступил в нее.

— Что, Петя, знакомая водичка?

— Ага, — сказал Петр и рассмеялся.

Сдал, очень сдал старый пряслинский дом. Сгорбился, осел, крыша проросла зеленым мохом, жалкими, такими невзрачными были зарадужелые околенки, через которые они когда-то смотрели на белый свет. Видно, и вправду сказано у людей: нежилой дом что неработающий человек — живо на кладбище запросится. Или он у них и раньше такой был? Ключ от дома нашли в прежнем тайничке, в выемке бревна за крыльцом.

И вот вороном прокаркали на заржавелых петлях ворота, затхлый запах сенцов дохнул в лицо. Не привыкшие к сугробам глаза не сразу различили черные, забусевшие на полках крынки и горшки, покосившуюся, в три ступеньки лесенку, ведущую на поветь, домашнюю мельницу в темном углу...

Страшно подойти сейчас к этим тяжеленным, кое-как отесанным камням с деревянным держакон, который так отполирован руками, что и сейчас еще светится в темноте. Но эти уродливые камни жизнь давали им, Пряслиным.

Чего-чего только не перетирали, не перемалывали на них! Мох, солому, мякину, сосновую заболонь, а когда, случалось, зерно мололи — праздник. Всей семьей, всем скопом стояли в сенях — ничего не хотели упускать от настоящего хлеба, даже запах...

Да не снится ли ему все это? Неужели все это было наяву?

Двери в избу осели — пришлось с силой, рывком тащить на себя. И опять все на грани небывальщины. Семь с половиной шагов в длину, пять шагов в ширину — как могла тут размещаться вся их многодетная орава?

Осторожно, вполноги ступая по старым, разохшимся половицам, Петр обошел избу и опять вернулся к порогу, встал под полатями.

Бывало, только Михаил играл полатницами, а теперь и он, Петр, доставал их головой.

— Не забыл, Петя, свою спаленку?

Он только улыбнулся в ответ сестре. Как забудешь, когда доски эти на всю жизнь вросли в твои бока, в твои ребра!

До пятнадцати лет они с Григорием не знали, что такое постель. И может быть, самой большой диковинкой для них в ремесленном училище была кроватьотдельная, железная (Михаил спал на деревянной!), с матрацем, с одеялом, с двумя белоснежными простынями. И, помнится, они с Григорием, ложась первый раз в эту царскую постель, начали было снимать простыни прикоснуться было страшно к ним, а не то что лечь.

Они присели к столу, маленькому, низенькому, застланному все той же знакомой, старенькой, совсем вылинявшей клеенкой, истертой на углах, с заплатами, подшитыми разными нитками, и опять Петр с удивлением подумал: как же за этой колымагой рассаживалась вся их многодетная, вечно голодная семья?

— Михаил заходит сюда? — На глаза Петру попалась с детства памятная консервная банка с окурками.

— Заходит. Это вот он курил. А иной раз и с бутылкой посидит. Немало тут пережито.

Петр посмотрел в окошко — кто-то с треском на мотоцикле мимо прокатил.

— А что у него за отношения с управляющим?

— С Таборским-то? А никаких отношений нету — одна война.

— Н-да... — Петр натужно улыбнулся. — А я думал, он только с сестрой да с братьями воюет.

— Братья да сестра свои люди, Петя: рано-поздно разберемся. А вот с Таборским с этим я не знаю, как они и разойдутся. Таборский плут, ловкач, каких свет не видал, и кругом себя жуликов развел. А Михаил, сам знаешь, какой у нас. Как топор, прямой. Вот у них и война.

— И давно?

— Война-то? Да еще в колхозе цапались. Бывало, ни одно собрание не проходит, чтобы они на горло друг дружке не наступали.

Ну, раньше хоть народ голос за Михаила подаст...

— А теперь?

— А теперь совхоз у нас. Кончились собрания. Вся власть у Таборского. Лиза старательно разгладила руками складку на старенькой клеенке. — Да и Михаила не больно любят...

— Кого не любят? Михаила?

— А кого же больше?

Петр выпрямился:

— Да за что?

— А за работу. Больно на работу жаден. Житья людям не дает.

Петр не сводил с сестры глаз. Первый раз в жизни он слышит такое: человека за работу не любят. Да где? В Пекашине!

— Так, так, Петя! Третий, год сено в одиночку ставит. Бывало, сенокос начнется — все хотят под руку Михаила, отбою нету, а теперь не больно. Теперь-с кем угодно, только не с Михаилом.

— Да почему? — Петр все еще не мог ничего понять.

— А потому что народ другой стал. Не хотим рвать себя как прежде, все легкую жизнь ищут. Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат веревкой к рукам привяжи да гребни. А теперь как в городе: семь часиков на лугу потыркались — к избе. А нет — плати втридорога. Ну, а Михаил известно: сам убьюсь и другим передыху не дам. Страда! Страдный день зиму кормит — не теперь сказано. Вот и — не хотим с Пряслиным! Вот и ни он с людьми, ни люди с ним. — Лиза помолчала и закончила: — Так, так теперь у нас... Раньше людей работа мучила, а теперь люди работу мучают.

Руки ее опять беспокойно начали разглаживать складки на старенькой клеенке, губы она тоже словно разглаживала, то и дело покусывая их белыми крепкими зубами — явный признак, что хочет что-то сказать. И наконец она оторвала от стола глаза, сказала:

— Ты бы, Петя, уступил немножко, а?

— Кому уступил? — не понял Петр.

— Кому, кому... — рассердилась на его непонятливость Лиза (тоже знакомая привычка). — Не Таборскому же! Сходил бы денька на два, на три на Марьюшу... Знаешь, как бы он обрадовался...

Надо кричать, надо орать, надо кулаками дубасить по столу, потому что ведь это же уму непостижимо! Михаил ее топчет, Михаил ее на порог к себе не пускает, а у нее только одно на уме — Михаил,

она только о Михаиле и убивается... Но разве мог он поднять голос на сестру?

Лиза всхлипнула:

— Я не знаю, что у нас делается. Михаил врозь, Татьяна — вознеслась высоко — разговаривать не хочет, Федор из тюрем не выходит, вы с Григорием...

— Да что мы с Григорием? — Петр подскочил на лавке — не помогли зароки.

— Да ведь он боится тебя... Слово боится сказать при тебе. И ты иной раз глянешь на него...

— Выдумывай!

— Какие вы, бывало, дружные да добрые были... Все вдвоем, все вместе... Вам и сны-то, бывало, одинаковые снились...

И опять Петр против собственной воли сорвался на крик:

— Дак по-твоему нам всю жизнь двойнятами жить? Всю жизнь друг друга за ручку водить?

Он схватился за голову. Старая деревянная кровать, полати, черный посудный шкафчик, покосившийся печной брус, на котором он вдруг увидел карандашные отметки и зарубки — летопись возмужания прислинской семьи, которую когда-то вела Лиза, — все, все с укором смотрело на него.

— Ну я же тебе писал... Григорий болен... Понимаешь? Душевное расстройство... Психика... Медицина не может ничего поделаться... Понимаешь? Петр махнул рукой. — В общем, не беспокойся: брата не брошу.

— А свою-то жизнь устраивать ты думаешь?

— А чего ее устраивать? Образование подходящее, работа, как говорится, не пыльная...

— Ох, Петя, Петя... Да какая же это жизнь — до тридцати шести лет не женат! Бабы-то вот и чешут языками... — Лиза грустно покачала головой. — Не пойму я, не пойму, что у вас деется. Ну, Григорий — больной человек, ладно. А ты-то, ты-то чего? Война когда кончилась, а у тебя все жизни нету...

Петр встал.

— Пойдем, Ивановна! Засиделись мы с тобой малость.

Сказал — и самому противно стало от фальшивого наигрыша, от той неискренности, которой он ответил на участие и беспокойство

сестры.

В тот день вечером Лиза еще раз пыталась вызвать Петра на откровенный разговор. Провожая на ночь в передок — в просторные горницы, в которых он теперь разживался, — она как бы невзначай спросила:

— Одному-то в двух избах не скучно?

— А чего скучать-то?

— Я думаю, всю жизнь вдвоем, а теперь один...

— Ерунда! — опять, как давеча, отшутился Петр. — В мои годы пора уже и без подпорок жить.

А войдя в избу, он пал, не раздеваясь, на разостланную прямо на полу постель и долго лежал недвижно.

Все верно, все правильно: снились им в детстве одинаковые сны, жить друг без друга не могли. Да и только ли в детстве? Когда в армии разлучили их — в разные части направили, чтобы не путать друг с другом, — они, к потехе и забаве начальства, плакали от отчаянья.

Но верно и другое — неприязнь, ненависть к брату, которая все чаще и чаще стала накатывать на него. Потому что из-за кого у него вся жизнь вразлом? Кто виноват, что у него не было молодости?

Ох это вечернее образование, будь оно трижды проклято! Шесть лет на износ, шесть лет непрерывной каторги! Восемь часов у станка, четыре часа лекций и семинаров в институте. А подготовка к занятиям дома? А экзамены, зачеты? А сколько времени уходит на всякие разъезды, мотания по библиотекам, читальням? Экономишь часы и минуты на всем: на сне, на отдыхе (ни единого выходного за все шесть лет!), на еде (чего где на ходу схватишь, и ладно), даже на бане экономишь...

Григорий первый не выдержал — упал в обморок прямо на улице. Но и тогда они не сдались. Старший брат наказал учиться — какой может быть разговор! Только теперь они порешили так: сперва выучиться Петру, и обязательно на дневном, а Григорию — вторым заходом.



Петр выучился, получил диплом инженера. А Григорий... А Григорий к тому времени стал инвалидом. По две смены вкалывал он, чтобы мог спокойно учиться брат. И кончилось все это в конце концов катастрофой.

В тот день, когда Григорий попал в больницу, Петр, сидя у его изголовья, дал себе слово: до тех пор не жениться, до тех пор не знать радостей в жизни, пока не выздоровеет брат.

Пять лет он держал свое слово, пять лет ни на один день не расставался с братом, даже когда его в деревню посылали на сезонные работы, брал с собой Григория. Ну а потом как землетрясение, как извержение вулкана: какой-то внезапный взрыв ненависти к брату, да такой силы, что Петру самому страшно стало...

Белая ночь плыла за окнами. Красные отсветы вечерней зари пылали на известке печного кожуха. Петр присел на постели. Сходить объяснить сестре все как есть?

Но что объяснить? Как вывернуть перед сестрой свое сердце, когда ему самому страшно заглянуть в него?

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Мост за Нижнюю Синельгу наконец-то сделали. Капитально. Из добротного соснового бруса, еще свежего, не успевшего потемнеть, на высоких быках, с железными ледорезами — никакой паводок не своротит.

Но куда девалась Марьюша? Где знаменитые марьюшские луга?

Бывало, из ельника выйдешь — море травяное без конца без края и ветер волнами ходит по тому морю. А сейчас Петр водил глазами в одну сторону, в другую и ничего не видел, кроме кустарника. Все заросло. Прежние просторы да ширь оставались лишь в небе. И там, в сияющей голубизне, на головокружительных высотах, совсем как прежде, ходил коршун. Величаво, по своим извечным птичьим законам, без всякой земной суеты и спешки.

Мотаниху — старую, доколхозных времен избушку, которую Петр знал с малых лет, — он едва и разыскал в этом царстве ольхи, березы и ивняка. Да и то с помощью Лыска — тот вдруг с лаем выскочил из кустарника.

Михаил — он обедал — до того удивился, что даже привстал:

— Ты? Какими ветрами?

— Хочу внести свой вклад в подъем сельского хозяйства.

Шутка была принята, а о том, что они еще позавчера едва не разодрались, виду не подали друг другу.

Петр, сбросив с себя рюкзак, первым делом подал брату письмо от дочерей.

— Давай-давай! Почитаем... «Здравствуй, папа...» Так, это ясно. Во! Михаил поднял палец, и улыбка во всю ряху. — «Тетя Таня нас встретила на аэродроме на машине...» Н-да, можно, думаю, так ездить в столицу нашей родины... «А завтра, папа, мы с тетей Таней пойдем в театр...»

Письмо было коротенькое, на одном листке из школьной тетрадки, и Михаил с сожалением отложил его в сторону, затем снова требовательный взгляд: еще что скажешь?

Петр не сразу сказал:

— Сестру в сельсовет вызывали... Анна Яковлева заявление подала. Требуется раздела ставровского дома, поскольку у нее сын от Егорши...

Михаил молча допил чай, встал.

— Ну, это меня не касается.

— Почему не касается? О ком я говорю? О сестре, нет?

— Нету у меня сестры! Сколько раз одно и то же талдычить?

Михаил схватил стоявшую у стены избы косу-литовку, сунул за голенище кирзового сапога брусок в черемуховой обвязке, пошел. Но вдруг круто обернулся, заорал благим матом:

— Ты племянника сколько раз в жизни видел? «Здравствуй, Вася, и прощай...» А я вот с эдаких пор, с эдаких пор его на своих руках... В шесть лет на сенокос повез... — И тут Михаил вдруг всхлипнул.

Петр отвернулся. Он в жизни своей не видел плачущим старшего брата.

## 2

И вскоре все, все стало так, как было прежде, как двадцать пять лет назад. Михаил — злость из себя выметывал — махал косой, ничего не видя и не слыша вокруг. А он, совсем-совсем как в детстве, старался угодить ему работой.

Петру не привыкать было к косьбе. Редкое лето не посылали его в подшефный колхоз от завода, и по сравнению с другими — нечего прибедняться он был на все руки, его так и называли на заводе «наш колхозник», но что такое тамошняя косьба? Гимнастика на вольном воздухе, упражнение с палкой среди благоухающих цветов.

А тут... А тут не человек — бык, танк прет впереди тебя! Без передышки, без роздыху.

Петр ругал, пушил себя: зачем ему это? Зачем устраивать добровольную каторгу? Ведь глупо же это, чистейший вздор — тягаться жеребенку с конем-ломовиком!

Да, да! Природа добрую половину того материала, который был отпущен на ихнюю семью, ухлопала на Михаила... Но какой-то бес вселился в него. Не отстать! Сдохнуть, а не отстать!

В пятидесятом году они с Григорием, два глупеньких желторотых дурачка, дали тягу из ФЗУ. За четыреста верст. Чтобы посмотреть на щенка, на песика, которого завел дома Михаил, — Татьяна только и писала в письмах об этом песике.

До райцентра добрались хорошо. На пароходе. Зайцами. А от райцентра сорок верст пришлось топтать на своих. И вот когда дотащились до Нижней Синельги, свалились. У самого моста. До того выбились из сил (за весь день несколько репок съели), даже на мост заползти не смогли — прямо на мокрую землю пали. Помогли им телеграфные столбы. Как-то все-таки поднялись они на ноги, захватились за руки и побрели, цепляясь глазами за белевшие в осенней темноте новехонькие, недавно поставленные столбы вдоль дороги.

И вот Петр вспомнил сейчас этот свой крестный путь в осенней ночи и обоими глазами вцепился в кумачово-красную, колесом выгнутую шею брата.

Пот заливал ему глаза, временами шея брата уплывала, будто ныряла в воду, в красный туман, но, как только проходило это полуобморочное состояние, он опять вскакивал глазами на крутой загривок брата...

Михаил первый опомнился:

— Ну и дурак же ты, Петруха, а еще институт кончал! Так ведь недолго и копыта откинуть. Я — что! Мне все едино: хоть с косой, хоть без косы по лугу расхаживать.

Петр не мог говорить. Он еле-еле доволоч ног до тенистой березы, под которой расположился на перекур Михаил.

Сладко опахнуло папиросным дымком, мокрая, разгоряченная спина просто прилипла к прохладному стволу березы. Голос брата благостно рокотал под самым ухом...

Проснулся он от суматошного крика:

— Петро, Петро, вставай! Проспали мы с тобой, парень!

И Петр попервости так было и подумал: проспали. А потом, поднимаясь на ноги, глянул случайно влево, туда, где только что сидел брат, и три папиросных окурка насчитал на примятой траве.

Кровь кинулась ему в лицо, и он вдруг почувствовал себя совсем-совсем маленьким, беспомощным ребятенком, которого по-прежнему опекает и выручает на каждом шагу старший брат.

Косить стало легче. Ветерок заходил по лугу. Начало перекрывать солнце.

— Может, к избе пойдешь а ле по Марьюше пройдешься? — то и дело, оглядываясь назад, говорил Михаил и при этом широко, по-доброму скалил свой белый зубастый рот, ярко сверкающий на солнце. — Экзамен сдал — чего еще?

Не ругали Пряслиных за работу. И в ФЗУ, и в армии, и в институте, и на заводе — везде Петр получал благодарности да грамоты. И все-таки — вот какая власть была над ним старшего брата — ни одна премия, ни одна награда не доставила ему столько радости, столько счастья, как эта нынешняя, скупое, как бы между прочим брошенная похвала.

Вечер. Костер. Туман бродит вокруг костра...

Знакомая картина. Редкое лето не бываешь в этой живой картине. Но почему здесь, на Марьюше, все иначе? Почему на Марьюше сильнее пахнет трава? Почему такую радость вызывает обыкновенное кваканье лягушки за избой? Почему дым костра так непонятно сладок?

Михаил, весь малиновый от огня, приложил ко рту сложенные ковшом руки, раскатисто крикнул:

— Эхе-хей!

И тотчас взметнулись в ответ голоса — в одном углу, в другом, в третьем... Вся вечерняя Марьюша пришла в движение.

— Ничего музыка?

Петр заставил себя привстать с бревна. Окрест по вечерним, облитым жарким закатом кустарникам вздымались белые дымы.

— Кто это?

— Единоличники! — Михаил захохотал: понравилась собственная острота. Нет, верно, верно, Петро. Все разбрелись по норам. Каждый свил себе гнездо. Кто в старой избенке, кто в шалаше.

— А почему?

— Почему разбрелись-то? А потому что хорошо робим. Бывало, ты много видал куста на Марьюше? А сейчас ведь еле небо видно. С

косилкой не развернешься. Вот и хлопаем вручную. А раз вручную — чего скопом-то жить?

— Н-да, шагаем... — покачал головой Петр.

— Я думал раньше — только у нас такой бардак. П-мое! В Архангельске на аэродроме разговорились — мужик из Новгородской области. «Что ты, говорит, у нас на тракторе еще кое-как до деревни доберешься, а чтобы на машине, на грузовике — лучше и не думай». Куда это мы, Петро, идем, а? — Не дожидаясь ответа, Михаил махнул рукой. — Ну, с тобой, я вижу, каши не сварить. Может, Калину Ивановича проведем? — Он указал рукой на небольшой огонек, призывно мигавший в конце свежей просеки, прорубленной через чащу кустарника. — Это я вечер коридор-то сделал. Человеку за восемьдесят — сам знаешь. А когда он у тебя на прицеле, поспокойнее. Верно?

У Петра глаза слипались от усталости, и у него одно было желание сейчас — как бы поскорее добраться до избы, до нар, застланных свежим сеном.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### *Из жития Евдокии-великомученицы*

Избенка у Калины Ивановича не лучше и не хуже Мотанихи. Того же доколхозного образца: когда каменку затопишь, из всех щелей и пазов дым. Но местом повеселее — на угорышке, на веретейке, возле озерины, в которой и вечером и утром побрякивает утка: толсто карася. В солнечный день с угорышка глянешь — медью выстлано замшелое дно.

И еще была знаменита эта изба своим шатром — высокой раскидистой елью, которая тут с незапамятных времен стоит, может еще со времен Петра Великого, а может, и того раньше. И с незапамятных времен из колена в колено пекашинцы кромсали эту ель ножом и топором: хотелось хоть какой-либо зарубкой буквой, крестом — зацепиться за ее могучий ствол. И все зря, все впустую. Не терпело гордое дерево человеческого насилия. Все порезы, все порубы

заливало белой серой. И подпись Михаила — еще мальчишкой в сорок третьем году размахнулся — тоже не избежала общей участи.

Дунаевы, когда они с Петром подошли к ихнему жилью, чаевничали. Под этой самой вековечной елью, возле потрескивающего огонька и под музыку: Калина Иванович по слабости зрения худо мог читать газеты и вот, как только выдавалась свободная минута, крутил малюсенький приемничек, который ему подарил райвоенкомат к пятидесятилетию советской власти.

— Привет стахановцам!

Калина Иванович в ответ на приветствие гостеприимно закивал и выключил свое окно в большой мир, как он называл приемничек, а Евдокия, злющая-презлющая, только стеганула их своими синими разъяренными глазищами. Понять ее было нетрудно: пришла на гребь, шесть верст прошастала по песчаной дороге, а тут непогодь, дождь — как не вскипеть.

Михаил и Петр, на ходу отряхиваясь, нырнули под смолистые, разогретые костром лапы — под елью никакой дождь не страшен, — присели на корточки возле огня.

— Чего молчишь? Привет, говорю, стахановцам!

— Ты-то настаханил, а мы-то чего?

Зарод за избой, на который кивнула Евдокия, был только начат, от силы три копны уложено — видать, с меткой разобрались как раз перед дождем. Но Михаил, вместо того чтобы посочувствовать, опять ковырнул хозяйку:

— Это бог-то знаешь за что тебя наказывает? За то, что не с того конца начала.

— Пошто не с того-то? С какого надо?

— С бутылки. Ноне с бутылки дело начинают.

Не слова — булыжники посыпались на голову Михаила: лешаки, сволочи, пьяницы проклятые!.. Всю Россию пропили... И все в таком духе.

Он поднял притворно руки, потянул Петра к скамейке: садись, мол, теперь не скоро кончит.

Скамейка — толстое суковатое бревно на чурках — до лоска надраена мужицкими задами, и вокруг окурков горы: не обходит старика народ стороной.

Калина Иванович, как бы извиняясь за суровый прием жены, предложил гостям по стакану горячего чая и даже пошутил слегка:

— Поскольку ничего более существенного предложить не могу... Жена строгий карантин ввела... На период сеноуборочной...

— Ладно, не тебе по вину горевать. Попил на своем веку!

Калина Иванович смущенно кашлянул.

— Не кашляй, не кашляй! Кой черт, разве неправду говорю?

— Я полагаю, молодым людям неинтересно по нашим задворкам лазать...

— Неинтересно? Вот как! Неинтересно? А у меня эти задворки — жизнь!

— Брось, брось, Савельевна! Знаем твою жизнь. Весь век комиссаришь...

— Я-то комиссарю?

Михаил живо подмигнул Петру (тот, конечно, глазами влип в старика): подожди, мол, то ли еще будет. И точно, Евдокия завелась мгновенно:

— Я весь век комиссарю? Это я-то? Да я всю жизнь ломлю как проклятая! Шестнадцати лет замуж выскочила — чего понимала?

— Да уж чего надо понимала, думаю, раз выскочила...

— Не плети! Он с гражданской приехал — весь в скрипучих ремнях, штаны красные... Как сатана повертывается. Жар за версту. А я что — сопля еще зеленая. Облапошил.

Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия и ему рот заткнула. И тогда Михаил заговорил уже на серьезе:

— Ты характеристику дай, а лаять-то у меня и Лыско умеет.

— Характеристиков-то у его ящик полон, в каждой газете к каждому празднику пишут, а я про жизнь сказываю.

— Но, но! — Михаил даже брови свел. — Про жизнь... А один человек целый монастырь взял — это тебе не жизнь?

Петр вопросительно поглядел на Калину Ивановича, на него, Михаила, видно, не очень-то знал эту историю, — и Михаил решил свое слово сказать, а то Евдокия — вожжа под хвост попала — все в одну кучу смешает, из ангела черта сделает.

— В гражданскую, в одна тысяча девятьсот двадцатом дело было. Отступали наши. А в монастыре рота караульная восстала. Пулеметы, пушки на стены выкатили — ну нет ходу. А сзади, понятно, беляки,



интервенты. Три раза наши на приступ ходили, да разве пробьешь стены каменные? А Калина Иванович пробил. Один. Ночью в монастырь через стену залез — и в келью, где этот заправила, ну, главарь ихний, в архиерейских пуховиках разлегся... Понял? Наган в спину: иди, сволочь, открывай ворота! Вот так, таким манером был взят монастырь, А ты говоришь — облапошил, — Михаил строго, без шуток поглядел на Евдокию. — Да за такого облапошельщика любая пойдет!

— Ладно, — сказала Евдокия, — и я не из последних была. Косяками парни бегали — кого хошь спроси, скажут.

И это так, можно поверить. Старуха по годам, когда уж на седьмой десяток перевалило, а какая баба в Пекашине, ежели хочет, чтобы на нее посмотрели, о празднике рядом с нею станет? Высокая, рослая, румяная, зубы — как белые жернова, ну а глаза, когда без грозы, — небеса на землю спустились. Только редко, минутами у Евдокии бывает синь небесная в глазах, а то все молоньи, все разряды, как будто внутри у нее постоянно землетрясение клокочет, вулкан бушует.

Вот и сейчас — долго ли держала язык на привязи? Загремела, загрохотала — все перестали вмиг слышать: и дождь, и потрескиванье огня, и кваканье лягушек — разорались проклятые, не иначе как сырость накличут.

— Облапошил! Как не облапошил. Ну я глупа — велики ли мои тогда годы. Явился как незнамо кто... Как огонь с неба пал. При ордене. Тогда этих орденов, может, на всю Пинегу два-три было. А как речь-то в народном доме заговорил про нову жизнь — у меня и последний ум выскочил. Ну просто сдурела. Делай со мной что хошь, свистни только — как собачка побегу, красу девичью положу... Вот какое затемненье на меня пало! — Евдокия всегда резала правду-матку, всех на чистую воду выводила, но и себя никогда не щадила.

— А может, затемненье-то не только на тебя пало, а может, и на него? — плутовато подмигнул Евдокии Михаил: его опять на игривость потянуло.

— Черта на него пало! Кабы пало, разве бы молодую жену в деревне оставил? А то ведь он недельку пожил, ребенка заделал да на города — штанами красными трясти. Не пожимай, не пожимай плечиками! — еще пуще прежнего напустилась на мужа Евдокия. — Пущай знают, какой ты есть. Все всю жизнь: «Дунька-сука! Дунька-

угар! Бедный, бедный Калина Иванович, весь век в страданье...» А того не знают, как этот бедный эту самую Дуньку тиранил? Это теперь-то он тихонькой да сладенькой, старичок с божницы, а тогда — ух! Глазами зыр-зыр — мороз у тебя по коже. А хитрости-то, злости-то в ем сколько было! Это ты зачем захомотал меня в шестнадцать-то лет? «Полюбил я навеки, полюбил навсегда...» Как бы не так. Старики были не пристроены, старики да девка — меня черт за вдовца понес (жену-то, бедную, насмерть белые замучили за то, что он монастырь с изменщиками взял), ровно в два раза старше, дочь на двенадцатом году, мне в сестры годится, вот он и нашел дурочку, на которую все свалить...

Тут Калина Иванович, до сих пор снисходительно, с легкой улыбкой посматривавший на свою распалившуюся жену, поднял голову, повел седой бровью — и права, права Евдокия, подумал Михаил: умел когда-то старик работать глазом. Но разве лошадь, закусившую удила, посреди горы остановишь?

— Да, да! Так говорю. Нашел дуру глупую: сыты, накормлены старики, обмыта дочь и сам гуляй на все четыре стороны! Я год живу, три живу в деревне, убиваюсь, ломлю за троих — здорова была. Муж в год на недельку заглянет, мне и ладно. Думаю, так и надо. Да! Потом та, друга на ухо: «Чего ты, женка, с мужиком нарозь?.. Смотри, Авдотья, наживешь беду». А подите вы к дьяволу! У меня мужик чуть не первый начальник в городе, революции служит, новую жизнь строит — слушать вас, шептунов, не хочу. Служит он... Строит нову жизнь... Да с кем? Со стервой крашеной, с буржуйкой рыжей! Ох, сколько у меня эта сука-белогвардейка жизни унесла, дак и страсть. Ведро крови выпила...

— Белогвардейка?

Евдокия не раз и не два выворачивала перед Михаилом свое прошлое, но, помнится, про белогвардейку не говорила.

— Ну, ученая, чики-брики, на высоком каблучку. Не деревенская же баба. Да! Не хочу своего серого. Подай мне чистенькую, беленькую. С деколончиком. Ну не то мне сейчас обидно, что он мне изменил да продал — все вы, прохвосты, одинаковы! — а то мне обидно да нож по сердцу, что у меня-то тогда где ум был? Нынче баба-то учуяла: мужик загулял — вмиг оделась, обулась, на самолет, меры принимать. А мне Марья Николая Фалилеевича сказала —

начальником милиции в городе служил: «Дуня, говорит, спасай себя и Калину, пока не поздно». Ни с места. Страда! Кто за меня с полей да с пожен убирать будет? Да, вот какая у меня сознательность была. Можно, думаю, с такой сознательностью коммунизм делать... Ладно, с пожнями, с полями рассчиталась, собралась в кои поры в город. Все правда, все как на бумаге. Ничего не соврано. За порог не успела перешагнуть — уборщица, Окулей звали: «Дуня, что ты наделала! Ведь ты разорила себя». А в комнату-то вошла — так и шибануло, так и вывернуло меня наизнанку. Постель не прибрана, в развал, подушка вся в помаде, в краске, деколоном разит... Ну, окошко открыла, сгребла все с кровати — к дьяволу, к лешакам! На полу, на голых досках спать буду, только не в этой грязи. А тут и он, грозный муж, вваливается: «Что делаешь? Кто тебе разрешил тут порядки наводить?» Вот как он меня встретил. Ребенок на кровати — не взглянул даже. «Приехала к законному мужу законная жена».

— Это ты сказала? — Михаил с сочувствием, чуть не с нежностью взглянул на Евдокию.

— Я.

— Вот тебе и серая баба. Нашлась.

— Найдешься, коли за глотку схватят.

Тут свою принципиальность решил показать Петр. Вскочил с бревна и волком на брата — это Петр-то! Как, мол, ты такое терпишь? О таком человеке и так говорят? А чего говорят? Подумаешь, собственная жена кое-какие не очень героические страницы из его автобиографии проявила.

— Сядь! — приказным голосом сказал Михаил. — С тобой, так сказать, опытом жизни старшие поколения делятся, а ты копытом бить.

— Это не опыт, а дурость наша, — тихо заметил Калина Иванович.

— А-а, дурость! У тебя дурость, а у меня от етой дурости жизнь враскат. Ничего, ничего, ноне не с тебя одного позолоту симают. Сталин уж на что вождь был — и то не смолчали. А тебя-то тогда еще надо было на чистую воду, на прикол взять. Не потерял бы орден, не исключили б из партии.

Петр вытянул шею и глаза колесом: ничего подобного не ждал. И Калину Ивановича зацепило. То сидел все с эдаким умственным видом, чуть ли не с улыбочкой поглядывая на свою разбушевавшуюся

жену: пускай, мол, выскажется, душу отведет, раз такие струны в сердце заиграли, — а тут вдруг заводил старой головой. Еще бы! Такими снарядами начали бить. Правда, Михаилу все это было не внове, он еще и не такие слышал при своего знатного соседа. Ну а Петр? Как Петра, как молодое поколение — Калина Иванович любил торжественно выражаться — оставить в неясности?

И Калина Иванович дал разъяснение:

— Я тогда действительно в сложный переплет попал. Не разобрался сразу в политической борьбе двадцатых годов — и в результате серьезный срыв в личной жизни...

— Поняли, нет, чего? Запоя не было, ордена не терял, со шлюхой буржуйной не знался — только срыв в личной жизни. Ладно, срыв дак срыв. Только кто тебя из этого срыва выволакивал? Друзья-товарищи? Нет, я — баба серая. Терпела-терпела, ждала-ждала: уймется же дале. Надоест же ему когда-нибудь это винище! Ведь до чего дошло — с подзаборниками спознался, все сапоги, все галифе пропил. Нет, вижу, не дожидаться. Во все колокола звонить надо. Пошла до самого высокого начальника в главную партийную контору. Так и так, говорю, человек всю гражданскую войну за советскую власть ломал, сколько крови пролил, белые жену до смерти довели, а тут остутился — все отвернулись. Да разве, говорю, это дело? Шкуры вы, говорю, после этого, а не коммунисты.

— Так и сказала?

— Та-ак. Где, говорю, тут у вас человек человеку брат и друг? А секретарь, хороший, Спиридонов фамилия, из ссыльных в царское время, смеется: «Ладно, говорит, дадим ему путевку в нову жизнь, а тебе спасибо, товарищ Дунаева. Всем бы таких жен иметь...» Да, не вру... Ну, чего там было, давал, нет накачку Спиридонов — не знаю: этот жук некак и скажет. Только на другой день является домой как стеклышко. Трезвый — за каки-то времена! «Все, Дуня, нову жизнь начинаем. В коммуно поедем». Ладно, в коммуно дак в коммуно, а куда вот тебе мочалка, вот тебе веник — в баню отправляйся. Да! Раз нову жизнь начинать, сперва себя отмой да отпарь, сперва себя в чистоту приведи. А то ведь он, когда запил-то, опять с той сукой буржуйкой связался. И вот как в жизни бывает! Только мы это на нову-то жизнь наладились — она. Прямо в дверях выросла, сука. Как, скажи, чула все. В шляпке. С сумочкой. И деколоном разит — с души

воротит. «А, поздравляю, говорит. Опять на деревенщину потянуло». Ну, тут врать не стану. Ногой стоптал: «Это, говорит, не деревенщина, а моя законная жена. А ты, говорит, марш к такой матери! Чтобы духу твоего здесь никогда не было».

Евдокия шумно выдохнула из себя воздух, вытерла лицо клетчатым с головы платком. Щеки у нее пылали. Ничего вполсилы не делала. Всему отдавалась сполна: хоть работе, хоть разговору. Потом глянула по сторонам — и на старика:

— Чего не скажешь? Дождя-то кабыть больше нету?

— Не кипятись, — сказал Михаил. — Первый раз на пожне? Мокрое сено будешь валить в зарод? Давай выкладывай про коммуны.

— А чего про коммуны выкладывать? Где она, коммуна-то? — Евдокия опять поглядела на пожню и то ли от обиды, что нельзя метать — с еловых лап капало, — то ли оттого, что внезапно перед глазами встало прошлое, опять завелась: — Где, говорю, коммуны-то? Людей сбивали-сбивали с толку, сколько денег-то государство свалило, сколько народу-то разорили (мы ведь выкупали дом-от! Да, свой дом выкупали, две тысячи платили) — стоп, поворачивай оглобли. Больно вперед забежали. Не туда заехали. Не туда шаг сделали. А куда? В какую дыру? В лес дремучий. На Кулой, где не то что человек медведь-то не каждый выживет. — Евдокия покачала головой. — Да, через все прошла. Через леса и степи, через пустыни и болота. От жары погибала, песком засыпало, на Колыме замерзала. Ну а как ехала в коммуны «Северный маяк» — не забыть. Сейчас маячит. Сам поскакал-полетел налегке, прямо из города, на другой же день грехи замаливать, думает, и в коммуны ворота закроют, ежели на день опоздает, а жена домой. Жена вези хлеб да пожитки. Все до нитки приказал: не жалко, не сам наживал. Свекрова, покойница, как услышала — в коммуны записались (свекра, того уж в живых не было): «Нет, нет, никуда не поеду. Сама не поеду и внучку на муки не дам. На своей печи помирать буду». Братья, соседи меня разговаривать: насмотрелись на эту коммуны, своя за рекой, в монастыре. А я реву да в дорогу собираюсь. У меня мужнин приказ, да. Ладно, собралась, поехала. Осень, грязища, снег над головой ходит. Телегу запрягла, на телегу сани. Впрок, про запас. Думаю, зима застанет — у меня сани есть. Ладно, дождь сверху поливает, корова на веревке, на руках ребенок: на воз не присесть — с лесами вровень хлеба наложено. Кто

встретит, кто увидит — крестятся. Думают, грешница какая алекчкнулась, с ума сошла. А один старичок, век не забуду, вынес берестышко: «На-ко накройся, бедная. Парня-то нарушишь...» — И Евдокия вдруг отчаянно разрыдалась.

Так всегда. Как только дойдет до сына единственного, убитого на войне в сорок третьем году, так в рев, так в слезы. И тут бесполезны разговоры и уговоры. Жди. Дай выплакаться.

— Вредительство! Самое настоящее вредительство! От неожиданности Евдокия как топором рубанула — Петр вздрогнул. А Калина Иванович, тот гнуть свое. Ангельское терпение было у старика. По часам могла молотить Евдокия молчал. Иногда даже Михаилу казалось — спит старик. Просто с открытыми глазами спит. Но вот разбушевавшаяся Евдокия что-то ляпнула не так, дала перекосясчет политики — и ожил.

— В те времена, — сказал Калина Иванович, — частенько наши неудачи и промахи списывали на вредительство.

— Ничего не списывали. В диком лесу, на глухой реке коммунызатяли как не вредительство? При мне сколько ни сеяли, сколько ни пахали, не доходило хлеба. Все убивало морозом.

— В смысле практическом, — вынужден был признать Калина Иванович, действительно был допущен некоторый недосмотр. Но у нас мечта была — чтобы все заново. Чтобы именно в диком лесу, в медвежьем царстве зажечь маяк революции...

— Слыхали? Одна баба тоже без броду за реку хотела попасть — что вышло? Ох, да что говорить! — Евдокия махнула рукой. — Собрались портфельщики, всякая нероботь — какая тут жизнь? Хороший хозяин начал обживать новое место — об чем первым делом думает? Как бы мне скотину под крышу подвести да как бы себе како жилие схлопотать. А у них скотина под елкой, сами кто где — кто с коровой вместях, кто в бараке, — красный уголок давай заводить. Да! Чтобы речи где говорить было. Ох и говорили! Ох и говорили. Я уж век в речах живу, век у нас дома люди да народ, а столько за всю жизнь не слыхала. До утра карасий жгут, до утра надрываются. Иван Мартемьянович в кой раз больше не выдержал: «Товарищи коммунары, которые люди днем работают, те по ночам спят. И нам бы спать надо...» Заклевали, затюкали мужика: «Темный... Неграмотный... Сознательности нету... На старину тянешь...» Да, не

вру. Я в этот «Маяк» заехала — коробка, лукошки одежды, а оттуда вышла в одной рубашке. И та рвана. Все поделила, все отдала.

— Налегке лучше, — пошутил Михаил.

— Да, пожалуй. Мы, как цыгане, как перекати-поле, покатались на юг. На всех стройках побывали, все пятилетки на своих плечах подняли, до самых киргизцев, до границы дошли...

Евдокия опять сняла с головы плат, чтобы вытереть запотевшее лицо, и вдруг вскочила на ноги.

— О, к лешакам вас! Сижу, языком чешу, а того не вижу, что солнышко в спину барабанит.

Калина Иванович не бросился сразу вслед за женой — дал выдержку. Посидел, даже руками поразводил: извините, дескать, такой уж характер, такой уж норов, — и только после этого начал подниматься.

Не ахти какая картина — восьмидесятилетний старик, волокущий свои старые ноги в кирзовых сапожонках по мокрой выкошенной пожне. Но было, было что-то в этом старике. Притягивал он к себе глаза. И не на березы, не на солнце, не на Евдокию, уже орудовавшую вилами у зарода, смотрели сейчас Михаил и Петр, а на старика. На Калину Ивановича.

— А ты знаешь, как Петр Житов его зовет? — вспомнил вдруг Михаил. Эпохой. Бывало, увидит — Калина Иванович под окошками идет, сразу команду: «Тихо! Эпоха проходит мимо».

— Хорошо, что Петр Житов понимает это, — буркнул Петр.

— Ясно. Петр Житов понимает, а брат твой ни бум-бум? Ты чего хочешь? Чтобы я на каждом шагу: герой, герой, на колени падал?.. А этот герой, между прочим, еще исть-пить хочет, и чтобы в избе тепло зимой было. А кто — ты его дровами выручаешь? А в бане обмыть надо? Вот я этими руками грязь смываю с его героического тела, на полку парю...

Михаил поглядел на отчужденное, закаменевшее лицо брата, хлопнул дружелюбно по плечу:

— Ладно, не считай меня за круглого-то идиота. Я хоть и сижу по самое брюхо в земле, а к небу-то тоже иногда глаза подымаю. Понял?

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нервная, сеногнойная пошла погода.

С утра жгло, калило, коршуны принимались за работу — красиво, стервецы, вычерчивали свои орбиты в небе, — кошеница начинала санным духом томить казалось, вот-вот надо браться за грабли. Нет, из-за леса выкатилась тучка одна, другая, дунул, крутанул ветришко, и вот уже залопотали, завсхлипывали березы.

И ведь что удивительно! Кабы так везде, по всем речкам. А то только у них на Марьюше.

Измотанный, издерганный ненастьем Михаил только что не запускал в небо матом: четыре гектара было свалено самолучшей травы — и четыре гектара гнило. Просто на глазах белела выкошенная пожня.

Душу отводили у Калины Ивановича, благо Евдокия из-за козы, сломавшей ногу, в эти дни сидела дома. Игнат Поздеев, Филя-петух, Аркадий Яковлев, Чугаретти — все хорошо знакомые Петру, заметно постаревшие, все, кто сенокосил на Марьюше, сходились под вечер к старику.

Сидели под елью, жгли сигареты и папиросы, ерничали, заводили друг друга, травили анекдоты, иногда слушали «клевету» (Михаил частенько захватывал с собой транзистор), а больше перетряхивали жизнь — и свою пекашинскую, и в масштабах страны, и в масштабах всего шарика.

Да, и шарика. А что? Газеты читаем, радио слушаем, людей, которые бывали за границей, видали — имеем понятие? А потом, кто мы теперь — ха-ха? Его величество рабочий класс. Гегемон. Хозяин страны. Положено, черт возьми, ворочать мозгой?

Ух и заводились! Ух и вскипали!

Почему, почему, почему... Целый лес «почему»!

Ничего нового для Петра в этих кипениях, пожалуй, не было. Где теперь не говорят об этом! Вся Россия — сплошная политбеседа.

Но Калина Иванович — вот с кого не спускал Петр глаз!

Он ведь раньше думал: комиссары, гражданская война — все это древняя история, обо всем этом только в книжках прочитать можно. И вдруг на тебе живой комиссар. Да где! У них на Марьюше, в сеной избушке. С косой, с граблями в руках.



Распаленные мужики трясли и рвали Калину Ивановича нещадно: дай, ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что ни про что столько лет отстукал в местах не столь отдаленных!

Калина Иванович отвечала моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. Так и сказал:

— Да, в этом вопросе мы недоглядели.

Однажды, когда страсти особенно раскалились, Филя-петух, не без страха поглядывая по сторонам, заметил:

— Вы бы потише маленько, мужики. Вишь ведь, ель-то даже притихла — в жизни никогда такого не слыхала.

— Слыхала, — сказал Калина Иванович. — Тут жаркие разговоры бывали.

— Когда?

— А когда царское правительство политических на Север ссылало. У нас в Пекашине в девятьсот шестом году двадцать пять человек было.

— Это ссыльных-то двадцать пять человек? В Пекашине? — Чугаретти, лицо черное, как у негра, голова седая ежиком, подсел поближе к Калине Ивановичу.

Легкая, чуть приметная улыбка тронула впалый аккуратный рот старика:

— Я тогда еще совсем молодым был, лет семнадцати, и, помню, тоже побаивался.

— Крепко высказывались?

— Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от Пинеги отступали...

Ассамблеи под елью — Игната Лоздеева придумка — обычно заканчивались пениями.

Пели про Стеньку Разина, про Ермака, пели старые революционные: «Смело, товарищей, в ногу», «Наш паровоз, вперед

лети» и непременно «Ты, конек вороной» — любимую песню Калины Ивановича.

Запевал Игнат Поздеев — у этого зубоскала-пересмешника с длинной, по-мальчишечьи стройной шеей красивый был тенор. Тихо, мягко, откуда-то издалека-далека, будто из самых глубин гражданской войны, выводил:

Сотня юных бойцов из буденновских войск  
На разведку в поля поскакала...

Потом вступали остальные.

Удивительно, что делала с людьми песня!

Еще каких-то десять — пятнадцать минут назад сидели, переругивались, язвили друг друга, а то и кулак увесистый показывали, а тут разом светлели лица, голоса сами собой приходили в согласие, в лад.

Калина Иванович тоже подпевал, хотя его старого, надтреснутого голоса почти не было слышно. Но подпевал, пока дело не доходило до его любимого «Конька». А запевали «Конька» — и он плакал. Плакал беззвучно, по-стариковски, не таясь, не скрывая слез.

И тогда Петр вдруг замолчал и видел только одно лицо — лицо Калины Ивановича, старое, мокрое, озаренное пламенем костров — нынешнего, живого, и тех далеких-далеких, что горят в веках.

Часом-двумя позже они лежали в своей избе.

В темном углу у дверей металась малиновая папироска, слова летели оттуда раскаленными ядрами — Михаил всю жизнь прожитую выворачивал наизнанку.

А Петр молчал. Он не мог говорить. Он все еще был в песне, в молодости Калины Ивановича и, как молитву, шептал про себя предсмертные слова юного комсомольца:

Ты, конек вороной, — передай, дорогой,  
Что я честно погиб за рабочих.

Калине Ивановичу в гражданскую войну было столько же, сколько ему сейчас, даже меньше, а какие дела творил! На каких крыльях парил! И жалкой и ничтожной представлялась Петру собственная жизнь.

ФЗУ, армия, ученье, работа на заводе... А еще что? Еще чем вспомнить свою молодость? Сверстники ехали на целину, на стройки, шатались по Крайнему Северу, Сибирь собственными ногами мерили, а он, как собака на цепи, возле больного брата...

— Кой черт молчишь? — Михаил заорал уже так, что песок посыпался со старого потолка. — Почему, говорю, после войны людей досыта нельзя было накормить? Боялись, что советский человек вместе с буржуйским хлебом буржуйскую заразу проглотит? Але тебя это не касается? Ты не голодал?

— Да не в голоде дело! — Петр тоже вспылал.

— Не в голоде? В чем?

— В чем, в чем... В гражданскую войну тоже немало голодали. Четвертушку хлеба получали. А про голод сегодня пели?

— А-а, дак ты вот о чем... — Михаил немного помолчал. — Песни-то мы все умеем петь. А тебя учили, я думаю, не песни петь...

Петр не сумел толком ответить. Он всегда терялся, когда брат взрывался и начинал кричать. Да и в двух словах тут не ответишь. О разном думали они сейчас с братом.

Михаил вскоре захрапел — он не любил неопределенности: говорить так говорить, спать так спать, — а Петр еще долго лежал с открытыми глазами.

Под ухом надоедливо попискивал заблудившийся в темноте комарик, поднять бы руку, прихлопнуть — заморозила песня, околдовали слова:

Он упал возле ног у коня своего  
И закрыл свои карие очи.  
«Ты, конек вороной, передай, дорогой,

Что я честно погиб за рабочих».

И он, взрослый человек с залысинами на лбу, с отчетливо наметившейся проталинкой на темени, отчаянно завидовал молодому, безвестному, безымянному пареньку, его славной смерти.

Была белая ночь, когда он вышел из душевой избы. Лежавший в сенцах у порога пес вскинул было голову и тотчас опустил: не хозяин.

Он перешагнул за порог. Холодная зернистая роса омыла босые ноги, разгоряченное тело зябко свело от ночной свежести.

Тихо, так тихо, как бывает тихо только в белую ночь.

Избушку Калины Ивановича на том конце просеки из-за тумана не видать. Но сама просека не в тумане. И белые верхушки наспех срубленного Михаилом кустарника горят в алом свете непотухающей зари, как кавалерийские пики...

Да, думал Петр, пройдут года, пройдут века. Будет все та же белая ночь, будет все та же Марьюша, наверняка расчищенная, разделанная, без этого нынешнего позора и запустения, а что останется от них, от людей? О них какую будут петь песню?

4

Сеногной кончился к пятнице. Огнистое светило с самого утра утвердило себя в небе и ни с места. Никаких уступок мокряди.

Сеноставы на Марьюше ожили, а Михаил, тот просто помолодел. Все дни были зарубы поперек лба, а теперь растаяли, смыло потом.

Но вот пошли времена! В субботу — шабаш. До обеда гребли, метали, делали каждый что надо, а с обеда запокрикивали: «Родька, Родька! Где Родька?»

— Да, так у нас ноне, — сказал Михаил. — Сев не сев, страда не страда, а в субботу двенадцать часов пробило — домой. В баню. А в воскресенье, само собой, вылежной.

— Но ведь есть постановление: в страдные дни рабочий день увеличивается, а отгул потом.

— Постановление... Постановление есть, да нынче люди сами постановляют...

Родька, конечно, перво-наперво подкатил к ним. И как подкатил! Напрямик, через ручьи и грязи, где и на телеге-то не скоро проскочишь.

Михаил, когда услышал надрывный вой и моторные выстрелы рядом в ольшанике, взвыл:

— Ну, сукин сын, завязнет! Придется всей Марьюшей вытаскивать.

Не завяз. Вырвалась из кустов машина — вся по уши в грязи, но с красной победной веточкой смородины на радиаторе.

— Тпру! — закричал Михаил весело. Он любил лихачей.

Родька еще поддал жару: сделал разворот во всю пожню. Перемял, перепутал грязными колесами все несгребенное сено. И Петр подумал: ну, сейчас достанется парню.

Слова не сказал Михаил — только головой покачал.

Родька выскочил из кабины — глаз черный блестит и улыбка во все смуглое запотелое лицо.

— Привет, привет, племянничек! — сказал Михаил, протягивая ему руку, и тоже начал улыбаться. Петра Родька тоже зачислил в свои родственники:

— Как жизнь молодая, дядя Петя? Не свои, чужие слова, даже фамильярные, а Петру было все-таки приятно.

— Ну, чаем тебя напоить, Родион? — спросил Михаил.

— Нет, нет! — Родька замахал обеими руками. — У меня еще сколько объектов! — Затем повертелся-повертелся чертом и вдруг — бутылку. Выхватил неведомо и откуда. Как фокусник. — А это тебе, дядя Миша. Персональный подарочек от меня.

— Ну это ты зря, зря, Родион. Ни к чему, — запротестовал было Михаил, но бутылку в конце концов принял: парень неплохо зарабатывает — не разорится.

Через минуту Родька уже восседал за рулем.

— Собирайтесь! А я моменталом. Через полчаса буду у вас.

— Я, пожалуй, воздержусь, — сказал Михаил. — И без меня полный кузов наберется. А вот его заberi. — Михаил с доброй усмешкой кивнул на Петра. Он ведь там, в городе, тоже привык к выходным.

— Ну это как сказать...

— Ладно, ладно, пошутить нельзя. Поезжай. Чего тут париться. Недельку повтыкал — и хватит.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Родька подкатил к самому дому, и Петр, выскочив из кабины, только что не попал в объятия к своим.

Все — сияющая сестра с зареванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виновато улыбающийся брат, Мурка, молоденькая черная кошка с белыми передними лапками, — все вышли встречать его. Встречать как своего кормильца, как свою опору, и вот когда он почувствовал, что у него есть семья...

— Что долго? Мы ждем-ждем, все глаза проглядели. У нас и баня вся выстыла.

Баня, конечно, не выстыла. Это сестра выговаривала ему по привычке, для порядка, и каменка зарокотала, едва он на нее плеснул.

Он не сразу решился взяться за веник. Прокалило, до самых печенок прожгло за эти дни, и уж чем-чем, а жаром-то он был сыт. Но свежий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так соблазнителен, такая зеленая, такая пахучая была вода в белом эмалированном тазу, что он невольно протянул руку, махнул веником раз, махнул два — и заработал...

Его шатало, его покачивало, когда он вышел в открытые, без дверей сенцы. Семейка молоденьких рябинок подступала к старенькому, до седловины выбитому ногами порожку, на который он сел. В прогалинах зеленого кружева листвы сверкала далекая, серебром вспыхивающая Пинегга, лошадиное хрумканье доносилось снизу, из-под угора, и так славно, так хорошо пахло разогретой на солнце земляникой...

Вдруг какая-то тень пала сверху на Петра. Григорий... Григорий вышел на угор...

Петр, пятясь, отступил в глубь сенцев, потом отыскал в пазу щель, припал к ней глазами, но Григория на угоре уже не было.

Зачем он приходил? Просто так на угор вышел, на реку, на подгорье взглянуть, как принято это в Пекашине? Или его проведать? По нему соскучился?

Когда у Григория начались припадки, врачи у Петра долго допытывались, не было ли у его брата какой-либо травмы черепа, ушиба. «Нет», — ответил Петр.

А сейчас бог знает почему вдруг вспомнил давнишнюю историю. Вскоре после того как они вернулись из армии, они с братом как-то работали в доке на сварке старого суденышка, а точнее на сварке поручней на верхней палубе. Работа, в общем-то, была ерундовая, и они не больно-то беспокоились о технике безопасности. Какую-то дощонку приладили сбоку, и все. И вот вдруг, когда уж поручни были почти сварены, Петр поскользнулся на этой, оледенелой дощонке (осенью дело было, в октябре) и с пятиметровой высоты полетел в ледяную воду. К счастью, все обошлось довольно благополучно, он отделался, как говорится, легким испугом, но когда он стал загребать руками, кого же увидел рядом с собой? Григория. Тот бросился вслед за ним, не раздумывая ни секунды.

Пользы от этого мальчишества, конечно, не было никакой, но сейчас, вспомнив этот случай, Петр вдруг подумал: а не с того ли самого времени началась болезнь у брата?

И еще он подумал сейчас: а сам он, если бы такое случилось с Григорием, сам он смог бы вот так же безрассудно, очертя голову броситься вслед за братом?

Ответа на этот вопрос он в себе не нашел, и тоска, тяжелая тоска навалилась на него, и все сразу вокруг как-то померкло.

Три дня разлагался Петр. Ходил на реку, купался, валялся в поле, в тени под старой лиственницей, пробовал читать «роман-газету». Модно, почетно теперь в деревне иметь ее. Как сервант, как приемник, как ковер на стене. И у Михаила скопилась целая стопа пестрых книжек из этой серии. Новеньких, нечитанных! Но и Петр не очень залохматил их за эти дни. Страниц пять первых одолеет, ткнется глазами в середину, в конец — и в сторону. Все вроде бы правильно,

речисто, а читать не хочется. И глаз сам собою тянулся к зеленой травинке, щекочущей кончик носа, к трудяге муравью, который для какой-то своей надобности с муравьиной основательностью и дотошностью изучал его морщинистую ладонь, к пузатому, разодетому в золото шмелю, беспечно, как в гамаке, покачивающемуся на белом душистом зонтике морковника.

Но больше всего, лежа вот так в траве под лиственницей, Петр любил смотреть на коня — на это деревянное чудо на крыше ставровского дома.

За эти дни он вдоль и поперек исходил, излазил дом. И его поражала добротность и основательность работы (он сам как-никак плотницкую академию ФЗУ — кончил), поражал лес, из которого выстроен был дом. Отборный. Безболонный. Снаружи немного подгорел, повыветрел — шестьдесят лет все-таки постройке, — а изнутри как новенький. Янтарный. Звоном звенит. И Петр любил, проснувшись поутру (он один спал в передних избах-горницах), подать голос, и голос гулким эхом раскатывался по пустым, ничем не захлавленным избам. Эхом. Как по лесу на вечерней и утренней заре. И если бы он не знал вживе Степана Андреяновича, хозяина этого дома, он не задумываясь сказал бы: тут жил богатырь — до того все было крупно, размашисто — поветь, сени, избы. Хоть на тройке разъезжай. И какими скучными, какими неинтересными казались нынешние новые дома — однообразные, предельно утилитарные, напоминающие какие-то раскрашенные вагоны. И, увы, дом Михаила, может быть лучший из всех новых домов, тоже не был исключением.

А может, и в самом деле раньше жили богатыри? — приходило на ум Петру. Ведь чтобы выстроить такие хоромы — название-то какое! — какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство красоты!

Петр дивился себе. Родился, вырос среди деревянных коней — с редкого пекашинского дома, бывало, не глядит на тебя деревянный конь, — а не замечал, проходил мимо. Мал был? Глуп? Кусок хлеба все заслонял на свете? Или для того, чтобы запело в твоей душе родное дерево, надо вдосталь понюхать железа и камня, подрожать на городских сквозняках?

Он запомнил ту весну, когда Степан Андреянович начал вырубать из матерой, винтом витой лиственницы этого коня, запомнил, как они с



братом Григорием ножиками соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки (никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней!), запомнил то время (они как раз тогда с братом прибежали из училища), когда охлупень с конем, уже готовым, вытесанным, лежал на белых березовых плашках у стены двора.

И вот сколько лет с тех пор прошло? Двадцать? Двадцать два? А конь нисколько не постарел — ни единой трещины в его необъятной шарообразной груди.

Но невесело, тоскливо смотрит деревянный конь со своей высоты. Отчего? Оттого что остался один во всем Пекашине? Один из всего бывшего деревянного стада?

Петр решил отстраивать старый пряслинский дом.

### 3

Лиза, когда он объявил о своем решении, только что не расплакалась от радости: кому не хочется, чтобы родной дом зажил заново. А потом, разве худо запасные стены иметь? Один бог знает, как у кого сложится жизнь. Может, еще и им с Григорием в Пекашине придется помыкать. А когда стены да крыша наготове, никакой заботушки.

Но, поразмыслив, она покачала головой:

— Нет, не советую, Петя. Там все сгнило, обветшало — ты и отпуска не увидишь с этим домом.

— Увижу! Отпуск у меня большой — за два года.

— Все равно не советую. Надо бревна, надо тес — где возьмешь? А коли охота топориком помахать, поправь лучше мне воротца назад. Который год как собаки лают да по земле волочатся.

Петр тут же на глазах у сестры расправился с воротцами — как новехонькие забегали по толстой смолистой чурке, врытой в землю, — а затем топор на плечо и на родное пепелище.

Осмотр дома — плотницкий — он начал почему-то со двора. Может быть, потому, что чувствовал свою вину перед Звездоней — в прошлый раз, когда были тут с Лизой, даже не вспомнили про свою кормилицу, а уж им ли, Пряслиным, про нее забывать?

Он не спеша, со знанием дела выстукал обушком топора стены двора изнутри и снаружи — вполне терпимы оказались, — затем, чтобы покончить с задней частью дома, поднялся на поветь, где они когда-то в летние ночи спали всей семьей, и там проделал то же самое, затем залез на избу, на чердак и вот тут застрял: на семейный архив Пряслиных наткнулся — целый ворох бумаг и бумажонок, которые сюда сваливали годами.

И чего только не было в этом архиве!

Налоговые извещения и обязательства на мясо, на молоко, на шерсть, на яйца, которые в Пекашине не все даже и в глаза-то видали, потому что сроду кур не было; ихние с Григорием школьные тетради, сшитые из тогдашних толстых, как обертка, газет (да, на газетах писали они свои первые буквы, первые слова); какие-то почти совершенно выцветшие письма, среди которых он напрасно пытался отыскать хотя бы одно фронтовое письмо отца; вдрызг затрепанные и растрепанные книжонки и брошюры тех давних лет и в числе их «Краткий курс истории ВКП(б)» — книга комсомольской молодости Михаила да отчасти и ихней с Григорием...

Долго Петр перебирал все эти бумаги, которые когда-то были ихней жизнью, а потом наконец снова взялся за топор, снова, как дотошный доктор, начал выстукивать и выслушивать каждое бревнышко, каждую доску старого дома.

Работа, что и говорить, предстояла немалая. Крыша выгнила начисто, вся, до единой тесницы. Бревна под окошками — вечно текло на них с рам — тоже пропали. И совершенно заново надо было набирать сени, крыльцо.

Но не теперь сказано: глаза страшатся, а руки делают. А потом, черт побери, какой он породы? Разве не пряслинской? Разве через такие заломы и завалы ему приходилось проламываться в жизни?

Его первая тропа как строителя пролегла к совхозной конторе: пока не обеспечена, как говорится, материальная база, нечего и топор в руки брать.

Однако Таборский, когда он заговорил насчет теса (тес — голова всякой стройке), только заулюлюкал:

— Да ты что? Откуда такой взялся? С лунной тележки свалился? Нет, паря, мы бы теску этого самого сами где купили, да адреса не знаем. А ты с тесом-то чего хочешь робить? Похоронное бюро открываешь? — И опять взрыв крепкого, румяного смеха. — Это у нас Петр Житов придумал. Кредиты выбрал у старух начисто — что делать? Как снова раскарманить? Нашел! Ставь бутылку, а я домовину тебе сделаю, когда богу душу отдашь. И понимаешь, кое-кто из старушек клюнул: охота полежать в хорошем гробике, золотые руки у мужика.

Таборский покосился прищуренным глазом на солнце, размял затекшие плечи.

— С теском-то, говорю, чего задумал робить? Ежели Лизавета там чего в части ставровского дома собирается колдовать, то мой совет не торопиться.

— Это почему же? Из-за претензий Анны Яковлевой?

— Хотя бы. Бориса ейного видал? Доказательства, как говорится, на лице...

Петр не стал дожидаться, когда Таборский перейдет на жеребятину — у того шало, похабно заиграл глаз.

— Я над своим домом собираюсь поколдовать.

— Это что — старую-то развалюху из пепла подымать? — И Таборский широко зевнул. — Не спал сегодня. Вечор, вишь, браконьеры соблазнили: давай за красненькой погоняемся. А красненькая ноне с высшим образованием — дуриком ее не возьмешь.

Откровенная присказка насчет запретного лова семги — это так, для игры, для щекотки нервов, а что касается существа дела, то тут Петру стало яснее ясного: не будет теса. И не жди. Чего мне надрываться ради какого-то гуся залетного? Какой от тебя толк?

Таборский достал папиросу, вдруг совсем запросто улыбнулся:

— Я все удивляюсь, как ты целую неделю выжил с кипятком и угаром. На здоровье не отразилось?

Петр озадаченно пожал плечами: о чем это он? И тогда довольнехонький Таборский захохотал:

— Как, говорю, целую неделю с братцем своим на Марьюше выжил, да еще Евдокия под боком? У нас их долго никто не

выдерживает. Ладно! — с неожиданной решимостью сказал Таборский. — Открою тебе один клад. Поезжай на Сотюгу. Знаешь бывший леспромхоз? Там сейчас, правда, пустошь, гарь — сгорел на хрен поселок. Но ежели как следует пошуровать... Водяны урвали, много оттуда добра всякого вывезли, это только мы, пекашинцы, — под ногами золото и лень нагнуться...

— И ты думаешь, — вдруг тоже на «ты» перешел Петр, — и тесом там можно разжиться?

— А то! — воскликнул, весь загораясь, Таборский и встал. — Дуй! И учти: тебе первому открываю сотюжский клад. Но насчет транспорта — извини. Договаривайся с шоферней сам. В частном порядке. А я знать ничего не знаю и видеть не вижу. Потому как за использование совхозной тяги не по прямому назначению в период заготовки сочных и консервированных кормов... Дальнейшее содержание приказа Таборский передал жестом, коротко полоснув себя ребром руки по горлу.

Петр не настаивал. Он знал, с детства знал деревенские порядки. И уж за то был благодарен управляющему, что тот подсказал ему, как действовать.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

В таежном краю это сплошь и рядом: вырубил, выкосил окрест леса, вытоптали жизнь — и дальше. Если окажется под боком расторопный хозяин из тех же лесных организаций или, скажем, колхоз под рукой, тогда жильё не пропадет, все до последнего бревнышка, до последней доски приберут, а если вокруг на десятки верст лесная нежилка да еще наше расейское бездорожье тогда что делать? Тогда годами, до скончания века стоят мертвые дома и бараки, мокнут под осенними дождями, скрипят, стонут в зимние метели и вьюги, и кустарник, кустарник давит их со всех сторон, карабкается на прогнившие стены и крыши, залезает внутрь.

Сотюгу постигла другая участь — пожар.

Пожар вспыхнул под утро в октябрьские праздники, и, пока подгулявшие накануне люди приходили в себя да раскачивались, поселок сгорел начисто. Только на закрайках остались кое-какие хозяйственные постройки.

Было следствие, было дознание, но виновников не нашли: несчастный случай. Да виновников, как потом говорили, не больно-то и искали. Потому что с этой Сотюгой давно уж не знали, что делать. Леса поблизости не было (на специальном языке это просчеты в определении сырьевой базы предприятия), план не выполнялся годами. А раз план не выполнялся — какая же жизнь и у рабочего люда и у начальства?!

Вид черных развалин, внезапно открывшихся глазам на высокой красной щелье за речкой, недобрый предчувствием сдавил Петру сердце. И даже словоохотливый Родька, всю дорогу развлекавший его всякими рассказками про пекашинское житье-бытье, на какую-то минуту примолк. А потом начался спуск с горы к пересохшей, сверкающей на солнце цветными камешками речонке — мост давно уже унесло весенним паводком, — и Родька опять зататорил.

По черным улицам поселка, уже кое-где заросшим травой и малинником, закрутился как черт.

— Вот! — Остановился возле барака, там, где когда-то неподалеку стояла кузница. — Здесь хоть всю крышу снимай — ничего почти не выгорело. Я уж тут разведку боем сделал. По специальному заданию управляющего.

Барак, в который они вошли, действительно не очень пострадал от огня. Стены изнутри были только закопчены — звонко, как железо, зазвенели под обухом топора.

— А ведь, пожалуй, ты прав! — обрадовался Петр. — Кое-что мы тут найдем!

— Да не кое-что, а что надо! — сказал тоном бывалого человека Родька. Ну а у меня приказ — до телячьего отгона сгонять. Справитесь без меня? Сумеете топором доску оторвать?

— Валяй! Дуй куда надо.

— Ну тогда я моменталом! — И Родька пулей выскочил из обгорелого барака.

Была весна, было солнце, и была черемуха. Много черемухи. По всему зеленому мысу, по всей Сотюге кипели белые пахучие кусты. И была еще Зойка с телятами. Телята — молоденькие, голубоглазые, на смешных шатучих ножонках со всех сторон облепили Зойку, и она, смеясь, легонько шлепала их по мокрым розовым мордахам. Серебряное колечко сверкало на руке.

А что, если и ему попробовать наподобие теленка пристроиться? Не убьет же, в конце концов.

Зойка не убила Родьку и даже не оттолкнула. У нее не дрогнуло сердце, что парень на двенадцать лет моложе ее. А что ему дрожать, сердцу-то? У того злыдня вербованного больно дрожало, когда он ее одну с ребенком оставил? А солдат-грузин с черными усиками, которого она поила-кормила два года? Пожалел ее, сдержал свои клятвы? Ну так и от нее пощады не ждите!

Родьке на сей раз неслыханно повезло. Он еще издали, подъезжая к телячьему стану, увидел глухую Матрену, напарницу Зойки, на той стороне Сотюги среди черно-белой россыпи телят, а это значило, что Зойка сейчас одна в избе или около избы.

Все же, подъехав к избе, святой избе, как называли ее пекашинские зубоскалы, потому что она была сложена из останков пекашинской церкви, и с железным лязгом распахнув дверцу кабины, он по привычке, на всякий случай крикнул:

— Эй, выходи, принимай груз!

В малюсеньком, с сенной затычкой окошке бледным пятном всплыло Володино личико, а сама Зойка — ни-ни, ни привета ни ответа.

Родька поглубже натянул на лоб кепчонку, глянул за реку — где Матрена? — зыркнул глазом туда-сюда и вперед, на амбразуру.

— Можно? Не помешаю?

С низкой закоптелой избенке с одним окошечком было сумрачно, но ему сразу бросилась в глаза белая Зойкина нога — на койке у дальней стены лежала, — и больше он уже ничего не видел.

— Зочка, здравствуй.

— Слыхали. Еще чего?

— Еще... — У Родьки, сам знал, глупо разъехались губы. — Еще... я приехал.

— Ох, какая радость! Сейчас запляшу.

Родька наконец, минуя скамеечку и длинный, на крестовинах стол, сколоченный из нестроганных досок, добрался до Зойкиной кровати, сел на край.

Зойка не пошевелилась.

Она лежала на спине, закинув за голову свои худые, тонкие руки, и серые глаза ее спокойно и хмуро смотрели на него. В общем, все было так, как в прошлый раз.

Управляющий Таборский как-то навеселе, когда они возвращались из района, целую лекцию прочитал ему насчет обхождения с женщинами. «Главное, говорил Таборский, — глазами перебороть бабу. Переглядеть. Понимаешь? А все остальное — как по маслу».

Но как переглядишь Зойку, ежели не то что в глаза — в лицо ей боязно глянуть?

Он ткнулся ей под мышку головой — Зойка любила порыться в его мягкой волнистой волосне. Сперва вроде бы так, нехотя: дерг-подерг, туда-сюда, а потом все глубже, глубже пальцами — и вот уж вцепилась намертво...

— Не лезь, не лезь! Ничего не будет. Тяжелая рука у Зойки, хоть и костлявая. Вроде бы только отмахнулась, а у него слезы из глаз.

Родька нащупал в кармане эту круглую скользкую штуковину, покатав в запотевших пальцах... Эх, была не была! Трусы в карты не играют.

— Зочка, дай-ко мне сюда твой пальчик.

— Ну еще! Опять ты со своими телячьими нежностями. Может, еще сиси дать?

Он разжал кулак.

Золотой блеск ослепил Зойку, она смешно, как малый ребенок, захлопала донельзя изумленными глазами.

— Золотое? Настоящее?

Ей давно хотелось иметь золотое кольцо, в моде нынче они, и в последний раз она прямо сказала: без кольца больше не заявляйся. Она даже подсказала, где достать его. В городе. Туда ездят все новобрачные.

Догадался-таки.

Зойка сняла с худого длинного пальца свое старое истаявшее, как льдинка, серебряное колечко, надела на него золотое — в самый раз —

и эдак красиво, как артистка, откинула в сторону окольцованную руку.

— Володя, иди на улицу. Поиграй.

— Мама, я не хочу.

— Я кому сказала?

Мальчик слез со скамейки, с которой, стоя, смотрел в окошко. Он был такой худенький, такой крошечный — в Пекашине все звали его карманным Володей, — что некоторое время в избе был слышен только шелест босых ножек, ступавших по полу, а самого его из-за стола не было видно. Потом вдруг неожиданно, как свеча, вспыхнула светлая головенка в сутемени над порогом.

Он не сказал ни слова. Но перед тем как проскрипеть старой дверью, обернулся, до самых пяток прожег Родьку своими черными сверкающими глазенками.

Машина летела как шальная. В ручьях и на поворотах гром раскатывался в башке — железная все-таки крыша над головой! — кустарник зеленым прутьем хлестал в открытые окна с обеих сторон, а он все жал и жал на газ. И так до тех пор, пока за мысом не полыхнула серебряная гладь Михейкина плеса.

Вот тут он затормозил, вылез из кабины и все, все до последней нитки сбросил с себя. Даже плавки красные с фасонистым якорьком и кармашком с «молнией» сбросил. А потом он долго, до полного изнеможения утюжил и молотил воду. Руками, ногами, головой. Терся и брюхом и спиной об илистый песок под развесистой ивой...

От Михейкина плеса дорога покатила широком открытым наволоком. Травяной ветерок продувал открытую кабину, охлаждал мокрую голову, и мало-помалу, как дурной сон, начало рассеиваться все то, что недавно было в полутемной избе с низким закоптелым потолком.

А вскоре, когда впереди, лениво переваливаясь, дорогу перебежала большая бурая лосиха с маленьким теленком, у которого задорно блеснуло на солнце желтое копытце, к нему и вовсе вернулось хорошее настроение, и он, снова улыбаясь, игриво переглядываясь со



смазливенькими артисточками — вся кабина была заклеена ими, — запел свою любимую «Хотят ли русские войны...».

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

У старого пряслинского дома запахло смолистой щепой, белая стружка разлетелась по всему заулку.

Петр пропадал на стройке с раннего утра до поздней ночи. Но вот что значит работка по душе! Повеселел. А раз повеселел Петр, то и Григорий ожил. И тоже нашел себе занятие. Лиза все переживала — куда девать ребятишек, когда начнет снова работать на коровнике, а и зря: Григорий стал за няньку. Просто талант открылся у человека на детей. Миша у нее, у родной матери, сколько недель кис да чах, а дядя живо на ноги поставил.

В общем, тучи да темень вокруг Лизы мало-помалу стало разносить, и она теперь уже по-иному, без прежнего отчаянья взглянула и на свою размолвку с Михаилом и Татьяной.

Но разве для нее солнце?

Не успела обжиться на скотном, заново приладиться к буренкам Таборский. Навалился, как медведь: бери телятник за болотом.

А телятник за болотом это что? Прощай семья, прощай дом! Телята все молодняк (постарше с весны на откорме на Сотюге), каждого чуть ли не с руки поить надо, с каждым за няньку быть. А корма? А вода? А уборка навоза? Проклянешь все на свете! Это ведь только на бумаге все гладко, все расписано, а на деле-то везде надо свой горб подставлять.

— Нет, нет, — наотрез отрезала она управляющему, — иди и больше не приходи! Мне со своими-то телятами дай бог управиться, — она кивнула на двойнят, ползающих по полу, — а ты еще такую обузу навязывать!

— Ну тогда хоть на недельку, — стал упрашивать Таборский. — Покамест Тонька с Северодвинска не приедет.

(Да, вот какие пошли ноне работницы! Скотину бросила, а сама в город в загул — на свадьбу к подружке!)

— Не улещай, не улещай! — еще пуще разошлась Лиза. — На недельку! Одна я, что ли, в Пекашине, как банный лист пристал? — И тут она до того распалилась, что просто вытолкала управляющего из дому. А чего церемониться? Ей самой, правда, зла большого не сделал, да зато брату на каждом шагу палки в колеса ставит.

Не помогло.

На другой день утром — она как раз только что с коровника пришла да печь затопляла — снова на порог:

— Пряслина, выйдем на крыльцо.

— Зачем? Чего я не видала на крыльце-то? Но вышла. Как не выйдешь, когда власть к тебе пришла!

— А теперь слушай, — сказал Таборский и кивнул на задворки.

А чего слушать-то? Телята ором орут — за версту слышно.

— Второй день не поены и не кормлены...

— Да мне-то что...

— Я все сказал. Есть совесть — напоишь, а нету — пушай подышают.

До двенадцати часов дня не выходила Лиза из дому.

А в двенадцать вышла — рев за болотом пуще прежнего — и, что делать, пошла к телятам.

## 2

Телят она спасла.

Пять часов с Петром, с братом, таскала воду ведрами. По жаре. От колодца, который чуть ли не за версту от телятника. А что же было делать? Машины, как назло, все в разъезде, начальства никакого на месте нету — не смотреть же, как телята подышают на твоих глазах?

Зато уж вечером, когда она добралась до управляющего, взяла его в работу. Разговаривала — стены конторские тряслись. Водовоза постоянного раз. Для травы специальную машину — два. И чтобы завтра же был загон возле телятника, а то ведь это ужас — телята все лето взаперти. Как в душегубке задыхаются.

И загон назавтра сделали — долго ли вкопать готовые, отлитые из цемента колья да натянуть в три ряда проволоку? И был праздник у телят: первый раз в своей жизни вышли на волю, первый раз на своем

веку — увидели солнышко. И Лиза глядела-глядела на разыгравшихся от радости телят да вдруг и расплакалась:

— Ох, ребята, ребята... (Все тут были, все притащились в этот вечер на телятник: Петр, Григорий, Анка с малышами.) Мы вот с вами о телятах хлопочем, скотину из заключения вывели, а где Федор-то наш? Где он-то теперь, бедный?

Григорий — близко, как у нее, слезы — завсхлипывал, а Петр закаменел, слова не нашлось для брата. И она не осуждала его.

Хуже врага, хуже всякой чумы был для ихней семьи Федор. Они, Пряслины, все от мала до велика голодали, последней крохой делились друг с другом, а этот никого и ничего не хотел знать, из горла кусок рвал.

Но пока был дома Михаил, кое-как еще можно было жить. А взяли Михаила в армию — и хоть караул кричи, каждый день жалобы: там у ребятишек хлеб отнял, там у старухи деньги выкрал, там амбар обчистил... А потом надоело, видно, по мелочам промышлять — в склад у реки залез. И тут даже у нее, у Лизы, лопнуло терпенье: судите, хоть в кандалы закуйте дьявола, раз человеком не хочет быть.

С этого времени Федор и пошел по тюрьмам да колониям. И напрасно братья и сестры пытались образумить его: на письма не отвечал, на свидания, когда приезжали к нему, не выходил.

И в конце концов Михаил сказал: хватит больше кланяться! Будем считать, что не было у нас брата. В дурном сне приснился...

На другой день за завтраком Лиза опять завела разговор о Федоре — она всю ночь не спала, всю ночь продумала о его злосчастной судьбе:

— Петя, а я ведь насчет Федора писала...

— Чего писала?

— Письмо. Самому главному начальству в Москву. Как-то ночью о Первом мае приснился мне сон — ужаси что за сон. Стою это я у Дуниной ямы, а в яме-то кто? Наш Федор. Ребенок. Барахтается, из последних сил выбивается, к берегу хочет попасть. И вот что, ты думаешь, я делаю? — Лиза тяжело перевела дух. — Отталкиваю, не

даю ему на берег выдти. Ей-богу! Я проснулась уревелась. Думаю, да что я за зверь такой — брата родного топлю? Вот тогда я и накатала письмо. Все описала — где чернилом, где слезой. Как в войну жили, как голодали, как робили... Говорю, помогите человеку встать на ноги. Хоть не ради его самого, дак ради отца, убитого на войне, ради мамы-покойницы, которая ведь высохла по нему, глаза проплакала... А потом как-то разговорилась с Анфисой Петровной: не так, говорит, ноне делают. Надоть, говорит, бумагу писать, а не письмо. Надоть, говорит, через прокурора, по всем чтобы законам было...

Петр старательно дожеввал кашу, совсем как в детстве облизал ложку, встал. И не велик, не тяжел был человек, разве сравнишь с Михаилом, а заходил по избе — половицы в дрожь.

— Давай, сестра, договоримся раз и навсегда: чтобы об этом бандите больше ни слова.

— Да пошто ты так-то, Петя? Кому бандит, а нам брат.

— Брат? А ты забыла, сколько мы беды с этим братом хлебнули? Корову из-за него продали, Васю без молока оставили... А как Михаил к нему ездил забыла? Из армии, из Заполярья попадал, а он, скотина, даже не вышел к нему... Силой вытащить не могли...

— Да я ведь, Петя, не защищаю его. Я и сама так раньше думала. А тут как Михаил Иванович загородил мне дорогу к своему дому да Татьяна Ивановна отвернулась от меня... Время-то, время-то какое, Петя, было! Война, голод, отца убили... Да кабы другое время было, может, и он другой был.

— Но мы-то не стали бандитами!

— Не знаю, не знаю, Петя. — Лиза смахнула слезу, посмотрела в окошко на детей, игравших у крыльца с дядей, и с мольбой протянула руки. — Петя, бога ради... Ради отца нашего... ради нашей мамы-покойницы... Напиши письмо Татьяне. Пущай она похлопочет за Федора...

— Нет-нет! — закричал Петр и даже ногой топнул. — Пальцем не пошевелю! Лучше и не проси.

А после полудня, когда пришел со своей стройки, первым делом бросил на стол сложенную вчетверо бумагу.

Лиза с загоревшимися глазами схватила бумагу, развернула — и, как она и догадалась сразу, то было письмо Татьяне насчет Федора.

Кажется, никогда в жизни она еще не бегала так быстро, так не спешила. У клуба на Феколу наскочила — даже не оглянулась. А когда влетела на почту да увидела — почтарихи сургучную печать на брезентовый мешок ставят, просто стоном застонала:

— Девки, девки, отправьте мое письмо! Я загадала: ежели сегодня уйдет, судьба повернется лицом и к моему брату.

И упросила, умолила соплюх — открыли мешок.

Повеселевшая, сразу воспрянувшая духом, Лиза вышла на улицу.

Народу возле почты еще прибавилось.

Тут, возле почты, каждый день праздник. Каждый день кого-нибудь встречают да провожают — семьями, компаниями, даже родами.

И первыми на этом празднике были, конечно, старухи. Запрудили танцевальную площадку, задавили бревна на лужку, в затишке развалились. Этим все едино, что свадьба, что похороны — лишь бы время убить, лишь бы языком почесать.

Лизе позарез, сломя голову надо было бежать на телятник, а она стояла приросли ноги к земле. Стояла и вся в какой-то непонятной тревоге и ожидании смотрела на задворки — на сосны, на недавно открытую чайную с большими белыми окошками, из-за которой вот-вот должен вынырнуть почтовый автобус. А когда почтовый автобус, старый, обтрепанный, насквозь пропыленный, подкатил наконец к пестрой шумной толпе, она просто кинулась к нему.

И кого же она увидела, когда распахнулась дверца? Кто первый прыгнул с подножки автобуса?

Егорша... Ее бывший муж, от которого двадцать лет не было ни слуху ни духу...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### 1

Слухи о новой засухе на юге поползли еще в конце июня: все горит на корню — и хлеб и трава, скотину гонят на север, а потом и вовсе диковинное: Подмосковье горит, сама Москва задыхается от дыма...

Однако Пинежье, далекое приполярное Пинежье, укрывшись за могучим тысячеверстным заслоном тайги, еще долго не знало этой беды.

Ад на Пинеге начался дней десять спустя после Петрова дня, с сухих гроз, когда вдруг по всему району загуляли лесные пожары.

Дым, чад, пыль... Тучи таежного гнуса... Скотина, ревушая от бескормья — вся поскотина выгорела... А жара, а зной, будь они трижды прокляты! Нигде не спасешься, нигде не отсидишься — ни в деревянном, насквозь прокаленном доме, ни в пересохшей реке, где задыхалась последняя рыбешка.

Набожные старухи покаянно шептали:

— За грехи, за грехи наши... За то, что бога забыли...

А те, кто был помоложе, неграмотнее, те опять толковали про науку, про космос, про то, что человек вторгся в запретные вселенские пределы...

#### 2

Петр Житов томился от другой засухи.

Уж он не поленился, не пожалел себя: все обшарил, все карманы наизнанку вывернул — больше сорока трех копеек не набрал. А что такое сорок три копейки по нынешним временам, когда бутылка самого дешевого винишка, кваса какого-то поганого стоит рубль

двадцать! Правда, у него был один резерв корзина пустых «бомб», или «фугасов», темных увесистых бутылок из-под красного «рубина», но что с ним делать, с этим резервом? Мертвый капитал. В сельпо не принимают: не марочный товар. Так что же, бить этот товар? А на заводах, тем временем новые бутылки будем шлепать? Хозяева, мать вашу за ногу.

День пришлось начинать со стакана черного, как деготь, чая.

Когда немного прочистились мозги, Петр Житов хмуро, как старый ворон, высунулся из окошка — нет ли поблизости какой поживы? нельзя ли кому крикнуть: выручай, брат, попавшего в беду?

Но пусто на улице, ничего отрадного на горизонте. Злым раскаленным пауком смотрит из дыма солнце, кумачом горят новые ворота у Мишки Пряслина, а люди... Где люди?

За целый час проковыляла мимо одна душа, да и та из шакальской породы Зина-тунеядка: так и стегала, так и шарила глазищами по окошкам — не подвернется ли пожива?

Петр Житов покатился под откос три года назад, когда умерла Олена. Первое время еще изредка вставал на просушку, и день и неделю держал себя на привязи, а потом оглянулся — чем жить? Дети разлетелись кто куда, жениться второй раз и начинать жизнь заново в пятьдесят лет на одной ноге — э-э, да пропади все пропадом!

Сосновые брусья, заготовленные на прируб к дому новой горницы, пропилил, инструмент столярный и слесарный — в загон, мебель и посуду — по соседям, а потом во вкус вошел — объявил войну частной собственности по всем линиям. Все нажитое за долгую жизнь пустил по ветру и докатился до того, что перешел на «аванец».

Под печь, под раму, под крыльцо, под лодку — под все брал пятаки. И даже под гроб. Это уже он придумал нынешней весной, когда сидел на совершеннейшей мели и когда всякие обычные кредиты для него в деревне были закрыты. Вот тогда-то его и осенило.

— Аграфена, хочешь, чтобы тебя в хорошем гробу на кладбище отволокли? — начал он прямо, без всякого предисловия, войдя в избу к дряхлой соседке.

— Хочу, Петрышко, как не хочу.

— Тогда давай на бутылку — будет тебе гроб по первой категории. Фирма «Петр Житов» не подведет.

Аграфена выложила на бутылку без всякого торга, а остальной утиль — так Петр Житов крестил старушонок — оказался менее сговорчивым. Нет, нет, гроб надо. Против гроба не возражаем — плохая надея на нынешних сыночков. Да ты только сперва домовинку представь, Петруша, а уж за денежками мы не постоим...

Стакан за стаканом пил Петр Житов дегтярный чай, жег дешевенькие, по доходам, папироски «Волга», а где добыть проклятый рублишко, по-прежнему не знал. Не соображала старая, замшелая башка. Да и трудно ей было соображать, когда на дворе страда и не знаешь, к кому сунуться.

Наконец он начал пристегивать старый протез. Придется, видно, топать на почту да звонить сыну, начальнику лесопункта: «Сынок, отбей отцу хоть гривенник. По случаю засухи».

Случаи — всякие праздники, всякие торжественные даты, перемены в погоде (первый снег, первая стужа, затяжные дожди, весенний разлив) — частенько выручали его.

— Ресторан открыт? Принимают старую клиентуру?

Петр Житов не верил своим глазам. Филя-петух, Игнат Поздеев, Аркадий Яковлев... Три заслуженных ветерана сразу. Да как! Один метнул на стол «бомбу», другой «бомбу», а третий даже «коленовал», или «тещины зубы», бутылку водки с устрашающей наклейкой, которая поступила в продажу года два назад.

— Ну, други-товарищи... — Петра Житова прошибло слезой. — Как в цирке.

— Это какой еще цирк? Цирк-то сейчас только начнется. — И с этими словами Игнат Поздеев, великий охотник до всяких забав и потех, распахнул двери.

За порог бойко, хотя и не очень твердо, переступил какой-то худявый, потрепанный мужичешко в капроновой шляпе в частую дырочку, каких навалом в ихнем сельпо.

— Не узнаешь? — Мужичешко подмигнул голубеньким, полинялым, в щелку глазом, и Петру Житову почудилось что-то знакомое в том глазе. Но все остальное...



— Нет, вроде не признаю вашей личности...

— Давай не признаю! — Игнат Поздеев, все еще скаля свои крепкие белые зубы, кинул взгляд туда-сюда. — Где у тебя перископы-то? Вооружись. Может, лучше дело-то пойдет.

Петр Житов — исключительно только ради того, чтобы поддержать игру, надел очки в черной оправе и придал своему и без того страховидному, распухшему от пьянки лицу мрачное выражение.

— Смотрите-ко, смотрите, какой маршал Жуков! — рассмеялся Аркадий. Живьем съест.

Розыгрыш наверняка продолжался бы и дальше, но его оборвал сам мужичешко, который, вдруг вскинув руку к шляпе, по-военному отрапортовал:

— Суханов-Ставров вернулся из дальних странствий. Так сказать, к пекашинским пенатам.

— Егорша?! — Петр Житов опять всхлипнул. Он вообще был слабоват теперь на слезу, а тут чувствительность его обострили еще эти три бутылки, которые он не сомневался — были куплены на деньги дальнего гостя.

Первый стакан — иной посуды в питейном деле Петр Житов не признавал выпили, конечно, за блудного сына, за его возвращение в родные края, и тут уж Егорша дал течь:

— Да, други-товарищи, мать-родина, как говорится, за хрип взяла...

— Пора! Ты и так сколько кантовался по чужим краям...

— А ни много ни мало — двадцать лет.

— Что? Двадцать лет дома не был?

— Да скинь ты свою покрывку! — предложил Петр Житов гостю (после стакана вина он опять зрячим стал). — Думаю, у меня уши не отморозишь.

— Да и где находишься? — в тон хозяину поддакнул Аркадий Яковлев. — Не в простой избе, а в ресторане «Улыбка».

Егорша снял шляпу — и — мать честная! — лысый.

— Да ты ведь уезжал от нас — вон какая у тебя пушнина была! Какие тебя ветры-ураганы били?

— За двадцать лет, я думаю, можно... — начал оправдываться смущенный Егорша.

— Под эту самую... под радивацию, наверно, попал? — высказал свое предположение Филя-петух.

— Да, ныне эта радивация много пуху с нашего брата сняла, — сказал Аркадий Яковлев. — Пашка Минин с флота вернулся — в двадцать два года аэродром на голове у парня.

— А я думаю, диагноз проще, — изрек Петр Житов. — В подушках растерял свой пух Ставров. — И первый заржал на всю кухню.

Против такого диагноза Егорша возражать не стал, и разговор на некоторое время принял чисто мужское направление. Везде побывал Егорша, всю Сибирь вдоль и поперек исколесил и бабья всякого перебрал — не пересчитать.

— А сибирячки... они как? Из каких больше нациев? — уточнял вопрос за вопросом Филя (он разволновался так, что заикаться начал).

— А всяких там нациев хватает. И русские, и казахи, и чукчи, и корейцы... Одним словом, мир и дружба, нет войне!

— И ты это... — У Фили голос от зависти задрожал.

— Да, да, это...

Игнат Поздеев хлопнул по плечу примолкшего Филю:

— Вот как надо работать, Филипп! С размахом. А ты ковыряешься всю жизнь в Пекашине да в его окрестностях.

— Надо, скажи, Филя, кому-то и здесь ковыряться. Не все на передовых позициях, — ухмыльнулся Аркадий Яковлев. — А вот ты, Ставров, как на Чукотке вроде был, да?

— Был, — кивнул Егорша.

— А на Магадане этом — чего теперь?

— Как чего? Валютный цех страны.

— Опять, значит, золото добывают?

— А чего же больше? — живо ответил за Егоршу Игнат Поздеев. — Знаешь, теперь сколько этого золота надо? Нахлебников-то у нас — посчитай! Тому помочь надо, этому...

— А верно это, нет, будто японцы через всю Сибирь нефтепровод тянут? Чтобы нашу нефть себе качать?

— А насчет Китая там чего слышно? Правда, нет, вроде как Мао двести миллионов своих китайцев хочет запустить к нам? В плен вроде как бы сдать...

Тут Петр Житов, давно уже озабоченно посматривавший на опустевшие бутылки, раскупорил окно — бесполезно теперь отделять избу от улицы. Накурили так, что из-за дыма дверей не видно.

— Засуха давит все живое, — изрек он с намеком. Приятели его, увлеченные разговором, даже ухом не повели. И тогда он уже открытым текстом сказал:

— Орошение, говорю, кое-какое не мешало бы произвести, поскольку осадков в природе все еще не предвидится...

Егорша без слова выложил на стол два червонца.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Его только что не вытащили из бани.

В кои-то поры выбрался с Марьюши смыть с себя страдный пот (жуть жара, съело кожу), в кои-то поры решил себя побаловать березовым веничком, так нет, не имеешь права. Поля, уборщица, вломилась прямо в сенцы: срочно, сию минуту к управляющему!

И вот что же он увидел, что услышал, когда переступил за порог совхозной конторы?

— Надоть повесить... Надоть поднять... Надоть мобилизовать...

Суса-балалайка брэнчала. А лучше сказать, лайка-балалайка (недотянул тут Петр Житов), потому что с музыкой-то она только кверху, а вниз — с лаем.

Михаил ошалело посмотрел на управляющего, на заседателей (человек одиннадцать томилось в наглухо запечатанном помещении) и — что делать пошел на посадку, благо охотников до его деревянного диванчика возле печки-голландки не было.

На этот дряхлый, жалобно застонавший под ним диванчик он впервые сел еще тридцать лет назад четырнадцатилетним парнишкой, и тогда же, помнится, появилась в ихнем сельсовете Сусанна Обросова. И вот сколько с тех пор воды утекло, сколько всяких перемен произошло в жизни, а Суса как наяживала в свои три струны, так продолжает наяривать и поныне. И все равно ей, дождь ли, мороз

на дворе или вот такая страшная сушь, как нынче, — бормочет одно и то же: надоть... надоть... надоть...

Прошлой осенью уж проводили было на пенсию, думали, наконец-то вздохнем — нет, не можем без балалайки: бригадиром по животноводству назначили.

На этот раз Суса брэнчала насчет пожаров. Дескать, большое испытание... стихия... и надоть с честью выдержать... показать всему миру, на что способен советский человек...

Ясно, сказал себе Михаил и еще раз недобрым взглядом обвел контору: самонакачка идет. Так нынче. Сперва начальство себя распаляет, себе доказывает: то-то и то-то надо делать, к примеру сев весной провести, корма в страду заготовить, — потом уж выходит на народ.

— На пожар придется ехать, Пряслин, — объявил Таборский, когда кончила Суса. — Сами-то мы покамест не горим, за нас господь бог — хорошо молятся старухи, — но у соседей жарко, два очага. — Он поднял со стола бумажку. Согласно этой вот разнарядочке тридцать пять человек от нас требуется. Двадцать пять мы отправили, а где взять остальных?

— Хватает народу-то. — Михаил отер ладонью мокрое лицо. Нет ничего хуже, когда не пропаришься: изойдешь потом. — Я вечер с Марьюши ехал ходуном ходит клуб. Кругом дым, чад, а там как черти скачут.

Таборский ухмыльнулся:

— Эти черти по другому ведомству скачут. Отпускники, студенты. Ты вот в Москве был — много тебя там на работу посылали?

Одобрительный хохоток прошуршал по конторе: ловко причесал управляющий.

— И учти, — строго кивнул Таборский, — не тебя первого посылают. Девятнадцать человек пришлось снять с сенокоса, так чтобы потом не было: Таборский со мной личные счета сводит.

Михаил вскипел:

— Ты не со мной счета сводишь! С коровами.

— С коровами?

— А как? Половину людей с пожни снял — что коровы-то зимой жрать будут? Але опять как нынешней весной — десять коров под нож пустим?

— К твоему сведению, Пряслин, нынешняя зимовка по всему району в труднейших условиях проходила. Понятно тебе?

Это уже Пронька-ветеринар, или доктор Скот, как больше зовут его в Пекашине. Все время, гад, водил носом да кланялся (с утра под парами), а тут только на мозоль наступили — как из автомата прострочил. А раз Пронька отреагировал, то как же Сусе-балалайке не ударить в свои струны? Вместе на тот свет совхозную скотину отправляем, вместе весной акты подписываем.

— Я не знаю, как с тобой и говорить ноне, Пряслин. В Москву съездил никто тебе не указ. Когда же это на пожар отказывались?

— Да я не отказываюсь! С чего ты взяла?

— Нет, отказываешься! — еще раз показал свои зубы Пронька. — Целый час базар устраиваешь.

— Кончать надо с этой колхозной анархией! Раз у человека сознательности нету, дисциплинка есть.

— Ты про колхозную анархию брось! Сознательный выискался! А где этот сознательный был, когда мы тут, в Пекашине, с голоду пухли? Ты когда в колхоз-то вернулся? После пятьдесят шестого, когда на лапу бросать стали?

Афонька-ГСМ, то есть завскладом горюче-смазочных материалов — это он про сознательность завел, — просто завизжал:

— Ты еще молокосос передо мной! У тебя молоко на губах еще не обсохло, когда я на ударных стройках темпы давал.

— Ти-и-хо! — во весь голос рявкнул Таборский, а затем озорновато, с прищуром оглядел всех. — Запомните: нервные клетки, учит медицина, не восстанавливаются. Давай, Пряслин, твое конкретное предложение. А размахивать руками мы все умеем.

Михаил понимал: все равно ему всех не переговорить. Да и кто он, черт ты дери, чтобы разоряться? Управляющий? Бригадир? И он встал.

— Ну вот видишь, — сказал Таборский, — дошло дело до конкретности — ив кусты...

— Да я хоть сейчас, не сходя с места, бригаду составлю!

— Ну-ко, ну-ко, интересно...

— Интересно? — Михаил глянул за окошко — вся деревня в дыму, глянул на ухмыляющегося Таборского (этому свои нервные

клетки дорожке всего) и вдруг, зло стиснув зубы, начал всех пересчитывать, кто был в конторе.

Одиннадцать человек! Целая бригада. Из одних только заседателей. А ежели еще добавить управляющего, ровнехонько дюжина получится.

## 2

Сколько раз говорил он себе: спокойно, не заводись! Почаще включай тормозную систему. Сколько раз жена его наставляла, упрашивала: не лезь, не суй нос в каждую дыру! Все равно ихний верх будет. Нет, полез. Не выдержал.

Да и как было выдержать?

Сидят, мудруют, сволочи, как бы кого с сенокоса выцарапать да на пожар запихать, а то, что скотина без корма на зиму останется, на это им наплевать. Вот он и влупил, вот он и врезал. Внес конкретное предложение.

Ух какая тут поднялась пена!

— Безобразие! Подрыв!

— Докуда терпеть будем?

— Выводы, выводы давай!

Пронька-ветеринар надрывается — глаза на лоб вылезли, Устин Морозов кулачищем промасленным размахивает, Афонька-ГСМ слюной брызжет... Ну просто стеной, валом на него пошли. И только одна, может, Соня, агрономша, по молодости лет глотку не драла да еще Таборский ни гугу.

Есть такие: стравят собак и любят, глядячи со стороны. Так вот и Таборский: развалился поперек стола и чуть ли не ржал от удовольствия...

Вы не вейтесь, черные кудри,  
Над моею буйной головой...

Что за дьявол? Почудилось ему, что ли? Кому приспичило в такое время про черные кудри распевать?

Не почудилось. Филя-петух в белой рубахе выписывал восьмерки на горке возле клуба. А где накачался, ломать голову не приходилось. У Петра Житова на Егоршиных встретицах — Михаил еще вечер, когда приехал домой с сенокоса, узнал про возвращение своего бывшего шурина.

Он не закрыл в эту ночь глаз и на полчаса — всю жизнь свою перекатал, перебрал заново. И сегодня утром, когда топил баню, а потом мылся, тоже ни о чем другом думать не мог кроме как о Егорше, о их былой дружбе...

Пожары, видать, совсем близко подошли к Пекашину. От дыма у Михаила першило в горле, слезы накатывались на глаза, а когда он, миновав широкий пустырь, вошел в тесную, плотно заставленную домами улицу, его даже потянуло на кашель.

Он хорошо понимал, из-за чего взъярились его друзья-приятели в кавычках. Он насквозь видел этих прощелыг.

«Анархия... Безобразия... Подрыв...» Как бы не так! На пожар не хочется ехать — вот где собака зарыта. А все эти словеса для дураков, для отвода глаз. Вроде дымовой завесы. Как спелась, сволочи, еще в колхозе, так и продолжают жить стаей. И только наступи одному на хвост — сразу все кидаются.

Да, вздохнул Михаил и кинул беглый косой взгляд на вынырнувший слева аккуратненький домик Петра Житова, веселую жизнь ему теперь устроят. Выждут, устерегут, ущучат. Отыграются! Ежели не на нем самом, так на жене, а ежели не на жене, так на дочерях.

Три года назад — колхоз еще был — он вот так же, как сегодня, сцепился с Пронькой-ветеринаром на правлении. Из-за коровы. Сукин сын подбросил колхозу свое старье якобы на мясо, а взамен отхапал самую дойную буренку. И что же? Анна Евстифеевна, Пронькина жена, учительница, целый год отравляла жизнь его Вере, целый год придиралась по всякому пустяку.

У Петра Житова на крытом крыльце пьяно похохатывали — не иначе как травили анекдоты, — потом кто-то, расчувствовавшись, со слезой в голосе воскликнул:

— Егорша! Друг!..

И эх как захотелось ему сделать разворот да вмазать этому другу! Заодно уж со всеми гадами рассчитаться. За все расплатиться. За Васю.

За себя. За Лизку. Да, и за Лизку. От него, от Егорши, все пошло...

Раисе не надо было рассказывать, что случилось в совхозной конторе. По его лицу все прочтала.

— Я не знаю, что ты за человек. Думаешь, нет ты в Пекашине жить?

— Ладно, запела! Собирай хлебы — на пожар надо ехать.

— На пожар! — удивилась Раиса. — А сено-то как? Три гектара, говорил, скошено — кто будет за тебя прибирать?

— А это ты уж управляющего спроси. Я тоже хотел бы, между прочим, это знать, — сказал Михаил и зло сплюнул: когда он перестанет с егоршинскими выкрутасами говорить?!

Тут вдруг залаял Лыско — в заулочек с косою на плече вползала старая Василиса.

Раиса сердито замахала руками:

— Иди, иди! Не один мужик в деревне. Взяли моду — за всем переться к нам.

В общем-то, верно, подумал Михаил, старушонки, тридцать лет как война кончилась, а все тащатся к нему. Косу наладить, топор на топорище насадить, двери на петлях поднять — все Миша, Миша... Да только как им к другим-то мужикам идти? К другим-то мужикам без тройка лучше и не показывайся. А много ли у этих старушонок тройков, когда им пенсию отвалили в двадцать рэ? Это за все-то ихние труды!

Он шумел где только мог: опомнитесь! Разве можно на две десятки прожить? Да этих старух за ихнее терпенье и сознательность, за то, что годами задарма вкалывали, надо золотом осыпать. А ежели у государства денег нету — скиньте с каждого работяги по пятерке — я первый на такое дело откликнусь.

— Егоровна! — крикнул Михаил старухе (та уже повернула назад). — Чего губы-то надула? Когда я отказывал тебе?

— Вот как, вот как у нас! Своя коса не строгана, я хоть руками траву рви, а Егоровна — слова не успела сказать — давай...

— Да где твоя коса, где?



Тут Раиса разошлась еще пуще:

— Где коса, где коса?.. Да ты, может, спросишь еще, где твои штаны?

Михаил кинулся в сарай с прошлогодним сеном — там иной раз ставили домашнюю косу, но разве в этом доме бывает когда порядок? Поколесил через весь заулочек в раскрытый от жары двор.

Коса была во дворе.

Весь раскаленный, мокрый, он тут же, возле порога начал строгать косу плоским напильником и вот, хрен его знает как это вышло, порезал руку. Среди бела дня. Просто взвыл от боли.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Лиза была в смятении.

Кажется, что бы ей теперь Егорша? В сорок ли лет вспоминать про сон, который приснился тебе на заре девичества? А она вспоминала, она только и думала что о Егорше...

Избегая глаз всевидящего и всепонимающего Григория (Петру было не до нее, Петр чуть ли не круглые сутки пропадал на стройке), она каждый день намывала пол в избе, каждый день наряднее, чем обычно, одевалась сама.

Но катились дни, менялись душные, бессонные ночи, а Егорша не показывался.

Встретились они в сельповском магазине.

Раз, придя домой утром с телятника, побежала она в магазин за хлебом и вот только переступила порог, сразу, еще не видя его глазами, почувствовала: тут. Просто подогнулись ноги, перехватило дых.

Говорко, трескуче было в магазине. Старух да всякой нероботи набралось полно. Стояли с ведерками в руках, ждали, когда подвезут совхозное молоко. Ну а тут, когда она вошла, все прикусили язык. Все так и впилась в нее глазами: вот потеха-то сейчас будет! Ну-ко, ну-ко, Лизка, дай этому бродяге нахлобучку! Спроси-ко, где пропадал, бегал двадцать лет.

Она повернула голову вправо, к печке, — опять не глядя почувствовала, где он. Улыбнулась во весь свой широченный рот:

— Чего, Егор Матвеевич, не заходишь? Заходи, заходи! Дом-от глаза все проглядел, тебя ожидаючи.

— Жду, гойорит, тебя, заходи... — зашептали старухи в конце магазина.

Она подошла к прилавку без очереди (век бы так все немели от одного ее появления) и — опять с улыбкой — попросила Феню-продавщицу (тоже с раскрытым ртом стояла) дать буханку черного и белого. Потом громко, так, чтобы все до последнего слышали, сказала:

— Да еще бутылку белого дай, Феня! А то гость придет — чем угощать?

Бутылка водки у нее уже стояла дома, еще три дня назад купила, но она не поскупилась — взяла еще одну. Взяла нарочно, чтобы позлить старух, которые и без того теперь будут целыми днями перемывать ей косточки.

## 2

Егорша заявился по ее следам. Без всякого промедления.

С Григорием — тот сидел на крыльце с близнятами — заговорил с шуткой, с наигрышем, совсем-совсем по-бывалошному:

— Е-мое, какая тут смена растет! А че это они у тебя, нянька хренова, заденками-то суковатые доски строгают? Ты бы их туда, к хлеву, на лужок, на травку, выпустил.

Но за порог избы ступил тихо, оробело, даже как-то потерянно. Зыбки испугался? Всех старая зыбка, баржа эдакая, пугает. Анфиса Петровна уж на что свой человек, а и та каждый раз глазами водит.

— Проходи, проходи! — сказала Лиза. Она уже наливала воду в самовар. Не в чужой домходишь. Раньше кабыть небоязливый был.

Она, не без натуги конечно, рассмеялась, а потом — знай наших — вытерла руки о полотенце и прямо к нему с рукой.

— Ну, здравствуешь, Егор Матвеевич! С прибытием в родные края.

Было рукопожатие, были какие-то слова, были ки-ванья, но, кажется, только когда сели за стол, она сумела взять себя в руки.

— Што жёну-то не привез? Але уж такая красавица — боишься, сглазим?

— А-а, — отмахнулся Егорша и повел глазом в сторону бутылки: не любил, когда словом сорили за столом допрежь дела.

— Наливай, наливай! — закивала живо Лиза. — В своем доме. — А сама опять начала его разглядывать.

Не красит время человека, нет. И она тоже за эти годы не моложе стала. Но как давеча, когда Егорша, входя в избу, снял шляпу, обмерла, так и теперь вся внутренне съежилась: до того ей дико, непривычно было видеть его лысым.

Многое выцвело, размылось в памяти за эти двадцать лет, многое засыпало песком забвения, но Егоршины волосы, Егоршин лен... Ничего в жизни она не любила так, как рыться своей пятерней в его кудрявой голове. И сейчас при одном воспоминании об этом у нее дрожью и жаром налились кончики пальцев.

— О'кей, — сказал Егорша, когда выпили.

— Чего, чего? — не поняла Лиза.

— О'кей, — сказал Егорша, но уже не так уверенно.

Она опять ничего не поняла. Да и так ли уж это было важно? Когда Егорша говорил без присказок да без заковырок?

После второй стопки Егорша сказал:

— Думаю, пекашинцы не пообидятся, запомнят приезд Суханова-Ставрова. Мы тут у Петра Житова, как говорится, дали копоты.

И вдруг прямо у нее на глазах стал охорашиваться: вынул расческу, распушил уцелевший спереди клок, одернул мятый пиджачонко, поправил в грудном кармане карандаш со светлым металлическим наконечником — всегда любил играть в начальников, — а потом уж и вовсе смешно: начал делать какие-то знаки левым глазом.

Она попервости не поняла, даже оглянулась назад, а затем догадалась: да ведь это он обольщает, завораживает ее.

А чем обольщать-то? Чем завораживать-то? Что осталось от прежнего завода?

И вот взглядом ли она выдала себя, сам ли Егорша одумался, но только вдруг скис.

Она налила еще стопку. Не выпил. А потом посмотрел в раскрытое окошко Григорий с малышами все-таки перебрался к хлеву

на травку, — обвел дедовскую избу каким-то задумчивым, не своим взглядом и начал вставать.

— Куда спешишь? Каки таки дела в отпуску?

— Да есть кое-какие... — Он по-прежнему не глядел на нее.

— Ну как хочешь. Насилу удерживать не буду. — Лиза тоже поднялась.

Уже когда Егорша был у порога, она спохватилась:

— А дом-то будешь смотреть? Нюрка Яковлева, твоя сударушка, — не могла стерпеть: ущипнула, — избу через сельсовет требует. На Борьку заявление подала.

— Дом твой, чего тут рассусоливать.

— Сколько в Пекашине-то будешь? Захочешь, в любое время живи в передних избах. Татя хоть и отписал мне хоромы, а ты хозяин. Ты его родной внук.

Егорша как-то вяло махнул рукой и вышел.

### 3

Красное солнце стояло в дымном непроглядном небе, старая лиственница косматилась на угоре, обсыпанная черным вороньем. А по тропинке, по полевой меже шла ее любовь...

И такой жалкой, такой неприкаянной показалась ей эта любовь, что она разревелась.

Не счесть, никакой мерой не вымерить то зло и горе, которое причинил ей Егорша. Одной нынешней обиды вовек не забыть. Сидел, попивал водочку, может, еще на стену, на Васину карточку под стеклом смотрел — и хоть бы заикнулся, хоть бы единое словечушко обронил про сына!

И все-таки, видит бог, не хотела бы она ему зла, нет. И пускай бы уж он явился к ней в прежней силе и славе, нежели таким вот неудачником, таким горюном и бедолагой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Хлев овечий? Келейка, в каких когда-то кончали свои земные дни особо набожные староверы? Каталажка допотопных времен?

Всяко, как угодно можно назвать конуру на задворках у Марфы Репишной, куда она загнала своего двоюродного братца за пьяные грехи. В переднем углу уголек красной лампадки днем и ночью горит, груда черных старинных книг с медными застежками — это добро разберешь: околелка сбоку. И еще разберешь бересту, солнечно отсвечивающую на жердках под потолком, — Евсей Мошкин кормился всякими берестяными поделками: туесками, лукошечками, солоницами, на которые теперь большой спрос у горожан, — а все остальное в потемках. И потому хочешь не хочешь, а будешь верующим, будешь отбивать поклоны, ежели не хочешь лоб себе раскроить.

А в общем-то, чего скулить? Есть крыша над головой. И есть с кем душу отвести. С любой карты ходи — не осудят. А то ведь что за друзья-приятели пошли в Пекашине? Пока ты их горячим заправляешь, из бутылки в хайло льешь, везде для тебя зеленая улица, а карманы обмелели — и расходимся по домам.

Одно бесило в старике Егоршу — Евсей постоянно ставил ему в пример Михаила: у Михаила дом, у Михаила дети, у Михаила жизнь на большом ходу...

— Да плевать я хотел на твоего Михаила! — то и дело взрывался Егорша. Придмер... Подумаешь, радость — дом выстроил да три девки стяпал. А я страну вдоль и поперек прошел. Всю Сибирь наскрозь пропахал. Да! В Братске был, на Дальнем Востоке был, на Колыме был... А алмазы якутские дядя добывал? Целины, само собой, отведал, нефтью ручки пополоскал. Ну, хватит? А он что твой придмер? Он какие нам виды-ориентиры может указать? То, как на печи у себя всю свою жизнь высидел?

— Илья Муромец тоже тридцать лет и три года на печи сидел, да еще сидел-то сиднем, а не о прыгунах-летунах былины у людей сложены, а об ем.

— Не беспокойся! По части былин у меня ого-го-го! Я этих былин... Я всю Сибирь солдатами засеял! Кумекаешь, нет? Один роту солдат настрогал. А может, и батальон. Так сказать, выполнил свой патриотический долг перед родиной. Сполна!

Евсей отшатнулся, замахал руками: не надо, не надо! И это еще больше раззадорило Егоршу:

— Ух, сколько я этих баб да девок перебрал! Во все нации, во все народы залез. Такую себе задачу поставил, чтобы всех вызнать. Казашки, немки, корейки, якутки... Бугалтерию надо заводить, чтобы всех пересчитать. Мне еще смалу одна цыганка нагадала: «Ох, говорит, этот глаз бедовый синий! Много нашего брата погубит...»

— Нет, Егорий, нет, — сокрушался Евсей, — ты не баб да девок губил, ты себя губил.

— Че, че? Себя? Да иди-ко ты к беленьким цветочкам! Баба на радость мужику дадена. Понятно? Бог-то зря, что ли, Еву из ребра Адамова выпиливал? Не беспокойся, мы кое-что по части твоей религии тоже знаем. Слушали антирелигиозные лекции и на практике курс прошли. Одна святоша мне на Сахалине попалась — ну стерва! Без молитвы да без креста на энто дело никак!..

— Грех-то, грех-то какой, Егор!

— Чего грех? С молитвой-то в постель грех? Я тоже, между прочим, ей это говорил...

И тут уж Егорша открывал все шлюзы — до слез доводил старика своими похабными рассказами.

Мир всякий раз восстанавливали с помощью «бомбы». Совсем неплохое, между прочим, винишко, понравилось Егорше: и с ног напрочь не валит и температуру нужную дает, а потом слово за слово — и, смотришь, опять на Михаила выплывали. Опять на горизонте начинал дом его маячить.

— А главный-то дом знаешь у Михаила где? — как-то загадочно заговорил однажды старик. — Нет, нет, не на угоре.

— Чего? Какой еще главный? — Егорша от удивления даже заморгал.

— Вот то-то и оно что какой. Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов.

— Я так и знал, что ты свой поповский туман на меня нагонять будешь.

— Нет, Егорушко, это не туман. Без души человек яко скот и даже хуже...

— Яко, яко... Ты, поди, целые хоромы себе отгрохал, раз Мишка — дом? Так?

— Нет, Егорий, не отгрохал. Я себя пропил, я себя в вине утопил. Нет, нет, я никто. Я бросовый человек. Не на мне земля держится.

— А на Мишке держится?

— Держится, держится, — убежденно сказал Евсей. — И на Михаиле держится, и на Лизавете держится.

— На моей, значит, бывшей супружнице? — Егорша усмехнулся и вдруг грязно выругался.

— Ох, Егорий, Егорий! До чего ты дошел...

— Чего — дошел? Лизавета святая... На Лизавете земля держится... А она за кого держится? Ветром надуло ей двойню, а? Я по крайности грешу всю жизнь, дан прямо и говорю: сука! Люблю подолаы задираТЬ. А тут двоих щенят сразу с чужим мужиком схряпала — все равно придмер, все равно моральный кодекс...

Плачущий, как ребенок, Евсей опять с испугом замахал руками: будет, будет! Бога ради остановись!

— Хватит! Потешились, посмеялись кому не лень. Ах, ох... постарел... лысина... Мы-де чистенькие, близко не подходи. Я покажу тебе — чистенькие! Я покажу, как Суханова топтать!

— Што, што ты надумал, Егорий?

— А вот то! — Егорша вскочил на ноги. — Ха, на ей земля держится! Они домов понастроили — не горят, не тонут. Посмотрим, посмотрим, как не горят. Посмотрим, как эти самые, на которых земля держится, у меня в ногах ползать будут! Вот тут, на этом самом месте!

— Егор, Егор! — взмолился Евсей. — Не губи себя, ради бога. Што ты задумал? На кого худо замыслил? Да ежели на Лизавету, лучше ко мне и не ходи. Я и за стол с тобой не сяду.

— Сядешь! Рюмочка у нас с тобой друг. А этот друг, сам знаешь, на разбор не очень. — И с этими словами Егорша выкатился из конуры.

Она не поверила, самой малой веры не дала словам Манечки-коротышки, потому что кто не знает эту Манечку! Всю жизнь как

сорока от дома к дому скачет да сплетни разносит.

— Не плети, не плети! — осадила ее Лиза и даже ногой топнула. — Избу Егорша продает... С чего Егорша будет продавать-то? С ума спятил, что ли?

А вскоре на телятник прибрела, запыхавшись, Анфиса Петровна, и тут уж хочешь не хочешь — поверишь.

— Бежи скорее к Пахе-рыбнадзору! Тот иуда избу пропивает.

И вот заклубилась, задымилась пыль под ногами, застучали, захлопали ворота и двери. Паха в одном конце деревни, Петр Житов в другом... В сельпо, в ларек заскочила, к Филе-петуху наведалась — тоже не последний пьяница. Всю деревню прочесала, как собака по следу за зверем шла.

Отыскала у Евсея Мошкина — за «бомбой» сидят.

— А-а, что я тебе говорил? Что? — Егорша закричал, заулюлюкал, как будто только ее прихода и ждал. — Говорил, что сама приползет? Вот тебе и дом не горит, не тонет. Все шкуры, все святоши, покуда огонек не лизнет в одно место!.. Думаешь, из-за чего она пришлепала? Из-за дома главного? Как бы не так! Из-за того, в котором живет. Из-за того, что я малость жилплощадь у ей подсократил...

Лиза молчала. Бесплезно взывать к Егорше, когда он вот так беснуется (она это знала по прошлому), — дай выкричатся, дай выпустить из себя зверя. И тогда делай с ним что хочешь, голыми руками бери — как голубь, смирнехонек.

— Егорий... Лизавета Ивановна...

— Цыц! — заорал Егорша на пьяного старика и опять начал звереть, на глазах обрастать шерстью.

И Лиза, как слепой котенок, тыкалась своими глазами ему в мутные, пьяные глаза, в обвисшие — мешочками — щеки, в опавший полусгнивший рот, чтобы найти лазейку к его сердцу — ведь есть же у него сердце, не сгнило же напрочь! — и Егорша, как всегда, как раньше, как в те далекие годы, когда она соломкой стлалась перед ним, когда при одном погляде его тонула в его синих нахальных глазах, разгадал ее.

— Ну че, че зеленые кругляши вылупила? Не ожидала? Дурачки, думаешь, кругом? «Я ведь вон как тебя встретила... на постой к себе приглашала...» Я покажу тебе постой в собственном доме! Я покажу,



как хозяина законного по всяким конурам держать! Я докажу... Имею... Закон есть...

Надо бы плюнуть в бесстыжую рожу, надо бы возненавидеть на всю жизнь, до конца дней своих, а у нее жалость, непрошенная жалость вдруг подступила к сердцу, и она поняла, почему так лютует над ней Егорша. Не от силы своей, нет. А от слабости, от неприкаянности и загубленности своей жизни, оттого, что никому-то он тут, в Пекашине, больше не нужен. Но бес, бес дернул ее за язык:

— Ты меня-то казни как хошь, топчи, да зачем деда-то мертвого казнить дважды?

И этими словами она погубила все.

Сам сатана, сам дьявол вселился в Егоршу. И он просто завизжал, затопал ногами. И она больше не могла выговорить ни единого слова.

Как распятая, как пригвожденная стояла у дверного косяка. Нахлынуло, накатило прошлое — отбросило на двадцать лет назад. Вот так же было тогда, в тот роковой вечер, вот так же кричал тогда и бесновался Егорша, перед тем как исчезнуть из Пекашина, навсегда уйти из ее жизни.

Михаила дома не было, иначе у нее хватило бы духу, преступила бы запретную черту, потому, что не со своей доукой — ставровский дом на карту поставлен; Петра она сама проводила на пожар, чтобы отвести беду от Михаила (того, по словам Фили, чуть ли не судить собираются — будто бы на пожар ехать отказался); на Григория валить такую ношу — своими руками убить человека...

Что делать? С кем посоветоваться?

Побежала все к той же Анфисе Петровне — кто лучше ее рассудит?

— В сельсовет надо, — сказала Анфиса Петровна, ни минуты не раздумывая.

— Да я уж тоже было так подумала... — вздохнула Лиза.

— Ну дак чего ждешь? Чего сидишь?.. А-а, вот у тебя что на уме! Родной внук, думаешь. Думаешь, как же это я против родного-то внука войной пойду? Не беспокойся. Его еще дедко дома лишил. Знал, что за

ягодка растет... Да ты что, дуреха, — закричала уже на нее Анфиса Петровна, — какие тут могут быть вздохи да охи? Для того Степан Андреянович полжизни на дом положил, чтобы его по ветру пускали да пропивали? Ты подумала об этом-то, нет?

Председатель сельсовета был у них новый, хороший мужик из приезжих, не то что Суса-балалайка. Все честь по чести выслушал, выспросил, но под конец сказал то, чего она больше всего боялась: в суд надо подавать. По суду такие дела решаются.

Нет, нет, нет, замотала головой Лиза. В суд на Егоршу? На родного внука Степана Андреяновича? На человека, которому она свою девичью красу, свою молодость отдала? Ни за что на свете!

Побежала еще раз к Пахе-рыбнадзору.

Паха Баландин все деревни окрест в страхе держал. Издали такой закон половина штрафных денег рыбнадзору. А штрафы какие: за одну семгу восемьдесят рублей, за харьюса пять рублей, за сига десять. Вот он и лютует, вот он и сыплет штрафы направо и налево: за один выход на Пинегу двести рублей в карман кладет.

В прошлом году мужики припугнули ружьем: стой, коли жить не надоело! Не дрогнул. «Вихрь» свой с кованым носом разогнал — вдребезги разнес лодку у мужиков, те едва и спаслись.

И вот к такому-то человеку, а лучше сказать нечеловеку, Лиза второй раз сегодня торила дорогу — давеча в усмерть упился, лыка не вязал.

— Где у тебя хозяин-то? На порядках ли? — спросила у жены, развешивавшей у крыльца белье.

— В сарае.

В сутемени сарая Лиза только по лысине и угадала: утонул, запутался в сетях. Как паук.

— Ну, Павел Матвеевич, и богатства у тебя. Хоть бы мне одну сетку продал.

— Марш с государственного объекта! Вход посторонним запрещен!

— Да не реви больно-то, я не жена, чтобы реветь-то. Откуда мне знать, что у тебя и сараи государственные?

Так вот со злой собакой разговаривать надо. Без страха.

Паха все же вытолкал ее из сарая, захлопнул дверь, прикрыл собой. Маленький, брюхатый, ножонки в спортивных обьехавших

штанишках кривые непонятно, почему все и боятся его. И только когда встретила с глазами два ружья на тебя наставлены — поняла.

— Вопросы? — опять гаркнул Паха. Коротко, по-военному — разучился по-человечески-то говорить.

— А вопрос один: зачем в чужой дом вором лезешь?

— Дальше!

— А дальше вот что тебе скажу, Павел Матвеевич, — у меня бумага есть. Сам татя мне дом перед смертью из рук в руки передал.

— Все? — Паха сплюнул. — Теперь слушай сюда, что я буду говорить. Пункт первый: за вора привлеку к ответственности, поскольку оскорбление личности. Понятно тебе? Пункт второй: заткнись! Поскольку бумага твоя липовая.

— Липовая? Это завещанье-то липовое? Да ты обалдел?

— А я заявляю: липовое! — сквозь зубы процедил Паха. — А доказательства найдешь у себя дома в зыбке. Есть еще вопросы к суду?

Не было, не было у нее больше вопросов. Паха заткнул ей рот, сказал то, чего она больше всего боялась, о чем сама не раз про себя подумала.

Дети, дети у тебя чужие! Дети не ставровской крови — вот о чем сказал ей Паха. А раз дети чужие, какая цена твоему завещанью? Старик-то для чего оставил тебе свой дом? Чтобы ты чужих детей разводила?..

Отогнали, видно, пожары от Пекашина, на той стороне Пинегы впервые за последние дни проглянул песчаный берег, ребятишки высыпали на вечернюю улицу... А ей как из дыма выбраться? Ей что делать?

Дома ее ждал еще один удар — Нюрка Яковлева со своим Борькой в дом вломилась. Силой, без спроса заняла нижнюю половину передка.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Лыско целыми днями, целыми сутками лежал вразвалку в заулке, пинком не оторвешь от земли, а тут, на Марьюше, будто подменили

пса, будто живой водой спрыснули: весь день в бегах, весь день в рысканье по кустам, по лывам.

Но только ли Лыско ожил на сенокосе? А хозяин?

Сутки, всего сутки пробыл Михаил в деревне, а душу и нервы вымотал за год. Сперва причитания жены — то не сделано, это не сделано, хоть работницу для нее заводи, — потом эта новая схватка с Таборским и его шайкой, потом Егорша...

Сукин сын, мало того что из-за него всю ночь не спали, решил еще заявиться самолично. Под парами, конечно: всегда и раньше в бутылке храбрости искал. Подошел — он, Михаил, как раз собирался ехать на Марьюшу, руку кверху, глаз вприжмур, как будто вчера только и расстались:

— Помнят здесь еще друзей молодости? Не забыли?

— Молодость помним, — с ходу, ни секунды не задумываясь, ответил Михаил, — и друзей помним, но только не подлецов!

А как еще с ним разговаривать? На что он рассчитывает? Может, думал, под руки его да за стол?

Потом, водой вышли все нервы и психи в первый же день, а потом в раж вошел — про все забыл, даже про больную руку. Просто осатанел — часами махал косой без передыху. И мнение о себе такое разыгралось, на такие высоты себя подымал, что дух захватывало.

И вот раз смотрел, смотрел вокруг — с кем бы помериться силенкой, кого бы на соревнование вызвать? Один на лугу, никого вокруг, кроме кустов да старого Миролюба, лениво помахивающего хвостом, и до чего додумался? Солнце вызвал... Давай, мол: кто кого?

Ну и жали, ну и робили! Солнце калит, жарит двадцать один час без передыху — и он: три-четыре часа вздремнет, а все остальное время — коса, грабли, вилы.

Боль в руке началась ночью. Проснулся — огнем горит левая кисть.

Он вышел из избушки на волю. Выходило солнце. Лыско хрустел костями в кустах — должно быть, поймал зайчонка или утенка.

Михаил развязал обтрепавшийся, посеревший от грязи бинт и поморщился: покраснела, распухла ладонь, как колодка. Подумал, чем бы смазать, и ничего не придумал. Сроду не знал никаких лекарств, все порезы, все порубы заживали сами собой, как на собаке.

Все же он сделал примочку из холодного чая, оставшегося с вечера в чайнике, покурил и пошел косить: росы почти не было, но все-таки с раннего утра косить легче, то крайней мере, не так жарко.

За работой боль утихла, да и некогда было о ней раздумывать, а пришел к избе перекусить — и опять огонь в руке.

В обед он почти ничего не ел, только все нажимал на чай, полтора чайника выпил. Но что его особенно расстроило — не мог курить. А это верный признак того, что у него температура.

Еще работал полдня и назавтра полдня работал, потому что травы навалено было гектара три — как не прибрать, прежде чем отправляться домой? А вдруг зарядят дожди?

Не удалось прибрать. К полудню у него начало двоиться в глазах солнце, а потом уж и совсем чертовщина: черные колеса закатались перед глазами...

Собрав последние силы, Михаил отвязал с привязи Миролюба — иначе пропадет конь — и на большую дорогу.

Как продирался через кусты, через кочкарник, как лежал у дороги в ожидании попутной машины — помнил, и помнил, как в районную больницу входил, а дальше что было, надо у людей спрашивать.

После операции Евгений Александрович Хоханов, главный врач районной больницы, сказал:

— Ну, Пряслин, моли бога за тех, кто тебя так выковал. Другой бы на твоём месте пошел ко дну. А уж насчет того, что без руки остался бы, это точно.

Недолго, неполную неделю томился Михаил в больнице, а с чем сравнить то чувство радости, котороехватило его, когда за ним захлопнулись ворота больничной ограды?

Все вновь, все заново: земля, воздух, синь небесная над головой. На райцентровские мостки ступил — вприпляс. Но стой: больная рука!

Такой вдруг болью опалило, что он закусил губу.

В нижнем конце райцентра Михаилу не доводилось бывать лет десять, а то и больше, и он теперь с изумлением и любопытством школьника вглядывался в новые улицы, в новые дома и магазины.

Разбухла, разрослась районная столица, уже в поля залезла, уже сосняк на задворках под себя подмяла, и все ей места мало — за ручей шагнула. А ведь он, Михаил, помнил ее еще деревней — с амбарами, с гумнами, с изгородями жердяными, пряслами.

После войны райцентр стал набирать силу. Мужиков собралось людно — в первую очередь укрепить руководящие кадры районного звена! — а жить где? Вот они и начали по вечерам да по утрам топориком поигрывать, благо перышко конторское не очень-то выматывало за день. И было дико в те годы видеть: как грибы растут новые дома в райцентре и хиреют, пустеют с каждым годом деревни.

Самое видное здание в райцентре, конечно, райком. Просторный двухэтажный домина кирпичной кладки, или, как теперь принято говорить, в каменном исполнении (на веки вечные поставлен!), и внутри нарядно, как в храме: пол из цветной плитки, стены расписные, зеркала — с ног до головы видишь себя...

Кабинет Константина Тюрпина на первом этаже был закрыт, и Михаил, пожав плечами, пошел наверх.

— Здравствуй, здравствуй, товарищ Пряслин!

Северьян Матвеевич, инструктор райкома, сбегал с лестницы. Как всегда, чистенький, вежливенький, сладкоречивый, очень похожий на юркого воробья и своей проворностью, и своим острым личиком с черными бегающими глазками.

Михаил пожал протянутую руку.

— Слышал, слышал про твои дела. — Северьян Матвеевич участливо кивнул на больную руку. — С каким вопросом пожаловал?

— Да не знаю. В больнице сказали, чтобы к Тюря-пину зашел.

— К Константину Васильевичу? На партактиве он, парень. Партактив у нас сегодня работает. Первый вопрос обсудили — заготовка кормов, сейчас к борьбе с алкоголем перешли. Советовал бы заглянуть в ожидании.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вот это да! — мысленно ахнул Михаил, когда вслед за Северьяном Матвеевичем вошел в зал.

Окна во всю стену, от пола до потолка, хоть на лошади въезжай, с занавесями белыми, шелковыми — как паруса, натянуты ветром, — люстры с хрустальными подвесами, красная ковровая дорожка через весь зал, от дверей до сцены, сиденья мягкие... Его в Москве как-то сват затянул к себе на заседание — куда там до этого зала!

А вот насчет бумажного бормотанья... Как зачалась у них эта канитель в районе после Подрезова, так и по сю пору продолжается.

Выходил на трибуну начальник сельхозтехники, выходила молоденькая совхозная доярка, выходил главный инженер леспромхоза — все первым делом вынимали бумажку.

Михаил немного оживился, когда слово предоставили начальнику стройколонны Хвиюзову. Хвиюзовские гвардейцы по части пьянки давно уже первенство по району держат, да и сам Хвиюзов выпить не дурак. Две бутылки опростаёт — только во вкус войдет, только голос прорежется — страсть мастер анекдоты наворачивать.

Нет, и Хвиюзов не обрадовал. Подменили мужика. Отчитал что положено — и с колокольни долой. Даже на людей забыл взглянуть.

Сосед у Михаила, знакомый шофер с Шайволы, дремал, уронив на грудь большую голову с подопрелым волосом. Другие вокруг тоже водили отяжелевшими головами. И ничего удивительного в том не было. Бумажная бормотуха кого угодно в сон вгонит, а тем более работягу, который, может, чтобы попасть на это совещание с Дальнего покоса или лесопункта, всю ночь не спал. Да и вообще — кто это сказал, что у заседателей легкая жизнь?

Михаила в конце концов тоже укачало.

Очнулся он от толчка соседа:

— Вставай, начальство твое на трибуну лезет. Точно, Антон Таборский взбегал на сцену. Поначалу, как все, надел очки, развернул бумажку, дал запев:

— Товарищи, обсуждаемое постановление — это документ огромного исторического значения, новое проявление заботы... новый вклад...

В общем, не придерешься — не вышел из установленной борозды, сказал все нужные слова, а потом бумажку в сторону, бах:

— Для русского Ивана это постановление, скажем прямо, самое трудное постановление из всех постановлений, какие были и какие еще будут, под корень режет...

Смех, хохот, топот. Даже в президиуме заулыбались — белой подковой просиял зубастый рот на смуглом лице первого секретаря.

— А чего смеяться-то, дорогие товарищи? — Таборский прикинулся дурачком: великий мастер по части прикидона. — Плакать надо. Ведь кабы мы как люди пили, кто бы нам чего сказал? А то ведь мы все наповал, все до схватки с землей...

Опять смех и хохот.

— Давай по существу, товарищ Таборский, — мягко поправил первый секретарь.

Таборский секунды не задумываясь — всегда слово на языке:

— А по существу, Григорий Мартынович, все в докладе райкома сказано. А наше дело известно — выполняй. Ставь первым делом ограничитель у себя в горле да мобилизуй массы.

Тут уж не смех, одобрительный гул прошел по залу — всем понравилось, что Таборский не отделяет себя от других, не корчит из себя трезвенника.

— Ну а в части конкретных предложений, товарищи, — Таборский поискал кого-то глазами в зале, — то я целиком и полностью согласен с Марьей Федоровной, нашей заслуженной учительницей РСФСР. Замечательно, в самую точку сказала Марья Федоровна: одной силой бутылку не сокрушишь. Она сама кого хошь с ног валит. Надо, понимаете ли, культуру двинуть на эту зеленоглазую стерву. Да по всему фронту. А то у нас что получается? Пекашино взять, к примеру. Клуб новый построили — спасибо, а про самодеятельность и забыли. Вот наши мужики, понимаете, и прутся к Петру Житову в ресторан «Улыбка», чтобы свою самодеятельность развернуть...

Таборского проводили с трибуны аплодисментами. И, честное слово, будь у Михаила рука здоровая, он бы тоже ударил в ладоши. Прохвост, сукин сын, жулик из жуликов, а вышел на трибуну — и свежим ветром дохнуло.



С Костей Тюряпиным Михаила свела жизнь еще в сорок четвертом году на сплаве — тогда под Выхте-мой они до самой ледяной шуги бродили с баграми в Пинеге, приказ родины выполняли: всю, до последнего бревна древесину пропихать через выхтемские мели. И попервости после войны, когда сталкивались в райцентре, всегда вспоминали те дни. Да и вообще им было о чем поговорить: у обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своем горбу. А потом начались кукурузные дела, Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров, и Тюряпин замкнул свои уста: кивать при встрече кивал, а звук пропал начисто.

И вот сейчас, попыхивая папироской в шумном, переполненном людьми вестибюле — весь зал сюда высыпал, — Михаил припомнил все это и вдруг подумал: а может, не ходить? Может, дать поворот на сто восемьдесят градусов — и будьте-нате? В случае чего всегда можно отбрехаться: забыл, болен, на автобус торопился. Да и вообще с каких это пор у Тюряпина дела к нему?

Пошел. Терпеть не мог трусов.

— Заходи, заходи, товарищ Пряслин, — встретил его Тюряпин и кивнул на стул у дверей. — Присаживайся.

Михаил сел.

Тюряпин, не глядя на него, зашелестел бумажками. Ручищи большущие, суковатые, сразу видно, что не от карандашика жить начал, плечи в развороте на метр, а вот головка какой была, такой и осталась — малюсенькая, с рыжим хохолком, и Михаил невольно скосил глаз на вешалку в углу возле дверей, где висела шляпа: какой же, интересно, он размер носит?

Тюряпин прокашлялся.

— С тобой, товарищ Пряслин, первый собирался потолковать, да у Григория Мартыновича сегодня, вишь, народ, руководители производства...

Михаил ждал. Второй раз называл его Тюряпин товарищем, а это не предвещало ничего хорошего.

Так оно и оказалось.

— Претензии к тебе, товарищ Пряслин. И очень серьезные претензии. По части производственной дисциплины... — Тут Тюрятин поднял наконец свои глаза. — Работать людям мешаешь...

— Это кому мешаю? Таборскому? — Михаил сразу понял, откуда ветер дует.

— Таборский у нас, между прочим, не последний человек в Пекашине. Может управляющий работать, когда рабочие не едут на дальние сенокосы? А пожар? Имей в виду: за уклонение от пожара у нас закон ясный — суд. — Тюрятин разжег наконец себя. И глаз поставил — в упор смотрел.

Но и Михаила заколотило. Потому что все это вранье и брехня от начала до конца. Русским языком было сказано этому Таборскому: нынче на Верхнюю Синельгу не поеду. Может он за тридцать лет хоть одну страду возле дома потолкаться, тем более что братья приехали? А насчет пожара и вовсе ерунда. Когда это он от пожара уклонялся? Как он мог с порезанной-то рукой на пожар ехать?

— А на Марьюшу мог? — опять прижал его Тюрятин.

— И на Марьюшу не мог. Да потому что осел, потому что дурак законченный. Думаю, хоть одной рукой сколько пороблю. А Таборскому, видишь, лучше, чтобы я и на Марьюшу не ездил. Ничего, придет время, вот помяните мое слово, сами погоните этого жулика. Баснями-то все время сыт не будешь.

Тюрятин спросил:

— Яковлева Ивана Матвеевича знаешь?

— Знаю. А чего?

— Хороший тракторист?

— Ничего, крутит колеса.

— А Палицын Виктор? Михаил пожал плечами.

— А Сергей Постников?

— На порядке парень. Бутылку стороной не обходит, но нет этого, чтобы по неделям зашибать.

— Дак вот, товарищ Пряслин. — Тюрятин сделал выдержку. — Не управляющий жалуется на тебя, а механизаторы. Вот под этим заявлением, — Тюрятин приподнял бумагу, — девять подписей. — «Примите меры... Срывает и дезорганизует производственный процесс...» Такие заявления, скажем прямо, не часто поступают в райком.

Михаил был оглушен, сражен наповал. С механизаторами, правда, у него бывали стычки — погано пашут, семена только переводят, а ведь без стычки какая жизнь? Неужели безобразия видишь — и молчать?..

— Дак съездил, говоришь, в Москву? Побывал в столице нашей родины?

Михаил поднял глаза на Тюряпина и себе не поверил: Тюряпин улыбался. И в голубых маленьких глазках его с желтыми цыплячьими ресничками чуть ли не мольба: дескать, не взыщи. Служба есть служба. А теперь, когда дело сделано, можно поговорить и по-товарищески, по душам.

Михаил решительно встал. Нет, такие фокусы не по нему. Либо — либо. Либо ты вместе с Таборским и со всей его жулябией, либо против. А крутить хвостом и вашим и нашим — не выйдет.

### 3

Редко кто из председателей так нравился Михаилу, как Антон Таборский.

Колхоз принял — все счета в банке арестованы, колхозникам за полгода ни копейки не плачено.

Не растерялся. Нашел деньги.

С леспромхоза арендную плату за склад у реки (десять лет с лишним не платили) взыскал, покосы по Ильмасу и Тырсе как заброшенные райпотребсоюзу загнал и еще сорок тысяч — новыми — слупил за лесок — украинцам продал, так сказать, в порядке братской помощи.

Любо стало при новом председателе и в колхозную контору зайти, а то ведь у Андреяна Матюшина, старого обабка, как было заведено? Я язвой желудка мучаюсь — и все кругом мучайтесь. Ни пошутить, ни посмеяться в конторе. Курить за дверь выходи. А с водворением Таборского, казалось, само веселье в Пекашино въехало. И никаких прижимов, никаких притеснений: сам цыган и другим цыганить не мешаю. Только не попадайтесь.

Вот по этому-то пункту у Михаила и начались первые «стыковки» с новым председателем. Раз сказал — механизаторы свое добро с

колхозным путают, а попросту все домой тащат, что попадет под руку: бревна, запчасти, инструмент, сено, картошку, — два сказал, а третьего раза сами механизаторы ждать не стали — стеной, валом пошли на общем собрании: Пряслин технически малограмотен, Пряслин не обеспечивает руководство бригадой, Пряслин вносит разлад в коллектив...

Но окончательно раскусил Михаил Таборского позднее, когда началась эта кукурузная канитель.

Поверил попервости: хрен его знает, может, и в самом деле придумали наконец, как хлебом засыпать страну. Сделал все как требовалось: земля самолучшая, навозу — навалом и садили по веревочке — сам каждое зернышко в землю впихивал.

Не далась царица полей. Летом стали пропалывать — от сорняка не отличишь. И на второй год силу свою не показала. А на третий Михаил сказал: хватит! Без меня играйте в эту игру!

— Да ты с ума спятил! — попытался вразумить его Таборский. — Платят тебе по высшему тарифу — не все равно, какой гвоздь куда забивать?

— Не все равно.

— Ну смотри, смотри, Пряслин. За такие дела знаешь как у нас шлепают?

И шлепнули.

С этого времени у Михаила и пошла война с Таборским. И к нынешнему письму механизаторов — Михаил не сомневался — приложил свою лапу и Таборский. Расчет тут простейший: руками народа заткнуть глотку своему недругу. На всякий случай. Впрок. Загодя.

Водку в сельпо не продавали: нельзя! Собрание сегодня против водки, а ты вишь чего захотел? Но вскоре явилась знакомая продавщица и кое-как удалось выклянчить.

Михаил выпил бутылку не закусывая, прямо на ящиках за магазином — в это «кафе» он и раньше наведывался не раз, — подождал, пока всю сегодняшнюю муть не смыло с души, и, тихий,

успокоенный, размеренным шагом пошел к заветному дому рядом с двухэтажным зданием, где когда-то помещалась школа.

Немо, пустынно было в заулке, поросшем зеленой травой, и он не таясь встал посреди него, поднял, глаза к горнице на втором этаже, к двум небольшим окошкам, в которые когда-то смотрела на белый свет она.

Здравствуй, сказал про себя. Я пришел. А затем он, как всегда, сидел на старом бревне у забора, где еще с прошлого раза валялись его окурки, и мысленно, как молитву, читал письмо, которое получил в бытность свою в армии.

«Миша, я долго не хотела тебя расстраивать, две недели думала, как быть, писать, нет, потому что кто не знает, каково солдатскую службу служить, ну больше не могу. Раз сам наказывал все писать как есть, без утайки, напишу. Хуже будет, ежели другие напишут. Да и чего, думаю, тебе больно-то убиваться, переживать — дело прошлое, семейный теперь человек. Жена эдакая краля — по всему району такой не сыщешь. И как любит тебя — я не знаю, каждый день высчитывает, только и говори у ей, что о тебе. Миша, поубавилось у нас народу в Пекашине, нет больше Варвары Иняхиной, царство ей небесное. И Григорий Минин, ейный проживатель, вскоре вслед за ней убрался.

Я эту Варвару, врать не стану, кляла всю жизнь, всю жизнь самыми последними словами называла, а теперь думаю, может, и зря называла. Может, и ее не очень солнышко на этом свете обогрело. Мужа убили на войне, Григорья не любила, от нужды связалась. Ладно, не давай ты мне плести чего не надо. Это ведь я на бабью-то слезу настроилась — себя пожалела. Все нет весточки от того лешака, второй уж год пошел как гулят...

Ох, Миша, Миша, не знаю, как тебе все и сказать. Ведь Варвара-то у меня сидела за час до смерти. Я пришла с коровника, пью чай с Васей, вдруг дверь открывается — она. Я не видела, как и под окошками прошла. „Не выгонишь?“ Что ты, говорю, ничего-то скажешь. Заходи, заходи. Садись чай с нами пить. Как мне гнать-то, когда я сама выгната? Ну ладно, чаю попили, поговорили, веселая такая и все в окошко, все в окошко на реку смотрит. Чего, говорю, не видала, что ли, Пинегу-то, из окошка глаза не вынимаешь? „Хочу, говорит, на родные места в последний раз досыта наглядеться. Далек, далеко уеду. Новую жизнь начинать буду. Как думаешь, получится у

меня новая жизнь?“ Получится, говорю. Вишь ведь, говорю, парень-то мой вцепился в тебя. А Вася и вправду, как взяла она его на руки, так и прилип к ней, на меня не взглянет. Я еще подивилась тогда. Ну, думаю, чудеса какие. С первого раза к чужому человеку пошел.

Вот чаю мы скорехонько попили, сам знаешь, какая у скотницы жизнь — все некогда, все на бегу, стали прощаться. „Лизавета, говорит, можешь ты, говорит, уважить мою последнюю просьбу?“ А я со своими коровами. И не думаю, что за последняя. Я уж потом вспомнила, что она „последнюю-то“ сказала. Давай, говорю, говори скорее, какая твоя просьба. И вот, Миша, не надо бы теперь это говорить, ни к чему тебя расстраивать, да раз я пообещалась покойнице, как не сказать. Меня схватила за обе руки выше локтя, сама вся трясется, в глаза мне заглядывает: „Лизавета, говорит, скажи, говорит, Михаилу, что я всю жизнь одного его любила, всю жизнь. Пущай, говорит, он будет счастлив и за себя и за меня“. И тут я и сказать ничего не успела, меня обняла, поцеловала в щеку и вон. А через час какой Александра Баева на скотный двор прибежала: „Бабы, говорит, ведь Варвара Иняхина потонула. За реку переезжала, из лодки выпала...“»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Есть, есть все-таки радости на этом свете!

Еще не успело отыграть в воротцах стальное кольцо, еще не успел он как следует войти в заулочек да потрепать здоровой рукой Лыска, который со всех ног бросился навстречу хозяину, а в доме уж загремели, загрохали двери, и вот уж все три дочери виснут на нем.

— Руку-то, руку-то, сатанята!

Эх, жаль, не может он сейчас подхватить их на руки да на руках втащить в дом. Любил он раньше, возвращаясь домой, проделывать такие штуки!

Стол по случаю семейного праздника — и дочери из Москвы приехали, и хозяин из больницы вернулся — накрыли в столовой, а не

на кухне. Но первым делом, конечно, не еда, а домашний смотр: кто как за это время вырос.

— Давай, давай, выходи на показ! — весело скомандовал умывшийся, посвежевший Михаил, занимая свое хозяйское место за столом.

Кареглазая, рослая Вера выскочила в джинсах, в одном лифчике (чтобы не заставляя ждать отца), и мать по этому поводу высказалась:

— Срамница! Не стыдно — растелешилась?

— А чего стыдно-то? — несказанно удивилась Вера. — Это перед папой-то стыдно?

Она круто тряхнула темными косами, повернулась так, повернулась эдак еще чего, папа?

Да, эта вся нараспашку — никаких секретов от отца. Зато уж Лариса без кривлянья обойтись не могла — клевакинская порода! Вдруг ни с того ни с сего начала закатывать голубые наваксенные кругляши, вилить задом — как будто вовсе и не отец перед ней сидит, а какой-нибудь парень или мужик. А в общем-то, подумал Михаил, и эта ничего. В городе ее ровня такие номера откалывает — ой-ой! Сам видел.

Под конец всех уморила младшая — тоже стала вертеться перед отцом. И тоже в брючках.

— Так, так, девки, — сказал Михаил. — Штанами обзавелись. Теперь еще матери осталось разжиться.

— Вот, вот! Только и не хватало матери этого добра.

— А что? — Михаил подмигнул Раисе. — Социалистические накопления не позволяют?

— Ой, папа! — взвилась со своего стула Вера. — Я и забыла. Тебе подарок от Бориса Павловича. И вот на столе уже три бутылки самого лучшего пивка. Чешского! Со знакомыми яркими наклейками. И Михаил подряд, без роздыху осушил две бутылки.

Начались расспросы и рассказы о Москве, о том, что видели, где были, как принимала своих племянниц тетка.

Лариса, конечно, была без ума от Москвы, по ней тамошняя жизнь, и, надо полагать, туда со временем и уберется. Сумеет приласкаться, прильнуть к тетке. А Вере Москва не понравилась.

— Да ты что? — только и мог сказать Михаил.

— А чего — все одно и то же, никуда же выйдешь.

— В Москве-то никуда не выйдешь?

— Ну! Плюнуть негде, все народ. Вот, папа, то ли дело у нас! У нас хоть босиком можно досыта набегаться, луку свежего до отвала поисть. — И как начала-начала уминать зеленую траву за обе щеки с хрустом, с прищелкиванием белыми крепкими зубами — любо смотреть.

— Ну а что-нибудь-то тебе понравилось все-таки? — продолжал допытываться он.

— Понравилось, — кивнула Вера. — Мотоцикл гонять. Ой, папа, какой мот у мальчишки с соседней дачи — в обморок упадешь! Когда мы купим?

— Игрушка тебе мотоцикл-от! — сразу же осадил ее мать. — Знаешь, нет, сколько он стоит?

— Когда-нибудь купим, доча, — сказал Михаил, а про себя подумал: до чего же похожа на него Вера!

Ведь и ему, откровенно говоря, скучновато было в Москве. Жил, конечно, глядел на все, в каждую щель нос совал, но господи, как же он обрадовался, когда сошел с самолета на архангельском аэродроме! А когда под его ногой запели деревянные мостки райцентра, он ведь как самый последний дурак прослезился.

## 2

Целый месяц было тихо по вечерам возле пряслинского дома, целый месяц никто не буровил воздух вокруг, а сегодня Михаил вышел на крыльцо мотоциклы фыркают: кавалеры на своих железных кониках подъехали. Сразу трое — Родька Лукашин в белой рубахе да Генка Таборский с Володей Фили-петуха.

Последних двух он обычно не замечал — сопленосые еще, оба в школу ходят, катают Лариску и ладно, — но с Родькой приходилось считаться. Взрослый парень, его ровня уже в армии отслужила.

— Привет, привет, Родион! — поднял здоровую руку Михаил, спускаясь с крыльца.

Родька — все одинаковы ухажеры — просто расцвел от его ласки.

— Как жизнь молодая?

— Не жалуюсь, дядя Миша.



— Мать как?

— Мама ничего, болеет все, — ответил, улыбаясь, Родька и вдруг весь вытянулся: Вера из дому вышла. Михаил по звону покотившегося с крыльца ведра узнал дочь — всегда торопится, всегда спешит.

Его тоже охватила какая-то непонятная спешка: быстро затоптал недокуренную сигарету и в дровяник — чего смущать молодежь?

— Папа, ты куда?

Вот девка! Вот отцово золото!

Он часто разорялся, пилил жену — нет наследника, а может, и зря? Может, плюнуть надо на этого наследника? Ну девка, ну не парень. Да какому парню уступит его Вера! Косить, дрова рубить, на лошади ездить — любого парня заткнет. А осенью из школы придет, ружье за плечо, за мной, Лыско! — и пошла шастать по лесам-борам.

— Папа, папа, посмотри-ко!

Вера подбежала к Родькиному мотоциклу, с ходу завела его и в седло. Описала круг, описала другой, и только ее и видели. В общем, показала отцу, чему научилась за месяц в Москве. А про кавалера своего и забыла, и Михаилу как-то неловко было смотреть на приунывшего Родьку.

Кончился праздник, кончился отпуск у жизни. Пора было приниматься за дело. И, войдя в дом, Михаил спросил у жены:

— Ну что тут у вас? Сено не прибрала?

— Прибрала. Родька помог.

— Ну это хорошо, хорошо, жена. — У Михаила просто гора свалилась с плеч. Все время, пока лежал в больнице, с ума не шел недометанный зарод. — А как Калина Иванович?

— Была даве Евдокия за молоком. Лежит, говорит.

— Врачей из района не вызывали? Не установили, какая болезнь?

— Какая болезнь у восьмидесятилетнего старика. Помирать, надо быть, собрался.

Калину Ивановича, насквозь больного, Михаил привез с Марьюши еще больше недели назад, когда приезжал мыться в бане, и

сейчас решил, что самое время проведать старика, а то начнется житейская толкотня — когда выберешься?

— Я быстро, — сказал он жене, мывшей посуду, и тотчас же нахмурился: по лицу понял, что та что-то скрывает от него.

Он терпеть не мог этих клевакинских недоговорок, по нему — вытряхивай, ежели что есть, и потому спросил нетерпеливо:

— Может, не будем в прятки-то играть? Муж домой приехал аля дядя?

— Этому мужу надо подумать, еще как и сказать.

— А ты не думай, лучше будет.

— Сестрица твоя дорогая рехнулась — дом бросила. Жила-жила двадцать лет аля боле, да дурь в голову ударила — пых из своего дому.

Михаил — убей бог, если что-либо понимал. И тогда Раиса перешла на крик:

— Да чего понимать-то! Тот, пьяница, шурина твой разлюбезный, верхнюю половину дома дедкова продал. Пахе-рыбнадзору. А Нюрка Яковлева разве будет глазами хлопать? Силой вломилась со своим отродьем — другую половину заняла. У меня, говорит, законные права, ставровской крови сын... Вот твоя сестрица и психанула, в хоромы Семеновны перебралась...

— Постой, постой... Да ведь дом-то чей? Дом-то кому отписан?

— А я об чем говорю? Я чего битый час толкую? Бумага на руках, страховку двадцать лет плачу, да я бы такой разгон дала...

— А Петро? А Петр куда смотрел? — Михаил все еще не хотел верить.

— Когда Петру-то смотреть? Петр-то на пожаре был. Да разве сестрица твоя и стала бы кого слушать, раз в голову себе забила...

— Ну а люди, люди? — заорал вне себя Михаил. — Есть у нас в Пекашине еще люди? Аля все кругом одне жулики да мерзавцы — делай что хочю?

Он опустился на стул, схватился здоровой рукой за голову. Нет, нет, он и пальцем не пошевелит. Сама выезжала, сама и въезжай как знаешь. Да и вообще, сколько еще будут на нем ездить дорогие братья да сестры? Всю жизнь? До тех пор, пока не сдохнет?

А спустя полчаса, кляня и себя и всех на свете, он подходил к старому дому. Не ради сестрицы-идiotки, нет. А ради старика, ради

его памяти. Старик ведь в гробу перевернется, когда узнает, что Нюрка да Паха в его доме хозяйничают.

Всю дорогу он крепил тормоза, всю дорогу говорил себе: спокойно, не заводись, не устраивай дарового спектакля, — а вошел в заулоч старого дома да увидал райскую картинку: Петр топориком поигрывает — бревно тешет, Григорий в сторонке на красном одеяле с малыши забавляется, та на вечернем солнышке как ни в чем не бывало белье постирывает — и полетели тормоза.

— У тебя есть, нет мозги-то, инженер хреновый? Та дура вековечная известно, а ты-то чего ждешь? Милицию бы вызвал да в шею ту стервюжину!

— Михаил... Брат... — расстоналась, расплакалась Лиза. — Да разве я думала... да разве я хотела...

И тут Михаил просто полез на стену, заорал на весь конец деревни. А какого дьявола? Кто заварил всю эту кашу?

— Тихо, тихо, Пряслины! — В заулоч откуда ни возмись с треском въехала улыбающаяся Вера. Михаил заорал и на нее:

— Да заглуши ты к чертям свою керосинку! Взяли моду зазря бензин жгать.

Вера нажала на газ еще сильнее.

— Брось, говорю, эту чертову трескотню! Кому говорю? Бревну?

Вера опять треском заглушила крик отца.

— Имей в виду, папа, в Москве за нарушение тишины штрафуют.

— В Москве, в Москве... Здесь не Москва, а Пекашино!

Михаил еще огрызался, еще продолжал рыскать вокруг разъяренными глазами, но запал уже прошел, и в конце концов он махнул рукой и на ставровский дом, и на своих братьев и сестер — сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Из дому, то есть из деревни, вышли порознь, Лиза даже кузов с собой прихватила — вроде как за травой в навины отправилась, потому что не приведи бог напороться на Паху-рыбнадзора: и бредень отберет и штрафом огреет.

Сошлись у Терехина поля. Быстро спрятали кузов под рябиновым кустом, быстро разобрали меж собой бредень, старый берестяной туес, с которым ходили по рыбу, сумку с хлебами — и дай бог ноги.

Дух перевели, когда вышли на лесную дорогу. Тут Вера два пальца в рот и соловьем-разбойником засвистела на весь лес.

— Ну, девка, девка! — пожурила ее Лиза. — До каких пор в парня-то играть будешь?

Вера стрельнула в тетку своим карим бедовым глазом, и Лиза рассмеялась. Не могла она долго сердиться на племянницу. Все — Михаил, Раиса, Лорка — все отвернулись от нее, когда родила она своих несчастных двойнят, а Вера прибежала ее поздравлять — с цветами, с конфетами, как в кино. И вчера только из Москвы приехала — тоже к тетке объявилась.

Сверху сильно припекало. По еловым стволам, всегда с обрубленными сучьями возле дороги, белыми ручьями стекала смола, злые оводы жгли сквозь напотевшую кофту, слепили глаза. И пыль, пыль была из-под ноги. Это на лесной-то суземной дороге, где всегда, и летом и осенью, бредешь по колено в грязи...

Вера и Родька скоро убежали вперед. Какое-то время они кричали, дурачились — звон стоял по всему лесу, — а потом голоса стали тише, тише, а потом и вовсе смолкли. Лиза осталась сама с собой.

Она шла, склонив голову, по лесной дороге, пересчитывала босыми ногами коренья и валежины, и иные дни, иные времена вспоминались ей. И перво-наперво вспоминался тот день, когда она впервые по этой дороге шагала на Синельгу. С братьями — с Михаилом, с Федюхой, гордо восседающим на коне, со своими любимыми близнятами, которые, как синички, всю дорогу щебетали и тенькали от радости. И было ей тогда семнадцать лет. И она вся трепетала, вся искрилась, как молоденькая березка на солнце в летний день. Вся была ожиданием новой жизни, нового счастья. И думалось, верилось тогда и ей и братьям: не просто на Синельгу комариную идем. Не просто лесную дорогу топчем. В жизнь, в большой мир

прокладываем колею — свою, пряслинскую. А теперь? Что случилось теперь со всеми ими? Где та дружная пряслинская семья?

Она не оправдывала себя, не обеляла. И Михаил вечер шумел и топал ногами — заслужила. Нет ей прощенья! Никакими молитвами, никакими покаяньями не замолить вину перед Степаном Андреяновичем. Человек надеялся на нее как на стену, как на скалу, все, что было самого дорогого в жизни, отдал ей дом отписал свой. На, бери на веки вечные, будь хозяйкой животу моему. А она? Что сделала она?

Лиза присела на старый еловый выворотень, на котором испокон веку отдыхают люди, и навзрыд зарыдала.

Все, все она пережила, все вынесла: измену мужа, смерть взрослого сына, немилость старшего брата, позор и стыд за незаконнорожденных детей, а вот видеть в своем заулке Борьку — нет, нет, эта пытка была свыше ее сил.

Все эти двадцать лет уговаривала себя: что ей Борька? Какой смысл убиваться из-за того, что он доводится сводным братом Васе? Да разве впервой ей такое? В Заозерье еще раньше Борькиного рожденья сводная сестрица объявилась — когда близко к сердцу принимала!

Ничего, никакие уговоры не помогли. Увидит, встретит на улице Борьку так и оборвется сердце, так и бросит в немочь, потому что не Вася ее, а он, Борька, всеми выходками, всеми повадками вышел в Егоршу. Даже слюну сквозь зубы, как Егорша, сплевывал.

И вот в тот вечер, когда она, возвращаясь от Пахи-рыбнадзора, увидела в своем заулке Борьку с матерью, увидела, как они втаскивают в переднюю избу комод, она сразу поняла: не жить ей под одной крышей с Борькой. Ночи одной не выдержать. Любую муку, любую казнь готова принять ради дома, но только не эту...

Лиза сняла с головы плат, вытерла зажатое, разъеденное потом и слезами лицо, встала. Нельзя давать волю слезам. Не затем пошла она на Синельгу, чтобы сидеть в лесу да лить слезы.

— Ве-е-ра-а! Родька-а-а!

Ответа она не дождалась: далеко убежала молодежь. И Лиза зачастила ногами, стала все больше и больше разгонять себя.

Анфиса Петровна говорила им: нету ноне в Синельге рыбы. Не меряйте зря дороги — без вас давно вымеряны. И верно: они с добрую версту проволокли бредень — и хоть бы какая-нибудь рыбешечка запуталась. Да и мудрено быть рыбешечке в нынешнюю жару. Плесы и ямы пересохли, заросли тиной и ряской, а о перекатах да протоках и говорить нечего: где вода жиденькой косичкой заплетается, а где и совсем нету.

— Может, домой пойдём? — предложила Лиза.

Родька сразу согласился: надоело продираться сквозь дремучие кустарники да бить и колоть ноги о камешник. Но Вера и слышать не хотела.

— Возвращаться домой с пустыми руками? Да вы что! Не знаете, что такое рыбалка да охота? Час зря, два зря, а на третий — озолотились.

И опять побрели вниз по речонке, опять начали буровить пересохшие ямы и плесы, греметь дресвой в порогах.

Жара нещадная, травища, выломки (лет десять уж не ставят сена на Синельге) и гнус. В те годы у гнуса была все-таки очередность: днем, в солнцепек, овод разживается, а комар по вечерам да ночью. А нынче все вдруг — и оводы и комары. И никакая мазь не помогала от них.

Когда добрались до крутой, красной, как раскаленная печь, щельи, сделали передых. Бредень и туес оставили в лопухах у воды — сил не было тащить в пригорок, — а сами нырнули в белопенную пахучую таволгу — может, хоть тут немного отдышатся.

Лиза так набродилась, так вымоталась, что, как только почувствовала вокруг себя травяную свежесть, так и в дрему, да и Родька, привалившийся к ней сбоку, похоже, запосвистывал носом, а Вера... Что за неугомонная девка? Откуда в ней столько силы?

Живо натаскала сучьев, живо запалила огонь.

— Вставайте, сони! У огня надо спастись от гнуса.

И тут они и в самом деле ожили. От смолистых еловых лап — это уж Родька постарался — повалило таким густым дымом, что ни один овод, ни один комар не мог к ним подступиться.

Лиза разложила еду на белом платке, принесла ключевой воды из ручья, и начался пир: слаще всякого пирога показался ломоть ржаного, круто посоленного хлеба, запиваемый холодной водой.

— Место-то знаете, нет, как называется? — спросила Лиза, окидывая глазами белую от ромашек поляну, на которой они сидели. — Ставровская изба. Тут вот она, изба-то, стояла, у леса. После войны мы тут нашей семьей сено ставили...

— Слыхали, слыхали, Ивановна! Голодали, работали не разгибаясь от зари до зари, а мы не ценим. Давай, тетка, что-нибудь поновее. Я дома от папы этого наслышалась. И в Школе на обществоведении хватает.

— У меня мамаша эти политинформации тоже мастерица читать, — сказал Родька.

— Да ведь эти политинформации — наша жизнь! — рассердилась Лиза.

Но больше распространяться о прошлом не стала. Хорошая девка Вера, и Родька по нынешним временам неплохой парень, но говорить о старых временах, о войне, о том, какого лиха хлебнули их отцы, матери после войны, — это они с одного слова на третье слушают. Не могут поверить, что так можно было жить, мучиться. Да, по правде сказать, она и сама иной раз ловила себя на том, что все пережитое когда-то ими сегодня кажется ей каким-то бредом и небылью.

Вера вдруг ни с того ни с сего начала снимать с себя кофту.

— Ты чего? Не загорать ли вздумала на оводах да на комарах?

— Хочу холодный душ в ручье принять.

— Не смей, не смей этого делать! Долго простуду схватить?

Вера и ухом не повела. Раз что втемяшила, вбила себе в голову, лоб расшибет, а сделает.

Скинула кофточку, скинула шаровары и к ручью. А за ней во всю прыть Родька.

Затрещали, закачались кусты, смех, визг, водяные брызги радугой вспыхнули над ручьем. А потом Вера и Родька, оба голые, мокрые, с вениками в руках, выскочили на пожню и со смехом, с криком стали гоняться друг за другом. И Лиза, глядя на их молодую игру, вдруг вспомнила тот день, когда на этой вот самой пожне Михаил нещадно лупил хворостиной Федюху. Лупил за то, что тот, поставленный на уженье, с голодухи тайком от них съел какую-то рыбешку.

И опять она стала думать о жизни, о пережитом, о том, как вот тут, на этих самых пожнях, заросших дикой травой и кустарником, страдали они, Пряслины, свою первую страду.

Не приведи бог еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны, не приведи бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки, все-таки... Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни. Одна только первая их страда чего стоит! Выехали на Синельгу — все мал мала меньше, думалось, и зарода-то им никогда не поставить: ведь первый раз, — когда с косками вышли на пожню, и косарей не видать. С головой скрыла трава. А поставили. Один зарод поставили, другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого убрано сено, стал для Лизы самой большой красой на земле.

Но только ли одна она со сладким замиранием сердца ворошила в своей памяти то далекое прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бедолаги старые, из которых еще и поныне выходит война? Уж их-то, кажись, от одного поворота головы назад должно бросать в дрожь и немочь. Тундру сами и дети годами ели, похоронки получали, налоги и займы платили, работали от зари до зари, раздетые, разутые... А ну-ко, прислушайся к ним, когда соберутся вместе? О чем говорят-толкуют? О чем чаще всего вспоминают? А о том, как жили да робыли в войну и после войны.

Вспоминали, охали, обливались горячей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили. А все дрязги, все свары, вся накипь житейская — все это забылось, ушло из памяти, осталась только чистота, да совесть, да братская спайка и помочь. И недаром как-то нынешней весной, когда собравшиеся у нее старухи по привычке завели разговор о войне, старая Павла со вздохом сказала: «Дак ведь тогда не люди — праведники святые на земле-то жили».

Первую щучонку — на пол-аршина — заарканили под Антипиной избой, возле старых выломов, где на веку никакой рыбы не бывало. Место темное, непроглядное — да с чего пойдет туда рыба? Но Вера настояла: должна же где-то быть! Не могла вся передохнуть.



И вот с первого загруза щука. А потом за черный топляк перевалили опять щука, да побольше первой, с доброе топориче.

Ну уж тут они порадовались — и смеялись, и скакали, и чуть ли не обнимались, а Вера, та даже поцеловала щуку в склизкую морду: так, мол, скорее рыба пойдет на них.

После этого они с новыми силами, с новым запалом еще часа два бороздили речонку. И ничего. Ни единой души.

— Дураки мы, вот что! — рассудила неунывающая Вера. — Да рыба-то вся давно скатилась к устью. С чего она тут будет, когда все пересохло? Айда на Пинегу!

— На Пинегу? — ахнула Лиза. — Да ведь это верст пять шлепать.

— Ну и что? Нечего, нечего, Ивановна, лениться. Раз пошли за рыбкой, терпи.

Лиза обернулась за поддержкой к Родьке — тот всех пуще вымотался, один через все мысы и заросли мокрый бредень таскал, — но разве Родька вояка против Веры?

Пожни, слава богу, пошли пошире, комара стало меньше, ветерок начал прополаскивать за жарелое тело. Молодежь ожила. Опять пошли шутки, игры: бросят бредень, бросят туес в траву и носятся как шальные по некошеным пожням. А для Лизы была пытка, мука мученская идти по задичалой Синельге.

Она как-то уже свыклась с мыслью, что сена по верховью речонки не ставят, но чтобы то же самое запущенье было и в понизовье, в самых сенных пекашинских угодах, — нет, это для нее было внове.

Да что же это у нас делается-то? — спрашивала она себя то и дело. Куда же это мы идем? В войну все до последней кулижки выставляли одни бабы, старики, ребятишки, а сейчас в совхозе полно мужиков, полно всяких машин, всякой техники — легче работать стало. А почему дела-то в гору нейдут? Может, оттого, что по-старому робить разучились, а до машин, до всей этой техники умом еще не доросли?

Зря, зря они топали пять верст. Зря она уступила племяннице, не настояла на своем. Бывало, к устью-то Синельги подходишь — песни петь хочется: коромыслом радуга. А сейчас подошли — и воды живой нет. Лужи, курейки, заросшие ряской, — все русло завалило, засыпало песком.

Вера, однако, не думала сдаваться.

— Рыбы нет, за красной смородиной на Марьюшу пойдём. Да за малиной.

— Какая по нонешней жаре малина? — попыталась образумить ее Лиза.

— Пойду! — заупрямилась Вера. — Да я еще и папины зароды сейгод не видала.

— Ну как хошь, как хошь, — сказала Лиза. Тут она ничего не могла возразить племяннице, потому что, по правде сказать, ей и самой хотелось бы взглянуть на труды брата, но дома ее ждали дети малые, братья — пришлось взнудать себя.

Зачем она пошла берегом?

Чтобы речной свежести вдохнуть? Чтобы людям на глаза не попадаться?

Людей возле реки не было — редко кто нынче шастает песчаной бережиной, но куда уйдешь, где скроешься от собственных дум?

Обступили, начали жалить — хуже злых оводов.

Сколько она за эти дни передумала, сколько пыталась уяснить хоть себе самой, что натворила, наделала, и не могла. Нет таких слов в языке человеческом, чтобы все это объяснить. И что же удивительного, что все, все — Анфиса Петровна, Петр, Михаил, доярки, — все ругали и осуждали ее. Все, кроме Григория.

Григорий понял ее, сердцем почувствовал, что она не может иначе.

— Гриша, я ведь к Семеновне надумала перебираться, — так она сказала брату на другой день после того, как в ставровский дом въехала Нюрка с Борькой. — Что скажешь?

— Ну и ладно, сестра, — ответил Григорий. Раскаленный песок и дресва немилосердно жгли босые ноги (тапочки не спасали), душной смоляной волной окатывало сверху, с угора, где рос ельник, глаза резало от воды, от солнца, и она шла этим адищем как последняя грешница, как пустынножительница Мария Магдалина, о которой, бывало, любила рассказывать покойная Семеновна.

Судиться, судиться надо. И с Егоршей и с Нюркой судиться, твердила себе Лиза. Но стоило ей только представить въяве — она и Егорша на суде — и у нее подкашивались ноги, голова шла кругом.

Она мучила, терзала себя всю дорогу, всю дорогу думала, что ей делать, но так ни на что решиться и не могла. И когда она вышла на пекашинский луг и впереди на косогоре увидела ставровский дом, она пала под первый куст и отчаянно заплакала.

Уж коли голова нисколько не варит, не работает, так надо хоть выплакаться. И за сегодняшний день и за завтрашний. Потому что дома ей нельзя плакать, потому что из-за всей этой истории с домом у Григория вот-вот начнутся опять припадки.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Утро на пряслинской усадьбе начиналось с птичьего гомона. Едва только из-за реки брызнут первые лучи солнца, как вся пернатая мелюзга, прижившаяся возле нового дома на угоре, принималась славить жизнь. На все голоса, на все лады.

Михаил любил эту птичью заутреню. Хороший настрой на весь день. А уж утром-то по дому бегаешь — ног под собой не чуешь.

Сегодня он сходил к колодцу за водой (сроду ни любил, когда из застоялой воды чай), отметал навоз у коровы (одной рукой изловчился), подмел заулок (Лыско линяет — везде шерсть), а его барыня и не думала вставать. Да и вся остальная деревня дрыхла.

Наконец, рано ли, поздно ли, из трубы у Дунаевых полез дым, и Михаил пошел в дом.

— У тебя что — забастовка сегодня лежащая?

Раиса, зевая, потягиваясь, на великую силу оторвала от подушки раскосмаченную голову, глянула на часы.

— Да ты одичал — еще семи нету...

— А корову кто доить будет?

— Ох уж эта мне корова! Жизни из-за ей никакой нету.

— Может, нарушим?

Раиса опустила полные ноги с кровати — его так и опахло тепло разогретого женского тела, — ответила не задумываясь:

— Да хоть сегодня! Не заплачу.

— Ты не заплачешь, знаю. А что жрать будем? Чай один хлестать да банки?

Он не вышел — выскочил из спальни, потому что известно, чем кончится этот разговор — криком, руганью. Осатанела баба — два года ведет войну из-за сна. Сперва выторговала полчаса, потом час, а теперь, похоже, уже на два нацелилась.

За завтраком Михаил, как всегда, начал подтрунивать над Ларисой — у той опять разболелась голова. И, как всегда, за свою любимицу вступилась мать:

— Чего зубы-то скалить? У девки опять давление.

— А когда давление, до трех часов утра в клубе но скажут.

— Ладно. Не одна она скачет, все скажут.

— И рожу с утра тоже не малюют, — вдруг вскипел Михаил.

А что, в самом деле? Голова болит, давление, а глаза уже наваксила. Когда только и успела.

Пошатнувшийся мир в семье восстановила Вера — она умела это делать.

— Папа, — блеснула белыми зубами, — а ты давай-ко бороду отпусти, что ли, пока на больничном. Мы хоть посмотрим, какая она у тебя.

— Думаешь, хоть занятие у отца будет? — сказал Михаил и первый рассмеялся.

С улицы донеслись бесшабашные позывные — не иначе как Родька подъехал на машине.

Вера высунулась в открытое окно, замахала рукой:

— Сейчас, сейчас! — И начала укладывать хлебы в сумку.

А потом натянула шаровары, натянула пеструю ковбойку — рукава по локоть, — ноги в старые растоптанные туфли — и будьте здоровы! — покатила на сенокос. Всегда вот так. Сама насчет работы договаривается, сама себя собирает.

Вскоре после отъезда дочери ушла на свой маслозавод, прихватив с собой младшую, мать, у Ларисы тоже нашлось занятие — завалилась в огороде под кустом на подстилке (московский врач, видите ли,

прописал воздушные ванны для укрепления нервной системы), а ему что делать? Ему куда податься?

Сходил к фельдшернице на перевязку, потолкался сколько-то возле баб у магазина — с утра толкуются в ожидании какого-то товара из района — и опять свой дом, опять все тот же вопрос: как убить время? Какую придумать работу, чтобы одной рукой делать?

Подсказали овцы, лежавшие в холодке у бани: иди, мол, в навины да ломай для нас осиновые веники. Зимой за милую душу съедим, да и корова морду от них не отвернет.

## 2

Чего-чего, а осины в пекашинских навинах ныне хватает, и он как свернул за Терехиным полем в сторону, так сразу и попал в осиновый рай: лист крупный, мясистый, со звоном.

И тут уж он развернулся: горы наломал осинника, благо трещит, едва рукой дотронешься. А затем посидел, покурил и пошел в лес: не удастся ли разжиться каким грибом-ягодой?

Худо, худо было нынче в лесу. Он добрых два часа кружил по выломкам, по ельникам, по радам, в общем, по тем местам, где раньше навалом было всякой всячины, — и ничего. За все время три сыроежки ногой сбил, да и то дотла истлевших, а черникой даже рта не вымазал.

У него горело лицо — комарья тучи, пересохло в горле — признаков воды нигде не было, и только когда выбрался к Сухому болоту, кое-как смочил рот. Смочил в той самой ручьевине, где когда-то он напоил умиравших от жажды пекашинцев. И вот с первым же глотком этой черной болотной водицы все вспомнилось, все ожило. Вспомнился пожар в том страшном сорок втором, вспомнилась обгоревшая Настя Гаврилина...

Он два раза обошел закраек Сухого болота, пытаясь найти ту злополучную сосну, на которую он полез тогда, чтобы спасти гнездо большой коричневой птицы, канюка, как он узнал после, и не нашел. Давно на Пинеге изведен строительный лес, за стоящим деревом за пятнадцать и за двадцать верст ездят, а тут такое золото под боком — разве будут ворон считать?

Не нашел Михаил и пекашинских гектаров Победы.

Господи, с какими муками, с какими слезами раскапывали, засевали они тогда тут поле! Помирали с голоду, а засевали. Из глотки вырывали каждое зернышко. И вот все для того, чтобы тут всколотился осинник.

Хорошо растет осинник на слезах человеческих! Такая чаща вымахала, что он едва и выбрался из нее. — Бывало, с Сухого болота домой правишь, из суземов выходишь — сердце радуется. Все шире, шире поля, все меньше и меньше перелесков, кустарников, а когда за Попов-то ручей перейдешь да на Широкий холм поднимешься — и комар прощай. Такая ширь, такое раздолье вдруг откроется.

Сегодня Михаила задавили осинники и березняки, и он, как зверь, проламывался, продирался через них. Исчезли поля, исчезли бесчисленные пекашинские на-вины, тянувшиеся на целые версты, а вместе с ними исчезла и пекашинская история. Потому что какая у Пекашина история, ежели забыть Калининую пустошь, Оленькину гарь, Евдохин камешник, Екимову плешь, Абрамкино притулье и еще много-много других полей-раскопок?

И Михаил, сгибаясь под тяжестью своих раздумий, чувствовал себя виноватым перед Степаном Андреяновичем, перед Трофимом Лобановым, перед всеми пекашинцами, которых он знал вживе и которых не знал, которые жили задолго до него, за сто и триста лет назад...

Одна навина возле Попова ручья все-таки еще держалась — Гришина вятка, давнишняя небольшая раскопка с жирной землей, на которой даже без навоза родился хлеб.

Молодец поле! — подумал Михаил, выходя из кустарника. Осина да береза со всех сторон напирают на тебя, а ты как солдат во вражеском окружении насмерть стоишь!

Но что за чертовщина? Почему оно, это поле, среди лета голое, без единой травинки?

Он подошел ближе, и то, что казалось издали невероятным, диким, стало явью: вятка была вспахана. И мало того — засеяна рожью: вдоль всего замежка рассыпано зерно. Это сейчас у всех трактористов так — никогда не заделывают концы полей.

Нет, не может быть! — покачал Михаил головой. Не может быть, чтобы в такую сушь рожь сеяли. Ведь это все равно что в горящую печь бросать семена.

Он вышел на поле, с трудом отвалил здоровой рукой тяжелый, вывороченный вместе с глиной пласт земли, и сомнений больше не осталось: засеяно поле. Семь коричневых зерныток насчитал под пластом.

Долго стоял ошеломленный Михаил над ямой, в которой сиротливо и неприкаянно лежали крохотные зерна на самой поверхности земли, даже не вдавленные в нее, и вдруг уже другие мысли, не связанные с засухой, начали ворочаться у него в голове.

Да ведь это же могила для семян! — подумал. Разве когда тут прорастет зерно? Разве росток семени пробьется через пласт?

Михаил отвернул еще один пласт, отвернул другой, третий... — везде одно и то же: в глубокой борозде, как в могиле, лежат зерна, придавленные глиняной плитой.

Так вот как мы загубили навины! Дорвались трактора и давай вгрызаться в землю.

Да, да, да. Покуда пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, только верхний слой ее подымали. А появился трактор — начали наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше. Ан нет, не лучше. Верхний слой живой у поля, почва родит, в ней сила, а под почвой-то песок-желтяк, глина мертвая. И вот мы почву-то зарыли на аршин в песок да сверху еще глиной, каменной плитой придавили. Врешь, не выскочишь!

Да, да, говорил себе Михаил, так, так мы умертвили навины. Глубинной вспашкой. И вот когда он пожалел, что малозаметный. Вот когда вину свою почувствовал, что железного коника не оседлал! Ведь на его глазах все это делалось, на его глазах списывались навины в залежи как нерентабельные земли, да он и сам, когда бригадиром был, требовал, чтобы их списывали какой толк семена-то зря переводить?

И еще он вспомнил сейчас, как одно время потешался над сибирским агрономом Мальцевым: тот, говорилось в статейке, чуть ли не отказался в своем колхозе от всякой вспашки полей...

Эх, темнота, темнота пекашинская! Не тебе бы зубы скалить, не тебе бы на ученых людей со своей кочки вниз смотреть!

Гром загрохотал, когда Михаил продирался через чашобу кустарника в Поповом ручье.

Он поднял голову кверху: самолет сверхзвуковой летит? От самолетов нынче гром с ясного неба среди бела дня. Но голубая просека над берегами была удивительно чиста — ни белой ленты, которую оставляет за собой самолет, ни серебряного крестика, самого самолета.

Гром шел от гусеничного трактора, его увидел Михаил на закрайке поля, когда вышел из ручья.

Поле еще не было вспахано, только один круг был сделан, надо думать, тут тракториста застало обеденное время: по часам нынче работают. Правда, на работу могут и опоздать, это за грех не считается, но что касается окончания работы, да еще работы несдельной, — тут ни одной минуты лишней, точно по графику.

Тракториста, взгромоздившегося на радиатор (лобовое стекло протирал тряпкой), Михаил узнал по волосам — таких чернящих волос, как у Виктора Нетесова, в деревне больше нет. От матери достались. Ту, бывало, все чернявкой да чернышом звали.

Виктор Нетесов был парень не из последних. Не пил (может, один-единственный в его возрасте во всем Пекашине). Ударник — все годы, как сел за руль, с красной доски не сходит. И жена — учительница. И вот такой-то парень такие номера откальывает!

— У тебя, Витька, чего с головой-то? — налетел на него Михаил. — Мозги на жаре высохли?

Виктор спокойно довел до конца протирание стекла, выключил мотор и только тогда спрыгнул на землю.

— Я говорю, с ума сошел — в такую жарину пахать? Знаешь, как это, бывало, называли? Вредительством!

— Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика.

— А это тоже приказ — землю гробить? — Михаил здоровой рукой махнул за Попов ручей.

— Пояснее нельзя?



— Ах пояснее тебе!.. — И Михаил опять сорвался на крик: — Ты это землю пашешь але каменоломню из поля устраиваешь? Глину наверх вывернул на полметра, да ее не то что ростку — мужику ломом не пробить!

Виктор — железный мальчик — и тут не вышел из себя:

— Насчет глубины вспашки к агроному обращаться надо. Она дает команду. — Затем губы втянул в себя, одна черточка на месте рта осталась, на глаза спустил козырьки век — весь убрался в себя. Не за что уцепиться.

— Да, с тобой, вижу, много не наговоришь. Это отец у тебя, бывало, за общее дело убивался... Моментально разрядился — как капкан:

— Отец-то за общее дело убивался, да заодно и мать и сестру убил...

— Как это убил? Ты думаешь, нет, что говоришь, молокосос!

— Думаю. Двенадцать лет отец могилы для матери да для сестры устраивает, а я хочу не могилы для своей семьи устраивать, а жизнь.

Больше Виктор не стал терять время на разговоры. Залез в кабину, завел мотор, и огромная туча черной пыли поднялась над полем.

Михаилу вдруг пришло на ум: как же это он не спросил Виктора, подписывал ли тот письмо, что показывал ему Тюрятин?

А может, плюнуть на все эти навины да повернуть лыжи восвояси? Ведь все равно толку никакого не будет. Все равно глотку заткнут: не твое дело... Не имеешь права, раз не специалист...

Михаил остановился на верхней площадке крыльца, тяжело, как запаленная лошадь, вода боками — жара все еще не спала, — и выругался круто про себя: как это он не имеет права? На твоих глазах убивают человека — неужели не вступишься? А тут не человека — жизнь в Пекашине убивают.

Таборский, увидев его в дверях, выскочил из-за стола, забил ногами от радости: надоело, видно, канцелярское томление в одиночестве.

— Заходи, заходи, Пряслин! С чем сегодня? С веткой мира или с мечом? И захохотал сытно, румяно. — С мечом, с мечом! По глазам вижу. Даю справку: к письму механизаторов никакого отношения не имею. Я бы лично в суд на тебя подал. За отказ от выхода на пожар, чтобы подтянуть тебе подпруги. Даже прокурору звонил. В райкоме не посоветовали. Возни, говорят, много: ветеран колхозного дела...

Было время — сбивали с толку Михаила такие вот нараспашку речи, но сегодня он и ухом не повел. Разве что еще раз утвердился в своих догадках насчет того, что именно он, Таборский, приложил свою лапу к письму.

На ходу расстегивая ворот запотелой рубахи, он подошел к столу, выпил три стакана теплой, нагретой на солнце воды из графина.

— С похорон иду.

— С похорон?

— Да. Смотрел, как поля у нас хоронят. Таборский покачал лысеющей головой.

— Так. Все ясно: народный контроль. А конкретнее?

— Конкретнее? А конкретнее караул кричать надо! С тебя, к примеру, шкуру содрать — долго протянешь? А мы что с полями делаем? Разве не ту же шкуру кажинный год с их сдираем? — И тут Михаил хватил еще один стакан тепловатой воды и понесся, как конь под гору: все выложил — и то, что только что видел в навинах, и то, что думает по этому поводу.

А Таборский? Что сделал Таборский? Кинулся в навины, чтобы немедля остановить пахоту? В район стал названивать? Тревогу бить?

Таборский сказал:

— Механизаторов, Пряслин, советую не трогать. В данный момент, когда специалисты отделения только что высказали свои критические замечания в твой адрес, твое заявление знаешь как можно расценивать? Подумай, подумай хорошенько. А что касемо навин, не беспокойся. Партия маленько пораньше нас с тобой подумала. Слыхал про постановление насчет Нечерноземной зоны? Вторая целина, миллиарды большие выделены. Так что очередь дойдет и до нас. Придет время — раскорчуем все эти навины.

— А сами-то мы будем, нет что делать? Але сложа руки будем сидеть да ждать, пока очередь дойдет до нас?

— Сами мы, Пряслин, постановления партии выполнять будем. План. А план — знаешь, что это такое? Железный закон — нашей жизни...

— Да что ты мне на трибуну вылез?

— Спокойно, спокойно, Пряслин. Нервные клетки не восстанавливаются...

Михаил больше не слушал: Таборский за день не уробился — сейчас ему одно удовольствие языком почесать.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Не мала деревня Пекашино — на три версты по горе вытянулась и народу как в Китае. Одних мужиков до четырех десятков собирается по утрам на разводе. Рублик-батюшко всему причина. Как перевели на совхозы Пинегу да стали платить северные, так и покатыл мужик в деревню.

Да, народу ныне в Пекашине полно, а к кому зайти? С кем отвести душу?

Раньше бы минуты не раздумывал: к Петру Жи-тову. Уж он, Петр Житов, рассудит все как надо, по полочкам все разложит. А теперь к Петру Житову если и можно зайти, то только с бутылкой: совсем с панталыку сбился человек.

По той же причине Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей Аркадия Яковлева, Игната Поздеева и Филю-петуха. И с ними без бутылки не состыкуешься. Да и на хрен им сдались какие-то навины! Хлеба что ли, в сельпо тебе не хватает, скажут?

А может, до старого дома прогуляться да с братом Петром потолковать? Грамотный, с высшим образованием — должен в политике разбираться, а потом свой, одна кровь: без опаски, на всю катушку, как говорится, разматывайся.

Нет, сказал себе Михаил, зря ноги наминать. Как же с Петром про политику, про Россию толковать, когда Петр не может вбить в башку дорогой сестрице такого пустяка насчет дома, как суд? Ведь те скоты,

ежели делу не дать законного хода, не сегодня — завтра дом на распыл пустят.

Пошел к своему соседу. Не хотелось бы мучить старика, болен Калина Иванович, редкий день «скорая помощь» из района не приходит, да ежели ему сейчас не выговориться — взорвется. Взорвется, как котел, переполненный парами: столько всякой накипи, столько всякой неразберихи скопилось в сердце.

*Из жития Евдокии-великомученицы*

У Дунаевых с ходу крыльцо не возьмешь: впокат, вперекос и ступеньки и верхний настил, так что хочешь не хочешь, а начнешь иматься руками за стену.

Но крыльцо хоть по видимости крыльцо, а про сени и того не скажешь. Пола и потолка нет. От ворот лесенка — как в яму, как в погреб спускаешься, затем доски, прямо на землю набросаны, затем опять лесенка и только после этого дверь в избу.

Яркий, ослепительный свет ударил Михаилу в глаза — вся изба была залита вечерним солнцем, — но брата Петра он увидел сразу.

Обида, гнев выжили в нем. Он десять раз сперва подумает, прежде чем зайти к старику — болен же человек, как не понять этого! — а тут не стесняются, прут, когда вздумается.

— А гостей-то, думаю, можно и побоку, раз не можем! Ты-то куда смотришь?

Евдокия — она сидела с шитьем у стола — сердито кивнула в сторону лежавшего на койке мужа:

— На его громы-то мечи! Я, что ли, всю жизнь двери нараспашку держу?

— Гость мне не помеха, — сказал Калина Иванович и откашлялся. — У нас тут интересный разговор идет. Про жизнь в космосе, на других планетах.

— Во-во! Про жизнь в космосе, на других планетах. Очень интересно! А то, что на русской планете делается, — плевать?

Калина Иванович и Петр — оба с удивлением уставились на него, и Михаил, уже выходя из себя, закричал:

— Не ясно выражаюсь? Кустарником, говорю, все кругом заросло, людей скоро кустарник топтать будет, а Таборский мне знаешь что на это? «Береги нервные клетки, Пряслин... Постановление есть... Вторую целину подымать будем...»

— Да, я читал об этом, — сразу оживился Калина Иванович: на политику, на любимую тропку вышли. — Большая программа работ...

— Программа-то большая, я тоже читал. Да почему ее делать надо было? Да мы, бывало, в войну у Сухого болота сеяли. А сегодня от Сухого болота до Широкого холма прошел — что видел, кроме кустов?

— Господи, нашел с кем из-за навин слезы проливать. Кой черт ему пекашинские-то навины! Да он забыл, когда там и был. Вот кабы ты про революцию, про Китай заговорил, вот тогда бы он распелся...

— Моя жена, как всегда, меня разоблачает, — пошутил Калина Иванович.

— Да как тебя не разоблачать-то? Тебя не разоблачать да за ноги не держать — с голоду подохнешь. Ты ведь как журавей: все в небе, все в небе. На землю-то спускаешься исть, да пить, да навоз сбросить.

На это Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия не стала дожидаться.

— Молчи, молчи! Разве неправду говорю? У тебя и отец такой был. Зря, что ли, Иванушко-шатун звали? Шатун... Всю жизнь по святым местам шатался, праведной жизни искал. Домой-то только на зиму и отъезжался. Придет, зиму отлежится, ребенка жонке заделает, а чуть солнышко пригрело, снег стаял опять в поход, опять в шатанье. Жена дура была почище меня. Я всю жизнь страдаю из-за этого лешего, по всему свету за им таскаюсь, а та дура опять всю жизнь провожала. Со всем выводком, бывало, из дому выйдет. Да еще в брюхе ребенок, да на плече котомка... А он налегке. Идет, вышагивает с батогом, как пророк... Слова не обронит. Как же, на великое дело собрался монастырям иду пороги обивать... А как тут будет жена с бороной малых ребят — не его дело. Нет думушки о доме. И мой такой же! Шатунова завода. Всю жизнь у нас наперекосяк: он из дому, я в дом... — Евдокия гневными глазами обвела старую избу. — Вишь ведь, в каких палатах на старости лет живем. А пошто? Дом никак построить? Деньгами сбиться не мог, ребята малы одолели? Да после

гражданской все льготы, все послабления красным партизанам. Лес руби самолучший. Задаром. Стройся, живи как душеньке угодно. Твоя власть, твое время пришло. Люди-то — пройди-ко по деревням — дворцы, а не дома настроили. А моему разве до дому? Говорю, отец шатуном всю жизнь прожил и сын на ту же меть...

— Да, я за свой дом не держался, — сказал Калина Иванович. — Мне вся страна домом была.

— Слыхали, слыхали? Вся страна ему домом... А живешь-то ты где? Где спишь, ночуешь, от дождя, от снега укрываешься? Во всей стране?.. Ох и поносило же нас, помытарило по этой стране! И где мы только не были, чего не видали, чего не делали! Трактора строили, советскую власть киргизцам подымали, капиталистов-сволочей улещали, с клопами насмерть воевали...

— С клопами? — недоверчиво переспросил Петр и посмотрел на Михаила.

— А как ты думал? Раз социализм строим — и клопов нема? — Михаил рассмеялся: он все-таки успокоился к этому времени. Его всегда как-то успокаивала своими рассказами Евдокия.

— Ох, этих клопов что тогда было — жуть! Кабы в бараках там, на вокзалах — ладно. В вагонах клопы. Мы с Архангельска до Сталинграда месяц попадали — вот как тогда по железным-то дорогам было ездить — загрызли клопы. Ничего, думаем, нам бы до места добраться, а там отстанут, дьяволы, отдохнем...

Михаил кивнул в сторону Петра:

— Ты объясни ему, зачем вы в Сталинград-то поехали.

— Трактора строить, сицилизм. Я, из коммуны выползли, — поедем домой, Калина. Сколько еще будем маяться на чужой стороне? А он — в газетах вычитал, всю жизнь по газете живет: «На самый ударный фронт поедем. Трактора строить». А какие от нас трактора? Я неграмотная, он железа, кроме ружья, в жизни в руках не держал. Трактора-то строить не команды подавать. Вот и бери лопату да корми клопов в бараке. Ох, сколько клопов тогда этих было, дак и страхи страшные. Вологодские, архангельские, сибирские, от киргизцев... Со всех сторон люди съехались. Я уж об себе не думаю: жорите, паразиты, стерплю, да, думаю, я ребенка-то нарушу. За ночь-то на стенах набьют-надавят — ручьями кровь. Красные стены-то.

Я своему скажу: клопа надо изводить, другим скажу — только ухмыляются. Смешно. Что ты, баба глупая, мы жизнь переворачиваем, землю кверху ногами ставим, а ты о каких-то клопах. Ударный труд у нас... А я вижу: люди умаются за ночь — на ходу спят. Как мухи сонные днем-то ходят. Да какой же от них ударный труд? Того и гляди в машину попадут. Ладно, однажды с утра кипятку нагрела, все на улицу высвистала — топчаны, тюфяки, лопотину, котомки — все, ничего не оставила. И людей высвистала. Кого сонного, после смены спал, прямо на руках вынесли. Ладно. Двух самых здоровых мужиков в двери поставила (хорошие ребята, один — Ломиком звали, с-под Саратова, — другой — Ваня, Масляк прозвище, вологодский) — никому ходу. А сама с тремя бабами давай шпарить да чистить барак. Вычистили. Вход в рай по билетам: покуда в баню не сходишь да штаны, лопотину не выжаришь, хоть на улице ночуй. У меня бунт. Какое право имеешь? Вредительство! Начальство прибежало: темпы нам, ударный труд срываешь! — Не пущать, Ломик! Насмерть стоять!

А через день меня на самые верха, к самому главному начальству: «Спасибо, товарищ Дунаева, за ударный труд». Да, сам Косарев руку жмет. Вы, поди, и не слышали про такого? Всем комсомолом командовал, по всей стране. Вот вам и темная Дунька. «Покуда, говорит, с клопами не покончим, не будет тракторов». Верно, оказывается, Дунька-то за чистоту взялась. А то ведь удашрлй труд, ударный труд — люди по неделям в бане не бывали. Некогда. Время жалко... Буржуазная зараза — чистота. Да. А иные сицилизм строить собрались — о горюшко горькое, и бани-то в своей жизни не видали. Не понимали, что и в бане мыться надо. Съехались со всех концов, со всех берлог — как тут не клопы! Одежда общая. Я из коммуны уезжала, а куда приехала? Опять в коммуну. Опять штаны снимай да товарищу отдай. Так ведь тогда жили. Ну дак после этой бани было радости в бараке. Как дети малые, люди-то! Самой-то любо на них посмотреть. Один казах, Ахметкой звали, — и смех и грех. Понравилось в бане мыться — каждый день дай талон. А какие талоны, когда весь завод через баню пропустить заданье дадено? Дак я хитрю опять, на отбой: нельзя, говорю, каждый день в бане мыться. Кожу смоешь, волосы выпадут.

Ладно, Косарев смеется: «Теперь на какой прорыв кинем? На питанье?» А питанье — вредительство одно, суп — вода с сеном. Кабы

не тогдашняя сознательность да люди на пятилетке не были помешаны — близко к столовке не подошел бы. Ладно, говорю, хоть на питание. Всяко, говорю, хуже того, что есть, не будет. А Орджоникидзе — вот каких я людей знавала — как раз о ту пору в кабинет вошел: «У меня, говорит, для товарища Дунаевой поважнее участок имеется». Какой? А буржуев холить да ублажать, грязь из-под их выгребать...

Михаил захохотал:

— Ничего себе участочек, а?

— Да, в доме специалистов чистоту наводить, тряпкой да вехтем орудовать. Специалисты — мериканцы да немцы, трактора учить делать выписаны. За большие деньги. Я на дыбы. Нет, нет, озолотите, не буду! Для того, говорю, буржуев своих свергали да революцию делали, чтобы чужих холить да ублажать? «Надо, говорит. Эти буржуи, говорит, нам сицилизм строить помогают, и вы, говорит, должны за има ухаживать». Пошла. Как не пойдешь, когда партия говорит: надо. Господи, каких-то сто метров прошла — на тот свет попала. Да! Живут чисто, все блестит, ковры везде, а еды-то всякой завались. Я в жизни ничего такого не видала. Мне пихают консервные банки, хлеб белый, зубы скалят; «Раш голод... раш коммуна...» А идите вы к дьяволу! В жизни никогда не кусочничала, а тут буду побираться. А потом, чего, думаю, сдеется, ежели я немного подкормлю своих? У меня ребенок чахнет, сам весь черный как холера. Не больно на столовских-то харчах разбежишься, говорю, суп — сено с водой. Да у него еще красная питимья...

— Питимья? — Михаил не понял.

— Питимья. Как в монастырях раньше было. Добровольное мученье на себя наложил. За то, что прошрафился — руку не ту на собранье поднял...

Калина Иванович, смущенно улыбаясь, пояснил:

— Я уже говорил, по-моему, вышла у меня осечка, проголосовал не за то...

— Поняли, как все просто? Осечка. А у нас из-за этой осечки половину жизни унесло. Ладно, все пережито, все травой заросло, а я, как про тот белый хлеб да про гуляш вспомню, — теперь слезами обольюсь. Я унижалась, от всей души старалась — думаешь, легко мне было с буржуйского-то стола взять? Да ради ребенка да отца чего не сделаешь? Ладно, принесла. Хлеб белый — я такого больше и не



видала никогда, гуляш из мяска самолучшего — ох, вкуснота! А он глазищами уперся в газету, чего жует-ест, все равно. Сицилизм на уме, и мать, и жена, и еда все побоку. Да ты, говорю, посмотри, чего ешь-то. Посмотрел. «А, такая-сякая, меня буржуйской отравой кормить!» Ногами стоптал, тарелка на пол, хлеб на пол. Ребенок в слезы: не смей и ребенок исть!

— Трудно теперь это понять, — сказал Калина Иванович.

— А-а, трудно!.. Ох, да голод-то бы уж ладно, не мы одни тогда голодали; да как супротив дунаевского-то шатанья бороться? Ведь мы только-только начали на заводе устраиваться, комнатушку каку-никаку дали, барахлишком обзаводиться стали, стол завели — нет, не сидится на одном месте. Жизнь ему не в жизнь, коли все ладно да хорошо. «Поедем, Дуня, киргизцам советскую власть ставить». Петр удивленно повел глазами:

— В тридцатые годы советскую власть ставить?

— Ну! На самой на границе. Басмачи лютовали — беда. Все — день, солнышко шпарит-жарит, и без того жизни нету, по целым часам в землянке глиняной спасаешься, да вдруг они. Ох! Как обвал каменный — с горы-то падут. На конях, сабли сверкают. А лютости-то, зверства-то сколько! Своих, черноволосых, и тех не пощадят, а уж нашего-то брата, русского, всех подчистую, да мало того что посекут, поубивают, еще изгиляться всяко, с живого ремни вырежут... Да... «Поедем, Дуня, советскую власть ставить». Не навоевался в гражданскую, опять руки зачесались. Облатко сманил. Такой же шатун был, как мой. Да еще и почище, может. Ох коммунист был! В котловане землекопом работал: ладно, Облат, сколько можешь, столько и ладно, непривычна твоя нация насчет лопаты. Глазищами черными засверкает — сгрызть готов. Не по ему такие слова. Во вторую смену останется, а задание сделает. И все с моим, все возле моего: «Моя русский язык хочет... Моя жизнь новый хочет...» И вдруг однажды видим... Облат расчет берет. Что такое? Куда собрался? Домой. Письмо из дому получил — председателя сельсовета басмачи убили, советскую власть порушили. Мой ночь не спал — забурлила, заходила шатуновская закваска, а наутро: «Поедем, Дуня... младшему брату помогать...»

— Да, я считал, что братская помощь — это первейший долг, — подал голос Калина Иванович.

— Черта ты считал! Бродяга потому что, шатун. Завод пущен, жизнь налаживаться стала, работать надо, жить надо — да разве это по тебе? Я десять ден не просыхала, по железной дороге ехали, а там жара зачалась — и плакать нечем, все слезы выгорели. Да, вот куда он нас завез. На край света, в пески раскаленные. Животину и ту скорезило, вот такие горбыли у верблюда, а человеку как в таком аду жить? Я сперва долго не понимала: чего, думаю, у людей глаза не как у нас — одни щелины? А потом, как в пески-то попала сама, в эти бури-то песчаные, поняла. С чего же тут глаза будут, когда все вприжмур, все сквозь щель смотришь... О, думаю, мы-то и подохнем — ладно, а ребенок-то за что такие муки должен принимать? Беда, беда. Губы запеклись, кора на губах нарстет вот такая, как у сосны, надо бы какое слово Фельке сказать, ребенок малый, а у матери и язык не ворочается. Дак я как немая, только руками к себе прижимаю: с тобой, Фелька, с тобой, не даст мать тебе пропасть. А ночи-то в пустыне ночевать! Облат да отец как на песок пали, так и захрапели, а я всю ноченьку глаза нараспашку. Пауки всяки ползают, змеи. Так и шипят, так и трещит все кругом. А афганец-то, ветер-то тамошний! Раз, кажись, это уж в поселке было, на границе, все крыши подняло. Листы-то железные в воздухе летают, как мухи. А в пустыне-то эти ветра! Так засыплет, так залижет песком-то — назавра едва и откашляешься.

Месяц пять ден мы попадали. На верблюдах, на лошадях, так. Все высохли, все выгорели, как шкилеты стали... Бедный, бедный Облат... Хошь не наша нация, хошь завез нас на край света, а слова худого не скажу. Коммунист! Ох какой коммунист! В песках, бывало, ночь застанет: «Я, моя... моя у себя дома...» Ватник мне сует: сына, сына накрой. Что ты, Облатко, с ума сошел! Ночью в пустыне стужа, зуб на зуб не попадает, ты ведь тоже не железный. Нет, бери ватник. Сам замерзаю, а ребенок чтобы был в тепле. Да-а... Але насчет там еды — последнюю крошку отдаст. «Моя сыта, моя сыта... Моя дома...» Дома... Вылезает на другой день из землянки: Облат — одна голова...

— Чего — одна голова? — переспросил Михаил. Он-то уже знал про страшный конец Облата, а Петр-то первый раз слышит эту историю.

— Убили, звери. Голову человеку отрубили. А мы с дороги спали как убитые, ничего и не знаем. Да. Приехали в темноте, нас в землянку завел: спите, отдыхайте с дороги. Моя дома, моя к своим пойдет... Вот

и к своим. Сколько потом тело искали, не нашли, так одну голову и похоронили. Я обеими руками мужика обхватила: не пущу! Давай обратно, покуда живы! Малому ребенку ясно: предупреждение. Убирайтесь, откуда пришли! А то и вам секир башка. Глазищами заводил: «Не смей, такая-разэдакая, позорить меня! Умру, а отомщу за Облата». И вот где ум у человека? Из конца в конец поселка прошел, в каждую землянку, в каждый дом стучится: выходите! Брат ваш врагом убит. А братья и не думают выходить. Что ты, они так запуганы этими басмачами — на глаза показаться не смеют. Только уж когда пограничники приехали, человек пять вышло... Да, вот в какие мы ужасы заехали. Я, три года жили, ночи ни одной не спала. Все прислушиваюсь, все думаю: вот-вот явятся, шаги учую. И сам не расставался с наганом. Спать ложимся, о чем первая забота? Где наган. Да, сперва оружие, а потом подушка, одеяло. Вот какая у нас жизнь была. А чего наган? На краю поселка жили — долго ли головы снести? Але сколько у меня переживаний было, когда он на стройку свою уйдет? Клуб первым делом решили делать, красный храм воздвигать. Не знаю, не знаю, как живы остались. Три года в обнимку со смертью жили. Абдулла, председатель сельсовета, бывало, смеется: «Шибко, шибко храбрый Калина! От храбрости пули отскакивают». А то опять начнет молоть, когда кумыса своего налакается: «Тебя, Дунька, любим». Да мой-от потаскун едва не продал меня этому Абдулле. Да!

— Моя жена не может без концертов.

— Концерты? — Евдокия вскочила, грохнула по столу. — Это я-то говорю концерты? Я-то — концерты? Две старухи, Абдулловы жены, приходили: пойдём к нам третьей женой, красоваться будешь. А сам-то Абдулла как кумыса накачается да котел плова ввалит в себя — барана целого с рисом — и почнет языком прищелкивать: «Ай Дунька! Карош Дунька! Пойдем ко мне в жены». У них ведь запросто: одна жена але десять, лишь бы ты прокормил. А мой — ладно. Моему так и надо: Абдулла девку свою взамен дает...

— Абдулла Казыбеков действительно иногда любил подзадорить жену. Мол, ты за меня пойдешь замуж, а я за твоего мужа дочь отдам. Веселый был человек.

— Очень веселый. И девка у него веселая. Четырнадцать-то лет, не знаю, было, нет, а такая шельма — так и стрижет глазищами, так и стрижет. А мой и рад: всю жизнь штанами тряс, ни одной юбки не

пропустил, а тут молодая гадюка из чужих наций — интересно... Ох, чего было, что пережито, теперь и не вспомнишь. Про одну дорогу, как обратно в Россию попадали, день рассказывать надо. А на Магнитке-то как жили? Его ведь от киргизцев-то куда понесло? На Урал. На Магнитку. «Там самый ударный труд теперь, Дуня». А на Магнитке два года прожили, начали только корешки выпускать — опять в поход. Опять поедет, Дуня. На север, в Карелию. В какой-то газете вычитал — вишь, ничего нет сейчас важнее удобрений, иначе не исть нам досыта хлеба. Ну тут уж я гириями на плечах не висела: в Карелию так в Карелию, все ближе к дому. Страсть как надоело на чужой стороне. К Вологде-то стали подъезжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши, северные дома-то. Люди-то наши, говоря-то наша. И ехать бы, ехать бы нам напрямки, без всякой остановки, сгинуть бы, захорониться до поры до времени в этой самой Карелии — мало там лесов, гор, так нет, сам, своей охотой полез в капкан...

Михаил знал, о чем сейчас заговорит Евдокия, — о том, как Калина Иванович, узнав в Вологде об аресте своих боевых товарищей, кинулся на их выручку в Архангельск. И все равно к горлу подкатило — дышать нечем.

— Да, смерть по земле ходит, все затаились, запрятались по норам, по щелям — пронеси, господи, мимо меня. А у нас сам на рожон полез: неправильно арестовали. А-а, неправильно? Ну так получай свое, поучись уму-разуму.

Евдокия заплакала.

Михаил ждал: вот-вот заговорит Калина Иванович. Старик никогда не оставлял без своих объяснений такие речи жены. Но Калина Иванович молчал.

Красный вечерний свет заливал тесную горенку. Красным огнем пылала белая подушка, на которой лежала старая голова с закрытыми глазами, а слова не было. И Михаил впервые вдруг тоскливо подумал: недолго заживется на этом свете Калина Иванович.

Они вышли на улицу вдвоем.

— Ну, слышал про житье Евдокии-великомученицы?.. — с деланной улыбкой заговорил Михаил. — Вот сколько она на своем веку хлебнула! Дак ведь это ковш из бочки — то, что она рассказала. Я иной раз скажу: с умом надо было замуж выходить, Дусенька! Вышла бы, к примеру, за такого навозного жука, как я, всю жизнь бы красовалась да во спокойе жила. Дак знаешь она что? Как почнет-почнет чесать меня — на себя смотреть тошно. Такой букашкой вдруг сам себе покажешься. А чего? Что бы она без Калины-то Ивановича? Да ей с Калиной-то Ивановичем свет открылся, на какие моря-ветры вынесло...

Михаил ждал: вот-вот заговорит Петр, прояснит, найдет нужные слова тому большому и важному, что смутно и неопределенно бродило, ворочалось в нем в эту минуту, — ученый же человек! Но Петр молчал, и он вдруг заорал как под ножом:

— А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? Ждешь, когда Паха за него примется? Ну да... Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой дом. А между прочим, Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили...

Он махнул рукой — бесполезно сейчас с Петром говорить о ставровском доме. Не домом у него голова занята. Да он ведь и сам в эту минуту меньше всего думал о ставровском доме.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Первые позывные с зареченских болот донеслись 12 августа, ровно через месяц после того, как они с Григорием приехали в Пекашино, а еще через неделю утром, когда Петр поднялся с топором на дом, он увидел и самих журавлей — семейную пару с двумя сеголетышами...

У журавлей шло ученье. Неторопливо, деловито ходили над Пинегой, над выкошенными лугами — вразброс, клином, цепочкой, и Петр, глядя на них из-под ладони, позавидовал им. Все у них просто и ясно, у этих журавлей. Обучили молодежь, обговорили, обсудили на

своих общих собраниях, когда и как лететь, — и в путь. А ему что делать? Ему как быть?..

Отпуск на исходе, две недели осталось, а старый дом в развале, под крышу еще не подведен; со ставровским домом все та же неразбериха, заколодило — ни взад, ни вперед, страшно подумать, что тут будет с сестрой без него; Михаил осатанел — слова доброго не услышишь, все в крик, все в рев, а хуже всего — с Григорием...

Все давным-давно было решено, обговорено на семейном совете: Григорий останется с Лизой. Потому что какое житье больному человеку в городе? Целыми днями один взаперти, в клетушке каменной — да от такой жизни здоровый взвоят, а тут сестра, брат, близнята, родная деревня... Одним словом, жизнь. И надо сказать, сам Григорий больше всех радовался такому повороту дела. Но радовался только на первых порах. А потом, как заговорили в доме об его, Петра, отъезде, и заканючил, заскулил: не могу без брата Пети. С ним хочу, с Петей, иначе с тоски помру...

Конечно, ничего такого на самом-то деле Григорий не говорил, да разве это лучше — таять и сохнуть на глазах? И потом, что это еще за мода такая глаз с брата не спускать? За столом глянешь — на тебя смотрит, на дому работаешь — смотрит, и сейчас, если глянуть на землю — Петр был уверен в этом, — не на журавлей в небе смотрит Григорий, не на двойнят, которые копошатся возле него, а на него, на Петра...

Он взялся за топор. Красиво, вольготно летают журавли, глаз бы от них не отвел, но кто будет за него махать топором? Вряд ли ему за оставшееся время удастся привести в полный порядок старый дом, но крышу поставить он обязан.

О приходе Лизы с телятника Петр догадался еще до того, как глянул на землю: весь день не слышно было близнят в заулке, а тут всполошились вдруг, как утята на озере.

Первым делом, конечно, Лиза взяла на руки их, своих ревунов, иначе житья никому не будет, перекинулась словечком с Григорием — тот так весь и просиял — и только потом закивала Петру:

— Ну как поробилось сегодня?

— Да ничего!

Петр быстро слез с дома. Он любил эти первые минуты встречи с сестрой по вечерам, любил ее не очень веселое, но улыбающееся лицо, ибо с некоторых пор Лиза — и об этом она просказалась как-то сама — положила себе за правило: без улыбки домой не приходиться.

Но сегодня, похоже, она и в самом деле чем-то была неподдельно обрадована. Во всяком случае, Петр давно не видел, чтобы у нее так ярко, так зелено блестели глаза.

Все разъяснилось, когда сели за стол.

— А я знаете что надумала своей глупой-то головой? — заговорила Лиза и вдруг зажмурилась: самой страшно стало.

— Ну! — подстегнул Петр.

— А уж не знаю, как и сказать, ребята. К Пахе на поклон идти надумала. Чего ему дом-то разорять? Пущай берет боковуху, раз у его тот деньги забрал. — «Тот» — это Егорша, иначе его Лиза не называла.

— А ты?

— А чего я? Без крыши над головой не останусь. — Лиза кивнула на старый дом. — Вон ведь ты какой дворец отгрохал. Да его не то что на мой век хватит — ребятам моим останется. А покамест я и у Семеновны в доме поживу — все равно пустой стоит.

Григорий согласно закивал — для этого все хорошо, что бы ни сказала и ни сделала Лиза.

— Я уж и так и эдак, ребята, прикидывала, ночи ни одной не сыпала — все об этом доме думушка, ну все худо, все не так. Господи, да помру я, что ли, без дома! Мне само главное — чтобы дом целехонек был, чтобы память о тате на земле стояла. Верно, Петя, я говорю?

Вот теперь Петр понял все. Понял — и такое вдруг ожесточение охватило его, что он взмок с головы до ног. Ну почему, почему она всегда уступает, жертвует собой? Отдать свой дом каким-то подлецам просто так, за здорово живешь... Да что же это такое? А с другой стороны, он и понимал свою сестру. Можно отсудить дом. Все можно сделать, на все есть законы — и Нюрку Яковлеву с Борькой из дома выгнать и Егоршу обуздать. Да только она-то, сестра, живет по другим законам — по законам своей совести...

— Ну, достанется же нам опять от Михаила! — сказал Петр.

— А я уж подумала об этом, Петя. Ну только что мне с собой поделаться? Не могу же я с тем судиться?

— Ну правильно, правильно! — живо поддержал сестру Петр. Ибо как бы там ни бесился Михаил, а самочувствие сестры ему было дороже всякого дома.

Сколько дней она не хаживала по деревне, сколько дней бегала задворками, не смея взглянуть людям в глаза? Полторы недели? Две? А ей казалось, целая вечность прошла с того часа, как она, наскоро поскидав на Родькину машину самые нужные вещишки и одежонку, выехала из ставровского дома. Зато теперь, когда она знала, что ей делать, она больше не таилась. Среди бела дня шла по Пекашину.

Жарко и знойно было по-прежнему. Кострищами полыхали окна на солнце, душно пахло раскаленной краской. Все под краску теперь берут: обшивку дома, крыльцо, веранду, оградку палисадника, культурно, говорят, жить надо, по-городскому. А она кистью не притронулась к ставровскому дому. Все оставила, как было при Степане Андреяновиче и снаружи и внутри. Чтобы не только вид — запах у дома оставался прежний. И тут ее прошибло слезой — до того она истосковалась по дому, по своей избе, по всему тому, что свыше двадцати лет служило ей верой и правдой.

Она выбежала на угорышек у нового клуба, привстала на носки — и вот он, дом-богатырь: за версту видно деревянного коня.

И она с жадностью смотрела на этого чудо-коня, летящего в синем небе, ласкала глазами крутую серебряную крышу, зеленую макушку старой лиственницы и шептала:

— Приду, сегодня же приду к вам. Вот только схожу к Пахе и приду...

Паха Баландин со своей семьей чаевничал. Семья у него немалая. Пять сыновей при себе да два сына в армии. Самому малому, сидевшему на коленях у отца, не было, наверно, еще и года, а у Катерины, как отметила сейчас про себя Лиза, уже опять накат под грудями.



— Садись с нами чай пить, — по деревенскому обычаю пригласила хозяйка гостью к столу.

— Нет, нет, Катерина Федосеевна. Мне бы Павла Матвеевича. С Павлом Матвеевичем хочу пошептаться.

— Пошептаться? — Паха широко оскалил крепкие зубы с красными мясистыми деснами. — А Павел-то Матвеевич захочет с тобой шептаться?

— А не захочет шептаться, можно и собрание открыть. У меня от жены секретов нету. — И тут Лиза выхватила из-под кофты бутылку белой — нарочно прихватила в сельпо, чтобы Паха податливее был, — поставила на стол.

Паха завывобенивался: один не пью, и Лиза — дьявол с тобой! — осушила целую стопку.

Осушила и больше хитрить не стала — пошла напролом:

— Сколько ты, Павел Матвеевич, за верхнюю-то избу тому выложил?

— Кому тому? Суханову? А тебе какое дело?

— Дело, раз спрашиваю. Хочу деньги тебе вернуть. — Лиза и на это решилась. Есть у нее на книжке пятьсот рублей, за корову когда-то выручила неужели ради дома пожалеет?

Паха захохотал:

— Не ерунди ерундистику-то! Ротшильд я, что ли, деньгами-то играть?

— Ладно, — сказала Лиза, не очень рассчитывавшая на такой исход, — раз совести нету, бери боковуху.

— Боковуху? Это твое-то гнилье? Ха-ха! А ты, значит, барыней в перед? Ловко!

— Да ведь дом-то мой! Я и так себя пополам режу. А ты сидишь расхохотываешь...

Глазом не моргнул Паха. Хлопнул еще полнехонький стакан ейного вина, обвел хмельным взглядом притихших за столом ребят:

— Глухая баба! У меня на плане-то знаешь что? Проспект Баландиных. Каждому сыну дом поставить. Да! В деревне хочу деревню сделать. Чтобы Баландины — на веки вечные! Понятно тебе, нет, для чего живу?

Захлюпала, заширкала носом Катерина. Возражать мужу не осмелилась, но и разбойничать с ним заодно не хотела. А вслед за

матерью заплакали и ребята.

Она не пошла к ставровскому дому. Сил не было глянуть в глаза окошкам, встретиться взглядом с крыльцом, с конем, которых она предала. Но и домой к своим братьям и детям ей тоже сейчас ходу не было. Не совладает с собой, разревется — что будет с Григорием?

Спустилась под угор, побрела к реке. Старая Семеновна все, бывало, в молодости ходила на реку смывать тоску-печаль (непутевый мужичонко достался) — может, и ей попробовать? Может, и ей полегче станет?

Вслед ей с горы тоскливо, с укором смотрел деревянный конь — она спиной чувствовала его взгляд, — старая лиственница причитала и охала по-бабьи, баня и амбар протягивали к ней свои старые руки... Все, все осуждали ее. И она тоже осуждала себя. Осуждала за горячность, за взбрык, за то, что так безрассудно бросила дом: ведь потерпи она какую-то неделю да прояви твердость — может, и опомнилась бы Нюрка, сама забила отбой.

Вертлявая, натопанная еще Степаном Андреяновичем и Макаровой дорожка вывела ее к прибрежному ивняку. На время перестало палить солнце — как лес разросся ивняк, — а потом она вышла на увал, и опять жара, опять зной.

И она стояла на этом открытом увале, смотрела на реку и глазам своим не верила: где река? где Пинега?

Засыпало, завалило песком-желтяком, воды — блескучая полоска под тем берегом...

Долго добиралась Лиза до воды, долго месила ногами раскаленные россыпи песков, а когда добралась, пришлось руками разгребать зеленую тину, чтобы сполоснуть зажарелое лицо.

Она села на серый раскаленный камень и заплакала.

Каждую весну, каждое лето миллионы бревен сбрасывают в реку. Тащи, волоки, такая-разэдакая, к устью, к запани, к буксирам. А силы? Какие у реки силы? Откуда, от кого подмога? От малых речек, от ручьев? Да они сами давно пересохли — все леса на берегах вырублены. Вот и мытарят, вот и мучат все лето бедную. Пехом

пропихивают каждое бревно, волоком, лошадьми, тракторами. Боны-отводы в пологих берегах и на перекатах ставят, а там, где боны, там и юрово, там и крутоверть песчаная...

Ни одна рыбешка не выиграла в реке. И Лиза подумала: да есть ли в ней она вообще? Может, вымерла, передохла вся?

Вдруг гром, грохот расколол сонную речную тишь, каменным обвалом обрушился на нее: офимья, или амфибия по-ученому, почтовый катер-вездеход, похожий на ярко раскрашенную лягушку. Вынырнул из-за мыса, миг взбуровил, взбунтовал воду у ног Лизы — возле самого берега, чуть ли не по суше проскакал. Высунувшийся из окошка молодой паренек со светлыми, распластанными по ветру волосами помахал ей рукой, оскалил зубы в улыбке: рад, доволен дурачок. А чему радоваться-то? Из-за чего скалить зубы? Из-за того, что реку замучили, загубили?

Ей было чем вспомнить Пинегу. Она-то на своем веку испила из нее радости, попользовалась от ее щедрот и милостей, в самые тяжкие дни шла к ней на выручку.

Бывало, в войну ребята приступом приступят: дай исть, дай исть! — хоть с ума сходи. А пойдете-ко на реку! Мы ведь сегодня еще у реки не были...

И вот забывался на какое-то время голод, снова зверята становились детьми. А потом, когда подросли немного близнята, Петька и Гришка, Пинега стала для них второй Звездоней: с весны до поздней осени кормила рыбешкой, Да еще и на зиму иной раз сушья оставалось.

Мать, мать родная была для них Пинега, думала Лиза, а кем-то она станет для ее детей, для Михаила и Надежды?

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1

Черно-пестрая Звездоня, весело блестя на утреннем солнце крутыми гладкими боками, выкатила из красных ворот, встала посреди дороги и давай трубить в свою трубу.

— Иди, иди, глупая! Кто тебе откликнется? Во всем околотке ты, да я, да мы с тобой...

И вот так одна-одинешенька и поплелась в поскотину.

Прошла одно печище, говоря по-старому, прошла другое и только у Мининых обзавелась товаркой — комолой малорослой Малешей. Потом через несколько домов выпустили еще одну коровенку от Васьки-лесника — Красулю, или Полубарыню, как ее больше зовут в Пекашине, по прозвищу хозяина, потом братья Яковлевы, рабочие с подсочки, сразу две головы подкинули, потом была Пловчиха Лобановых (в Водянах куплена, где все коровы плавают, как утки), а всего к концу деревни собралось четырнадцать буренок. Четырнадцать буренок на деревню в двести пятьдесят дворов! А ведь еще каких-нибудь лет десять назад в сто с лишним голов стадо было. По деревне идет-топают — праздник, стекла в окнах дрожат. А рыку-то сколько, музыки-то коровьей!

Михаил не стал спускаться к Синелые. Пристроился к обвалившейся изгороди у спуска с пекашинской горы, неподалеку от заколоченного дома Варвары, и долго провожал глазами красное облако пыли, в котором взблескивали то рога, то копыта. Снова отчетливо разглядел свою корову, когда стадо перевалило через Синельгу.

В память той незабвенной кормилицы, которая выручала пряслинскую семью всю войну, Михаил всех своих коров называл Звездонями, хотя ни одна из них не походила характером на ту военную Звездоню. Та, бывало, проводи ее хозяин до поскотины, глотку бы надорвала от своей коровьей благодарности, а эта не то что мыкнуть — головы не соизволила повернуть на прощанье.

Да, подумал он с ухмылкой, в войну и коровы-то сознательнее были...

Все-таки убей его бог, если он что-нибудь понимал в этой коровьей политике. Всю жизнь, сколько он себя помнит, войной шли на корову колхозника. Налогами душили — отдай задарма триста пятьдесят литров молока, — покосов не давали, контрабандой по ночам траву таскали. Частная собственность! Зараза и отравы...

Нет, извините, только дураки с портфелями так думают. А партия прямо сказала: не помешает лишняя корова, лишняя овца. Заводи. И насчет кормов никаких препятствий нету.

И тут Михаил по привычке мысленно заспорил уже с местными умниками. Прошлой осенью, когда Виктор Нетесов повез свою коровенку в район в госзакуп, он, Михаил, и спроси:

— А как же ты, Витя, без молока-то будешь? У тебя ведь как-никак двое под стол ходят.

— Это с чего же я без молока буду? — кивнул на совхозный коровник. — А там рогатки для чего?

— Да ведь те рогатки, парень, испокон веку на государство работают.

— Ничего, ежели надо, чтобы я на земле работал, будут и на меня работать.

И верно, разрешили теперь продажу молока для совхозников. По утрам вся деревня со светлыми ведерками к сельпо стекается. И час и два стоят, до тех пор, пока молоко не привезут. А молока нету — и на работу не спешат. Вот какие времена настали в Пекашине.

А может, так и надо, подумал Михаил. Конечно, покупное молоко против своего вода, да ведь корова — это каторга. Все лето только и забот, только и хлопот что о сене. Такие старорежимные ослы, как он, тянут еще по привычке этот воз, а разве нынешняя молодежь, все эти механизаторы будут с коровой возиться? Тот же Виктор Нетесов как живет? По-городскому. Сколько положено часов по закону, отработает на совхозной работе, а дальше извините — знать ничего не хочу.

Торопиться домой было не к чему: не все ли равно, где и как время убивать? Да и Раиса еще на работу не ушла. А раз не ушла — опять руготня. Это уж обязательно. Давно прошли те золотые денечки, когда Раиса и на работу провожала его в обнимку и с работы встречала в обнимку.

Михаил порысил в кузницу: еще в мае заказаны Зотьке скобы для дровяника (верхняя обвязка у столбов сдала) — сколько будет копать?

Старой кузницы, кривобокого, наполовину вросшего в землю сарайшка с черными обгорелыми стенами, в котором они когда-то с покойным Николашей из разного хлама собирали сенокосилку, давно

уже нет. Вместо нее — дворец. Толстые кирпичные опоры по углам, электричество — не надо надрываться, вручную мехи качать, только кнопку нажимай, уголь каменный вместо древесного... Все новое.

Но и порядки тоже новые. Бывало, в старенькой колхозной кузне самый-пресамый азарт в это время. Кузнец за ночь силенок поднакопил — просто пляшет вокруг наковальни. А нынче вокруг чего пляшет Зоть-ка? Вокруг бутылки. Очередную совхозную годовщину справляет.

Три года назад не подумали хорошенько, объявили совхозы в самое страдное время — думали, трудовой подъем будет, кормов с радости нароют горы. А люди с радости за бутылку. Неделю обмывали, как выразился Петр Житов, «переход на высший этап» да неделю свою домашнюю канцелярию в порядок приводили. Потому что совхоз — это не только денежка в лапу, но и пенсия. А пенсия — это справки, куча бумаг и бумажек, где и когда работал. В общем, в ближайшую весну пятнадцати коров из-за бескормья недосчитались — вот во что обошелся «переход на высший этап» для Пекашина.

Михаил пошел на развод. Каждое утро, как вернулся из больницы, беспокойно себя спрашивал: чего же ему не хватает? Почему все кажется, что что-то забыл, не сделал самого главного? И вот сейчас вдруг понял: развода не хватает. Людей.

Быстро привились у них эти разводы, эти ежедневные сходки перед работой. Пока то да се, пока сборы да разборы, пока каждому наряд дадут, всего наслушаешься, все самые последние пекашинские новости узнаешь.

Михаил попервости начертил напрямик: метров сто от кузницы до зернотока, где летом бывают разводы, — но пришлось сразу же выбираться на дорогу. Легче зимой по целине, по снегу протопать, чем сейчас по песку, размолотому машинами: пыли — как на Луне. Даже постройки обросли пылью, как мохом.

Страсть сколько наворочено этих построек в Пекашине за последние годы. Бывало, на задворках напротив маслозавода что было? Коровник возле болота, конюшня, бывшее гумно, сколь-то банек по-черному, а остальное — песчаный пустырь, пекашинская Сахара, как говорит Петр Житов. Место, где зимой объезжают молодых лошадей.

Теперь на пустыре с лошадами не порезвишься. Пилорама, мельница, электростанция, всякие мастерские, гаражи, зерносушилка, склады — не пересчитать всего, что понастроено. И это, конечно, хорошо — какой дом без хозяйственных построек! Да только вот чего Михаил никак не может взять в толк: совхоз-то убыточный! В прошлом году государственная дотация составила двести пятьдесят тысяч. Два с половиной миллиона по-старому.

Таборскому весело:

— Не переживай! Слышал насчет плано-убыточных предприятий? Ну дак мы в этот разряд зачислены. А чего ты хочешь? Первые шаги совхоз делает. Так что по закону, не контрабандой живем.

Ладно, по закону, не контрабандой. Но ведь не можем же мы все время на иждивении у государства быть!

### 3

Не густо было под навесом у зернотока: два старика пенсионера да три пенсионерки. Эти по колхозной привычке приперлись ни свет ни заря — с малых лет в башку вбито: страдный день зиму кормит.

Илья Нетесов, как всегда, пришел во всеоружии — топор, вилы, грабли: на любую работу посылай. И допотопная Парасковья-пятница с граблишками. Только зря они, и Илья и Парасковья, наминают старые ноги. Нет для них теперь работы. На дальние покосы ехать сами по себе, то есть единоличниками, как это сейчас принято, не могут, а в мехзвено, где трактора да всякие машины, кто их возьмет? Только в те дни, когда получка в совхозе, да загул, да сено под горой гниет, — только в те дни выпадает им праздник. Тогда — давай, ветераны, тряхнем стариной!

Михаил с ходу махнул всем пятерым здоровой рукой, сел на свое кресло увесистую листовничную чурку. Много этих кресел под навесом, и все разные: у кого ведро старое, у кого ящик, прихваченный от сельпо, у кого бочка из-под бензина, а у кого и просто бревешко или жердинка — кто как постарался. Был даже один камешек эдак пудиков на двадцать — Коля-фунтик на тракторе от реки привез. Для форсу, понятно.

— Что-то не очень торопится его величество, — усмехнулся Михаил, закуривая.

Илья Нетесов и Парасковья ухом не повели: не чувствуют, хоть из пушки пали. А Василий Лукьянович, тот только сплюнул: двадцать лет человек прожил в городе, а все равно не привык к городским порядкам.

Зато вчерашние колхознички ох как быстро усвоили эти порядки! Каждый год перед страдой объявляют приказ под расписку: в семь часов выходить на работу. Прочитают, распишутся, а придут в восемь.

Первым появился Виктор Нетесов, и это означало: восемь. Из минуты в минуту — можешь на часы не глядеть. Весь какой-то не по жаре свежий, чисто выбритый, подтянутый. Под навес не зашел, а молча кивнул всем сразу и к своей машине: с вечера еще договорился с бригадиром, что делать.

Да, этот не работяга, а рабочий, подумал Михаил и сразу оживился, заслышав железный перезвон щеколд и кованых колец в воротах и дверях ближайших домов.

Это всегда так. Словно выжидают, словно высматривают пекашинцы из своих окон, когда пройдет мимо зернотока Виктор Нетесов, и только тогда вслед за ним повалят сами. Дорог не признают, от каждого дома тропа натоптана. И вот запылили, задымили в десять — пятнадцать троп сразу — самый большой околоток теперь вокруг бывшего пустыря. Потом вскоре затрещали мотоциклы — это уже молодежь. За шик считается прикатить на работу на железном конике. А потом уже цирковой номер — Петр Житов на своей «инвалидке» пожаловал. Да не один, а с Зотькой-кузнецом: не иначе как в надежде раздобыть пятак на опохмелку.

Шумно, говорливо стало под навесом. В одном углу схватились из-за расценок, в другом спор насчет космоса, а большинство перемалывало вчерашний день — совхозную годовщину.

Митя-зятёк, из приезжих, прозванный так за то, что сам по виду воробей, а бабу отхватил пудов на шесть (для того чтобы поправить свою породу, как он выразился однажды сам), — Митя-зятёк рассыпался подзвонком:

— А у меня, мужики, супружница попервости ни в какую: сперва службу сослужи, а потом «бомбу».



— Ну и сослужил, Митя? — скорчил сухую рожу Венька Иняхин. Этот любой разговор на жеребятину переводил.

— Сослужил, — простодушно ответил Митя. — Сбежал на реку. Три окушка ничего, годявых принес.

Митя не врал. Ни для кого сейчас нет рыбы в Пинеге из-за этой жары, а Митя окуней берет голыми руками — Михаил сам видел. Забредет это на луду, на камешник, туда, где окунь держится, руки до плеча в воду и шась-шась вверх по течению, а потом раз — как капкан сработали руки, и вот уже красноперая рыбина в воздухе.

— Ну а после-то «бомбы» что было, Митя? — не унимался Венька. — Сенцо але кроватка?

Белобрысенькая Зоя-зоотехник — за спиной у Михаила стояла — тихонько отступила в сторону: поняла, какая сейчас служба пойдет.

Но тут ударила в свои струны Суса-балалайка. Михаил давно уже заметил: строгость на себя напускает (и лоб свой прыщеватый хмурит и губами перебирает) — верный признак того, что на речу себя настраивает, и вот взыграла:

— У нас, товарищи рабочие, худо выполняется важнейшее постановление... в части увеличения скота в личном пользовании.

— Это чего, Сусанна Федоровна? — удивленно раскрыл рот Филя-петух. Опять, значит, чтобы коров у себя заводили?

— Совершенно верно, товарищ Постников. Подсобное хозяйство колхозника и рабочего — это важный резерв увеличения сельскохозяйственной продукции в стране...

— Интересно, интересно! — сказал Михаил.

— Тебя это, Пряслин, не касается. Ты это постановление хорошо выполняешь.

— Нет, касается! — Михаила — в жару, в засуху — так всего и затрясло. А пять лет назад что ты брэнчала? Корова картину нам портит... Грязь да вонь от коровы... Культурно жить не дает...

Суса будто не слышала. Отыскала глазами Зою-зоотехника — и к ней как секретарю комсомольской организации:

— Ты, товарищ Малкина, думаешь, нет чего? У нас двадцать восемь комсомольцев налицо, большая сила, а где ваша авангардная роль в данном вопросе?

— У них авангардная роль еще полностью по части сенотерапии не выполнена.

Смех, хохот сразу в сорок глоток. Даже Петр Житов, только что вывернувшийся из-за угла с двумя холостягами в обнимку — кумачово-красный, с пронзительно-светлыми глазами (не иначе как только что отбомбились), — даже Петр Житов заржал. Потому что Таборский — это он, конечно, ввернул — попал в точку: непонятная какая-то привычка появилась у нынешней молодежи — как вечер, так и под угор на луг сено нюхать, хотя при нынешней жаре близко к этому селу подойти нельзя: как от печи, от зародов зноем несет.

Суса не дрогнула, а и управляющему мозги вправила:

— Тебе бы, товарищ Таборский, тоже не мешало сделать серьезные выводы. У кого до четырнадцати голов поголовье крупного рогатого скота в личном секторе доведено...

Тут уж Михаил прямо заорал:

— Оба вы хорошо поработали! А ты дак, Обросова, на каждом собрание: кончать надоть с частным сектором. С частным! А не с личным. Это ты сегодня с личным-то запела, потому что пластинку переменяли, другой настрой балалайке твоей дали...

— Попрошу без оскорблений, Пряслин! — предупредил Таборский.

Кто-то было хохотнул — ловко, дескать, мазанули по Сусе, поубавили спеси, — но Михаилу было не до похвал. Вся жизнь, все муки и беды, весь бедолом, связанный с коровой, поднялся изнутри, и он отвел душу, все высказал, что думает про Сусанну и Таборского. И тут, конечно, заработала машина Таборского: один, другой кусанул Михаила, третий. Дескать, что ты навалился на Обросову? Разве не знаешь, что она не свою бочку катит, а указания выполняет?

— Надо бы немножко-то учитывать, поскольку она линию проводит. — Это Максим Заварзин пробормотал. Один из немногих в деревне, с кем Михаил до сих пор ладил.

— А ты не вертись, как навоз в проруби! — всыпал и ему Михаил. Сегодня одно, завтра другое... Так и будет всю жизнь?

Таборский вмиг перестал улыбаться: политика! И уже не сказал, а врубил:

— Совхозное дело у нас, Пряслин, молодое, и подрывать его тебе никто не позволит.

— Я подрываю? Я? Ну это мы еще поглядим...

— А я прямо тебе скажу, Пряслин, — Суса тоже в наступление пошла: Служила партии и буду служить!

— А я кому служу? Не партии? Только вы мне голову не задуривайте: совхозное дело новое... Вишь как у вас все просто...

Таборский не дал договорить Михаилу. Зычно, по-командирски рванул:

— По коням, мальчики! Живо! А ты, Пряслин, до полного выздоровления запрещаю являться на развод. Понял? Страда у нас, а не говорильня. Рабочий график срываешь.

Да, вот такой поворот дал всему делу Таборский: ты, мол, Пряслин, во всем виноват, ты, мол, нам палки в колеса суешь! И пока Михаил собирался с мыслями, люди уже встали.

Потом вскоре заревели, зарычали моторы, и он с завистью начал смотреть на людей, бойко рассаживающихся по машинам.

#### 4

На медпункте, как всегда, в утренний час очередь. Жуть как пекутся о своем здоровье нынешние пенсионерки! Не ветошь, конечно, не двадцатирублевки — тем дай бог концы с концами свести. Нет, за здоровьем следят молодки. В пятьдесят лет нынче выходят бабы на пенсию в ихнем районе. В пятьдесят! Иные просто кровь с молоком, хоть замуж выдавай. Да и был в прошлом году в Водянах такой случай. Привезла девка из города жениха своей маме показать. Встретились, угостились, ночь переспали, а наутро жених ультиматум: на матери согласен жениться, а дочь с глаз долой — смотреть не хочу!

Михаил, как рабочий, сидел недолго — до выхода первой старухи.

— Какова ноне? С настроеньем, нет?

Симу-фельдшерицу в деревне побаивались все: хамло баба! До рук дело, пожалуй, не доходило, а запустить матом в больного, а тем более в пенсионеров, которых она терпеть не могла, — запросто.

— А вроде нету большого-то настроенья.

— С чего у ей настроенье-то будет? Полон хлев коз, а сено еще не ставлено. Поминала в прошлый раз.

С Михаилом Сима тоже не церемонилась. Начала с больной руки бинт сдирать — как мясник с быка кожу. Не глядя.

— Потихе маленько...

— Чего потихе-то? Сколько еще будешь в куколку играть? — А потом увидела разбинтованную руку и глаза на взвод: — Ты чего это? Вредительством занимаешься?

— Каким вредительством? Рехнулась!

— Не вижу разве? Ты опять робил!

Михаил не то чтобы для оправдания — просто так, по-человечески хотел объяснить: нет, мол, на свете страшнее муки, чем не работать, это сплошной ужас, а не жизнь, когда целый день ничего не делаешь, ну и начал он в последние дни больную руку на работу настраивать. А как же иначе? Надо же как-то вводить себя в прежние берега. Но Сима — глаза мутные, с красниной, в углах губ белая накипь — уже завелась не на шутку:

— Ты думаешь, у нас тут шатай-валяй, шарашкина контора? А у нас тоже план и показатели...

— А ты в нужник каждый день ходишь?

— Чего?

— Я говорю, в нужник ты каждый день ходишь? А еще спрашиваешь, почему человек без работы жить не может... Доктор называется.

— Ну вот что, Пряслин! Я на тебя докладную куда надоть напишу. Ты мне ответишь, как оскорблять при исполнении служебных обязанностей! И биллютень как знаешь... Поезжай в район, раз не желаешь лечиться. А я тебе не частная лавочка, у государства на службе...

Михаил все-таки сумел заткнуть пасть Симе:

— Ты мужику своему много даешь сидеть без дела?

— Чего? Како тебе дело до моего мужика?

— Ванька, говорю, много сидит у тебя без дела? Не калишь ты его с утра до вечера?

И вот Сима мало-помалу стала принимать человеческий вид. Понравилось, что сказал насчет Ваньки. Хотя на самом-то деле всем известно, как Ванька ее утюжит. Оттого, может, и на больных кидается.

— А моя холера, думаешь, не из того же теста, что ты? — Михаил и себя не пощадил. — Все вы одинаковы стервы. Как начнет-начнет

калить — рад к черту на рога броситься, а не то что про больную руку помнить.

— Ври-ко давай, — сказала Сима, но больше уже насчет вредительства не разорялась.

5

Корову в поскотину проводил, на разводе побывал, с Сусой-балалайкой заново расплевался, с Симой-фельдшерницей, можно сказать, тоже бабки подбил не в свою пользу, потому что хитрая же bestия — сообразит, как над ней издевались...

Еще чего? Чай утренний? Был! С женой прения утренние? Были. Из-за Ларисы копать подняли. Отец, видите ли, ребенка тиранит, воду от колодца заставляет таскать, чтобы хоть слегка картошку под окошками побрызгать, а ребенок только по ночам в клубе ногами молотить может...

Да, все переделано, план по ругани за день выполнен, а время еще подходило только к одиннадцати...

Михаил недобрыми глазами поглядел из-под навеса с высокого крыльца медпункта на сельпо — пожар от солнца в окошках — и начал спускаться в дневное пекло.

Чья-то собачонка, вроде Фили-петуха, попалась под ногу у нижней ступеньки крыльца — все живое теперь лезет в тень — пнул. Не загораживай дорогу, сволочь! Развелось вас теперь — проходу нет. Собачник из деревни сделали.

Не хотел он сегодня с «бомбой» разбираться, Раиса и так всю плешь проела, но надо же как-то себя в норму привести! Разве он думал, что с утра с лайкой-балалайкой схватится да этого хряка Таборского за хрип возьмет? А потом, как не заглянуть в это время в сельпо? Клуб. Вся пекашинская пенсионерия в сборе. Все — худо-бедно — развлечение.

Спокойным, размеренным шагом, старательно, прямо-таки напоказ держа больную руку в повязке — Сима наверняка из своего окошка за ним зырит, Михаил поднялся на крыльцо, открыл дверь и — что такое? Где люди?

Светлых алюминиевых ведерок да разноцветной пластмассовой посуды полно, весь пол по левую сторону от печки до печки заставлен, а людей — одна Зина-продащица в белом халате за прилавком.

— Что это у тебя ноне за новый сервис?

Зина — невелика грамота, пять классов — не поняла, да, признаться, он и сам до поездки в Москву не очень в ладах был с этим словом.

— На новое обслуживание, говорю, перешла? — Михаил кивнул на посуду. Без клиентов?

— Не, — замахала руками Зина. — Какое, к черту, обслуживание. Это все улетели — посудный день сегодня.

— Посудный, — повторил Михаил и больше ни о чем не спрашивал. Разворот на сто восемьдесят — и дай бог ноги.

Посудный день, то есть прием посуды из-под вина, бывает раза два в году, и тут уж не зевай — пошевеливайся: в любую минуту могут отбой дать. Не хотят продавцы возиться с посудой.хлопотно, заделисто, а для выполнения плана — гроши.

Деревня взбурлила на глазах. Бабы, старухи, отпускники, студенты, школьники — все впряглись в работу. Кто пер, тащил, обливаясь потом, кузов или короб литого стекла на себе, кто приспособил водовозную тележку, детскую коляску, мотоцикл. А Венька Иняхин да Пашка Клопов на это дело кинули свою технику — колесный трактор «Беларусь» с прицепом. Чтобы не возиться, не валандаться долго, а все разом вывезти.

А как же они с работой-то? С пожни удрали, что ли? — подумал Михаил. Ведь каких-нибудь часа два назад он своими глазами их на разводе видел.

Но ломать голову не приходилось. Надо было о собственной посуде позаботиться, а кроме того, еще Петру Житову сказать. Где он со своей «инвалидкой»? Кому и потеть сейчас как не ему? У кого еще в Пекашине посуды столько?

«Инвалидка» Петра Житова сидела, зарывшись по самые оси, в песках напротив клуба. И было одно из двух: либо Петр Житов заснул за рулем (случается это с ним, когда переберет), либо моторишко забарахлил: частенько и зимой и летом житовский «кадиллак» возят на буксире трактора, автомашины, а больше всего выручает Пехаха,

коняга, на котором Филя-петух возит хлеб с пекарни в сельпо. Тот всегда под рукой, всегда в телеге стоит или у пекарни, или у магазина.

Петра Житова в «инвалидке» не было (значит, на ногах, или, лучше сказать, на ноге), и Михаил свернул к маслозаводу — предупредить насчет посуды жену: может, он и сам бы потихоньку справился, да ежели его за этим делом увидит Сима-фельдшерица — будет крику.

К маслозаводу ихнему без противогаза не суйся: душина — мухидохнут. А все потому, что всю жижу, все отходы выливают на улицу: лень, руки отпадут, если эту проклятую химию отвезти в сторону метров на сто.

— Кликни-ко мою! — крикнул Михаил издали Таньке, жене Зотьки-кузнеца, которая обмывала бидоны возле крыльца, и тотчас же зажал нос: никогда не мог понять, как все это выносит Раиса.

— Ушла. Кабыть не знаешь свою благоверную.

Он встретил жену неподалеку от дома Петра Житова. Идет — кузов с посудой на спине, пополам выгнулась и скрип на всю улицу.

— Занял, нет очередь?

— Нет, я бежал тебя предупредить.

— Кой черт меня-то предупреждать! Неуж у меня мозгов-то совсем нету? В очередь надо было вставать. Я, что ли, это напила? Одной мне надо!

Михаил что-то невнятно забормотал (действительно ерунда получилась) покатила, слушать не захотела.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1

Пообедали мирно. Оба были довольны — с посудой разделались. А то ведь столько ее, окаянной, за год скопилось, что в кладовку зайти нельзя: везде, и на полу и на полках, бутылки.

Но Михаил вылез из-за стола да глянул на часы — и туча накрыла лицо. Три с половиной часа. Только три с половиной!

Раньше такое бы случилось, ором орал: на работу опаздываю! А сегодня в страх бросило: что до вечера, до кино буду делать?

Работы по дому навалом. Из каждого угла работа кричит. И можно бы, можно кое-что и одной рукой поковырять. Да ведь фельдшерица дознается опять скандал, опять про вредительство начнет ляпать. А потом, надо, видно, и самому себя на цепь садить, а то сколько еще на больничном проканителишься?

Ковыряя спичкой во рту (вот какая у него теперь работа!), Михаил подумал: а не пойти ли в мастерскую? Не придавить ли на часок подушку?

Нет, ночью не спать, ночью опять мозоли на мозгах набивать.

Нет, нет, нет! Вкалывать в лесу у пня без передыху, без выходных, по месяцам дома не бывать, как это было в войну и после войны, не дай бог, а думать, жерновами ворочать, которые у тебя в башке, еще хуже. Из всех мук мука! Начнешь вроде бы с пустяка, с того, что каждый день у тебя под носом, — почему поля запущены, почему покосы задичали, а потом, глядь, уж за деревню вылез, уж по району раскатываешь, а потом все дальше, дальше и в такие дебри заберешься, что самому страшно станет. Не знаешь, как и обратно выкарабкаться! Без болота вязнешь, без воды тонешь, как, скажи, в самую-самую распуту, когда зимние дороги пали и летние еще не натоптаны, все так и ползет, все так и расплывается под ногой.

Раиса, принявшаяся за мытье посуды, показалось Михаилу, подозрительно покосилась на него (неработающий человек всегда бревно в глазах у работающего), и он понял, что надо куда-то поскорее сматываться.

А куда?

В гости к кому-нибудь податься да язык размять? Калину Ивановича проведать?

Все не годилось. Одни лентяи да пьяницы зарезные середь бела дня по гостям шатаются, а к старику дорога и не заказана, да больного человека хорошо ли постоянно трясти?

А вот что я сделаю! — вдруг оживился Михаил. Дойду-ко до старого дома. Чего там Петро натворил? Да и насчет дома Степана Андреяновича что-то надо делать. Сколько он ни говорил себе, сколько ни втолковывал: мое дело сторона, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, — а нет, видно, без него ни черта не выйдет. Тот сукин сын — он имел в виду Егоршу — у Пахи Баландина, говорят, уж



деньги под верхнюю половину дома взял, а Паха долго раздумывать не будет: ради своей корысти не то что дом разломает — деревню спалит.

Но тут Михаил вспомнил, как давеча утром Петр прошел мимо ихнего дома. И не то чтобы повернуть к брату старшему — не взглянул. Глаза в землю, вроде бы задумался, ничего не видит. Не видит? За ту, за сестрицу, счет предъявляет. Раз ты не хочешь признавать сестру, и мне нечего делать у тебя.

Нет, рано, рано старшего брага учить, вскипел вдруг Михаил. Больно много чести, чтобы я первый пошел на поклон.

И он побрел на угор к амбару, где в последнее время привык на вольном воздухе подымить сигареткой.

## 2

Сведенный в щелку глаз, едва приземлился за амбаром на умятой, пожелтевшей траве, по привычке заскользил по серому, как войлок, лугу, по выжженным суховею полям. У Таборского нынче праздник: не надо с полей убирать.

Да, вот до чего дошло: управляющий отделения радуется, что на полях ничего не уродилось. Сказать это кому нормальному — глаза на лоб полезут. А он, Михаил, сам в прошлом году слышал, как Таборский клял все на свете. Хлеба навалило неслыханно — стеной рожь стояла по всему подгорью. На круг, по подсчетам, двадцать два центнера выходило. И вот караул! Куда девать такую прорву зерна? Ни токов нет, ни складов. И Михаил, конечно, высказался по этому поводу: мол, в кои-то поры урожай пришел, дак ты в панику! «Да пойми ты, черт ты задери, — завелся Таборский, — у нас животноводческое направление, а не хлебное! За то, что мы хлеб завалим, прогрессивку с нас не снимут, а вот ежели с молоком заперемся — не то что прогрессивку, головы оторвут».

Да, подумал Михаил, в этом году у Таборского не будет забот, и вдруг вздрогнул: каждый день в это время над головой пролетают реактивные самолеты, а все равно каждый раз врасплох гром, который с небесных высот на землю падает.

Он проводил взглядом крохотный серебряный крестик, поглядел на реку, на желтый песок, где бесновалась крикливая мелкота, или

малоросия, выражаясь по-пекашински, поглядел на чью-то бабу в красном платье, вышагивающую босиком по меже (только пятки сверкают), и в конце концов ульнул глазом в лошадей, томившихся на привязи под самым спуском.

Тоска смертная смотреть на нынешних лошадей. Не шелохнутся. С ноги на ногу не переступят. Как мертвые стоят. У иных еще кое-как болтается хвост-веник, а у Тучи да у Трумэна и эта штука выключена — хоть заживо сожрите мухи да комары.

Да что они, вознегодовал Михаил, совсем от жары очумели? Или это у них какая-то своя лошадиная молитва?

Есть, есть о чем молиться нынешним лошадям. Задавили машины, смертный приговор вынесли коняге.

Но и лошади, пес их задери, тоже хороши. Попервости, в тридцатые годы, когда машины на Пинегу пришли, хоть бунтовали. Страхи страшные, что делалось, когда с трактором или автомобилем встречались: из оглобель лезли, телегу вдребезги разносили. А теперь... А теперь машину завидят, сами с дороги сворачивают, сами путь уступают. Ну а раз сам себя не уважаешь, раз сам на себя смотришь как на отжившую дохлятину, кто же с тобой будет считаться?

Михаил резко встал, затоптал недокуренную сигарету. Не из-за жары, не из-за молитвы стоят замертво лошади, а из-за того, что с утра не поены. Нюрка Яковлева за посуду выручила — разве ей до лошадей сегодня?

— Бежи под угор, перевяжи лошадей, — сказал Михаил Ларисе, войдя на кухню (та на столе что-то гладила), и вдруг заорал на весь дом: — Да сними ты к чертям эти уродины! — Он терпеть не мог, когда дочь надевала фиолетовые очки, большие, круглые, во все лицо. Никогда не видишь глаз — как улитка в своей скорлупе запряталась.

— Чего, чего ты опять гремишь? — подала голос из-за занавески от печи Раиса. — Куда ее посылаешь?

— Лошадей напоить да перевязать.

— Лошадей? Каких лошадей?

— Живых! Под угором которые. Раиса вышла из-за занавески.  
— Ты одичал, отец? С чего она пойдет-то? Конюх есть.  
— Да где конюх-от? Посуду сдала — кверху задницей где-нибудь лежит.  
— А это уж ейно дело. Ей деньги за лошадей платят.  
— Да люди вы але нет? — еще пуще прежнего разорался Михаил. — Лошади с голоду, с жажды подышают, весь день глотка воды не видали, а ты про деньги... Неужли не жалко?  
— Всех не нажалеешь. Нас много с тобой жалеют?  
— Ну-ну! Давай, око за око, зуб за зуб... Вот как в тебе Федор-то Капитонович заговорил...  
— Ты моего отца не трожь!.. — Раиса так разошлась, что кулаком по столу стукнула. — Федор-то Капитонович первый человек в Пекашине был.  
Михаил захохотал:  
— Первый! Как же не первый. Он и в войну всех как первый потрошил...  
— Умному все во грех ставят, что ни сделай. А тебе бы не поносить отца надо, а век за него молиться. Кабы не он, с голыми стенами жил.  
— Че-е-го? — Михаил выпрямился.  
— А то! На чьи денежки вся мебель куплена? Много ты нажил за свою жизнь! Да кабы не отец-от, доселе как в сарае жили...  
Михаилу попался на глаза стул с мягким сиденьем — вмиг в щепу разлетелся. И он наверняка бы так же расправился и с другой мебелью, да тут в дом вошел Григорий.

Это было как чудо. Ничего не слышали, ничего не чули — ни звона кольца в калитке, ни шагов на крыльце — и вдруг он.

Долгожданной свежестью дохнуло в раскаленную кухню, праздник вошел в дом, глаза заново мир увидели... Как угодно, какими хочешь словами назови все правильно будет, все верно.

— Ох, ох, кто пришел-от к нам, кто пожаловал... Садись, садись, Григорий Иванович... Где любо, там и садись...

Раиса заливалась соловьем, новенькой метелкой бегала вокруг Григория, и она не притворялась. Григория все любили в доме. И не только люди. Животина любила. К примеру, Лыска взять. Зверь пес. Никого не пропустит, всех облает. Даже хозяйку, которая кормит его, кажинный раз лаем встречает. А у Григория будто особый пропуск: звука не подаст.

С Михаила словно сто пудов сразу свалили — вот как его обрадовал приход брата, и он, закуривая и добродушно скаля зубы, спросил:

— Ну как, братило, живем?

— А хорошо живем. Ходить нынче начали...

— Кто ходить начал?

— А Михаил да Надежда. — И пошел, и пошел рассказывать про близнят: как первый раз встали на ноги, как сделали первые шаги, как развернулись теперь.

Раиса вывернулась — вспомнила про Звездоню.

— Ты что, отец, меня не гонишь? Ведь у меня корова не доена.

Ну а что было делать ему, Михаилу? Сидел, попыхивал сигареткой и слушал. Слушал про двойнят, которых не хотел знать, слушал про Петра, про сестру. Потому что у Григория не было своей жизни — он жил неотделимо от брата, от сестры, от двойнят. И вот благодаря его рассказам да рассказам Анки — для той тоже никаких запретов не существовало — в доме Михаила решительно знали все, что делается там, у той.

— Дак что, брат, чай будем пить але как? — И Михаил, не очень-то прислушиваясь к рассказам Григория, принялся за самовар: терпеть не мог электрические чайники, которые теперь были в ходу в Пекашине, — все не то, все казалось, что на столе какая-то мертвечина.

Вернулась от коровы Раиса человеком, с улыбкой на своем красивом румянном лице (да, не обделил бог красотой), первым делом начала угощать парным молоком Григория — полнехонькую, с шапкой пены налила кружку.

— Пей, пей! Хорошо молочко-то из-под коровы. Надо бы тебе кажный раз к нам приходиться к доенке — сразу бы эту бледность скинуло.

Самовар вскипел быстро (все быстро делается, когда Григорий в доме), и Михаил сам принялся накрывать на стол.

К самому чаю вернулись с реки Вера с Анкой. Крик от радости на весь дом: «Дядя Гриша пришел!» — затем почти вслед за ними пожаловала Лариса. Эта всем обличьем, всеми повадками была в Клевакиных, а вот нюх на обед, на чай — от ихнего Федора. Тот, бывало, где бы ни шатался, ни проказил, а к жратве как из пушки. Но Лариса при виде дяди неподдельно, по-хорошему улыбнулась, и это сразу примирило Михаила с дочерью.

Самую неслыханную доброту, однако, выказала Раиса — «бомбу» на стол выставила.

— Берегла к бане, да ладно, ноне жарынь такая — каждый день баня.

Григорию Михаил налил только для приличия — в рот не берет, но, чего никогда не случалось, — Раиса попросила для нее плеснуть. И тут Михаил ничего не мог поделать с собой — отмяк сразу. Что ты будешь делать с ней, с дурой... Такой уж характер. Сама не рада, а сказать прямо: виновата — ни за что. Как угодно будет перед тобой оправдываться — ползком, на коленях, делом, но только язык не повернуть в твою сторону. По крайности на первых порах.

Чтобы пристать к мужнину берегу, стать на его якорь, начала загребать чуть ли не от Водян.

— Вы думаете, нет чего своей башкой? Картошка-то, не видите, вся сгорела. — Это слово к дочерям.

— Чего о ней думать? — фыркнула Лариса. — Не у нас одних сгорела — у всех.

— У всех! Все-то, может, помирать собираются, и ты вслед за има? Сколько вам отец говорил: поливать надо.

Ого! — ухмыльнулся про себя Михаил.

— Сегодня чтобы у меня тридцать ведер было наношено! — И вдруг на свою любимицу, на Ларису, которая в это время носом передернула: — Тебе, тебе говорю! Кой черт носырей-то задергала. Не кивай, не кивай на Веру-то, Вера-то целый день на жаре как проклятая работала, а ты ведь со своей лежкой забыла, что и за работа такая. Раз, говоришь, у тебя давленье, дак давленье-то не скоком в клубе лечат, а работой. В старину-то люди до упаду робыли, ни про како давленье не слышали.

— В старину-то давленье-то не мерили! — весело рассмеялась Вера. — И аппаратов таких не было. Досталось и Вере:

— А ты ротище-то попридержи. Не ворота у тебя, не телега едет. У отца рука болит, сколько в бане не мылся, а они, кобылы, и не подумают.

— Подумаем, подумаем! — опять с той же прытью отозвалась Вера. — Везде воды наносим. Только нервные клетки береги, Федоровна!

— А ты брось мне эту привычку! — Раиса не закричала, вся просто затряслась, надо же на ком-то сорвать злость. — Завела: Федоровна, Федоровна! Мати я тебе, а не Федоровна.

— Ну уж и пошутить нельзя.

— Нельзя! Все с шуток начинается, да слезами кончается.

— Хорошо, мам! Твое ценное указание будет выполнено. И со своей стороны берем дополнительное обязательство: вместо тридцати ведер принесем сорок.

Михаил примиряюще махнул рукой:

— Ладно, завтра насчет воды. Сегодня, говорят, кино интересное.

— Вот, вот! — запричитала Раиса. — Завсегда у Нас так: мати что ни скажет, все не так, се неладно. Да разве будет у нас что хорошо в дому...

— Папа, папа! — Вера всплеснула руками. — А дядя-то Гриша...

Все глянули на угол стола, туда, где недавно сидел Григорий. И все увидели: нет Григория. Всегда вот так: войдет неслышно и уйдет неслышно.

А может, так и надо? — подумал Михаил. Чего ему с нами делать? Склеил, слепил ихний семейный горшок, давший трещину, вспрыснул всех живой водой — и живите на здоровье.

Непонятный человек, хоть и брат родной! С одной стороны, как малый ребенок, как дурачок блаженный, а с другой, как подумаешь хорошенько, умнее его на свете нет.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Выдохлась наконец дневная жара — полегче стало дышать.

На Раису напал трудовой зуд — это всегда случается после очередной домашней перебранки, — начала все перетряхивать, все перелопачивать: мыть полы, заново переставлять мебель, подметать заулок. А ему что делать?

Для видимости потолкался по дому, туда-сюда заглянул, обошел усадьбу, прошелся с дочерьми до колодца и кончил тем, что отпустил их в клуб, а затем и сам пошел.

Кино уже началось — Михаил еще на крыльце услышал рев и грохот, доносившийся из зрительного зала, — не иначе как военную картину показывали.

Он постоял-постоял в пустом фойе и пошел в читальню, в которой еще недавно хозяйничали ребяташки и молодежь. Журналы и газеты вразброс по всему столу, на полу опрокинутые стулья, рваная бумага, песок и, конечно, настежь двери: всем скопом, всем стадом кинулись на выход, когда раздался звонок.

Михаил плотно прикрыл двери, поднял с полу стулья, навел кое-какой порядок на столе и только после этого подошел к списку погибших на войне.

Сто двадцать восемь человек. Целая рота. Это только те, что не вернулись с фронта. А ежели к ним прибавить еще тех пекашинцев, которые приняли смерть во время войны тут, на Пинеге, — кто от работы, кто от голода, кто от простуды на сплаве, кто от пересады в лесу? Разве они не заслужили того, чтобы тоже быть в этом списке? Разве не ради родины, не ради победы отдали свои жизни?

Тоня-библиотекарша (это она рисовала список) поначалу размахнулась круто — за версту видать первые фамилии. А потом увидела — бумаги не хватит, и начала мельчить-лепить так, что последние фамилии без очков и не прочитать.

Ивану Пряслину в этом списке тоже не очень повезло (Тоня еще на букве «н» включила тормоза), но Михаил уже привык — сразу уперся глазом в отцовскую фамилию.

Где-то он читал или в кино видел: тридцатилетний сын в трудную минуту смотрит на карточку молодого безусого паренька, каким был его отец, убитый на войне, и просит у него совета.

Помнится, это до слез прошибло его тогда, и с той поры не было случая, чтобы он, подойдя к этой пекашинской святыне, не подумал

бы, что и он уже чуть ли не в полтора раза старше своего отца. А все равно, глядя на родное имя, выведенное от руки черными, уже полинялыми чернилами, он чувствовал себя всегда маленьким недоростком, тем лопоухим пацаном, каким он провожал отца на войну...

После разговора с отцом у Михаила всегда легчало на душе. Он выходил из читальни как бы весь, с ног до головы, омытый родниковой водой.

Сегодня этого привычного ощущения не было. Почему? Неужели все дело в Коте-сопле, подслеповатом племяннике Сусы-балалайки, который под парами незванно-непрощенно вкатился в читальню? Михаил, конечно, тотчас выставил его вон — не смей, мразь эдакая, с пьяным рылом к святыне! — но настроиться на прежний лад уже не смог.

А может, подумал он, шагая по темной деревне и вглядываясь в освещенные окна, из-за осени все это? Из-за того, что осень опять подошла к Пекашину?

Сколько лет уже как кончилась война, сколько лет прошло с той поры, как отменили налоги и займы, а его все еще и доселе с наступлением августовской темноты будто в ознобе начинает трясти. Потому что именно в это самое время начиналась, бывало, главная расплата с налогами и займами.

Михаил прошел мимо своего дома — хотелось хоть немного успокоиться — и вдруг, когда стал подходить к старому дому, понял, отчего у него мутно и погано на душе. Оттого, что не в ладах, не в согласии со своими. С Петром, с братом родным, за все лето ни разу по-хорошему не поговорил. Парень старается, старый дом, сказывают, перетряс до основанья, а он даже не соизволил при дневном свете на его дела посмотреть. Да и с сестрой что-то надо делать. Ну дура набитая, ну наломала дров и с домом и с этими детками да ведь сестра же! Какая жизнь вместе прожита!

Эх, воскликнул про себя Михаил, загораясь, вот вломлюсь сейчас нежданно-негаданно и прямо с порога: ну вот что, ребята, посмешили



людей — и хватит! А теперь давай докладывай старшему брату что и как.

Он сделал полный вдох, как перед прыжком в воду, решительно оттолкнулся от угла старого дома, откуда смотрел на знакомые занавески с кудрявыми цветочками в домишке покойной Семеновны, налитые ярким электрическим светом изнутри, и снова прилип к углу, потому что как раз в эту минуту из дома Семеновны, громко разговаривая и посмеиваясь, вышли люди.

— Ну, спасибо, спасибо, Лизавета! Опять, слава богу, отвели душу.

— Бесстыдница, убежала-ускакала от нас — мы хоть помирай без тебя.

— Дак ведь не за границу ускакала, — ответил Лизин голос, — а вы не без ног. Версту-то, думаю, всяко одолеть можете.

— Можем, можем, Лизавета! Теперь-то живем. Трудно первый раз тропу проторить, а по натопанной-то дороге и слепая кобыла ходит.

Понятно, понятно, сказал себе Михаил, старушонки из нижнего конца. Видите ли, осиротели было, бедные, — негде языком почесать стало, когда та из дому своего удрала. А теперь возликовали — можно и у Семеновны горло драть.

А сестрица-то, сестрица-то какова! — продолжал заводить себя Михаил. Он расчувствовался-расслюнявился, чуть ли не с повинной хотел заявиться. А она: ха-ха-ха, заходите в любое время, а про дом-горемыку и думы нет.

Закипая злостью, Михаил круто сплюнул и пошагал домой.

Дома все сияло и сверкало, как в праздник: и крашеный намытый пол, и начищенный никелированный самовар, который в ожидании хозяина словно паровоз бурлил на столе, и дорогая полированная мебель, отделанная медью. И блестела и сверкала Раиса. За сорок лет бабе перевалило, на иную в ее годы и взглянуть тошно, а этой никакие годы нипочем. Как молодая девка.

Михаил сам молодец в такие вечера. Он гордился своим новым, по-городскому обставленным домом, всеми этими красивыми вещами,

которые окружали его, и, чего лукавить, гордился своей красивой румянощекой женой.

В нынешний вечер ничто не радовало его, ничто не ворохнуло сердце. И он как перешагнул порог с насупленными бровями, так и сидел за столом.

— Что опять стряслось? Какая муха укусила?

Раиса спрашивала мягко, дружелюбно, но он только вздохнул в ответ. А что было сказать? Как признаться в том, что вот он сидит в своем расчудесном новом доме, а душой и сердцем там, в старой пряслинской развалюхе?

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### 1

— Где Лизавета? На телятнике все убивается?

Петр глянул сверху вниз: Анфиса Петровна. Стоит в заулке и, как рыба, открытым ртом хватает воздух.

— Что случилось? — закричал он: Анфиса Петровна с ее здоровьем просто так не прибежит.

— Как что? Разве не слышал? Ведь те разбойники-то дом хотят рушить. Сидят у Петра Житова, храбрости набираются...

Петр не слез — скатился с дома.

— А брат... Михаил знает?

Гневом сверкнули все еще черные, не размытые временем глаза.

— Черт разберет вашего Михаила! Не знаешь разве своего братца? Удила закусил — с места не своротишь!

— Пойдем, — сказал Петр.

— Брат, брат... — плеснулся вдогонку плаксивый голос.

— Чего это он? — Анфиса Петровна посмотрела в сторону крыльца, где с двойнятами нянчился Григорий.

— Больной человек — известно: всего боится, — уклончиво ответил Петр, но сам-то он хорошо знал, чего боится Григорий.

### 2

Редкий день не появлялся в ихнем заулке Егорша.

Крикнет снизу, махнет рукой: «Привет строителям! Помощников не треба?» А потом своей прежней вихляющей походкой беззаботно, как будто так и надо, подойдет к Григорию, поздоровается за руку, поглядит, потреплет своей темной, загорелой рукой по голове детей, а иногда даже по конфетке даст...

И что бы надо было делать ему? Как разговаривать с этим подонком, с этим подлецом? Вмиг спуститься с дома и бить, бить. Бить за Лизу, за деда, за племянника, за дом, за все зло, которое он причинил им.

А Петр с места не двигался. Петр смотрел со своей верхотуры на этого жалкого, суеющегося внизу человечка в нейлоновой, поблескивающей на солнце шляпчонке, на то, как он заискивающе, пособачьи заглядывал в глаза больному брату, даже детям, угодливо оборачивался к нему, к Петру, — и каждый раз с удивлением, с ужасом спрашивал себя: да неужели же это Егорша, тот неумный, неунывающий весельчак, который как солнце когда-то врывался в ихнюю развалюху?

Да, брат-отец — Михаил. Да, Михаилом жила семья. Михаилом и Лизой. Но что было бы с ними, со всей ихней пряслинской оравой, кабы не было возле них Егорши?

Михаилу родина сказала: стой насмерть! Руби лес! И Михаил будет стоять насмерть, будет рубить лес. И месяц и два не выйдет домой. А им-то, малявкам, каково в это время? Им-то кто какой-нибудь затычкой заткнет голодный рот? Их-то кто обогреет, дровиной стужу в избе разгонит?

И это было счастье для них, великое благо, что Егорша мот и сачкарь. Все равно раз в десятидневку выйдет из леса. Хоть самый ударный-разударный месячник (а им, этим месячникам, числа не было в войну и после войны), хоть пожар кругом, хоть светопреставление. Под любым предлогом выйдет. А раз выйдет — как же к ним-то не заглянуть?

И вот так и получалось: свои интересы, свои удовольствия, об ихней ораве и думушки не было, а все чем-нибудь помог: то дровишками, то горстью овса, который прихватывал у лошадей (лошадям, чтобы воз с лесом тащили, в самые тяжкие дни войны выписывали овес).

Но дело даже и не в дровишках и горсти овса. Одно появление Егорши в ихнем доме все меняло, все перевертывало.

Сидели, помирали заживо на печи — в темноте, во мраке (лучину сэкономили — в лесу растет!), вслушивались в нескончаемый голодный вой зимней метели в трубе, да вдруг на пороге Егорша.

Сейчас-то быть веселым да безунывым что. А ты попробуй смеяться, скалить зубы, когда с голоду и холоду умираешь.

Егорша умел это делать — и в войну где он, там и жизнь.

Да и только ли в войну? А после войны, когда Звездоня пала, кто выручил их? Конечно, Лиза, конечно, сестра пожертвовала собой ради них, да ведь и он, Егорша, при этом не сбоку припеку был. Не важно, как у него это вышло, что было на уме, но он, Егорша, взамен Звездони привел к ним новую корову.

И вот почему, когда они стали уходить из заулка с Анфисой Петровной, заплакал, зарыдал больной Григорий: «Брат, брат, не горячись!.. Брат, брат, не забывай, что сделал для нас Егорша...»

Нет, забыть, что сделал для них, для ихней семьи Егорша, нельзя. Никогда! Даже на том свете. А с другой стороны, надо же что-то делать. Надо же как-то обуздать его, спасти ставровский дом.

Анфиса Петровна не иначе как по старой председательской привычке сразу, как только они переступили порог кухни, взяла в работу Петра Житова и Паху Баландина — они тут были за главных: дескать, люди вы или не люди? Опомнитесь! Что собираетесь делать?

— А чего мы собираемся делать? Чего? — пьяно икнул Петр Житов и вдруг широко раззявил грязную, обросшую седой щетиной пасть, в которой редко, как пни на болоте, торчали остатки черных, просмоленных зубов, захохотал. По-моему, ясно, чего мы делаем. Вносим свой вклад для борьбы с засухой.

Ликующий вой и рев поднялся в продымленной, как старый овин, кухне:

— Правильно, правильно, папа!

— А мне так еще Чирик помогает, — ухмыльнулся Вася-тля, застарелый холостяк с красными рачьими глазами, и вслед за тем начал вытаскивать из-под стола черную упирающуюся собачонку нездешней породы — маленькую, кудрявую, с обвислыми ушами. — Ну-ко, Чирко, покажи, как ты с засухой борешься.

— Цирковой номер в исполнении заслуженного артиста Василья Обросова и его четвероногого друга-ассистента... — опять, к всеобщему удовольствию, сострил Петр Житов.

— Я тебе покажу цирковой номер! — Анфиса Петровна схватила ухват от печки, стукнула об пол.

Вася-тля то ли с перепоя, то ли ради забавы заорал на всю кухню:

— Чирко, Чирко, враги!

Собачонка отчаянно залаяла, а потом под общий смех и хохот залаял и сам Вася-тля: встал на четвереньки и гав-гав — с подвывом, с выбросом головы, не хуже своего песика.

И вот от этого содома, надо думать, и очнулся лежавший на голом топчане возле двери справа Евсей Мошкин. Очнулся, поглядел вокруг ничего не понимающими глазами.

— Робята, вы чего это делаете-то? Пошто вы свиньями-то да скотами лаете, образ человеческий скверните?

— Лекция во спасение души, — коротко объявил Петр Житов, а добродушный Кеша-руль, тоже из застарелых холостяков-пьяниц, смущенно улыбаясь, сказал:

— А ты, дедушко, лучше выпей, не ругай нас. Ну?

Евсей трясущейся рукой взял протянутый стакан с красным вином.

— Ну, Евсей Тихонович, не знала, не знала я. Вот до чего ты дошел, с кем связался...

— Грешен, грешен, Анфиса Петровна. Хуже скота всякого живу...

— Да ты, может, и на разбой с има пойдешь?

— На разбой?.. — Евсей беспомощно оглянулся вокруг себя.

— За оскорбление личности штраф! — зычно, не то полушутя, не то всерьез крикнул Паха Баландин.

Анфиса Петровна на этот раз даже не удостоила его взглядом.

— Давай, давай, — снова навалилась она на старика. — Только тебе и не хватало взять топор да с этими бандюгами самолучший дом в деревне разорять.

— Какой дом?

— Да ты что — ребенок?! Ставровские хоромы зорить тебя поведут. Затем и поят, вином накачивают.

Евсей поставил на топчан сбоку от себя стакан с вином, поискал глазами в красном углу Егоршу. Но Егорши там уже не было. Егорша

выскочил из-за стола, как только Анфиса Петровна начала отчитывать Петра Житова и Паху Баландина: сроду не мог сидеть да выжидать. Выскочил, шляпу на глаза, руки в брюки: ко мне все претензии, я здесь парадом команду! Но Анфиса Петровна не видела, не замечала его, сколько он ни скакал, ни прыгал перед ней. И это для самолюбивого Егорши было хуже всякого наказания, всякой пытки. И вот наконец нашелся человек, в которого можно было разрядить свою ярость.

— Че башкой крутишь? — подскочил он к Евсею. — Меня давно не видал? Соскучился? А может, тоже мораль читать будешь?

— Неладно, неладно это, Егорий...

— Че неладно? Че неладно? Неладно, что свое законное беру? А это ладно — родного внука как последнюю падлу на улицу? Ловко получается. Дед, понимаешь, рвал, рвал из себя жилы, а тут с офицериком с одним сколотышей нахряпали — лады, законные наследнички.

Все время, с первой минуты своего появления в доме Петр держал себя в руках. Кипятилась, выходила из себя Анфиса Петровна, задирает гостей на потеху себе и собутыльникам Петр Житов, кривлялся Вася-тля, Егорша раза два подскакивал к нему, тыкал в бок специально для того, чтобы вызвать на скандал, — ни единого слова. Зажал себя как в тиски. А тут, как только Егорша задел сестру, моментально словно капкан сработал.

Удар был не такой уж сильный, не с размаху, тычком бил, но много ли пьяной ветошке надо? Кубарем полетел на заплеванный, забросанный окурками пол. Но тотчас же вскочил, и в руке у Егорши сверкнул нож-складень.

— Робята, робята! — что было силы завопил Евсей, потом с неожиданным для его возраста, проворством бросился меж Петром и Егоршей, пал на колени. — Что вы, что вы это надумали-то? Да вы уж лучше меня бейте, Я во всем виноватый, я... — И слезно, как малый ребенок, заплакал.

Егорша вялым движением руки отбросил нож в угол кухни, где стоял железный ушат с водой, поднял с пола свою шляпу.

— Вставай. Здесь не церква, чтобы на коленях стоять, а мы не боги.

— Нет, нет, не встану, Егорий, покудова с Петром не помиришься...

— Кто это будет мириться с таким бандитом, — сказала Анфиса Петровна. Он ведь вишь из каких теперь... Сразу за нож...

А добродушный Кеша-руль, чтобы поскорее восстановить в компании прежний мир, начал наливать Евсею и Егорше вина — иного средства примирения он не знал.

Но Евсей замахал руками:

— Нет, нет, не буду на иудины деньги пить.

— Это еще че? — рявкнул Егорша.

— А то, Егорий, что грех великий на душу взял...

— А ты не взял? Один я пропивал эти самые иудины пятаки?

— И я взял. Я еще грешнее тебя... Мне-то уж совсем нету прощенья.

— Ну а раз нету, бери склянку!

— Нет, не возьму, не возьму, Егорий. — Евсей поднялся с пола.

— Да ты, дедушко, больно-то не капризь, ну? Пей, покудова дают, — опять к примирению воззвал Кеша.

— Вот именно! — мрачно процедил Петр Житов и вдруг сплюнул, когда увидел вновь опускающегося на колени старика.

А Евсей опустил ся, осенил себя крестом и начал отвешивать земные поклоны с пристуком о пол. Всем поклонился. Тем, кто сидел за столом, Анфисе Петровне, Егорше, ему, Петру.

— Простите, простите меня, окаянного. Я, я во всем виноват...

Егорша первый не выдержал:

— Ну хватит! Не на смерть идешь, чтобы башкой в половицы колотить.

— А может, и на смерть, — тихо сказал Евсей. Затем поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, вышел.

Петра встретила сестра у порога, под низкими полатами. Зашептала с испугом, кивая на открытую дверь на другую половину:

— У Гриши опять припадок...

— Знаю.

— Знаешь? Да откуда тебе знать-то? Тебя и дома-то не было, когда его схватило.

Эх, сестра, сестра! Разве ты про себя не знаешь? Не знаешь, что с тобой делается в ту или иную минуту? Так как же ему-то не знать, что с Григорием? Ведь они с братом один человек, разделенный надвое, на две половины. И все, все у них одинаково. Им даже сны в детстве одни и те же снились — разве ты забыла про это?

Устало, как старик, волоча ноги, Петр прошел к столу, на котором теплилась с привернутым фитилем керосиновая лампешка, сел.

— Чай пить будешь?

— Потом, потом...

— Да ты сам-то хоть здоров?

— Ты лучше к нему иди, к брату. Пить дай...

— Да я недавно давала.

— Еще дай.

Вскоре с той половины донесся приглушенный голос Лизы:

— Полегче немножко, нет?

Григорий — он знал, хотя и не расслышал его голоса, — отвечал: конечно, полегче. А какое там полегче, когда он, здоровый человек, весь был измят и измочален!

Да, каждый раз, когда с Григорием случался припадок, бросало в немочь и его, Петра. И так было уже девять лет...

Он заставил себя встать, Зачерпнул ковшом воды из ведра — его тоже мучила жажда, — напился, потом достал из старенького, перекошенного шкафчика, который служил для старой Семеновны и комодом и посудником, тетрадку.

Нет, больше так невозможно. Анфиса Петровна отвела топор от ставровского дома — вслед за Евсеем Мошкиным все наладились восвояси, — но надолго ли?

Нет, нет, говорил себе Петр, без вмешательства властей не обойтись. А иначе все они перегрызутся. Все: и братья, и сестра, и деревня вся...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Евсея искали три дня.



Первым хватился старика Егорша. На другой день после попойки у Петра Житова он целый день выходил вокруг Пекашина, а под вечер заявился даже в сельсовет: примите меры, человек пропал.

— Убирайся, пьяница! — закричала на него секретарша. — Пьют, жорут без памяти, а потом еще: примите меры...

Через день, однако, Егорша снова пришел в сельсовет, и тогда уж из сельсовета начали обзванивать окрестные деревни: не видно ли, мол, у вас нашего попа? Не потрошит ли где ваших старушонок? (После похмелья Евсей частенько навевывался к своей клиентуре.) Нет, ответили оттуда, не видали вашего попа.

Стали искать в Пекашине. Обошли все задворье — старую конюшню, старую кузницу, места, куда в летнее время частенько навевывался пьяный народишко, заглянули даже в бани — нет старика.

А нашел Евсея Мошкина Михаил Пряслин.

## 2

Михаил в тот день с утра отправился в навины. Рука пошла на поправку, руке стало лучше — неужели сидеть дома? Неужели немедля не выяснить, в каких он теперь отношениях с косой?

Сена у него поставлено пустяки, до великого поста не хватит, а ведь уже август на исходе. Да и дожди вот-вот зарядят, не бывало еще такого, чтобы летнюю засуху осень не размочила.

Эх и покосил же он всласть! Травешка остарела, вся высохла-перевысохла, как проволока звенит, в другое время еще подумал бы, стоит ли овчинка выделки, а сейчас, после месячного безделья, кажется, кустарник готов был косить.

Сперва он щадил, оберегал больную руку, так и эдак применялся к рукоятке, к державу (ведь узнает медичка, что опять работал, — заживо съест), а потом про все забыл: и про больную руку, и про отдых, и про еду.

Курил на ходу. Костра не разводил, чайника не грел — бутылку молока стоя выпил. И все равно вдосталь не наработался. Когда солнце село и вокруг стала разливаться вечерняя синь, такая досада взяла, что хоть плачь. И тут он вспомнил, как работали в старину.

Степан Андреянович — он сам слышал от старика, — когда смолоду на Верхней Синельге страдовал, один раз неделю не разжигал огня — жалко было тратить время на приготовление горячей пищи. Сухарем, размоченным в ручье, пробавлялся. Или взять Ефрема из Водян, старика, который в прошлом году помер. Как человек дом свой, бывало, строил? До того за день вымотается, что вечером сил нет на крыльцо подняться. Ползком вползал в избу. И все равно не наробился, все равно, сказывают, каждый раз со слезами на глазах пенял богу: «Господи, зачем ты темень-то эту на земле развел? Пошто людям-то досыта наробиться не дашь?»

Августовская темень застала его посреди дороги. Поповым ручьем пробирался — исхлестало, иссекло кустарником, того и гляди глаза выстегает. А он чуть ли не улюлюкал, не крякал от удовольствия. Хорошо отделали березы да осины запотелое, зажарелое за день лицо, освежили и отшлепали на славу ни в одной парикмахерской так не сумеют. И вообще он первый раз за все время, что был на бюллетене, был по-настоящему счастлив и ни о чем не думал.

Да, и ни о чем не думал.

Это ужас, оказывается, чистое наказание, когда голова работает, Все видишь, все замечаешь. В совхозе не так, дома не так. Газеты читаешь — опять из себя выходишь.

А вот сейчас — благодать. Пусто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, все вычистило работой. И даже то, что он косил сегодня на тех запущенных полях в навинах, о которых еще вчера кипел и разорялся, даже об этих полях он ни разу за день не подумал.

Эх, болван, болван! — говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. Наишачился, начертоломился досыта — и рад. Немного же, оказывается, тебе надо. Ну да удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес, — так с чего же тебе голова-то в радость будет?

Лыско залаял, когда Михаил подходил уже к старой конюшне. Залаял яростно, во весь голос в том самом месте, где когда-то стояла

силосная башня, и ему ничего не оставалось как свернуть с дороги, потому что беда с этой силосной башней, а вернее с ямой, которая от нее осталась: постоянно кто-нибудь сваливается — то корова, то теленок, то овца. Леня засыпать, завалить. Бросят наспех какую-нибудь некорыстную дощонку-жердину сверху — и ладно.

И вот так оно и оказалось, как думал Михаил, когда осветился спичкой: опять не была закрыта как следует яма. Со стороны деревни дыра такая, что страшно взглянуть.

Однако сколько он ни чиркал спичек, не мог прощупать глазом черноту ямы до дна — глубокая была, метров на шесть.

— Замолчи! — прикрикнул он на пса.

Тот прыгал и ярился вокруг так, что песок и камни летели вниз. С гулом, с грохотом.

Михаил на ощупь ногой нашарил в темноте бревешко, лежавшее возле ямы, отыскал таким же образом две жердины — надо было хоть маленько прикрыть яму, долго ли до несчастного случая? — и вот только он начал укладывать весь этот хлам, как снизу, из непроглядного чрева, донесся отчетливый человеческий стон.

— Кто там? — крикнул Михаил в ужасе. Молчание. А потом, когда он во второй раз спросил, совсем-совсем запросто:

— Я, Миша... Я...

— Ты-ы? Евсей Тихонович? — Михаил сразу узнал старика по голосу. — Да как ты сюда попал?

— Ох, ох, Миша... Господь наказал...

— Водочка наказала, а не господь. Это ведь ты с пьяных глаз в яму-то залез, да? Ноги-то у тебя хоть целы?

— А не знаю, три дня и три ночи лежу как распятый...

— Подожди немного. Что-нибудь придумаем.

Он сбегал к скотному двору за лестницей и заодно прихватил там, в запарочной, открытой настежь для проветривания, «летучую мышь».

Наконец по лестнице с зажженным фонарем Михаил начал спускаться в яму. Страшная душина и зловоние ударили ему в нос. Он на секунду остановился, заорал:

— Да ты что — навоз решил тут разводить? Почему не кричал, не орал что есть силы?

— А пострадать хотел...

— Пострадать?

— Странаньем, Миша, грехи избывают...

— Да какие же у тебя, к дьяволу, грехи? Всю жизнь по тебе ходили, ноги вытирали, а ты — грехи...

Михаил поборол в себе брезгливость и отвращение, заставил себя спуститься на дно ямы.

— Миша, ты не возись со мной, ладно? Оставь меня тут, в яме... Хочу, как пес шелудивый, издохнуть в нечистотах...

— Замолчи, к дьяволу! Голоса надо было не подавать, раз в этом нужнике решил сдохнуть...

— А не мог, не мог, Миша, совладать с плотью. Плоть голос подала... Не я... Пить, пить мне дай...

— Погоди с питьем-то. Питье-то там, наверху...

У Евсея оказались сломанными обе ноги — криком закричал, когда Михаил попытался посадить его, — и как было одному справиться! Пришлось бежать за помощниками — за Кешей-рулем и Филей-петухом: те жили ближе других.

И вот после долгой возни, после того как сколотили из досок помост да помост этот обвязали веревками, они наконец вытащили старика.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### 1

Доктора из района привезли на другой день после обеда.

Он не осматривал больного и минуты — ему достаточно было взглянуть на его ноги, фиолетово-синие, распухшие как колодки.

— В больницу, отец, надо ехать. Срочно.

— Резать будешь?

Доктор посмотрел в глаза старику и сразу понял, что этому человеку врать нельзя.

— Буду.

Евсей на секунду закрыл глаза, затем, собравшись с силами, поискал глазами Егоршу.

— Выйди, Егорий, ненадолго. Оставь нас вдвоем... А когда тот вышел, спросил:

— Сколько мне житья еще дашь?  
— А вот починим, подремонтируем — поживешь еще...  
— Ну так я тебе точно скажу: через три дня меня не будет. Сегодня какой день-то? Среда кабыть?  
— Среда.  
— Вот-вот. Субботу-то я еще проживу, промаюсь, а потом, как суббота истухнет да воскресенье Христово настанет, я и отойду. Взгляну последний раз на солнышко и отойду.  
— Отойдешь? Так решил?  
— Так. Так господу угодно.  
— Ладно, дед. Хватит морочить мне голову. Надо срочно ехать. Каждая минута дорога.  
Евсей вдруг расплакался, как малый ребенок:  
— Да что я тебе худого-то сделал? Пошто ты послушать-то меня не хочешь? Оставь ты меня во спокойе, дай умереть человеком.  
— А я на то и на свете живу, чтобы не давать людям умирать.  
— А нет, нельзя мешать человеку, ежели он хочет помереть. А я все равно помру. Три дня, три ночи лежал в яме, в скверне, как Лазарь во гноище, зачем? А затем, чтобы очиститься перед смертью, грехи с себя снять... Евсей передохнул немного и сделал заход с другой стороны: — Умный человек, науки учил, а подумал, нет, зачем мне жить-то? Ноги отрежешь — кому я такой надо? Людей-то ты пожалей, коли меня не жалеешь...  
Доктор задумчиво в который уже раз оглядел темную срубчатую келейку, посмотрел на красную лампадку, теплящуюся в переднем углу, на черные ящики божественных книг, грудой сложенных на лавке под лампадой.  
— Дети у тебя есть, отец?  
— Нету. Никого нету. Было два сына, оба воителями представились.  
— На войне погибли?  
— На войне.  
Доктор опять помолчал, опять поводитил вокруг глазами.  
— Ладно, отец, — сказал он глухо. — Будь по-твоему: помирай человеком...

Приходили люди — свои пекашинские, из окрестных деревень, крестились, бухали на колени, говорили всякие болезные слова — Евсей оставался в забвении. И Егорша, все эти дни безотлучно находившийся при нем, уже начал было думать, что он так и не услышит больше старика.

Но услышал. Услышал, когда поздно вечером в субботу в избенку влез Михаил.

— Вот и дождался я тебя, Миша, — вдруг заговорил Евсей и, к великому изумлению Егорши, даже открыл глаза. — Все люди бензином да вином пропахли, а от тебя дух травяной, вольный. С поля, видно?

— С поля, — ответил Михаил.

— Трудник ты великий, Миша. Много людям добра сделал... А вот одно нехорошо — от сестры родной отвернулся.

— Ну об этом что сейчас говорить.

— Последние часы у меня, на земле остались — о чем же и говорить? Все хочу, чтобы у людей меньше зла было... Ну да с сестрицей-то вы поладите, у меня тут сумнения нету. С Егором помирись...

— Я? С Егором? — Михаил покачал головой. — Нет, давай что-нибудь полегче проси.

— А легкое-то человек и сам осилит. В трудном помогать надо. Помирись, помирись, Миша. Утешь старика напоследок...

Михаил долго молчал. Потом посмотрел, посмотрел на Евсея — тот из последних сил глядел на него — и протянул руку Егорше.

У Егорши слезы вскипели на глазах. Он жадно, обеими руками схватил такую знакомую, такую увесистую руку, но ответного пожатия не почувствовал. И он понял, что примирение не состоялось.

Евсей умер как сказал: в воскресенье на рассвете.

Только солнышка в тот час не было. Пушечные грозовые раскаты грома сотрясали небо и землю, а потом хлынул яростный долгожданный ливень. И набожные старушонки увидели в этом особый знак:

— Вот как, вот как наш заступник! Господу богу престал — первым делом не о себе, об нас, грешных, забота: не томи, господи, людей, даждь им влаги и дождя животворныя...

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Родьке Лукашину три раза давали отсрочку от армии. И все из-за матери, из-за ее здоровья. В последние семь лет Анфиса Петровна редкую зиму не лежала в районной больнице.

В этом году здоровья у Анфисы Петровны не прибавилось, но Родька просто взбесился — весь август один разговор: отпусти да отпусти в солдаты. Надо же ему когда-то белый свет повидать!

И вот Анфиса Петровна поупиралась-поупиралась да в конце концов и махнула рукой: ладно, не буду твою жизнь заедать. Как-нибудь два года промучаюсь.

Родька — огонь парень! — за один день ухлопотал все дела в военкомате и вечером того же дня, дурачась, уже рапортовал матери:

— Разрешите доложить, товарищ командующий. Рядовой подводного флота Родион Лукашин прибыл в ваше распоряжение в ожидании отправки по месту службы... — И вслед за тем, не дав матери опомниться, выпалил: — Так что собирай стол на тридцать первое августа сего года.

— На тридцать первое? — удивилась Анфиса Петровна.

— А чего?

— Да когда у нас в армию-то провожают? В сентябре-октябре, кажись?

— Ну, мам, я думал, ты у меня подогадливей. Верка Пряслина, к примеру, должна быть за столом или нет?

Так вот оно что! — догадалась наконец Анфиса Петровна. Веру Пряслину задумал посадить за стол своей девушкой — такой нынче порядок, непременно чтобы девушка провожала парня в солдаты, а Вере к первому сентября надо в школу в район, вот он и порет горячку.

— А отец-то как? — подумала вслух Анфиса Петровна. — Согласится?



— Дядя Миша? — ухмыльнулся Родька. — Уговорим!

— Всех ты уговорил... Вера-то, не забывай, ученица.

— Ну даешь, Анфиса Петровна! Верка — ученица... Да в проклятые царские времена такие ученицы уже со своей лялькой на руках ходили.

— Ну не знаю, не знаю, — вздохнула Анфиса Петровна. — У тебя все не как у людей. Тридцать первого стол... Да ты подумал, нет, сколько до тридцать первого-то осталось? Три дня. Кто это тебе за три дня стол сделает?

— Сделаешь, сделаешь, маман! — подмигнул Родька. — Ты все сделаешь. В войну самого Гитлера на лопатки положила — разве мы забыли про эту страницу в твоей героической автобиографии?

— Ладно, ладно, — замахала руками Анфиса Петровна, — не подлизывайся. Знаем мы эти разговоры.

Но тут Родька шаловливо, как девку, сгреб ее в охапку, смачно поцеловал в губы, и что она могла поделаться с собой? Растаяла. Об одном только не позабыла напомнить сыну:

— С Пряслиными разбирайся сам. На меня тут не надейся.

— Ты это насчет того, чтобы мама Лиза тормоза дала?

— А уж тормоза не тормоза, а подумать надо. Лиза мать тебе вторая, не позвать — срам, а позвать — что опять с Михаилом делать? Разве сядет он нынче за один стол с родной сестрой?

Родька снисходительно сверху вниз посмотрел на мать и улыбнулся:

— Не беспокойся, маман. Этот вопрос у нас уже подработан. Мама Лиза не придет.

— Как не придет? Откуда ты знаешь?

— Знаю, раз говорю. В общем, так: беседа на эту тему проведена. Есть еще к суду вопросы?

Анфиса Петровна подняла глаза к передней стене, посмотрела на увеличенную карточку Родькиного отца:

— Ну, Иван Дмитриевич, а ты что скажешь? Будем провожать сына в солдаты?

С пятьдесят пятого года, с той самой поры, как пришло извещение о гибели мужа, она во всех важных случаях советовалась с ним. И обязательно вслух, обязательно при сыне: чтобы не забывал, помнил отца.

Михаил выбрался из дому уже после полудня. Не мог раньше. В молодые годы с утра ни разу не бражничал — так неужели сейчас, на пятом десятке, ломать себя? Делов, что ли, в жизни не стало?

А другая причина, почему он со всеми не в ногу, — женушка. Заладила: не пойду, и баста — бульдозером не своротить. «Да ты подумала, нет, какая это обида Анфисе Петровне будет?» — «А мне не обида — дочь родную во грязи валять?» — «Дочь во грязи? Веру?» — «Проснулся! Родька кой год по бабам ходит, баско это — ученица с таким кобелем рядом?» Михаил тут только руками развел: подумаешь, преступление — человек смолоду молод! И вот стружка полетела уже с него: «А-а, дак ты защищать, защищать! Ну ясно, кобелина кобелине глаз не вырвет!» Никак не может забыть Варвару.

В общем, испортила праздник: Михаил тучей выкатился из заулка. Но какая же благодать на улице!

Еще недавно задыхались от жары, от пыли, еще недавно все на свете кляли, когда надо было шастать деревней, — в пепел размолот песок! А сейчас идешь — вроде бы и не та дорога. Ни пылинки, ни порошок. Хорошо поработали недавние ливни. Хорошо промыли землю и небо. И зелень, молодая зелень брызнула на лужайках. Как, скажи, лето заново началось в Пекашине.

А может, еще и гриб какой на бору будет? — подумал Михаил и услышал песню: у Лукашиных пели.

Родька выбежал встречать его на улицу. Грудь белой рубахи расшита серебром, рукава с кружевами, как у девки, пояс металлический, с золотым отливом... Разодет-разукрашен по самой последней моде.

— Ну, брат, я таких и в Москве не видал.

— Стараемся, дядя Миша! — весело тряхнул волосатой головой Родька и закричал: — Музыка!

В распахнутом настезь коридоре разом грохнули два аккордеона, и Михаил так на волнах музыки и въехал в дом.

А дальше все было как по писаному. Было громогласное «ура» в честь опоздавшего, был штрафной стакан — прямо у порога, были расспросы — почему один, где супружница...

Вера не стала дожидаться, когда отца затюкают. Тряхнула косами, вскочила на ноги:

— Песню, песню давайте!

И кто устоит перед ее напором, кого не подымет волна веселья и задора, которая хлынула от нее! Запели все — и молодняк и пожилые, благо всем известна была песня про солдата:

Не плачь, девчонка,  
Пройдут дожди,  
Солдат вернется,  
Ты только жди.  
Пускай далеко твой верный друг,  
Любовь на свете сильнее разлук.

Михаил глаз не мог отвести от дочери.

Не в мать, не в мать, думал. Да и не в меня, конечно. Не умели мы так радоваться. И вдруг, любуясь черными разудалыми глазами Веры, вспомнил Варвару. Неужели, неужели все радости, все муки тех далеких-далеких лет вдруг ожили, проросли в родной дочери?

Михаил перевел взгляд на другой конец стол а, туда, где сидела Лариса со своими подружками. Визг, смех — из-за чего?

Таборский! Когда успел забраться в этот недозрелый малинник? Вроде бы, когда он, Михаил, заходил в избу, его там не было. Но разве в этом дело? Разве не все равно, когда втесался?

В диво другое — соплюхи от него без ума. Лапает, щупает принародно — и хоть бы одна по рукам дала: опомнись, ты ведь в отцы нам годишься!

Не дожدهшься от нынешней молодежи. Вот уж правду каждый день бренчат: поколения у нас в ладу друг с другом.

Ну а Таборский еще, помимо всего прочего, запал молодежи умеет дать. Как Подрезов, бывало. Правда, у Подрезова все от души, от сердца. У того слово — дело. А этот артист. Говорун. И поди разберись, где игра, где дело.

А Петр так и не пришел, сказал себе Михаил, водя глазами по пестрому буйному застолью, и ему вдруг стало не по себе.

Он новым стаканом вина залил тоску.

— Родька, а где у тебя мать? Не вижу.

Родька, как тетерев на току, слышав какой-то непонятный звук поблизости, на секунду поднял рывком голову и снова запел.

...Пили за новобранца, за будущего солдата, за то, чтобы он верой и правдой служил родине, пили за нее, Анфису Петровну, пили за Таборского, пили за Шумилова, председателя сельсовета, за друзей-товарищей — за всех пили, никого не обошли.

А когда же, когда же отца-то вспомнят? — изнывала от ожидания Анфиса Петровна.

Она глаз не сводила с сына, умоляла, заклинала его: скажи! Но разве до отца было Родьке, когда рядом Вера, друзья-товарищи?

И вот кто же догадался сказать про родителя? Александра Баева, старушонка, которая помогала ей угощать гостей.

— Ну тепереча, думаю, не грешно и Ивана Дмитриевича добрым словом помянуть.

И тут Анфисе Петровне вдруг стало так горько, такое удушье подступило к горлу, что она едва добралась и до повети...

Прибегал Родька («Мам, мам, что с тобой?»), прибегала фельдшерица тоже была на проводах, — Таборский, Шумилов заходили.

— Ничего, ничего, отлежусь. Гуляйте на здоровье, веселитесь, — говорила она всем.

И так же она ответила и Михаилу, когда тот ввалился на поветь.

Но Михаила не проведешь.

— Эх и дура же ты, Анфиса, дура! Кажинный день провожаешь сына в армию? Да ведь потом волосы будешь на себе рвать: ах, недоглядела, ах, недосмотрела свое сокровище...

Анфиса Петровна встала. Верно, верно сказал Михаил: настанут такие дни, и скоро настанут, когда она за один погляд на сына согласна будет все отдать, что у нее есть.

Опираясь на Михаила, она вышла с повети в сени и тут увидела Нюрку Яковлеву, пьянущую, чуть не на карачках пробирающуюся

вдоль стены к раскрытым дверям избы. Раздумий не было. Вмиг загородила дорогу:

— Тебе, Анна, нету хода в мой дом.

— В твой дом нету хода? Мне? Это за что же такая немилость?

— А за то, что в чужой дом нахрапом залезла.

— Я залезла?

Анфиса Петровна не стала больше разговаривать — выставила непрошеную гостью на крыльцо, захлопнула за собой двери, да еще и рукой на дорогу указала:

— Уходи, уходи, Анна! Видеть тебя не могу после того, что ты сделала с Лизаветой, а не то что принимать в своем доме.

Нюрка откинула назад голову, захохотала:

— А родню в этом доме принимают? К примеру, когда родной сынок напакостил... Непонятно выражаюсь? Пойди посмотри... Вещественные доказательства налицо...

— Чего мелешь? Какие доказательства?

— А-а, какие... Какие бывают, когда парень брюхо натолкает?..

Она не охнула, не пошатнулась от этих слов — ни минуты, ни секунды не поверила, но и отмахнуться не могла: сплетни, как огонь, в зародыше гасить надо.

— Веди к Зойке! — приказала.

Зойка жила отдельно от матери, в старом колхозном курятнике на задворках у медпункта. При виде нежеланных гостей, переваливших за порог ее маленькой неказистой избенки, удивленно выгнула тонкие подрисованные брови она лежала на кровати, но не встала.

— Проходи, проходи, мамочка званая! — с издевкой сказала Нюрка. — Ну мамочкой не хочешь, а бабкой-то хошь не хошь станешь. Верно говорю, Зойка?

— Загинь, к дьяволу! Налилась опять, нажоралась. Кто тебя звал?

— Да как! Она не верит.

— Чего не верит?

— Не верит, что ейный сынок тебе прививку сделал.

Зойка зло улыбнулась своими тонкими сухими губами, хотела что-то сказать, но передумала и только вяло махнула рукой.

Свет потух в глазах у Анфисы Петровны: на Зойкиной руке она увидела золотое кольцо, и ей сразу стало все ясно.

Господи, господи! Она целое утро сегодня искала это кольцо, все перерыла, перевернула кверху дном, думала, потеряла, а оно вот где, оказывается, — у Зойки на руке...

Зойка что-то кричала матери, мать кричала Зойке, а что? Ничего не слышала, не понимала — чудом выбралась на улицу.

Нет, знал, знал сынок дорогой, что такое это кольцо, какая святыня в ихнем доме. Сто раз рассказывала, как отец подарил его. Родила сына, надо идти записывать в сельсовет, а сыну и фамилии отцовской нельзя дать, потому что мать не в разводе. Ну как тут с ума не сойти! И вот Иван, чтобы хоть как-то успокоить, утешить ее, надел ей на руку это кольцо, нарочно заказывал в городе.

Пятнадцать лет она не снимала кольцо с руки и, конечно, в гроб легла бы с ним, да четыре года назад начали пухнуть пальцы в суставах, и ей волей-неволей с великими муками пришлось его снять...

#### 4

Танцевали, садились за стол, снова танцевали — под радиолу, под аккордеон, на улице, в доме, на крыльце... И так до темени, до тех пор, пока не зажгли свет и не вспомнили про клуб.

И все это время Анфиса Петровна была на ногах, ни на минуту не присела и не прилегла. Нашла в себе силы. Выстояла. Не испортила праздника, не уронила фамилии Лукашиных. И только когда опустел дом, тяжело рухнула на стул к столу.

— Останься, — сказала сыну.

— Ну мам...

— Останься, говорю! И ты, Михаил, останься.

Под окнами заревели, зарычали мотоциклы, крик, смех, визг, затем весь этот шум-гам выкатился из заулка на дорогу и побежал в сторону клуба.

— Ну, сын, доволен проводами? Хороший стол справила мать?

— Спрашиваешь!

— А теперь другой стол будем справлять, — сказала Анфиса Петровна.

— Это в честь чего же? — спросил Михаил с усмешкой.

— А в честь того, что сына буду женить.

Михаил, зевая, устало махнул рукой: давай, мол, в другой раз пошутим. Сегодня и без того веселья было предостаточно.

— А я не шучу, — сказала Анфиса Петровна. — Какие тут шутки, когда криком кричать надо! — И тут она и в самом деле разрыдалась. Прорвало плотину, которую с таким трудом воздвигала. — Он ведь с кем, с кем спутался? С Зойкой-золотушкой. У той брюхо от него...

Михаил круто обернулся к Родьке:

— Это правда?

— Чего — правда? Разведут всякую муть — слушайте.

— А кольцо, кольцо отцовское? Самая дорогая память об отце, а ты... а ты что сделал?

— Да чего я сделал? — вдруг зло засверкал черными глазами Родька, сам переходя в наступление.

Подумаешь, дал поносить... Убудет его? Ну возьму обратно... Сейчас взять? Завтра?

— Гад... Сволочь! — выдохнул Михаил.

— Но, но, потише, потише, дядя Миша! Чья бы мычала, а твоя-то бы молчала. Я еще не дошел до того, чтобы и тетке и племяннице фигли-мигли делать...

— Родька... Родька, что говоришь? — умоляющим голосом простонала Анфиса Петровна.

Ничто не остановило Родьку. Пиджак с вешалки сдернул, дверью бабахнул так, что стаканы забренчали на столе, а на мать даже и не взглянул. И тут Анфиса Петровна опять расплакалась:

— Все, все вложила в него... Ничего не пожалела... Думаю, мы с отцом жизни не видели, пушай хоть он за нас поживет...

— Вот и зря! Этой-то жалостью и испортила парня! — рубанул сплеча Михаил.

— Дак что же по-твоему, хороший человек только в беде родится? Хорошая жизнь человека портит?

— А черт их знает, что их портит!

Михаил забежал по избе. И вообще, у него у самого кругом шла голова: где теперь Вера? что причитает Раиса? Ведь наверняка все Пекашино теперь только и делает, что треплет имя его дочери.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Сережа Постников, сын Фили-петуха, нынешней весной вернувшийся из армии, ровно в полшестого, из минуты в минуту, как договорились, дал гудок.

Михаил, конечно, был уже начеку. Он выбежал из дома, кинулся в мастерскую будить дочь.

— Вставай, вставай, невеста! — с шуткой начал теребить ее. — Женихи приехали!

Вера поднялась, не проронив ни слова. Лицо у нее было бледное, осунувшееся, хмурое, — и он понял: не спала. А ведь вечер, когда он, прибежав от Анфисы Петровны, заговорил с ней о Родьке, виду не подавала, что переживает. Даже оборвала его, когда он стал слегка выгораживать парня дескать, бывает это в молодости, заносит по глупости. «Давай, папа, договоримся раз и навсегда: подлецов не защищать. Хорошо?» — «Хорошо», сказал Михаил и был очень доволен, что все так легко обошлось.

Не обошлось.

Однако утешать и вразумлять дочь было некогда — с улицы один за другим долетали гудки, да и что сказать? Где найти нужные слова?

Кое-чего перехватили, попили чаю.

— Ну, прощайся иди с матерью, — сказал Михаил, но тут Раиса, тягуче зевая, выкатила на кухню сама.

— Говорила я: поезжай, девка, заране, дак нет, на проводы надо...

— Ну ладно, ладно, — замахал жене Михаил. — Опять ты за свое?

— Да как! Уехала бы вчера-то, знаешь, как хорошо! В школу бы пришла вовремя, свеженькая, чистенькая, а то ведь ты носом клевать на уроке-то будешь, а не учиться. Да и опоздаешь еще.

— С чего она опоздает-то? Два часа до района ехать, а сейчас только шесть.

— А дорога-то? Забыл, какая у нас шаса? Да еще машина сломается.

Михаил схватил чемодан и сумку, пошел на выход, потому что все равно жену не переговоришь. Выспалась, подкрепила за ночь силы — кого хошь теперь на лопатки положит.



Из будки весь в сене, сладко потягиваясь, вылез Лыско. Но вдруг увидел свою любимицу, собравшуюся в дорогу, и завыл.

Вера расплакалась, обеими руками обняла пса, бросившегося ей на грудь. Не вчерашняя ли боль и обида выплескивались в этих слезах?

— Давай-давай! Не навек уезжаешь! Вера оттолкнула Лыска, затем бегло, торопливо обняла мать; Раиса обиделась:

— Вот как у нас! Собаку готова съисть, час целый жала, а до матери едва дотронулась.

Сереза сам залез в кузов, чтобы увязать Верины вещи, затем с игривым полупоклоном раскрыл дверцу кабины:

— Прошу пассажиров!

— Нет, я в кузове, — сказала Вера.

— Да почему в кузове-то? — удивился Михаил. — В кабине-то мягче, меньше трясти будет.

Но Вера уже поставила длинную ногу на колесо, потом подтянулась на руках и легко перекинула тело за борт. Сереза обиженно закусил губу, совсем как отец, и Михаил сказал себе: понятно, понятно, и тебе моя девка задурела голову. То-то вчера сам стал навязываться — не надо ли утром отвезти Веру в район?

Грузовик тронулся. Вера встала в кузове во весь рост — второе солнышко засияло над землей, свое, доморощенное, только что омытое слезами. И Михаил смотрел, смотрел на это солнышко да и не выдержал — со всех ног бросился догонять машину. Решил хоть немного проводить дочь. Есть время! До развода еще целых два часа, да если и опоздает на развод, не беда: работа известна ремонт старого коровника. На худой конец, отстучает лишний час после работы.

— Ну как, как, доча? Хорошо?

Машину качало и бросало как пьяную: распсиховавшийся Сереза гнал не разбирая дороги. А Михаил все кричал и кричал Вере, обхватив ее правой рукой, а левой держась за кабину:

— Да улыбнись же, улыбнись! Смотри, какое сегодня утро!

И вот наконец добился своего — когда выехали на Нижнюю Синельгу да впереди увидели Марьюшу, всю раскрашенную осенним

пестрым кустарником, робкая улыбка осветила Верино лицо.

Тут бы ему и проститься с дочерью, тут бы ему и повернуть на сто восемьдесят градусов, тем более что как раз возле нового моста за Синельгу повстречали знакомую попутку из Заозерья. Так нет, давай дальше! Давай с ветерком по Марьюше! А насчет машины чего переживать? Встретили одну, встретим и другую.

Не встретили. Пехом пришлось отмахать семь верст.

Но зря, зря он вгонял себя в пот. Зря разорялся из-за того, что на работу опаздывает. Его напарнички тоже не очень изнуряли себя на трудовом фронте. Сидели под навесом, папироска в зубах и ха-хо-хо да хо-хо-ха!

— Михаил, слышал, у нас два писателя завелось? Он подозрительно стрельнул прищуренным глазом в сторону Филипетуха, обежал взглядом остальных: с какой стороны подвох? что за загадку ему загадывают?

— Да ты что — ничего не знаешь? — с запалом вскинул лысеющую голову Филя. — Начальство из области приехало. Нашего управляющего чесать.

— Его начешешь! — усмехнулся Михаил.

— Вот Фома неверный! Мужики, вру я?

— Правда, правда, Михаил. Виктор Нетесов да Соня-агрономша заявление накатали в область. До ручки, мол, дожили. Принимайте срочные меры.

Михаил опять усмехнулся:

— Хорошо бы! Только Виктор-то Нетесов с каких пор стал на амбразуру кидаться?

— С каких... Разве не слышал, как они сено принимать на Пашу ездили? Таборский: пиши тридцать тонн для ровного счета, а Виктор: нет, тут, на Паше, и в травные-то годы двадцати тонн не было. Вот у них расстыковка и вышла.

— Ясно, — сказал Михаил и полез на коровник: не кричать же во все горло от радости.

Но за работой его снова стали одолевать сомнения, и он едва дождался обеда.

— Ребята, за папиросами хочу сперва забежать! — махнул рукой в сторону сельпо, чтобы объяснить напарникам свой необычный маршрут.

А на самом-то деле порысил к Виктору Нетесову, чтобы от него, из первых рук, узнать все как было.

Виктора Нетесова не зря прозвали немцем. Машина-человек. На работу ни на минуту не опоздает, но и на работе лишней минуты не задержится. Было четверть второго, когда Михаил перешагнул за порог нетесовского дома, а он уж за столом сидел. На гостя посмотрел хмуро, с нескрываемой досадой: дескать, что за пожар — пообедать спокойно не дадут? И Михаил даже растерялся от такого приема.

— Заправляйся, заправляйся, а я покурю тем временем.

На улице с любопытством огляделся: а ну-ко, немец, нрав-то ты свой показывать научился, а чему меня твоя усадьба научит?

Научила.

Перво-наперво деревянные мостки. Невелик труд — от крыльца к хлеву, к сараю, к бане доски перекинуть, а ведь толково. Всегда, в любую погоду, под ногой сухо, и грязи не натащишь в дом. А второе, что он тоже сразу принял на вооружение, — ягодники. В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину — дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода, нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь на нашем бору, а у Виктора Нетесова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черной смородины столько навалило, что кусты ломаются.

В сарае тихонько позвякивало железо — молотком били, — и Михаил пошел туда.

Старик — Илья Нетесов — трудился. А над чем — не надо спрашивать. Железную ограду собирал, чтобы заново, в который уже раз обнести могилы дочери и жены.

Да, так вот. Люди хлопчут о живых — о себе, о детях, о внуках, — а у Ильи Максимовича одна забота: как бы получше устроить могилы дочери и жены. И устраивает. Каждое лето что-нибудь меняет — то столбики, то оградку, то надгробия, нынче специально в город ездил по половодью, гранитные привез.

— Где оградку-то делали? (Старик расширял на наковальне железное кольцо.) Не в леспромхозе? — закричал Михаил.

Илья повернул к нему худое бородатое лицо, заморгал по-детски голубыми глазами.

— Где, говорю, такую шикарную ограду раздобыл? — крикнул он еще громче.

Но в ответ старик только улыбнулся беззубым ртом. Артиллерист, всю войну из пушек палил — ничего ушам не делалось, а умерла дочка, умерла жена — и за один год оглох. Начисто.

Да, вот как бежит время, подумал Михаил. Давно ли еще вся деревня бегала к Нетесовым, чтобы посмотреть на живого победителя, а сегодня этого победителя самого подпорками подпирать надо.

— Пряслин! — подал голос с крыльца Виктор.

— Иду! — живо откликнулся Михаил и, как мальчишка, кинулся к нему. Потом вспомнил, что тот на добрых пятнадцать лет моложе его, и притормозил.

Сели на скамейку под дощатый раскрашенный грибок неподалеку от крыльца, и Виктор первым делом взглянул на свои часы.

— Без двадцати два, — объявил деловито. То есть учти: разговаривать с тобой могу не больше десяти минут.

— Ясненько, — без всякой обиды сказал Михаил.

А чего обижаться? Да надо бога молить, что такой человек в Пекашине завелся. Ведь нынешние работяги что за народ? Утром иной раз на разводе заведутся, начнут анекдоты травить — про всякую работу забыли. А Виктор Нетесов без десяти девять, хоть земля под ним провалилась, заведет свой трактор. А раз один завел, что же остается делать другим?

В общем, Михаил хорошо был знаком с причудами Виктора Нетесова, а потому начал без всякой прокладки:

— Это верно, что вы с Соней-агрономшей письмо накатали?

— Верно, — кивнул Виктор.

— Думаю, не о том, что хорошо живем по сравнению с довоенным? — Михаил слегка подмигнул.

— Не о том. Мы проанализировали наиболее важные показатели пекашинской экономики за последние годы и пришли к выводу, что тут у нас явное неблагополучие...

— Неблагополучие?! — с жаром воскликнул Михаил. — Скажи лучше: бардак!

Виктор выждал, пока Михаил немного успокоился, и все тем же ученым языком (не иначе как наизусть свое письмо шпарит) продолжал:

— В частности, мы подробно остановились на вопросе о кормовой базе как ключевом вопросе всей нашей экономики...

— Ерунда все эти ключевые вопросы! — опять не выдержал Михаил. Ключевой-то вопрос знаешь какой у нас? Таборский! Покамест Таборский да его шайка будут заправлять Пекашином, считай, все ключевые вопросы — одна трепотня...

И вот в это самое время, когда они только-только\* разговорились, Виктор поднялся: вышло время.

Михаил на чем свет стоит клял про себя эту двуногую машину, но что делать? — скорее солнце повернет с запада на восток, чем Виктор изменит себе.

Уже дорогой, заглядывая Виктору в лицо сбоку, Михаил спросил:

— А чего же мне-то не дали подмахнуть свою бумагу? Думаю, лишняя подпись не помешала бы. Мы, бывало, с твоим отцом когда-то одной стеной шли. Дан времена-то тогда какие были!

— У вас с Таборским больно нежные отношения. — Тут Виктор вроде как улыбнулся. — А это, знаешь, всегда лазейка — личные счета сводит...

— Понятно, понятно, Витя! Ну и жук же ты колорадский! Все продумал, все учел, голыми руками тебя не возьмешь.

С похвалой, от всего сердца сказал Михаил, но у Виктора к этому времени кончились последние минуты обеденного перерыва, и он свернул к механическим мастерским, на свой объект, как он любил выражаться.

Михаил на мгновение задумался: а ему что делать? Бежать домой да хоть что-нибудь бросить на зубы?

Пошел на коровник. Можно до вечера потерпеть, можно. Зато когда драка в Пекашине пойдет, а он теперь верил в это, ему не заткнешь с ходу глотку. Не скажешь: «Ты-то чего надрываешься, когда у тебя у самого с производственной дисциплиной минус?»

И тут Михаил еще раз посмотрел на Виктора Нетесова, подходившего в эту минуту к окованным дверям мастерской. Посмотрел нежно, с любовью. А как же иначе? Ведь этот самый Виктор Нетесов, можно сказать, веру в человека у него воскресил.

Да, думал, в Пекашине все исподличались, всех подмял под себя Таборский, а тут на-ко: дай ответ по самой главной сути!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Жизнь Пекашина вот уже сколько лет катилась по хорошо накатанной колее. Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками-стервантами, обзавестись железным коником, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку... А что еще работяге надо?

Теперь вдруг все это отошло, отодвинулось в сторону, вспомнили, что помимо рубля и своего дома есть еще Пекашино, земля, покосы, совхоз.

Разговоры вскипали на работе, за столом, в магазине — везде ООН.

У Пряслиных прения открыла Раиса. Утром, когда пили чай, как указание дала мужу.

— Язык-то там не больно распускай. У Таборского оборона от Пекашина до Москвы.

— Ну уж и до Москвы! — хмыкнул Михаил.

— А как? Сколько раз ты на него наскакивал, а чем кончалось?

— Значит, худо наскакивал. Раиса по-бабьи всплеснула руками:

— Ну-ну, давай! Лезь на рожон. Умные люди будут в сторонке стоять, а ты опять горло драть изо всех сил.

— Да плевать я хотел на твоих умных людей! — Михаил тоже начал выходить из себя. — Умные люди, умные люди! Больно много этих умных людей развелось вот что я скажу. Кабы этих умных людей поменьше было, небось не рос бы лес на полях.

— А раньше не рос, да что с этих полей получали? — без всякой заминки отрезала Раиса.

— Это другой вопрос, — буркнул Михаил.

— Какой другой-то?

— А такой! Ты с четырнадцати лет землю не пахала, не сеяла, дак тебе все равно. Пущай лесом зарастает. А у меня эти поля — вся

жизнь. Понимаешь ты это, нет?

— Что ведь, тако время. В других деревнях не лучше.

— В других деревнях другие люди есть. Иван Дмитриевич Лукашин как, бывало, говорил? Во всей стране навести порядок — это нам, говорит, из Пекашина не под силу, кишка тонка, а сделать так, чтобы в Пекашине бардака не было, — это наш долг.

— Ну наводи, наводи порядок, — вздохнула Раиса. — На войне вырос, месяца без войны прожить не можешь...

— Да чего ты хочешь? — закричал Михаил, уже окончательно выходя из себя. — Чтобы я ни гугу? Чтобы Таборский со своей шайкой еще пятнадцать лет в Пекашине заправлял? Да меня дети мои презирать будут, верно, Лариса?

Лариса — она как раз в эту минуту вошла в кухню — поставила ведро с водой у печи, но ничего не сказала. Это не Вера. Этой отцовские дела неинтересны.

## 2

В это утро на разводе только и разговоров было что о начальстве, которое понаехало в Пекашино. Небывало, неслыханно! Пять головок сразу, да каких! Второй секретарь райкома (первый был в отпуске), начальник районного управления сельского хозяйства, директор совхоза — этих-то, положим, видали, может, только не в таком скопе. А завотделом обкома да главный зоотехник области! Ну-ка, когда, в какую деревню заплывали такие киты?

— Н-да, крепко, видно, клюнул Виктор Нетесов.

— Вот тебе и немец!

— Этот немец научит жить, ха-ха!

— А что, у нас отец, бывало, с войны пришел, об этой Германии много рассказывал.

— Где Виктор-то — не видно сегодня.

— Хо, где Виктор... Виктор теперь на самом юру. С директором совхоза да с начальством из области на Сотюгу поехал.

— Насчет сена?

— А насчет чего же? Коров-то тема тоннами, которые у Таборского на бумаге, кормить не будешь.

— Ну на этот раз за Таборского взялись.

— Вывернется! Не впервой.

— Не знаю, не знаю. Шуруют по всем линиям. На скотных дворах были, на телятнике были. А сегодня с Соней-агрономшей в навинны собираются.

— Да ну?!

— Да ты понимаешь, нет — из самой области приехали! Когда это было?

Филя-петух, когда плотники, работавшие на ремонте коровника, после развода потащились к болоту, дорогой попризадержал Михаила, оглянулся на всякий случай по сторонам и под большим секретом (у Филя всегда секреты) сообщил:

— Вчерась, говорят, уж кое-кого вызывали.

— Куда вызывали?

— В совхозную контору. К начальству приедем.

— Ну и что?

— Да ничего. Я думаю, раз в разрезе всей жизни пашут, дак тебя перво-наперво спросить должны.

— Спросят, когда дойдет очередь, — отмахнулся Михаил, хотя сам-то в душе был того же мнения. С сорок второго года в сельском хозяйстве вкалывает — кого и спрашивать как не его!

Однако не спрашивали.

В томлении, в постоянных поглядах на деревню (вот-вот запылит оттуда уборщица) прошел один день, прошел другой. Забыли про него? Таборский, его дружки постарались?

Михаил пошел в контору сам. Прямо с работы, когда кончился рабочий день.

Поговорили...

Три часа без мала молотили. Всю пекашинскую жизнь перебрали, всем главным отраслям пекашинской экономики обзор дали: животноводству, полеводству, механизации. А к чему пришли? Кто виноват в том, что в Пекашине все идет через пень-колоду? А Михаил



Пряслин. Потому что с сорок второго года как сукин сын вкалывает. Бессменно.

Конечно, никаких «сукиных сынов» не было, это он уж сам сейчас, выйдя из конторы, на ходу краски навел. Вежливенько встретили: заходи, заходи, товарищ Пряслин! Тебя-то нам и надо. И вежливенько разговаривали. Без крика, без стука кулаком по столу, это вам не подрезовские времена.

А по существу? А по существу оглоблей по башке.

— Как же вы допустили, товарищ Пряслин, до такого развала ваше хозяйство?

Да, так вот поставил перед ним вопрос Копысов, заведомо обкома, и поначалу у него голова пошла кругом, язык заклинило. А потом вдруг такая ярость накатила, пошел крушить направо и налево:

— Дак вы что же — Таборского выгораживать? Его шайку? За этим сюда приехали?

— Спокойно, спокойно, товарищ Пряслин. С Таборского мы спросим, не беспокойтесь. Ну а вы, вы лично несете ответственность за положение дел в Пекашине? Вы использовали свои права хозяина?

— Какие, какие права? Хозяина?

— А вы не знали, что рабочий человек у нас хозяин?

И вот пошли и пошли свою ученость показывать. Ты ему из жизни, из практики — дескать, когда колхоз был, хоть на общем собрании можно было отвести душу, а сейчас что?

— А сейчас что, советская власть у вас отменена?

И так, о чем бы ни зашла речь. В общем, нечего, дорогие товарищи пекашинцы, все валить на дядю, когда сами во всем виноваты.

А может, и виноваты? — вдруг пришло Михаилу в голову. Может, потому все и идет у них через пень-колоду, что они сами колоды лежачие?..

На деревне уже зажгли огни. И у Калины Ивановича тоже огонь был в окошке. Надо бы зайти поведать старика, подумал Михаил, но зайти нетрудно, да как выйти. Начнется разговор, начнется кипенье, а старик и так на ладан дышит. В восемьдесят с лишним лет плохо рысачить.

К Петру сходить? С ним потолковать, отвести душу? И вообще, сколько еще обходить друг друга? Братья они или нет?

Но внезапно вспыхнувший порыв как-то сам собой погас, и Михаил пошел домой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Целую неделю ждали, гадали: что будет? Чем закончится нынешний наезд начальства?

Таборский не кочка на ровном месте, с ходу не сковырнешь. Крепкая у него корневая система. До района разрослась. Да и не только до района. Племянник в области какой КП занимает — неужели будет смотреть, как дядю бьют?

А кроме того, Таборский и сам не сидел сложа руки. Против него бумажной войной пошли, а разве сам он не умеет играть в эту игру? Полетело письмо в район и область. От имени народа. Тридцать семь подписей. Тридцать семь человек взывают к районным и областным властям: оставьте нам Антона Табор-ского! Пропадем без него, жизни не будет в Пека-шине...

В общем, было из-за чего покипеть, поволноваться в эту неделю.

И вот наконец узнали: Таборского сняли.

— Да ну?! — Михаил (он пил чай после бани) просто подскочил на стуле, когда Филя-петух влетел к нему с этой новостью.

— А новым-то управляющим знаешь кого назначили? Виктора Нетесова.

— Мати! — завопил Михаил. — Давай пятак на бутылку!

Раиса со вздохом покачала головой:

— Господи, и когда только ты поумнеешь! Как малый ребенок. Сколько на твоём веку этих председателей сымали — не пересчитать, а ему все заново, все как праздник. Целую неделю теперь будет приглядываться да принюхиваться.

— Давай-давай! Потом доклады.

Михаил не стал допивать стакан. Торопливо вытер полотенцем мокрое, зажарившее лицо (после бани он всегда пьет чай с полотенцем на шее), надел праздничную рубаху, а затем надел и новый костюм,

который подарила Татьяна: да, праздник у него сегодня, и он не скрывает этого!

Ха-ха-ха! Когда поумнеешь, когда перестанешь разоряться из-за того, дурака але человека в управляющие назначили?..

А никогда! Всю жизнь!

За сорок четыре года он усек твердо: каков поп, таков и приход.

В самые худородные, в самые тугие времена Лука-шин поворот колхозу дал. А почему? А потому что твердо на ногах стоял, потому что не гнулся, как лоза, при всяком ветришке сверху, не был кнопкой, которую надавили — и запела. И он, Михаил, не раз удивлялся, никак в толк взять и сейчас не может, почему этого, часто не понимают те, кому положено понимать, кто за это деньги получает.

Правда, насчет Виктора он сам промашку дал. Не разглядел. Давно бы надо шумнуть, давно бы надо во все колокола бить: Нетесова на отделение! А он не то чтобы недооценивал его, а все как-то с усмешечкой поглядывал. Потому что больно уж все заковыристо у него, все из стада вон. То пикники какие-то, чай на природе придумает — с женой да с дочкой в выходной день за деревню на лодке катит, то опять насчет кино заведет городские порядки. Раньше, к примеру, с этим кино и думушки ни у кого не было: когда наберут пятаков более или менее подходяще да когда киномеханик более или менее на ногах держится, тогда и начнут крутить (и в девять и в десять часов — когда как придется). А теперь нет: ровно в девять из тютельки в тютельку — такой закон на сессии сельского Совета принят. И уж будьте-нате — депутат Нетесов сумел вколотить этот закон всем: целый год без передыху на каждое кино выходил.

Подтянет, подтянет Виктор подпруги, думал Михаил, размашистым шагом шагая с посоловевшим Филей, который, пожалуй, на радостях малость перебрал.

В конторе, как в старые колхозные времена, полным-полно было народу. Дымили сигаретками, перекидывались шутками, скалили зубы, а на прицеле-то у всех был он, новый управляющий: как-то покажет себя? с чего начнет? кому выдаст серьгу, кому хомут? Бывало, в колхозные времена, когда новый человек за председательский стол садился, это целый спектакль. Тут тебе и всякие посулы и обещания райской жизни, тут тебе и зажигательные призывы, тут тебе и гроза. А

иной раз и бутылка. Был такой у них один чувак — с братания, то есть с повальной пьянки начал свое правление.

От Виктора Нетесова ничего такого не дождалось. Сидел за столом, подписывал какие-то бумаги, передавал бухгалтеру, кладовщику, а на то, что в конторе продыху нет от людей, ноль внимания.

И все-таки спектакль был.

— Михаил Иванович, давай-ко поближе.

Все сразу примолкли, притихли: ну, какой пост сейчас отвалит Пряслину? чем вознаградят за многолетнюю войну с Таборским?

Михаил наспех вдавил в пепельницу сигарету, весь подтянулся, только что не строевым шагом двинул к столу.

— Что скажешь, Михаил Иванович, если за тобой) закрепим конюшню?

Михаил не успел еще и сообразить что к чему, а уж кругом — ха-ха-ха! го-го-го! И добро бы потешались, глотку надрывали его недруги, скажем такой прохвост и жулик, как Ванька Яковлев, первая опора Таборского среди механизаторов, а то ведь и Филя-петух блял, и Игнат Поздеев зубы напоказ.

И напрасно Виктор пытался доказывать, что без коня им никуда, что конь в условиях Севера незаменим, — не помогло. Потому что что такое конюх сейчас, в машинный век? А самый распоследний человек в деревне, вроде Нюрки-пьяницы. Да если говорить откровенно, конюху и в старые, колхозные времена не ахти какой почет был. Зимой трудовая повинность — всех в лес от мала до велика, а на конюшню какого старичонка сунули, и ладно. Лошади не коровы. Сена охапку бросил, к колодцу сгонял — вот тебе и весь уход.

Михаил не дал согласия. Но и отказываться наотрез не отказывался. Нельзя было принародно. Сам сколько лет кричал: долой Таборского, дайте другого управляющего, а дали — и задом к нему? А второе — Нюрка Яковлева опять загуляла: лошади с утра не поены, не кормлены. И Виктор Нетесов так ему и сказал под конец: мол, не настаиваю, только хоть сегодня оприют, а то ведь они с утра караул кричат.

За стеной урчал трактор, глухо постукивали моторами утомившиеся за день грузовики, звенькала наковальня в новой кузнице, матерная ругань доносилась с зернотока, где, судя по голосам, Пронька-ветеринар сцепился с доярками... Все слышно, что делается вокруг — впритык старая конюшня к хозяйственным постройкам. И все-таки тут была тишина. Особая, лошадиная тишина с хрустом травы, с пофыркиваньем, с перестуком копыт, с сытым урканьем голубей под дырявой крышей...

Михаил — после раздачи корма он отдыхал на старом ящике из-под гвоздя — затоптал сапогом окурков, недобрый взглядом покосился на балку над головой, белую от голубиноного помета. Беда с этой птицей мира. Житья от нее нету. Все загадила, все запакостила. И все законы природности под себя подмяла. Слыхано ли когда было, чтобы круглый год без передышки плодилась? А теперь так — зимой свадьбы, особенно в таких теплых помещениях, как конюшня и коровник. И уже Таборский, сказывают, на каком-то совещании не то в шутку, не то всерьез брякнул: важный мясной резерв не учитываем.

Вот и все, думал Михаил, покусывая стебелек травинки. Как начал свою жизнь с лошадей, так и кончаю ими.

Ужас, ужас это — загнать себя на конюшню. Все на тебе поставят крест: люди, жена, дети. Кличка до скончания века Мишка-конюх, и кончится все тем, что и сам конягой станешь. Одичаешь. А с другой стороны, если он откажется, конец бедолагам. Так и не проживут никогда по-человечески. Потому что кто, какой стоящий человек пойдет сегодня в конюхи?

Задумавшись, он не сразу услышал, как на другом конце конюшни заскрипели старые ворота.

Вера! Он по шагам узнал ее.

Он быстро вскочил с ящика, на котором сидел: ну сейчас бурей налетит на отца — целую неделю не виделись.

Не налетела. Подошла тихонько, кивнула:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, — ответил Михаил и спросил прямо: — Крепко ругается?

— Ругается.

Он так и знал: материна работа. Мать довела девку чуть ли не до слез, на чем свет ругая его.

— Ну а ты что скажешь?

— Я за.

— Что — за? — Михаил вдруг вспыхнул, закричал: — За, чтобы над отцом твоим все потешались, чтобы тебе проходу не давали: «Верка конюхова идет»?

— Ну и пускай не дают... Да конь лучше всякой машины! Вот Коня-то кликнешь — он к тебе сам бежит... А помнишь, папа, как мы с тобой Миролюба объезжали?

— Не подлаживайся. Это ведь ты коня-то почему расхваливаешь? Потому что отец в конюхи попал.

— Ну да!.. Да я когда вырасту, сама себе коня заведу!

— Может, и заведешь, да только железного.

— Нет, не железного, а живого!

— В частном пользовании иметь лошадь у нас не положено.

— Почему?

— Почему, почему. Закон такой.

— Ерунда! Машину иметь можно, а лошадь нет?

Вера вызывала его на спор. Черные глаза сверкают, голова откинута назад. Заядлая спорщица. И революционерка. Все бы давно уже переделала, кабы ее воля.

Михаил, так ничего и не решив, сказал:

— Пойдем-ко лучше домой. Нам с тобой еще наступление материно отбить надо.

— Ой, папа, я и забыла! Дядя Петя приходил. Калину Ивановича надо нести в баню.

### *Из жития Евдокии-великомученицы*

Калина Иванович любил попариться. Сам худущий, в чем душа держится, а жару дай, чтобы каменка трещала, чтобы с ужом, чтобы веник вращал, а зимой так еще и с вылетом в снег.

Сегодня старик на полку не был.

— Воздуху, воздуху нету...

И вот Михаил с ходу обмыл-оплескал маленько, бельишко свежее натянул и в сенцы — с рук на руки поджидавшему Петру. Как малюго ребенка.

Сам он тоже не стал размываться: Петр первый раз выносит старика из бани, мало ли что может случиться.

Но, слава богу, все обошлось благополучно.

Когда он втащился к Дунаевым, Калина Иванович уже немножко отошел — с открытыми глазами лежал на кровати. И в избе праздник: стол под белой скатертью, самовар под парами и, мало того, бутылка белой. Неслыханное дело в этом доме!

Михаил с удивлением глянул на хозяйку, тоже по-праздничному одетую, спросил по-свойски:

— Ты ради чего это, Дуся, сегодня разошлась?

— Сына в этот день убили, — ответил за Евдокию Петр.

— А-а, — понимающе сказал Михаил. — Поминки по Феликсу.

Сели за стол. Евдокия сама налила в рюмки, одну рюмку поставила рядом с собой — для сына (так нынче в Пекашине поминают убитых на войне), первая выпила и сразу же в слезы:

— Ох, Фелька, Фелька... Не видал ты в жизни, не спознал радости. Что тебе пришлось перенести, вытерпеть, дак это ни одному святому не снилось...

— Ты не разливайся, а толком говори, раз заговорила, — сказал Михаил.

— Чего толком-то? Первый раз слышишь?

— Я-то не первый, да он первый. — Михаил кивнул на брата.

— И он не в иностранном царстве родился. Слыхал, какие времена были. Я говорю: откажись, парень, от отца, пропадем оба (тогда ведь тем, кто от отца отказывался, послабление давали). «Нет, мама, не откажусь. Ни за что не откажусь». И вот два года все как от чумы от нас шарахались. Кто с испугу-перепугу, кто от вони. Я ведь сортиры выгребала: для меня другой работы нету. Весь город обошла, во все конторы стучалась. Вечером-то домой прихожу, меня сын первым делом: «Мама, мойся. Я воды горячей нагрел». Говорю, вся сортирами пропахла, и он пропах — в школе никто за парту за одну не садится. А какой водой отмоешься? Ну нашелся добрый человек, подсказал: уезжайте вы, бога ради, отселева. Поехали. В Карелию. В самую распоследнюю дыру — может, там люди есть? Ну, тут зачалась

война — ожили. Да, все кругом кричат, вся земля воем воеет: война, война... а мне война, грех сказать, послабление. Меня на работу взяли. В военную часть белье стирать. Ну я ломила, ох ломила! — Евдокия показала свои изуродованные, развороченные ревматизмом руки. — Это вот от стирки, коряги-то. По двадцать часов сряду в сырости стояла. Забыла, что на руках и кожа бывает. Да, два вклада вношу: за отца и за сына. Рада, что до работы допустили. Белье стирать — все не сортиры чистить. И Фелька рад-радешенек — на войну взяли. Да, раз приходит ко мне на работу днем, улыбается. Что ты, говорю, Фелька, с работы середь дня ушел — грузчиком на станции робил, — ведь тебя засудят. Забыл, что война у нас? «Не засудят. Я проститься пришел, мама. На фронт ухожу». Как на фронт? Семнадцати-то лет на фронт? «А я добровольцем, мама». Оказывается, он только и делал целый год, что заявленья в военкомат носил. Взяли. Разрешили помирать. «Мама, говорит, сын Калины Дунаева... — Евдокия заплакала, — мама, говорит (да, так слово в слово и сказал), сын Калины Дунаева завсегда, говорит, первым будет. Запомни это, мама, и всем другим скажи. Я, говорит, докажу, что у меня отец не враг...» Все верил в отца, все говорил — придет правда... Он, он сгубил парня! — вдруг истошно закричала Евдокия и вся затряслась в рыданиях.

Он — это, конечно, Калина Иванович, который у Евдокии за все был в ответе: и за то, что было, и за то, чего не было.

Обычно Калина Иванович не терпел понапраслины. Негромко, без крику, но ставил на свое место супружницу, а сейчас даже глаз не открыл. Задремал? Худо опять стало? Не нравился он сегодня Михаилу. Когда это было, чтобы Калина Иванович от рюмки отказался, а тем более после бани? А сегодня капли внутрь не принял, только по губам помазал.

— Из-за его, из-за его Фелька сунулся добровольцем. Ребята, годки его, на год после пошли, сейчас которы живы...

Михаил строго прикрикнул на Евдокию, которая головой билась о стол:

— Не сходи с ума-то! У нас отец с войны не вернулся, по-твоему, я виноват? Парень, понимаешь, жизнь за родину отдал, а ты понесла черт те что...

— Не защищай, не защищай! Весь век я у вас виновата, весь век жизнь ему заедаю, а разве я жила? Я весь век у его заместо лошади.



Через всю жизнь на мне проехал. Он помрет — ему слава, ему памятники, а мне чего? А меня ты же первый обругаешь да облаешь... — Евдокия вытерла рукой мокрое от слез лицо. — Война замирилась, все стали устраиваться, то-се, вить гнездо заново — а я не могла? Ко мне подвернулся человек, свой дом полная чаша, холостой, не пьет... Эх, думаю, брошу все, еще сорок лет, хоть немного, хоть год да как люди проживу. Нет, пошла искать его. Думаю, как же я на себя задумала? Феликс-то, сын-то, что бы мне сказал? Перед евонной-то памятью я какой ответ — держать стану? Был у нас в части полномоченный из особого отдела, которые людей судят. Хороший мужик, все у меня белье стирал, знал, что я жена врага народа. Вот я думала-думала, давай схожу к нему. Искать мужа надо, а где? Ни одного письма не было. Пришла. Так и так, говорю, Василий Егорович, ты видел, как я в войну робила, кожа на руках по месяцам, по неделям не зарастала. Пособи мужа найти. Не ради, говорю, его самого, ради сына. «А как же, говорит, я тебе помогу, раз, говорит, права переписки лишен? Большая у нас, говорит, страна, не пойдешь же от лагеря к лагерю». Пошла...

Михаил уже не первый раз про это слышит, не первый раз Евдокия принимается при нем рассказывать про свои хождения по мукам, и пора бы, кажись, привыкнуть. А нет, только произнесла это простое, такое обыденное слово — пошла, которое на дню каждый десятки раз произносит, и сдавило горло, стало нечем дышать.

— Нет, нет, — взмолилась Евдокия, трясая головой, — не могу. На том свете отчета потребуют, что видела, где была, — Не сказать. Тут кою пору старая фадеевна стала говорить (по обвету пешком в молодые годы в Соловки, к Зосиму да Савватию, тамошним угодникам, хаживала) — не плети! Из ума выжила. А я-то ведь всю Расеюшку, всю Сибирь наскрозь прошла-проехала. Да тайно. Чтобы комар носу не подточил, чтобы никто и не подумал, зачем я от лагеря к лагерю шастаю. Глаза-то у начальства как прожектора — так и рыщут, так и рыщут, все видят, ошупом тебя ошупывают. И со своим братом, с вольняшками, с наемными, не проговорись. Я во сне тараторю — не сыпала с открытым ртом, все платком на ночь рот перевязывала. А как по морю-то, по окияну-то на Колыму попадала, дак это аду такого нет. Кишки наружу выворачивало. Нет, нет, опять замотала головой

Евдокия, — меня хоть золотом озолоти, не рассказать, где была, чего видела. Во сне приснилось.

Калина Иванович, шумно, тяжело дыша, подал с кровати голос:

— Воздуху бы мне...

— Какой тебе воздух-то? У меня труба открыта с утра, а окошко и дверь нельзя — живо прохватит.

Михаил, чтобы хоть как-то приободрить старика, сказал:

— Про Колыму говорим... Не забыл еще, как тебя жена из ямы вытягивала?

— Да уж верно что из ямы, — сказала Евдокия. — Я попервости на эту Колыму попала, нарадоваться не могу.

— Понимаешь, — Михаил живо кивнул Петру, — разыскала!

— Да, легче было иголку в зародке сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут — он. По буденовке узнала. Все идут одинаковы, все в ушанках, все в бушлатах, а он один — шишак в небо. Сердце екнуло: мой. Едва на ногах устояла. А потом неделя проходит, другая проходит — нету. Не видать буденовки. Опять с ума сходи, опять попытка: жив ли? помер? Тогда ведь этих зэков мерло, как мух. На этап угнали? Думала, думала, открылась сестре из лазарета. Хорошая женщина, из Ленинграда, сама десять лет отсидела. Так и так, говорю, Маргарита Корнеевна, закапывай живьем в землю але помогай. Ты в зону доступ имеешь, узнай — что там с моим мужем Калиной Дунаевым? «С Калиной Дунаевым? — говорит. — Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит, не сегодня-завтра помрет. Понос, говорит, у него кровавый».

О господи, господи! Сколько лет искала, сколько мук приняла — и все напрасно, все ради того, чтобы узнать: муж помирает. Нет, нет, землю переверну, небо сокрушу, а не дам мужу умереть. Все сделаю, на все пойду, сама себя живьем закопаю, по косточке воронам отдам, а спасу мужика! А спасенье-то, господи... в стеклянной баночке из-под компота стояло. У кладовщика. В каптерке на окошке. Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть. А рису нигде не было ни зернышка. Только у кладовщика был, да и то с какой-то стакан в этой компотной скляночке. Весна была, старый привоз израсходован начисто, а новых пароходов когда дождешься... Пошла к кладовщику. А кладовщик рожа красная был, издеватель. И уж как он надо мной не

измывался, чего не говорил — рот не откроется, чтобы все сказать. А тут еще в это время сам начальник в каптерку влетел. Увидел меня не в положенном месте — две морды из охраны свистнул, на допрос. Ну тут уж я не запиралась. Все рассказала как на духу и про себя, и про сына, и про Калину — один лешак, думаю, помирать. И вот чего, бывало, про этих начальников не слушаешься, чего не наговорят, а были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти нам письма писал. Он, он спас Калину. Насмотрелась, навидалась я за те годы всякого народушку — и зверья лютого и святых вживе видела.

В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Калина Иванович. Потом его дыхание заглушил дождь, со всхлипами, со стонами забарабанивший в рамы. Петр подошел к левому окошку, у которого в погожие вечера любил посидеть Калина Иванович, уткнулся лбом в холодное стекло, а Михаил смотрел-смотрел прямо перед собой и вдруг потянулся к водке: может, от нее, стервы, полегче станет?

Евдокия, уже хлопотавшая возле мужа, спросила:

— Чего так за воздух-то грабишься? На дождь, наверно?

— Свет зажгите...

— Чего? Свет? — Евдокия переглянулась с Михаилом и Петром. — Да у нас когда электричество пылат.

— А у меня ночь в глазах...

— Дак, может, «скору» вызвать? Калина Иванович долго не мог отдышаться, в горле у него булькало, потом все услышали:

— Спойте мою песню...

Тут уж Михаил и Петр посмотрели друг на друга: неладно со стариком. Да и кому пойдет на ум песня после того, что тут только что рассказывалось?

Евдокия первая запела. Правда, не с начала, через рыданья, но запела:

Эх, конек вороной, передай, дорогой,  
Что я честно погиб за рабочих...

Да, так всегда, всю жизнь: ругает, на все лады клянет мужа, а что ни скажет тот, все сделает, на край света пойдет за ним.

Петр, давясь слезами, тоже начал подтягивать, а потом переломил себя и Михаил.

Когда под потолком растаял последний звук песни и стало снова слышно, как за окошком всхлипывает дождь, он спросил:

— Хватит одного раза але еще спеть?

Ответа не было.

Он подошел к кровати.

Калина Иванович уже не дышал. Жизнь, может, сколько-то еще теплилась в широко раскрытых глазах — в них, показалось Михаилу, было еще что-то от света. Как знать, может, Калина Иванович, вслушиваясь в слова любимой песни, последний раз видел отблески того великого зарева, в пламени которого он входил в большую жизнь.

Михаил подождал, пока глаза старика совсем не потускнели, и закрыл ему веки.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Таких похорон в Пекашине еще не бывало. Впервые гроб с телом покойного, весь заваленный цветами, венками еловыми, перевитыми красными лентами, венками жестяными, поролоновыми — всякими, — был выставлен посреди клубного зала.

Но и это не все. Приехала специальная воинская часть с медным, до жара начищенным оркестром, с новенькими поблескивающими автоматами (то-то было разглядев и разговоров у ребятишек и мужиков), приехали делегации, как это в газетах сообщают, когда хоронят знатного человека, — из области, из района, из леспромхозов. А уж сколько простого люда собралось, дак это и не сосчитать. Своя деревня, конечно, высыпала вся от мала до велика, но и соседние деревне пришли да приехали чуть ли не всем гуртом.

Местные, свои, чувствовали себя неуверенно — как и что делать на таких похоронах? Когда своего деревенского хоронят — мужика, старуху там или еще кого, — просто: вой, реви во всю глотку, и ладно.

А тут?

Солдаты, brave, с иголки одетые, брякают ружьями, музыка, какой многие сроду не видали, — все эти трубы серебряные, тарелки раззолоченные... И вот одни намертво заморозили себя, истуканам стояли, а другие молча, как затяжной дождь, обливались слезами.

Михаил — он с ног сбился в эти дни — и гроб с Петром Житовым колотил (тот впервые, наверно, за два года трезвый был), и пирамидку сооружал, тело обмывать да наряжать помогал, и еще могилу копал.

Сколько он этих могил на своем веку выкопал! Десятки, а может, даже сотни. С четырнадцати лет, с сорок второго года начал заниматься этим делом. В обычное время работа как работа, а были годы — страшно сказать, — когда даже рад ей был. Потому что в самый лютый голод в дом, где покойник, что-нибудь подкидывали из колхоза, из магазина, а значит, и сам худо-бедно подкормишься, да иногда еще какую-нибудь картошину, какую-нибудь хлебную кроху дом принесешь ребятам. Зато уж в мороз, в стужу крещенскую все проклянешь на свете: на полтора, на два метра земля промерзла, все ломом, все кайлом. Взмокнешь так, что пар идет.

В общем, привычно было для Михаила могильное дело, можно сказать, спец в этом деле был, а сегодня лопата в землю не лезла: трясутся руки, и все. Из-за этого, между прочим, да из-за пирамидки — красной краски, в последнюю минуту выяснилось, в сельпо нет — он и на траурный митинг опоздал, так что когда вошел в клуб, главные ораторы уже выговорились, пионерия свой голосишко пробовала.

Шумилов, новый председатель сельсовета, не успел он перевалить за порог, замахал рукой: сюда. А когда он, горбясь, приседая на носки, подгреб к изголовью — там табунилось все приезжее начальство да местная знать, сказал:

— Становись в почетный караул.

Суса-балалайка — она по старой памяти повязки красные с черной каймой крепила — пришла в ужас: как? в таком виде — в кирзовых, перепачканных землей сапожищах, в мятом-перемятом пиджачонке (не в параде же рыть могилу!) — и в почетный караул?

Но Михаил встал. Встал в голову, неподалеку от стула, который был специально поставлен для Евдокии. Но Евдокия отказалась сесть. Она будто бы сказала:

— Всю жизнь перед ним стояла, дак неуж у гроба буду сидеть? В последний прощальный час...

Вот тут Михаил впервые за последние два дня разглядел более или менее Калину Ивановича. Усох, нос выпер во все лицо, на верхней губе царапина (Петра подвела рука — он брил покойника), щеки и рот провалились (забыли вставить зубы, пока еще не заоченел совсем)... И Михаил, скошенным глазом водя по лицу старика (сам-то он стоял как вкопанный), подумал: да неужели это тот самый человек, который когда-то один монастырь с мятежниками взял?

Но со стороны Калина Иванович на своем красном помосте выглядел внушительно, и тут надо благодарить Петра Житова. Он, Петр Житов, забраковал первую домовину, которую начал было Михаил кроить у себя в сарае. Смерил хмурым взглядом длину уже заготовленных, распиленных досок, перевернул одну, другую и плюнул:

— Ты думаешь, кого хоронишь?

В общем, пошли на пилораму, выбрали из груды бревен толстенную листовницу (очень устойчива к сырости), распилили и такую гробницу отгрохали — ахнешь!

Гроб попервости хотели везти на партизанское кладбище на грузовике, тоже обитом красным сатином, — тут, наготове, у крыльца клуба стоял, — но Михаил запротестовал:

— Да что вы, господи? Неужели такого человека да на руках не снесем?

И вот подняли красный гроб на плечи, взмыл в последний раз Калина Иванович над толпой. И все было как положено, все на самом высоком уровне: венки, музыка, воины. Только вот когда Суса опять по старой привычке команду подала: «Ордена и медали вперед!» — вдруг обнаружилось, что ни орденов, ни медалей у Калины Ивановича нет.

Вышла заминка, всем стало как-то неловко, не по себе.

Шумилов, новый председатель, спасибо, нашелся:

— Вынести знамена вперед.

Суса — она все законы, все правила знала — строго замахала руками:

— Нельзя ведь. Не положено.

— А я говорю, вынести знамена вперед! — Шумилов не прокричал, в трубу протрубил. — Все! До единого! Какие есть в клубе и в деревне!

И молодежь наперебой бросилась исполнять его приказание. И лес красных знамен взметнулся впереди гроба, по сторонам, и Калина Иванович так в этом красном полыхании и поплыл на партизанское кладбище.

У могилы опять говорили речи. Но тут слушали уже вполуха — большое начальство отговорило, а от таких орателей, как Суса, и так давно с души воротит. А главное, все — и малые и большие — ждали, когда солдаты дадут залп.

И вот когда стали гроб опускать в могилу, двадцать пять автоматов разом разрядили.

Сверху, с сосен, зеленым дождем посыпалась хвоя, золотые гильзы полетели в разные стороны, и тут не обошлось без конфуза: старушонки (эти теперь везде первые — и на праздниках и на похоронах) подняли панику, заорали: «У-у, убьет!» — а потом вместе с ребяташками кинулись загребать гильзы.

Михаил (он опускал гроб на веревке в могилу) тоже накрыл одну гильзу сапогом: решил взять на память.

Напоследок, уже когда могила была зарыта и вся завалена венками, запели «Интернационал». Но запели как-то неумело, недружно, а когда над головой вдруг вынырнуло солнце, тогда и вовсе умолкли.

Да, три дня не было солнца, три дня все вокруг было затянуто непроглядным осенним обложником, а тут вышло — встало в караул.

На поминки из-за Евдокииной тесени позвали только начальство (и то не все, а приезжее) да тех, кто делал гроб да копал могилу (этих не позвать скандал), а все прочее народонаселение, пожелавшее почтить память Калины Ивановича на общественных началах, то есть в складчину, собралось у Петра Житова: у того просторно, кухня да передняя — как зал, на всех места хватит.

Начальство попервости чувствовало себя неловко. Никак не ожидали, что в такой скудости жил покойник, которого только что возносили до небес. Да и хозяйка на всех тоску черную наводила.

Евдокия за эти три дня стала старухой — вот что значит из человека вынуть душу. А из нее вынули. Кляла, ругала всю жизнь мужа, а что без него? День без солнца, ночь без луны.

В общем, если бы не Раиса да не ее обходительность — хоть беги из Дунаевского дома. Потому что Евдокия как села к печи у рукомойника, так и сидела. Ничего не видела, ничего не слышала. Только время от времени вздрагивала всем телом да коротко вскрикивала: ой!

А Раиса (она подавала на стол) одному ласковое словцо сказала, другому (умеет, когда захочет) — смотришь, и поуютнее на душе стало (все люди), а потом, когда стопки две пропустили и вообще пришли в норму, кое-кто даже глазом за Раису цепляться стал. В черном, как положено, вся в черном, да разве бабью красу тряпкой укроешь?

Михаил — они с Филей-петухом, да с Ваней-трактористом, да с Ванечкой-механизатором (так называли Ивана Рогалева да Ивана Яковлева меж собой) сидели на озадках, почти у самых дверей — все ждал, когда начнутся разговоры. Большие мужики собрались, а поминки настраивают, — даже у ихнего брата, работяг, иной раз бывает, костры загораются, — но нет, ничего особенного не услышал. Не раскачались еще? Время не подошло?

А его товарищам и дела до всего этого не было. Начальство само по себе, по своим свычаям-обычаям поминает, а мы по своим. Опрокинули один стакан, опрокинули другой, и пошла беседа: какой в этом году будет осенний полаз у семги, удастся ли освежиться, удастся ли хоть раз пошарить в Пахиных владениях.

Михаил не пил. Он только пригубил, когда сказали: да будет покойному земля пухом. Не мог пить. Не такие сегодня поминки, когда вино само рот ищет. Все ему не по себе было. И то, что на поминках все люди, которых он ни разу у живого Калины Ивановича не видел, и то, что у Петра Житова за дорогой уже запели (черт знает что за порядки пошли — на похоронах петь!), и то, что Таборский опять выпередился.

В клубе да на кладбище на глаза не лез — сгинул, сквозь землю провалился. Не у дел. Калина Иванович не жаловал, а Евдокия, та и вовсе терпеть не могла, просто отворачивалась, просто крестилась, когда мимо проходил, — чего выставлять себя напоказ? А тут только



кое-как у Дунаевых угнездились (человек двадцать пять набилось в маленькую горенку) — он.

Евдокия, как ни была убита, глаза вытаращила. Да что — не простой день: не дашь от ворот поворот. Вот так Таборский и попал за поминальный стол.

Сперва пристроился к ним, работягам, на самой Камчатке, у порога, а потом пропел слово вовремя — сразу царские ворота распахнулись. Потому что начальство на сей раз попало какое-то недотепистое, ни мычит, ни телится. Сидят за столом, поглядывают вокруг да вздыхают: да, вот большевистский стиль жизни, да, вот как покойник жил, — а где ихняя команда, кто возгласит: почтим минутой молчания?

Вот Таборский и дал запев. «Вечная память рыцарю революции... Пущай земля будет пухом... Сохраним и приумножим боевые традиции...»

Михаил тихонько встал из-за стола и потянул на выход — покурить, прополоскать дымком легкие да хватить свежего воздуха: духотища в избе была, хоть и окошки открыты. Ну и, конечно, отдохнуть от Таборского — тот в раж вошел, опять за речь принялся, опять равнение на него.

У Петра Житова уже совсем с ума посходили — орали «Катюшу».

Михаил сел на скамейку под стеной двора за утлым крылечком, где они столько с Калиной Ивановичем сживали, закурил. И не успел и пяток раз затянуться — Таборский.

Хохотнул, кивнул на скамейку:

— Давай посидим рядом да поговорим ладком. Раскурим напоследок трубку мира.

Пришлось подвинуться. А что? Куда денешься. Не побежишь же!

— Дан что, Пряслин, спихнул, говоришь, Таборского — и сразу повышение?

— Какое повышение?

— Ну как же! Маршал лошадиных сил всего Пекашина. — Таборский не захохотал. Подковыр при серьезной роже больше жалит.

Но и Михаил, в свою очередь, не вскипел, не взвился. Будет, попереживал из-за этой конюшни — не хочешь ли вот так, Антон Васильевич: плевков на твоего лошадиного маршала с высокой

колокольни, ни слова в ответ? В общем, сделал Выдержку и только затем, да и то эдак спокойно, с усмешкой:

— Насчет того, что тебя Пряслин спихнул, это слишком большая честь для Пряслина. Не заслужил. Жизнь тебя спихнула, а не Пряслин.

— Пой, соловушка, пой! А у жизни-то чьи руки? Не твои?

— Виктора Нетесова недооцениваешь.

— Хо, Виктора Нетесова! А Виктора-то Нетесова кто завел? Все знаем, Пряслин. Разведка работает неплохо. Знаем даже, что ты комиссии пел.

— А я и не скрываю. То же самое и тебе в глаза говорил.

Таборский докурил «беломорину», закурил вторую: все-таки ходили нервишки.

— А жалко, черт возьми, что мы с тобой не сжились. Веселее, когда дерево упрямое гнешь.

— Не жалею.

— Это почему же?

Михаил рывком вскинул голову, врубил:

— А потому что мы с тобой не то что в одном совхозе — на одной земле не уживемся.

— Да? — Таборский только раз, и то чуть заметно, ворохнул глазами, а потом опять все нипочем. — Рано хоронишь Таборского. Только что начальником стройколонны назначен. Всем строительством в районе заправлять — неплохо, думаю?

Тут из окошка горницы кто-то высунул лохматую голову (кажется, секретарь райкома), позвал:

— Долго ты еще кворум нарушать будешь? Таборский живо ткнул Михаила в бок:

— Чуешь, начальство без меня заскучало. — И вдруг захохотал: — Никуда без Таборского. Подождите, еще и в Пекашине пожалеют Таборского.

Да уж жалеют, подумал Михаил, провожая глазами крепкую, выветленную солнцем красную шею, согнувшуюся под притолокой дверей, и тут же выругался про себя: ну что мы за люди? Что за древесина неокоренная? Когда поузмеем? Прохвост, жулик, все Пекашино разорил, а мы жалеем, мы убиваемся, чуть ли не плачем, что от нас уходит!

Да, такие разговоры уже идут по деревне, и при этом что больше всего удивляло Михаила? А то, что он и сам теперь, пожалуй, не очень радовался уходу Таборского. А придет время — он знал это, — когда он даже скучать будет по этому ловкачу, по этому говоруну.

Вот что вдруг открылось ему сейчас.

### 3

Сперва спустился под угор по делу — перевязать лошадей на лугу, — а потом вышел к реке, к складам и пошел, и пошел... Берегом вверх по Пинеге, через Синельгу, через Каменный остров, который отгораживает курью от реки... Куда? Зачем? А несите ноги. Куда вынесете, туда и ладно. Мутит, сосет что-то в груди — места не найдешь себе.

Под ногами гулко, по-вечернему хрустела дресва, рыба мелочишка сыпала серебром по розовой глади реки, иногда из травянистых зарослей тяжело и нехотя взлетала утка, не иначе как устроившаяся уже на ночлег, а в общем-то, не рыбой, не уткой красна ныне Пинега. Лодками с подвесными моторами. Страшное дело, сколько развелось этой нечисти! Бурвят, пашут Пинегу вдоль и поперек, вода кипит ключом, и что стелется поверх воды — туман вечерний или газы вонючие, не сразу и разберешь, и вот когда Михаил дошел до Ужвия, мелкого ручьишка с холодной водой, отвернул от реки в луга: сил больше не было терпеть железный гром.

Пошла густая, шелковая, как озимь, отава, в которую по щиколотку зарывался сапог, кое-где видны были еще белые коряги и щепы — остатки от костров, которые тут жгли косари и пастухи, — а потом все синее, синее стало вокруг, все гуще и гуще темень, а потом глядь — где ельник с поскотиной слева, из которого все время доносился неторопливый перезвон медного колокола на чьей-то загулявшей корове? Пропал ельник. Черная непроглядная стена, как в сказке. И корова больше ни гугу. Поняла, видно, дуреха, что затаиться надо, а то живо угодишь лесному хозяину на ужин — его теперь пора настала.

Некоторое время еще светлеела вдали река, но затем и ее затопила темень. И если бы не гул и завывание последних лодок да не

малиновые росчерки папиросок — где Пинега, в какой стороне?

Михаил нагреб возле старого кострища каких-то дровишек — щепы, жердяного лому, полешек березовых, — принес две охапки сена от ближайшего зарода, свалил все это в кучу.

Понимал: преступление делает, грех это великий — сено жечь, все равно что хлеб огню предать, да какой сегодня день-то? Кто умер?

Собрались, расселись за столом да давай водку хлопать — разве это поминки по такому человеку?

Огонь взлетел до небес, алыми полотнищами разметался по лугу, жарко высветил черный ельник.

Михаилу стало легче. Вот и он справил поминки по Калине Ивановичу. Свои, особые. Свой дал салют в честь старика.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Сидит на крыльце старик, на старике шапка зимняя с отогнутыми ушами, валенки серые до колена, а глаза у старика в небе — рад, видно, что после двухдневного дождя выглянуло солнышко.

Егорша недоверчиво повел вокруг глазами — не ошибся ли он?

Нет, дом крайний, черемушка за домом растет, скворечница на высоком шесте — все так, как говорила встреченная на улице старуха.

— Дед, где тут Евдоким Поликарпович живет?

— Да ты откуда будешь-то? Разве не знаешь Евдокима-то Поликарповича?

Из сарая, что за самым крыльцом, вышла немолодая уже женщина, и Егорша сразу узнал Софью: все такая же крепкая, сбитая, хоть в сани запрягай. И тут уж сомнений больше не оставалось.

Он назвал себя, обнялся со всплакнувшей Софьей, затем на лицо улыбку радости — и не в таких переделках бывал! — и к Подрезову:

— Ну, принимай блудного сына, Евдоким Поликарпович!

Подошел, лихо щелкнул каблуками, руку к шляпчонке — Подрезов любил дисциплинку! — и только после этого протянул руку.

— Ты сам, сам руку-то у него возьми. Ему ведь не поднять, — подсказала Софья.

Егорша и это проделал не моргнув глазом — жамнул холодную, совком свесившуюся с колена, недвижимую кисть руки с фиолетовым окрасом.

Подрезов улыбнулся.

— Узнал, узнал тебя! — обрадовалась Софья. — Ну приглашай, Евдоким Поликарпович, гостя в избу. Подрезов что-то промышчал.

— Так, так мы ноне, — вздохнула Софья. — Не говорим. Да и не ходим. — И тут она подошла к мужу, поставила его на ноги, затем крепко обхватила рукой в поясе и, как куль, поволокла в сени.

Егорша сразу узнал подрезовские апартаменты по инструменту. Вся стена от порога до первого окошка, где обычно ставят кровать, была забита поблескивающими стамесками, долотами, напаями, сверлами, и тут же стоял немудреный верстак. И еще из прежнего в избе были агитационные плакаты Великой Отечественной, расклеенные по всем стенам, уже выгоревшие, поблекшие, кое-где надорванные: разгневанная Родина-мать, «Идет война народная», «Что ты сделал сегодня для победы?»...

Меж тем Софья сняла с Подрезова ватник, шапку, посадила к столу на хозяйское место, а сама стала накрывать — не по годам быстро, проворно и при этом еще ни на минуту не спуская глаз с мужа.

Эх, по-бывалошному какое бы это счастье — сидеть за одним столом с самим Подрезовым! Рассказов потом на полгода: «Подрезов сказал... Подрезов посмотрел... Подрезов дал прикурить...» А сам-то подрезовский бас, когда хозяин в настроении! Как майский гром раскатывается.

Сейчас Подрезов будто какой святой, давший обет молчания: ни слова не услышишь. Да и вообще Егорша никак не мог привыкнуть к его нынешнему виду: голова острижена, плешь на голове, голубенькие, небесные глазки как у блаженного, и все улыбается, все улыбается, как будто он решил задним числом отулыбаться за всю прошлую жизнь.

Но раз все-таки Подрезов показал свою прежнюю натуру — это когда Софья хотела взять у него рюмку. Вмиг полетела на пол чашка, сахарница и рык на всю избу.

— Ну-ну, не возьму, — перепугалась Софья. — Я ведь думаю, чтобы все ладно-то было.

А Егорша в эту минуту просто расцвел, в один миг двадцать лет с плеч долой — так идохнуло теми счастливыми временами, когда он с

Подрезовым на одной подушке сидел, когда перебрасывал его из одного конца района в другой. И если какую-то секунду спустя он вступился за Софью (она-де за тебя, Евдоким Поликарпович, переживает, ей-де положено как хозяйке останавливать нашего брата), то вступился скорее по обязанности, чем по зову сердца.

Подрезов ноль внимания на его слова. Он будто не слышал, даже головы не повернул в его сторону, и в этом, к радости Егорши, тоже угадывалась его прежняя натура: шептунов не слушаю, своя голова на плечах есть.

Время тянулось томительно.

Егорша опрокидывал рюмку за рюмкой (по знаку Подрезова Софья каждый раз подливала ему), посматривал в окошко (ничего видок, дыра, конечно, жуткая, но летом, кто любит природность, можно жить), а сам все ждал, ждал с трепетом, с пересохшим, заклепшим, как земля в засуху, горлом: когда же, когда же Подрезов подаст сигнал рассказывать про Сибирь, про дальние странствия? Ну говорить не может — свалилась беда непоправимая, что поделаешь. Но понимать-то ведь понимает — вон ведь как глазом-то водит, Софью поучает.

Подрезов сигнала не давал. И Егорша начал уже терять терпение, начал приходить в отчаяние. Да что же это такое? За каким он дьяволом всю Пинегу прошагал? Затем, чтобы рюмки эти хлопать?

Егорша только что не рыдал — про себя.

Ну как он не понимает, как не догадывается, зачем он к нему попадал? Да он к отцу родному, будь тот жив, к матери так не бежал бы, как к нему!..

А может, Евдоким Поликарпович не узнал его? — пришло ему вдруг в голову. Может, он его за кого другого принял?

Выяснить это так и не удалось, потому что Подрезов, на его беду, вдруг начал зевать, а потом даже глазами слепнуть, и Софья в конце концов потащила его отдыхать на другую половину.

Софья не выходила из дома долго — может, двадцать минут, может, полчаса, — и все это время Егорша, сидя на крыльце, лениво

попыхивал сигареткой (в Пиляди и днем комары) и посматривал на затравеневшую улицу: пройдет ли хоть одна живая душа? Ну, взрослые на работе — в лесу, на поле, где еще, — а ребяташки-то где?

И он спрашивал себя: как всю эту глухоту и нелюдь переносит Подрезов? Зачем забрался сюда, на край света?

Самое простое объяснение, которое приходило в голову, — пенсионерская блажь. Развелось нынче стариков — хлебом не корми, а дай речку, лесок и все такое прочее, а тут этого добра навалом. Но ведь Подрезов-то из другой породы. Подрезов не будет, как тот ученый хмырь, с которым он, Егорша, один месяц в Сибири по тайге кантовался, целыми днями сидеть у муравейника да смотреть на него через лупу. Ему человеческий муравейник дай, да чтобы в том муравейнике он на самом видном месте был, да чтобы самые тяжелые бревна таскал!

Наконец выползла из дома Софья. Задом, босиком и на цыпочках — вот как ее вымуштровал муженек. И двери в избу и в сени оставила открытыми — чтобы по первому зову быть под рукой у хозяина.

Присев рядом, облегченно перевела дух:

— Ну, слава богу, утихомирился.

— Давно это с ним?

— Паралич-от? Десятый год.

— Десятый год?! И все это время без языка?

— Все.

Егорша вмиг вскипел:

— А медицина-то у нас есть? Медицина-то куда смотрит?

— Что медицина? Где взять такую медицину, чтобы Подрезова лечить? Разве не знаешь подрезовский нор? Зарубил чего — не своротишь. Сам, сам загубил себя. Речь да язык вернуть нельзя было, это с самого начала врачи сказали, а ногу-то можно было заставить ходить. Не захотел. Гордость. Как это Подрезов да на виду у всех людей будет волочить ногу?

— Да какие тут у вас люди? Я всю деревню прошагал, одну старуху встретил.

— Что ты, когда с ним все это вышло, со всей Пинеги народ повалил. Вспомнили — каждый день гости. Все лето. Вот он и упустил время-то. Надо бы ходить, надо бы ногу-то расхаживать, а он дальше

крыльца ни на шаг. Лучше без ноги останусь, а Подрезова не увидите в слабости.

Тут Софья повела головой в сторону открытых в сени дверей, прислушалась. Ни единого звука не донеслось оттуда. И тогда она предложила:

— Пойдем сходим на стройку-то. Посмотрим, где нарушил себя Евдоким Поликарпович.

Егорша встал, пошел вслед за Софьей. А вообще-то обрыдли, до смерти надоели ему эти стройки. Потому что вся Пинега помешалась сегодня на домах. Куда, в какую деревню ни зайдешь, с кем ни встретишься: а мой-от дом видел? И потому, когда в Пекашине ему сказали, что Подрезов на доме своем надорвался, он просто взвыл от тоски. Как — и Подрезов в том же стаде? и Подрезов на ногах не устоял?

Новый подрезовский дом был заложен по верхнюю сторону нынешнего жилого дома. Место красивое высокий чистый угор, речка подугором, — и работа на совесть: по линеечке выведен угол. Но что особенно поразило Егоршу, так это фундамент — валуны под углами. Просто скалы, просто столбы красноярские. Непонятно, кто их и ворочал. Не иначе как лешего в работники нанимали.

— Нет, не нанимали, — всерьез, без улыбки отвечала Софья. — Все сам. Воротом подымал. Вон оттуда, снизу, видишь?

И Егорша глядел на каменные глыбы, разбросанные по руслу искрящейся на солнце речки, пытался себе представить, как доставал их оттуда Подрезов, и нет, не понимал, зачем все это. Зачем рвать жилы из себя, когда казенных домов в наше время навалом? В том же райцентре — неужели такому человеку, как Подрезов, не нашлось бы какой-нибудь халупы?

Софья, когда он высказался в этом духе, никак не прореагировала. Потому что для Софьи разве существует что, кроме Подрезова? Не только ушами глазами вслушивалась, что там делается, в доме. И Егорша снова сорвался на крик:

— Я говорю, за каким дьяволом вас в эту дыру понесло? Нынче каждая сопля на столицу глаза наострила, а вы куда на старости лет забрались? В самое верховье района, в пинежский ад — разве не слышали, как у нас Пилядь зовут?



— Мы попервости-то не здесь жили. На Выре, на лесопункте. Слыхал про родину-то Евдокима Поли-карповича? Начальству не понравилось.

— Че не понравилось?

— Да все. Он ведь кем на Выру-то приехал? Простым плотником. А нутро-то подрезовское. Не может тихо жить. Все не по ему, все не так. Начальнику лесопункта — распек, бригадиру колхоза — распек. Пошли жалобы: Подрезов народ поджигает, Подрезов работать и жить мешает. Ну Подрезов терпел-терпел да и пых: а-а, раз людям жить мешаю, поеду к елям! Вот так мы и попали на Пилядь.

— А дети у вас где? Ни одного не вижу.

— А дети известно: выросли и на крыло. Когда что от отца надо, заглянут, а когда все хорошо, и письма не дожدهшься.

— Ясно, — сказал Егорша, — современные детки.

— А уж не знаю, современные але несовременные, да на Пиляди жить не собираются. Я думаю, он и дом-то строить начал, чтобы домом детей к себе привязать. Да разве нынешних детей домом к себе привяжешь?

Софья ушла домой. Подошло время — Подрезов должен проснуться, и бесполезно было с ней толковать. Оглохла и ослепла баба.

Егорша остался на угоре один.

Он набрался терпенья — все обсмотрел, все проутюжил глазами: речку, пожни (серые от некошенной травы), черные мохнатые ельники, со всех сторон подступившие к деревушке, — вообразил, как все это годами мозолило глаза Подрезову, и ему стало не по себе.

Нет, нет, к хренам такую природность. К людям! На просторы жизни выгребать надо, куда совсем не очумел.

И вот он обошел еще раз подрезовский сруб без крыши, без окон, уже основательно почерневший за эти десять лет, глянул на жилой дом своего бывшего кумира, за один погляд которого готов был жизнь отдать, и быстро в обход деревни пошагал на пинежский тракт.

Да, в обход, не заходя к Подрезовым, потому что хватит сопли на кулак мотать, хватит растревлять сердце. Потому что, сколько ни смотри, сколько ни вздыхай, все равно это не Подрезов. Не тот Подрезов, который в войну водил их в атаки, за которым они, молодняк, готовы были в огонь и в воду. Того Подрезова давно нет. О том Подрезове можно только сегодня вспоминать да рассказывать.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Вставало солнце, растопляло густые сентябрьские туманы, расчищало небо, и на земле сызнова начиналось лето. И так было не день, не два, а целую неделю.

Мимо с грохотом проносились жаркие пропыленные грузовики, лесовозы, останавливались: залезай! — а он только улыбался в ответ, приподымал слегка своего помощника, легкий черемуховый батожок, выломанный из старой заброшенной засеки, и шагал дальше сосняками, ельниками, лугами, рекой и мысленно не переставал благодарить бабу-странницу, Которая открыла ему этот полузабытый способ передвижения по родной земле.

На бабу-странницу они наткнулись с молодым парнишкой-шофером, который подхватил его на пинежском тракте вскоре после пилегодской ростани, нежданно-негаданно. Ехали, тряслись на корневищах старой, вдрызг разъезженной, размолотой дороги — и вдруг впереди картинка из времен царя Гороха: древняя бабка, вышагивающая с клюкой. Вмиг догнали, дали тормоза.

— Садись, старая!

— Спасибо, родимые. Своим ходом пойду.

— Садись, говорят. Кто теперь пешком ходит!

— Нет, нет, спасибо, христовые. Меня и свои могли подвезти. И у сына и у зятя железные лошадки есть. Да я по обвету.

— По обвету? — Шофер захлопал мальчишескими глазами: слыхом не слыхал ничего такого.

— По обвету. На могилке у Евсея Тихоновича положила побывать.

— Зачем?

— Зачем на могилке-то? А для души. Праведник большой был.

— Это тот-то старик большой праведник, который по пьянке в силосную яму залез? — Парнишка больше не пытал старуху. Ему сразу все ясно стало: чокнутая. Дал газ и покатыл дальше.

А Егорша вдруг присмирел, притих, задумался, а потом и с машины слез. Вдруг все накатило-нахлынуло разом: смерть Евсея, встреча с Подрезовым, дом, Лиза, дед... — нечем стало дышать в кабине, петлей перехватило горло.

И вот началась какая-то небывалая, ни на что не похожая доселе жизнь...

Шел пехом, ничего не желая и никуда не спеша, весь настезь распахнутый и раскрытый, первый раз в жизни не стыдясь своей лысины. Да, шляпу с головы долой — и кали, жарь, солнце, смотрите, сосны и ели.

Первую ночь он провел у костра возле порожистой речонки, где чересчур загляделся на играющую на вечерней заре рыбешку, а потом ночлег под открытым небом, под звездами, у зарода, в лесной избушке вошел у него в привычку. И питался он тоже когда чем придется — когда размоченным в ручье сухарем, когда печеной картошкой, ягодой. Но удивительно — никогда еще он не чувствовал себя так легко, так бодро, как в эти дни, и никогда еще не доставляли ему столько радости, столько счастья такие пустяки, как запах дыма, шорох падающей с дерева сухой прошлогодней шишки, как полыхающая на солнце рябина. Ну а когда он по утрам слышал тоскливые, прощальные песни журавлей, у него на глазах выступали слезы.

Господи, как он, бывало, не издевался и не потешался над Михаилом, над Лизой, когда те заводили свои молитвы насчет всей этой природности! А что сам сейчас делает? Неужели нужно было двадцать лет побродяжить по Сибири, по Дальнему Востоку, пройти через смерть Евсея Мошкина, заживо потерять Подрезова, чтобы и у него защемило сердце, чтобы и у него глаза заново увидали мир?

На Усть-Сотюге он разжег огонь, полежал на зеленом лужку, зарывшись босыми разгоряченными ногами в прохладную шелковую

отаву, посидел у речки нельзя было не посидеть у реки своей молодости, на которой держал фронт в Великую Отечественную, — а потом, свежий, передохнувший, пошел на свидание с Красным бором.

Да, на свидание. На свидание с красноборскими соснами. Потому что — что это такое? Прошел-прошагал добрую треть Пинеги — и ни одного стоящего соснового бора. Попадался кое-где жердяк, попадались в ручьях отдельные деревья, а чтобы сосновый лес верстами, километрами, да по обеим сторонам дороги, как это было в войну и после войны, да чтобы в том лесу птицы, зверя полно было — нет, такого леса не видел. Все вырублено, все пни и пни на десятки, на сотни верст. И вот наконец-то он, думал, отдохнет глазом в Красноборье да заодно отдохнет и душой, потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь. Жизнь с Михаилом, с Лизой, с Раечкой.

По новому, еще не потемневшему мосту он перешел за Сотюгу, поднялся в пригорок — и что такое? Где Красный бор? Налево вырубки, направо вырубки.

Нет, нет, не может быть. Это только по закрайку погулял чей-то шальной топор, а сам-то бор не тронут. В войну, в послевоенное лихолетье устоял старик, а нынче-то какая нужда сокрушать его?

Сокрушили.

Лесная пустошь, бесконечные, бескрайние заросли мелкого кустарника открылись ему, когда он перебежал темный еловый ручей, в который упирались вырубки.

Долго, не считанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тискавая скользкую капроновую шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину бывшего могучего бора, а потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал.

Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он заседал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?

Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы.

В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое — и вперед, на новые

рубежи. И что там оставалось позади — слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота — плевать.

Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предьявлять счет за пинежские леса?

В Водянах, на том берегу, было какое-то гулянье: из-за реки слышно, как в две гармошки наяривают, пьяные песни орут. Справляют, должно быть, какой-то праздник, а то и без всякого повода веселятся. Потому что у этих водянинцев всегда все наоборот. Бесперспективная деревня, смертный приговор вынесен — надо бы плакать, убиваться, слезы лить, а они не унывают, день прошел, и ладно.

А может, закатиться? Стряхнуть с себя дорожную пыль? Поддервени старых дружков-приятелей — какой загул можно дать!

Не пошел. Шальное желание погасло, как только переехал за реку да поднялся в крутой бережок. Тут тропинка подхватила, понесла его вниз по Пинеге, по зеленым лугам.

Был разгар бабьего лета, было солнечно, тепло, была чайчья игра на реке, и отовсюду, со всех сторон смотрели на него зеленые Лизкины глаза. Да, да, да, Лизкины! Всю дорогу волновался, переживал, когда видел зеленую отаву на лугах, на обочинах, на полянах, а вот что это такое, понял только сейчас, когда стал подходить к Пекашину.

Муть, мура все эти бабы и девки! Никого не было, никого не любил, кроме Лизки. А то, что сбежал от нее, двадцать лет шатался черт те где... Да как было сразу-то узнать, разглядеть свое счастье, когда оно явилось к тебе какой-то пекашинской замухрыгой, разутой, раздетой, у которой вечно на уме только и было что кусок хлеба, да корова, да братья и сестры?

Решение пришло внезапно, как в былые годы: первым делом отвоевать у Пахи Баландина избу. Любой ценой сохранить дедовский дом. Ну а потом, потом посмотрим...

С этим решением он подошел к пекашинскому перевозу.

— Эхе-хей! — нетерпеливо кинул за реку. — Лодку давай!

А затем в ожидании перевозчика — тот уже шастал к Пинеге, по хрустящему галечнику слышно было — жадно, истосковавшимися глазами пробежался по красавице деревне, которая горделиво поглядывала на мир со своей зеленой горы.

Глаз зацепился сразу же за дом Михаила — самая видная постройка в верхнем конце, — но разгоряченный, уязвленный ум не хотел мириться с превосходством старого друга-соперника, и он с вызовом подумал: врешь, Мишка! До деда ты все равно не дотянул.

Одним махом головы, совсем как бывало в молодости, он перекинул глаза на нижний конец пекашинской горы, к знакомой с детства развесистой лиственнице, туда, где стоит ставровский дом.

Дома не было. В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне. И он понял, нельзя было не понять: дом разрубили.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора, толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове.

На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь, чем утихомирить ее взбудораженную совесть?

Однажды утром Петр сказал:

— Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы ставровского коня поставлю?

— Коня с татинного дома? На наш?

— А почему бы нет? Видел я вчера, валяется конь на земле — не увез Баландин.

У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась;

— Ох, Петя, Петя, да я не знаю что бы дала, чтобы татин конь у нас на дому был! Все бы память о человеке на земле, верно?

— Будет конь! — сказал Петр и тотчас же пошел договариваться насчет машины.

«МАЗ» с прицепом в совхозе был на ходу — братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, — и в полдень

ставровский тяжеленный охлупень с конем ввезли к Пряслиным в заулок.

Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.

— Ну ты и дура же, Лизка! — покачал головой Иван Яковлев. — Сколько живу на свете, не видывал, чтобы дрова со слезами обнимали.

Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев! Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулок. Степан Андреянович, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье.

## 2

Что такое человек? Что мы за люди?

Убивалась, умирала все эти дни Лиза, ночами давилась от слез, а вот привезли коня — и вновь воскресла, вновь ожила. Как веточка, на которую брызнуло дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она примется сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью: и телятник и телят.

А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?

По горизонту синими увалами растекались родные пинежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал: Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие неоглядные дали, а вниз, на тесный заулок, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий?

Он был в полной растерянности. Он был подавлен.

Сколько лет назад наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата, а вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут — и тоскливо и муторно стало на сердце.

Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребятишки на улице бегали босиком. А в навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы желтые, журавли трубят хором. И праздник был под горой, на зеленых лугах, на Пинеге, играющей на солнце.

Петр слез с дома. Через пять дней кончается отпуск — так неужели хоть раз за два месяца не пройти без дела по деревне, не послушать Синельгу, не побывать у реки?

Приусадебные участки по задворью цвели платками и платьями — бабы копали картошку, — и сладким дымком, печеной картошкой тянуло оттуда. Совсем как в далекие годы детства.

И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары Иняхиной, с которой столько было связано у них, у Пряслиных, переживаний и передряг, затем спустился к Синельге, побывал на мызах, в поскотине, вышел к Пинеге. И вот какое у него прошлое — ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом.

Нагнулся, стал пригоршней пить воду в Синельге — вспомнил, как они, бывало, с Григорием опивались этой водой, специально бегали сюда, потому что старший брат как-то пошутил: «Пейте больше воды в Синельге — силачами вырастете». А уж им ли не хотелось вырасти силачами! Вспомнил, как провожал по утрам Звездоню в поскотину, — брат рядом встал. Сорвал бурую запоздалую малинину в угоре на мызе — опять брат. И так везде, на каждом шагу, у каждой лесины, у каждой кочки. Даже когда ребятишки-удильщики попались на глаза у реки, не одного себя вспомнил, а вместе с Григорием.

Вдоль Пинеге, через густой задичавший ивняк, под которым чернела Лунина яма, мимо бывших леспромхозовских, а ныне сельповских складов Петр прошел под родное печище, спустился на берег, усыпанный цветной галькой, попробовал рукой воду.

Вода была теплая, летняя, но по-осеннему чистая и прозрачная, и, когда прошла рябь, он долго всматривался в свое бородатое лицо с морщинистым широким лбом.



Все началось с Тани, с веселой черноглазой медсестры, с которой он познакомился в те дни, когда Григорий лежал в больнице. И вот надо же так случиться! Григорий возвращается из больницы, к своему дому подходит, а навстречу Таня. Увидела Григория, всплеснула руками: «Что, что с тобой, Петя? На тебе лица нет». И со слезами бросилась на шею ошеломленному брату.

В эту самую минуту, на двадцать восьмом году жизни Петр понял, что он всего лишь двойник, тень своего брата. Понял и решил: отгородиться от брата, стену возвести между собой и братом.

Восемь лет возводил он стену. Восемь лет сушил, замораживал себя, восемь лет парился под бородой, вытравлял из себя бесхитростную открытость и простодушие, чтобы только не походить на брата. А чего достиг? Лучше, счастливее стал?

Нет, нет! Самые счастливые, самые богатые годы у него в жизни те, когда он душа в душу жил с братом, когда оба они составляли единое целое, когда на все смотрели одними глазами, одинаково думали и когда, как говаривала Лиза, им снились одни и те же сны.

Ошеломленный этим открытием, Петр поднялся в крутой, глиняный, сплошь источенный ласточками берег и долго лежал обессиленно на зеленом закрайке поля.

— Ну как поживаем, брат?

Он спросил это с таким участием, с такой заинтересованностью и задушевностью, словно давным-давно не видел Григория. Да это и на самом деле было так. Жили под одной крышей, сидели за одним столом, каждый день с утра до вечера мозолили друг другу глаза, но разве видел он брата?

Святые, непорочные глаза Григория не дрогнули от удивления — он знал, с чем пришел брат, — и все же счастливая улыбка, легкая краска разлилась по его льняному бескровному лицу.

У Петра перехватило дыхание. Он схватил на руки перепуганного, перепачканного в песке племянника, закричал:

— Дери дядю за бороду, пока не поздно!

Через полчаса борода пала.

Лицо стало непривычно голое, легкое, и память перенесла его к тем дням, когда старший брат, возвращаясь весной с лесозаготовок, в первый же день спускал с них, малоросии, отросшую за зиму волосню.

Улыбаясь какой-то новой, давно забытой улыбкой, Петр вышел на крыльцо и столкнулся с возвращающейся с телятника сестрой.

Лиза ахнула:

— Ну, Петя, Петя!.. Вот теперь и я нисколешенько тебя не боюсь.

— А раньше боялась?

— Да больно-то, может, и не боялась, а все не прежний, все какой-то не такой.

Да, он вернулся, к тому, от чего отрекся и отгораживался столько лет. Вернулся к брату, к жизни, к себе.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Здравствуй, сестра!

Пишет тебе твой братец-бандит, отпетая голова, лагерник и тюремщик, который всех Пряслиных опозорил. А может, уже и не братец, может, отказались за это время от меня, потому как врать не стану: письма от вас еще в колонии не принимал, отказывался. В общем, двадцать лет ни перед кем головы не клонил, ни одного стона не дал, а сегодня плачу не плачу, реву не реву, а так к горлу подкатило, что сам первый за карандаш взялся.

Начну по порядку.

Утром вызывает к себе начальник, думаю: карцер — крепко ночью гульнули, много было звука; а начальник с порога: «Пришло помилование, Пряслин. Так что с завтрашнего дня имеешь свободу».

Ну не это сразило меня. Не амнистия. Я, покуда он эту бумагу мне не подал, и слушал-то вполуха — артист тот еще, все с шуточками и прибаутками, а сразило меня наповал то, что он сказал: «Не знаю, Пряслин, кто за тебя там хлопчет, кому ты нужен, а будь моя воля, я бы тебя не

выпустил. Не верю, что человеком станешь. Ну да ладно, говорит, погуляй, снова встретимся».

И вот вышел я от начальника, солнышко, вся моя шушера: что и как? А что — как? Что я могу сказать, когда я и сам, как начальник, думаю: кому я это там, на воле, нужен, кто за меня так старается? Дружки-приятели? Да какой ход у шпаны в Президиум Верховного Совета РСФСР!

Всех перебрал, всех пересчитал, кого знал и встречал за свою жизнь, и вот, сестра: кроме тебя, некому. Потому что ежели и есть кто на свете, у кого еще болит обо мне сердце, дак это у тебя да у мамы. Ну а что за хлопотунья из нашей мамы, мы знаем, так что ты. Ты решила из ямы брата выволакивать — больше некому.

Двадцать лет я про дом не думал, мать даже родную не вспоминал, а тут все вспомнил, всех перебрал: тебя, маму, Пинегу, Михаила... Сказать это моей шалаве, о чем тут их пахан задумался, о чем помышляет, — не поверят. А ведь и у меня мама есть, есть сестра. Про братьев не говорю. Михаил на том свете меня встретит — отвернется, двойнята тоже чистенькие, от грязи всю жизнь рыло воротят, сестра Татьяна не в счет. Только на тебя да на маму и надежда вся.

А не испугаетесь, ежели нагряну? Страшный я стал. Волосы выпали плешь, зубы железные, весь разрисован — в баню с людьми зайти нельзя, и зовут Дедом. Да, в пятнадцать лет стал Дедом, когда меня в эту колонию прислали. На воспитание.

Эх, дураки, дуроломы! Они думают, там человека делают. Делают, да весь вопрос — кто. Мне днем один хмырь, тамошний воспитатель, начал мозги вправлять: «Работай честно, Пряслин, ежели хочешь на путь правильный встать», а вечером остались в бараке — другое воспитание началось. На всю жизнь. Один там падла захотел мне сразу рога обломать, потому как я самый сильный, в глазах у него бревном встал. «Эй ты, деревенщина! Поддай-ко мне свою шапочку — покакать захотелось». Подал я ему свою шапочку, покакал не спеша, а потом: неси.

Ладно, наклоняюсь, беру это шапочку с его добром, да не успел никто опомниться — все это добро ему в харю. Три часа мы в ту ночь насмерть бились, и к утру я стал хозяином. Он стал подавать мне свою шапочку. Вот тебе, сука, запомни на всю жизнь, что такое деревенщина!

Вот так, сестра, я и подписал себе приговор на двадцать лет, потому что из колонии выхожу — меня только что на руках не несут. Гулял, не отрицаюсь. Все было. Ну только одного не было: никого не убил и над людьми не изгилялся. Нету крови на мне, сестра, это я тебе точно говорю.

Приветы и поклоны никому не пишу. Кому нужны приветы да поклоны от бандита? Ну а ежели Михаил от меня не отвернется да братья да сестра руку подадут — спасибо. Но о них покуда не думаю. Мне бы на тебя да на маму только взглянуть, а там видно будет что и как.

Я бы и так поехал в Пекашино, без твоего спроса, сестра, да хватит, пострадала ты за меня, сызмальства заступницей была, и не хочу, чтобы ты сейчас шарахнулась, когда я как снег на голову паду или, хуже того, когда тебя из-за меня клевать начнут. Нет, это мне теперь не перенести, честно говорю. Вот и пишу все как есть. Начистоту, без утайки. Можно — приеду, а нельзя, дак нельзя: заслужил.

Остаюсь в скором ожидании ответа твой бывший брат или настоящий (сама решай!) Федор Пряслин.

За эти двадцать лет я Пряслиным только и был, когда на допросы вызывали, а так все по кличкам. Как пес.

Трудное это было лето для Пряслиных. Раздоры и неурядицы меж собой, вся эта дикая и несуразная история со ставровским домом, внезапное появление Егорши, принесшее столько бед и горя... Зато уж сейчас был праздник так праздник. Из всех праздников праздник.

Лиза первая сказала то, что было у каждого на сердце:

— Вернулся! Вот и Федор наш к нам вернулся. Петя, давай скорей телеграмму. Пущай ни минуты не медлит. Господи, «не испугаю ли,

сестра?». Вот чего скажет. — И вдруг расплакалась, разрыдалась. — А того, что мамы-то в живых нету, и не знает... «Есть ведь и у меня мама родная»... Нету, нету, Федя, у тебя матери... Уж она-то из-за тебя попереживала, уж она-то бы обрадовалась...

Петр, не спуская глаз с Григория — тот накалился от радости до предела, — толкнул сестру в бок: дескать, попридержи себя.

— Не буду, не буду, ребята, плакать. Песни надо петь, а не плакать.

Было уже не рано, когда Петр с телеграммой побежал на почту. В заулке у Михаила Раиса развешивала выстиранное белье, и ему по-мальчишески, криком хотелось кричать про ихнюю радость — мол, передай брату (Михаил с новым управляющим был на Синельге): Федор скоро приедет, — но в эту минуту из-за угла житовского дома вывернулась Евдокия Дунаева, и он прикусил язык.

Евдокия прошла рядом с ним, едва не задела его рукой, но разве видела она теперь кого? Погас вулкан, как на днях сказал про нее подвыпивший Петр Житов. Пепел да одна мертвая, выжженная порода осталась от прежней Евдокии.

Петр вспомнил про Калину Ивановича, про папку с бумагами, которая осталась от него и которую просила на досуге посмотреть Евдокия, но вскоре его опять захватили семейные дела, которые неожиданно нынешним утром переплелись с делами Пекашина.

Нынешним утром он, как обычно, стучал топором на своем старом дому. И кого же вдруг он увидел? Кто поднимался к нему на верхотуру? Виктор Нетесов, новый управляющий. Поднялся, глянул на новую крестовину стропил, которую какой-то час назад они поставили с Филей-петухом и Аркадием Яковлевым, легонько и не без удовольствия погладил гладко отесанное дерево.

— В ладах с топором. Но можно бы и не тесать стропилину-то — кто увидит ее под крышей?

— Да так уж привелось, — ответил Петр и улыбнулся: понравилась похвала управляющего, потому что Виктор Нетесов — кто не знал этого в Пекашине — сам был мастак по плотницкой части.

— А вид с твоей вышки как в кино, — заговорил управляющий, кивая на бывшие поля за болотом: там желтым и красным пожаром полыхал кустарник. Через неделю эту красоту будем вырывать с корнем.

Петр, ничего не понимая, пожал плечами, и тогда Виктор уже перешел на свой обычный деловой язык:

— Мелиораторы через неделю приезжают.

— К нам в Пекашино?

— Да. А чего ты головой мотаешь? Сколько еще кустарники в навинах разводите? На тридцать га поле будем делать.

— На тридцать га! Это в наших-то навинах? — Петр опять замотал головой.

— Да ты от меня этим метаньем одним не отделаешься, — сказал Нетесов. Я ведь к тебе зачем пришел-то? А затем, что тебя в свою телегу запрячь хочу. Не понимаешь? Главный механик нам в Пекашине нужен, грамотный, толковый техник. Ну а раз ты гнездо отцовское отстраиваешь, вот я и подумал: кого же мне еще искать!

Нетесов не торопил его с ответом, не агитировал. Наоборот, сказал на прощанье: подумай хорошенько, легкой жизни не жди. И Петр на первых порах как-то не очень раздумывал над его предложением, а вскоре за работой и совсем забыл. Зато сейчас, едва всплыл в его памяти этот утренний разговор с управляющим, — как все его существо охватило лихорадочное и деятельное возбуждение. «Не жди легкой жизни... Легкой жизни не будет...» А почему у него должна быть легкая жизнь? Калина Иванович искал легкой жизни?

За все эти летние месяцы, что он бывал у старика, они почти никогда не говорили о «земном», о пекашинском, но Петр сейчас не сомневался: Калина Иванович одобрил бы его решение остаться в Пекашине, начать устраивать жизнь на родной земле вместе со старшим братом, с Виктором Нетесовым...

И еще какие бродили чувства, какое желание вызревало в нем в эти минуты? Запрячься в пряслинский воз, взять на себя все заботы о сестре и ее детях, о Григории, о Федоре...

Он не знал еще толком, не успел обдумать, представить себе, как все это решить практически, а уже новый свет, свет далекого детства, хлынул ему в душу.

Трезветь он немного начал, когда вышел с почты да увидел пьяный трактор на дороге, который так и кидало из стороны в сторону (как потом выяснилось, Васька-тракторист и в самом деле был под сильными парами — на угол сельсоветского склада наскочил, сукин сын).

Да, подумал Петр, в Пекашине порядок наводить надо. Но не порет ли он горячку? С четырнадцати — пятнадцати лет в городе — не отрезанный ли он навсегда ломоть? Приживется ли снова в деревне? И уж вовсе показалась ему мальчишеством его недавняя мечта заменить Михаила в пряслинской упряжке, Михаила, который самой природой был создан для этой роли.

Петр, однако, недолго предавался унынию, потому что очень уж дорог ему был тот недавний порыв, который таким светом осветил его душу. И он сказал себе: чего раньше времени каркать? Поживем — увидим.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Для него теперь не было дневной жизни. Днем он не мог взглянуть людям в глаза, беспечно, как прежде, пропахать из конца в конец Пекашино. Днем он отлеживался на подворье у Марфы Репишной, в тесном бревенчатом срубике, в котором окончил свои земные дни Евсей Мошкин.

Жизнь для него начиналась лишь вечером, когда осенняя темень накрывала землю. Вот тогда он выбирался из своего логова, жадно, полной грудью вдыхал свежий вечерний воздух, разминал затекшие ноги.

По деревне шел медленно, принюхивался к ее привычным вечерним запахам, вслушивался в знакомые голоса в заулках, с ненасытным любопытством вглядывался в ярко освещенные окошки домов, а если попадались навстречь люди, замирал, не шевелился, пока не проходили мимо.

Так доходил он до Анфисы Петровны и тут стоп: дальше дороги для него не было. Он даже посмотреть не решался в ту сторону, где стоял разоренный им дедовский дом...

Больше всего его тянули к себе два дома — дом Михаила и дом покойной Семеновны, в котором теперь жила с братьями Лиза.

К Михаилу на усадьбу не попадешь — собака, и он довольствовался тем, что подолгу, чуть ли не часами простаивал возле его бани. В непроглядной темени звонко, раскатисто играла стальным кольцом входная калитка, и он сразу узнавал своего бывшего дружка-приятеля — по поступи, тяжелой и основательной, как все, что делал

Михаил, и, конечно же, по пряслинскому запаху: солнцем, хлебным духом, конем вдруг прорежет ночь.

На Лизу, на ее домашнюю жизнь с братьями и детьми он смотрел через окошко. Окна у Семеновны низкие — на аршин дом врос в землю, — и если глянуть поперх занавески, то вся изба у тебя как на ладони.

И вот каждый вечер одно и то же виделось ему: годовалые ребятишки, ползающие по просторному некрашеному полу, Петр и Григорий — то за столом за какой-нибудь домашней работой, то за книгой, за газетой — и она, Лиза, его бывшая жена...

Близко, совсем рядом была Лиза, одна рама, одно стекло разделяло их, и в то же время она была невообразимо, недосягаемо далеко от него. Как звезда. Как другая планета...

В тот день, когда он решил навсегда исчезнуть из Пекашина (да и только ли из Пекашина?), он вышел из дому рано утром, подтянутый, чисто выбритый, с железной лопатой в руке.

Густой сентябрьский туман пеленал деревню, и никто, ни один человек не видел, как он прошел на кладбище.

Могила Евсея Мошкина, как он и думал, осела, осыпалась. Он подрыл с боков песок, придав холмику форму прямоугольника, а затем выстлал ее плитами беломошника, который неподалеку нарезал лопатой. Но и это не все. Сходил к болоту, отыскал там зеленую кочку с брусничником, на котором краснело несколько мокрых от росы ягодок, срезал ее, перенес на могилу.

— Ну вот, старик, — сказал Егорша вслух, — все что мог для тебя сделал. — И криво усмехнулся. — По твоей вере дак скоро увидимся, а я думаю, дак оба на корм червям пойдём. Здесь, на земле, жить нада.

Дальше он не таился. Открыто вышел на деревню, уже давно наполненную рабочим шумом и гамом, открыто вошел в магазин, взял на последние деньги поллитровку — и азимут на Дунину яму, туда, где когда-то из-за него хотела наложить на себя руки Лиза.

Он два раза прочесал мокрые ивняки и ольшаники над Дуниной ямой.

Задичал, как роща, разросся кустарник за двадцать лет, а самой ямы не было. Яму засыпало песком, и вонючая, зеленоватая лужа плесневела там, где когда-то ледяным холодом дышал черный омут.



## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Дождь застал Михаила уже на Руси, то есть после того, как он из лесного сузема выбрался в поля. Ему не хотелось мокнуть близ дома, и он начал настегивать Миролюба. Но Миролюб только для виду замотал старой головой: выдохся. Они с новым управляющим за эти два дня объехали всю Синельгу — от устья до верховья. Везде побывали, каждый мысок, каждую поженку обнюхали. Виктор Нетесов решил с будущего года опять ставить сена на Синельге, и разве мог он, Михаил, не поддержать его в таком деле?

Расходившийся дождь как метлой вымел пекашин-ские задворки — ни единой души не попало ему на глаза вплоть до самой конюшни. Зато уж тут Филя-петух его насмешил. Сукин сын — не иначе как с перепоя — вывел из стойла самую резвую кобылку, вороную Птаху, и давай заседлывать.

— Ты, Филипп, никак на новый способ отрезви ловки решил перейти?

— Я за тобой, Михаил, хотел ехать.

— За мной?

— Не знаю, как тебе и сказать, мужик. Несчастье у тебя дома большое...

Михаил слез с лошади, заставил себя выпрямиться: бей!

— Лизавету размяло...

— Лизку?

— Ну... Мы это стали на дом с Петром коня подымать ставровского, а веревка-то попадись старая... Ну и... — Филя виновато развел руками.

— Ну и что, что? — заорал Михаил. — Да говори ты, дьявол тебя задери! Он схватил обеими руками Филю за старый измочаленный свитеришко, но сразу же выпустил и побежал к старому дому.

В заулке он еще издали увидел сосновые слегги-бревна, приставленные к избе, а затем увидел и коня, лежавшего на земле посреди заулка.

— Вот здесе-ка она упала. — Запыхавшийся, ни на шаг не отстававший от Михаила Филя подвел его к крайней от дороги слеге, указал на мелкую, обмытую дождем щепу и вдруг ахнул: — Смотри-ко, тут что! Пуговица... Да это же Лизкина пуговица-то. От ейной кофты.

Михаил тоже узнал пуговицу. Два года назад он зашел в сельпо: что бы купить сестре на день рожденья? «А купи, ежели богатый, кофту, посоветовала продавщица. — Смотри-ко, какие на ней застежечки. Как у Лизки глаза».

Михаил поднял с земли зеленую пуговицу, досуха, до блеска отер ее на ладони, положил в карман намокшей парусиновой куртки.

Филя завсхлипывал:

— Я ведь ей еще говорил, когда они меня позвали. Говорю, не поднять нам с Петром такой охлупень. Больно тяжелый, говорю, брось. Давайте, говорю, еще кого позовем. А она еще со смехом: «Брось, брось, Филипп! А я-то на что?» Ну вот мы с Петром залезли на крышу, а она снизу с жердиной — то мой конец толкнет, то Петров. А потом веревка у Петра лопнула, ну и... — Филя махнул рукой и громко, по-ребячьи расплакался.

— Она... — Михаил с трудом протолкнул через пересохшее горло еще одно слово: — Жива?

— Жива была... В район... в больницу увезли...

## 2

Лыско встретил хозяина протяжным воем, и, хотя для Михаила это было не внове — давно у ихнего пса не все дома, — он похолодел от ужаса и минут пять стоял, ухватившись обеими руками за воротца. Затем кое-как заволок в избу ноги, сел на скамейку у печи.

Раиса молча собрала на стол.

— Поешь. Ведь уж сколько ни переживай, чего теперь сделаешь. Сама виновата. Михаил покачал головой:

— Я виноват.

— Ты?

— А то кто же? Бросил одних... Чего они понимают?

— А чего понимать-то? Дети они маленькие? Всяко, думаю, под бревно-то не надо лезть. А то вот как — жердинкой бревно на дом подымать!

— Ты не станешь.

— С ума я сошла! Да и вся эта игра в коников разве дело? За дом надо было стоять, а чего по волосам рыдать, раз голова снята? А она из дому пых, пушай по бревнышку разносят, а потом и спохватилась... Коником дорогого свекра буду вспоминать...

Михаил глухо спросил:

— Ребята где?

— Какие ребята? Наши?

— Племянники мои.

Раиса округлила глаза.

— Племянники у меня есть! Михаил и Надежда. Не слыхала?

— У Анфисы Петровны, наверно, — уже другим голосом ответила Раиса. — У кого же еще?

— А почему не у нас?

— Почему, почему... Сам знаешь, Анфиса Петровна первая подружка у ей...

— А я дядя им, дядя! Родной! Ты понимаешь это? Понимаешь? — Михаил поднялся на ноги. — Пойду...

Раиса со слезами припала к его раскисшей в избяном тепле парусиновой куртке, обеими руками обняла за шею.

Он хотел оттолкнуть ее от себя — разве это ему сейчас надо? — и вдруг судорожно прижал к себе: понял, что она за него испугалась, понял, что, несмотря на ее вечные попреки из-за Варвары, ревность, несмотря на всю ее руготню, она его жена — верная, преданная до гроба, до последнего вздоха.

— Не убивайся, не хорони человека раньше времени, — начала утешать его Раиса. — О прошлом годе Иван Яковлев час под тремя деревьями лежал, а сейчас смотри-ко как бегают. Как заново родился.

Хотелось бы, ох как хотелось бы верить, что все обойдется благополучно, но Филя-петух, на глазах у которого все это произошло, ни единого словца не сказал в утешенье, а уж он ли не любит каждого утешить!

— Машина придет, скажи, чтобы ехала вдогонку, а я пойду. Сил моих больше нету ждать.

...Была осенняя крошечная темень, был нудный осенний дождь, и было еще отважное и отзывчивое сердце четырнадцатилетнего мальчишки. И он шагал впереди матери, чтобы проложить ей в темноте дорогу, чтобы всю сырость с сосновых лап принять на себя...

Так было в сорок втором году, когда он провожал мать в район по вызову военкомата.

А сейчас? Что стало с ним сейчас?

Отринул, отпихнул от себя родную сестру, самого близкого, самого дорогого человека, с которым всю войну, все самое страшное пережил вместе. Да как он мог сделать это? Ведь не злодей же он, не последний человек в своей деревне. Были времена — в пример ставили. А вот он, примерный человек, вот что натворил, наделал... И сейчас он уже не только перед сестрой своей, перед братьями вину чувствовал, но и перед Васей, перед покойным племянником.

Да, да, и перед Васей. Все думал, все уверял себя — ради Васи, ради его памяти старается. А разве Вася простил бы ему, как он мать его родную поносил, топтал? И уж, конечно, нет и не будет ему прощения от Степана Андреяновича. Тот ради Лизы, ради невестки своей любимой, всем, жизнью своей пожертвовал бы, а не то что домом...

Ослепительная, каленая молния прочертила черную просеку дороги впереди. Потом где-то в стороне тяжело грохнуло и покатилося, и покатилося в сузем...

Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: «Сынок, ты понял меня? Понял?»

Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...

*1973–1978*

**1**

Житник — домашний хлеб из ячменной муки с примесью ржаной.

Нижноконы — жители нижнего конца деревни.

# 3

Охлупень — у старинных домов массивное бревно на крыше, которым пригнетаются концы тесниц обоих скатов.

4

К сѣну — на сѣнокос.



**5**

Лешье мясо — грибы.

**6**

Заворы — проезды в изгороди.

7

Обабки — грибы для сушки.

Красные — местное название брусники.

9

Кокора — корневище вывороченного ветром дерева.

Стожары — жерди, которые служат остовом для стога.